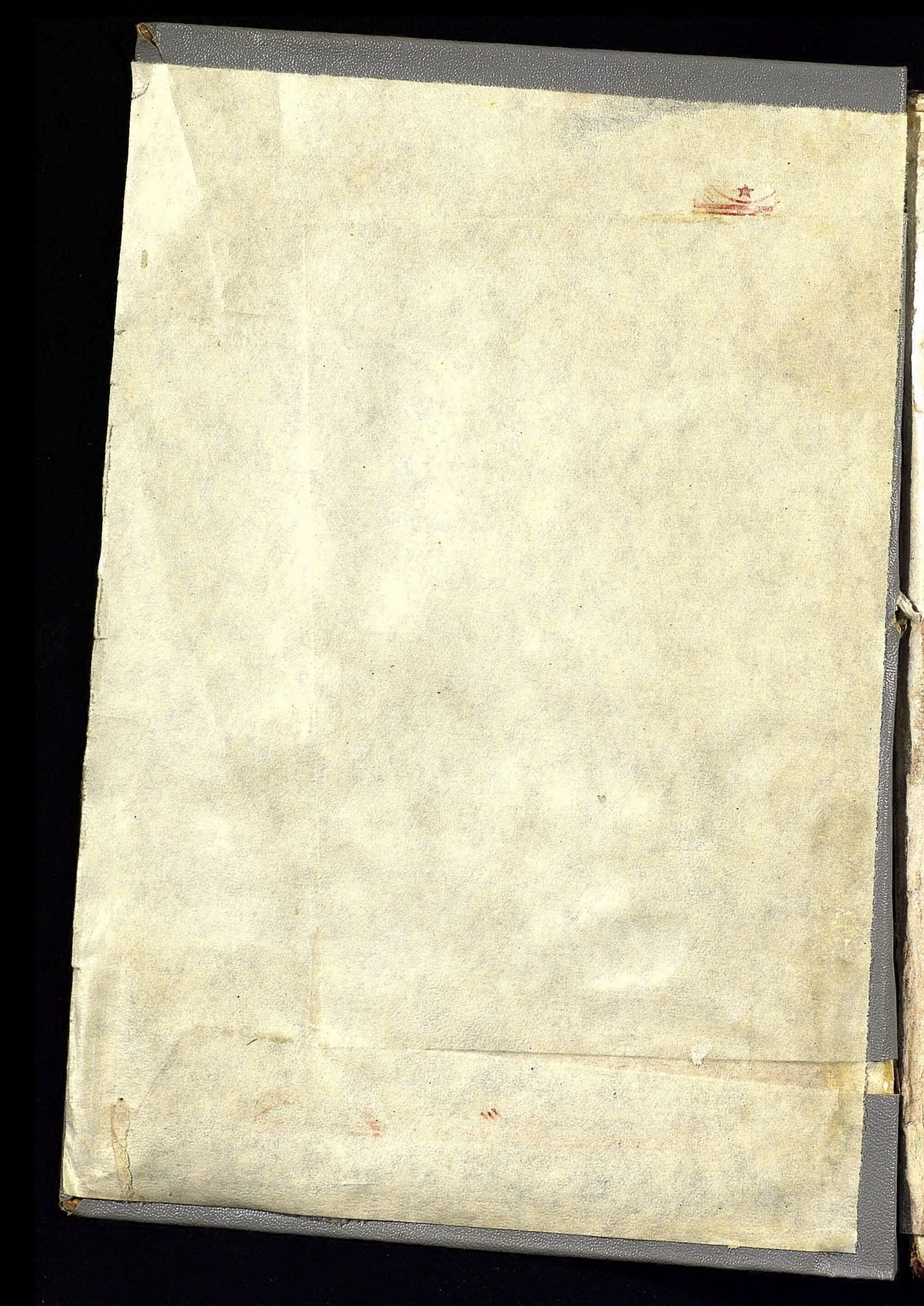
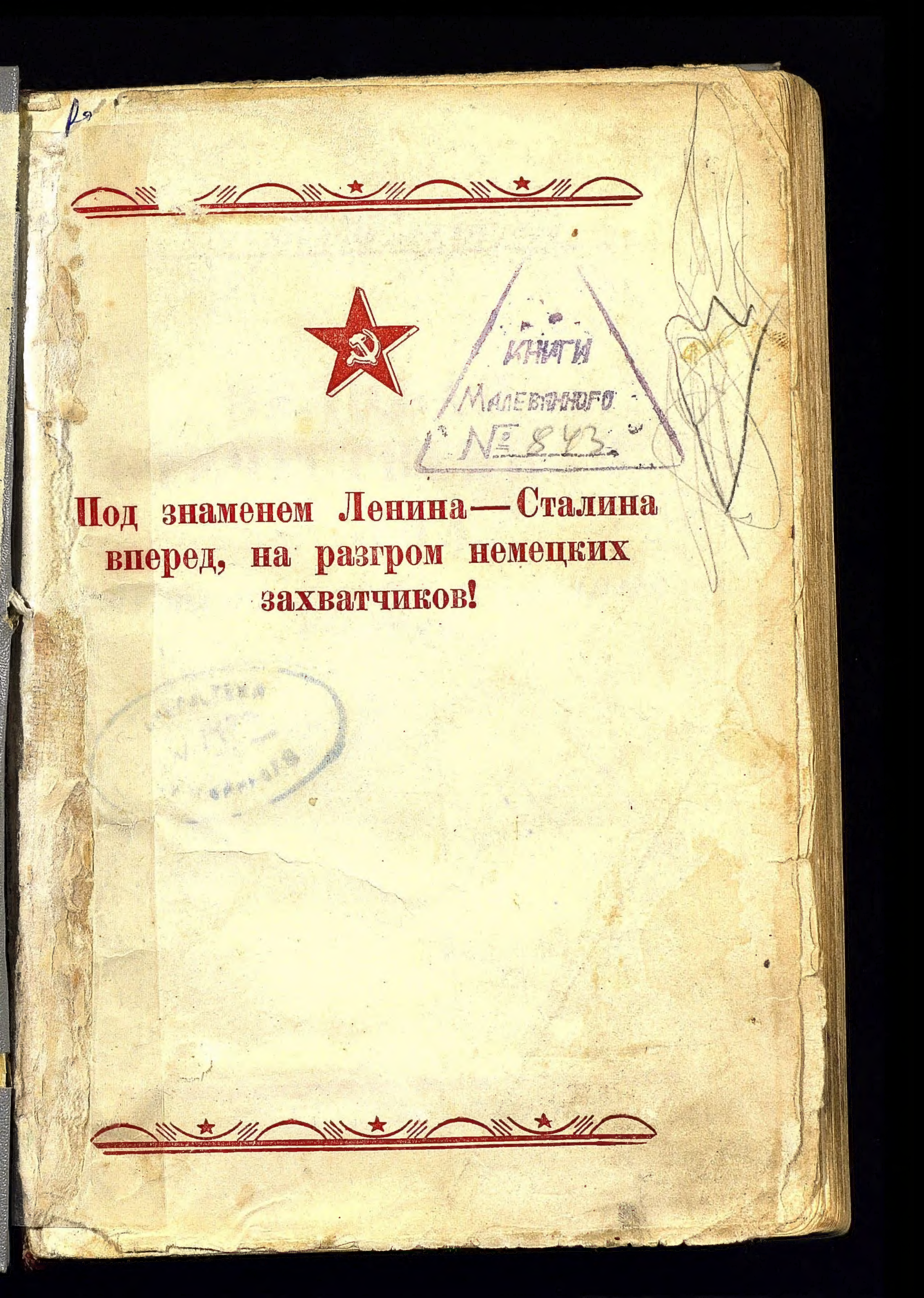
Великая
Отечественная
война





Под знаменем Ленина—Сталина вперед, на разгром немецких захватчиков!



ГЛАВНОЕ ПОЛИТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
КРАСНОЙ АРМИИ

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
СБОРНИК

I

ОГИЗ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
МОСКВА 1942

ОТ РЕДАКЦИИ

Основным, всеопределяющим событием в жизни народов нашей великой родины, более того, — в жизни всего человечества в настоящее время является война против немецко-фашистских захватчиков. Быть или не быть? — таков вопрос, который решается в этой войне. Жить ли народам нашей страны или дать себя истребить людоедам германского империализма? Быть ли свободными или влачить презренное существование рабов под ярмом палача Гитлера?

«Дело идет таким образом о жизни и смерти Советского государства, о жизни и смерти народов СССР, о том — быть народам Советского Союза свободными или впасть в порабощение?» (И. Сталин).

За одиннадцать месяцев войны Красная Армия, сражаясь пока один-на-один с немецко-фашистскими ордами, нанесла им ряд жестоких поражений, причинила непоправимые потери в людях и технике и гонит их прочь с советской земли. Красная Армия развеяла в прах легенду о непобедимости немецко-фашистской армии. Она подорвала у немецких солдат моральные силы и веру в победу. Красная Армия коренным образом изменила весь ход войны и поставила гитлеровскую армию перед катастрофой. Она пробудила в сознании порабощенных Гитлером народов уверенность в его неминуемом разгроме и показала им путь к освобождению.

В одиннадцатимесячных кровавых битвах Красная Армия выдвинула из своих рядов столько героев, презирающих смерть, полных самоотверженной любви к своей советской

родине и к свободе всего человечества, столько бойцов несгибаемого мужества, как ни одна армия в мире за всю человеческую историю.

Художественная литература не знала темы более возвышенной, способной вдохновить художника, придать ему творческие силы. Величие подвигов нашего народа и его Красной Армии таково, что оно затмевает самые сильные образы героев, созданные творческой фантазией прошлого — Геркулесов и Прометеев.

Художественная литература может и должна показать борцов Красной Армии во всей их силе и славе. Героические дела требуют героического, пламенного слова, зажигающего душу бойца горячей любовью к своему народу, опаляющего врага ненавистью и гневом. Советская художественная литература в великой отечественной войне должна выполнить наказ своего народа, требования партии, волю вождя и организатора побед Красной Армии великого СТАЛИНА.

Писатели — инженеры душ. Их прямой долг — показать, раскрыть всему миру высокий моральный облик героев — бойцов Красной Армии, показать с такой силой, чтобы он пробуждал дух героизма, заложенный в народных толщах, воспитывал его, звал на новые подвиги. Правда искусства глубоко волнует. Своей силой оно способно вдохновить бойца на битву, поднять его на сокрушение и уничтожение врага. Эту задачу может выполнить только тот писатель и поэт, который сам охвачен пафосом борьбы. Только писатель-боец, поэт-воин. Для победы нужна воюющая литература — и наша советская художественная литература должна стать и становится воюющей.

«Современная действительность, — говорил великий писатель Максим Горький, — предъявляет к людям искусства требование, может быть не очень «деликатное», но вполне законно обоснованное — требование активного участия в борьбе... против бесчеловечной, наглой и подлой группы всемирных грабителей».

Нет более драматического героя современности, чем тот, кто на фронте, с оружием в руках, гонит из пределов нашей страны, беспощадно уничтожает ненавистные орды завоевателей. Или тот, кто в тылу, в героическом труде, с напряжением всех своих сил неустанно кует оружие борьбы. Что-

бы изобразить его, этого величественного героя нашего времени во всей его немеркнущей красоте и славе, писатель и поэт должен всем сердцем почувствовать, познать своего героя в бою, на фронте или в тылу, в труде, своими ушами вслушаться в грохот великой битвы.

Художники слова должны также изобразить во всей отвратительной очевидности звериный лик врага, дать народу и бойцу почувствовать, осязать неисчислимые злодеяния и бедствия, которые немецкая армия грабителей и насильников несет свободным народам нашей родины.

Тем самым истинный художник слова будет учить бойцов ненавидеть лютого врага всеми силами души. А без этой неугасимой ненависти нельзя победить немецко-фашистских захватчиков.

Народ смотрит на писателей как на своих глашатаев, выразителей его заветных дум и его воли.

Максим Горький учил: «Художник — чувствилище своей страны, своего класса, ухо, око и сердце его; он — голос своей эпохи. Он обязан знать как можно больше».

Это — прямой завет, наказ всем советским писателям и художникам. Горький прямо предостерегал их: знакомство «с грозной действительностью всемирной борьбы» издалека, только по газетам — «пища мало питательная для художника слова».

Многие советские писатели и поэты выполняют свой долг: вместе с народом они ушли на войну, на передовую линию фронта войны или труда. Там одни непосредственно пулей и штыком, другие — пером, третьи — тем и другим вместе ведут смертный бой с врагом. Нет нужды говорить, что произведения именно таких писателей обладают, как правило, и наибольшей правдивостью, искренностью, силою убеждения. Именно эти писатели и поэты несут знамя советской художественной литературы и продолжают славные традиции русской литературы.

В грозный час битвы задача художественной литературы состоит в том, чтобы отдать все свои силы, все средства искусства завоеванию победы.

Достижению этой возвышенной и благородной цели писатели и поэты будут содействовать тем сильнее, чем выше художественные достоинства их произведений, чем сильнее

их искусство. Уже теперь, в ходе великой отечественной войны, они могут и должны стремиться создать обобщенные образы, силою своею достойные величия дела, творимого нашим народом и его Красной Армией, достойные героизма народа-освободителя.

Требование содействия делу победы и положено в основу при составлении предлагаемого вниманию читателя художественно-литературного сборника. Произведения, объединяемые в нем, создавались спешно, под воздействием неотложных потребностей войны, часто прямо на поле боя, в окопе, написаны в блокноте карандашом. Этим объясняются многие их недостатки, но в этом же источник их силы.

Это — первый сборник такого типа за время великой отечественной войны. Уже по одной этой причине он не может претендовать на полноту охвата произведений о великой освободительной борьбе советского народа.

В подготовке и редактировании материалов для сборника принимали участие т. т. А. Баев, Д. Вадимов,* С. Вашенцев, А. Виноградов, Д. Заславский, П. Павленко, И. Сац, М. Слободской, В. Ставский, А. Сурков, В. Сытин, А. Фадеев, С. Щипачев, С. Щукин, П. Юдин.

Вся непосредственная работа по составлению и редактированию сборника проведена бригадным комиссаром А. Баевым и батальонным комиссаром С. Щукиным.

Оформление книги — художника Н. Ильина.

* псевдоним Д.И. Ортенберга



„Войну с фашистской Германией нельзя считать войной обычной. Она является не только войной между двумя армиями. Она является вместе с тем великой войной всего советского народа против немецко-фашистских войск. Целью этой всенародной отечественной войны против фашистских угнетателей является не только ликвидация опасности, нависшей над нашей страной, но и помощь всем народам Европы, стонущим под игом германского фашизма".

И. СТАЛИН.

I







Вождю

Когда мы в поле, на ветру стоим
И нас встречает ураган свинца,
Как в дни работы, именем твоим
Окрылены бойцов сердца.

Грохочут пушки, и свистит шрапнель,
Но серый страх не вьет гнезда в груди.
Твою красноармейскую шинель
Боец в атаке видит впереди.

И перед каждым новым рубежом,
Когда вступает смерть в свои права,
Мы, как святыню, в сердце бережем
Твои простые, ясные слова.

Пусть мы не все под отчий кров придем,—
Отца сменяя, сын возьмет ружье.
К победе путь указан мне вождем,
И коммунизм — бессмертие мое.

АЛЕКСЕЙ СУРКОВ

Родина

За эти месяцы тяжелой решающей борьбы мы все глубже познаем кровную связь с тобой, еще мучительнее любим тебя, родина.

Надвинулась общая беда. Враг разоряет нашу землю, от пожарища к пожарищу бороздит ее танками и все наше — вековечное — хочет назвать своим. Счастливый и несчастный собираются у своего гнезда. Даже и тот, кто хотел укрыться, как сверчок, в темную щель и посвистывать там до лучших времен, и тот понимает, что теперь нельзя спастись в одиночку.

Гнездо наше, родина возобладала надо всеми нашими чувствами. И все, что мы видим вокруг, чего раньше, быть может, мы и не замечали, не ценили, как пахнущий ржаным хлебом дымок из занесенной снегом избы, — поразительно дорого нам. Человеческие лица, ставшие такими серьезными, и глаза всех — такими похожими на глаза людей с одной всепоглощающей мыслью, и говор русского языка — все это наше, родное, и мы, живущие в это лихолетье, — хранители и сторожа родины нашей.

Все наши мысли о ней, весь наш гнев, ярость — за ее поругание, и наша готовность — умереть за нее. Жертвенность, как тень, всегда сопутствует напряженной и большой любви. Как юноша говорит своей возлюбленной: дай мне умереть за тебя! Родина — это движение народа по своей земле из глубин веков к желанному будущему, в которое он верит и создает своими руками для себя и своих поколений. Это — вечно отмирающий и вечно рождающийся поток людей, несущий свой язык, свою духовную и материальную культуру и непоколебимую веру в законность и неразрушимость своего места на земле.

Когда-нибудь, наверно, национальные потоки сольются в одно безбурное море — в единое человечество. Но для нашего века это — за пределами мечты. Наш век — это суро-

вая, железная борьба за свою независимость, за свою свободу и за право строить по своим законам свое общество и свое счастье. Бешеный фашизм враждебен всякой национальной культуре, в том числе и немецкой. Всякую национальную культуру он стремится разгромить, уничтожить и стереть. Его пангерманская идея: «весь мир — для немцев» — лишь ловкий прием большой финансовой игры, где страны, города и люди — лишь особый вид безликих биржевых ценностей, брошенных в тотальную войну. Немецкие солдаты, которых берут в плен под Можайском, Малоярославцем и под Ленинградом, так же обезличены, потрепаны и грязны, как бумажные деньги в руках аферистов и прочей международной сволочи.

Эти пленные — предполагаемые украинские землевладельцы, новоявленные орловские помещики, гордые арийцы, хозяева мира, международные жандармы, владыки всех океанских путей — трясутся от холода и гриппа, в рваных без исподнего белья гимнастерках, скребут вшей и грязь и хотят только одного: конца войны, — это Гитлер обещал им при занятии Москвы. Фашистское командование валит и валит, как из мешка, эту отупевшую человеческую массу на красноармейские штыки и пушки. Они идут, ни во что уже больше не веря: ни в то, что когда-то жили у себя на родине, ни в то, что когда-нибудь вернутся. Германия — это только фабрика военных машин и место формирования пушечного мяса. Впереди — смерть, позади — террор и чудовищный обман. За пятый месяц восточной войны каждый немец, если он не слабоумный, понял, что завоевать весь мир будет еще труднее, чем продвинуться на десяток километров под Можайском. Их гонят, кривых, хромых, больных, — лишь бы они стреляли из автоматов, лишь бы они могли бежать за своими танками.

Эти люди намерены нас победить, бросить себе под ноги, наступить нам сапогом на шею, изгнать нас навсегда из Москвы, из всей нашей земли «оттич и дедич», как говорили предки наши. Земля оттич и дедич — это те берега полноводных рек и лесные поляны, куда пришел наш прашур жить навечно. Он был силен и бородат, в посконной длинной рубахе, соленой на лопатках. Смышлен и нетороплив, как вся дремучая природа вокруг него. На бугре над рекою он огородил тыном свое жилище и поглядел по пути солнца в даль веков.

И ему померещилось многое: тяжелые и трудные времена, красные щиты Игоря в половецких степях, и стоны русских на Калке, и установленные под хоругвями Дмитрия мужицкие копья на Куликовом поле, и кровью залитый лед Чудского озера, и Грозный царь, раздвинувший единые, отныне нерушимые пределы земли от Сибири до Варяжского

моря; и снова — дымы и пепелища великого разорения... Но нет такого лиха, которое уселось бы прочно на плечи русского человека. Из разорения, смуты государство вышло и устроилось и окрепло сильнее прежнего. Народный бунт, прокатившийся вслед за тем по всему государству, утвердил народ в том, что сил у него хватит, чтобы стать хозяином земли своей. Народ сообразил свои выгоды и пошел за бронзовым всадником, поднявшим коня на берегу Невы, указывая путь в великое будущее.

Многое мог увидеть пращур из-под ладони по солнцу... «Ничего, мы сдюжим», — сказал он и начал жить. Росли и множились позади него могилы отцов и дедов, рос и множился его народ. Дивной вязью он плел невидимую сеть русского языка — яркого, как радуга вслед весеннему ливню, меткого, как стрелы, задушевного, как песня над колыбелью, певучего и богатого. Он назвал все вещи именами и воспел свой труд. И дремучий мир, на который он накинул волшебную сеть слова, покорился ему, как обузданный конь, и стал его достоянием и для потомков его стал родиной — землей оттич и дедич.

Русский народ создал огромную изустную литературу: мудрые пословицы и хитрые загадки, врачевание, сопровождавшееся заговорами, веселые и печальные обрядовые песни, торжественные былины, — говорившиеся нараспев под звон струн, — о славных подвигах богатырей, защитников земли и народа, героические, волшебные, бытовые и пересмешные сказки.

Напрасно думать, что эта литература была лишь плодом народного досуга. Она была достоинством и умом народа. Она становила и укрепляла его нравственный облик, была его исторической памятью, праздничными одеждами его души и наполняла глубоким содержанием всю его размеренную жизнь, текущую по обычаям и обрядам, связанным с его трудом, природой и почитанием отцов и дедов.

Ни один из европейских народов не владеет таким художественным богатством. Там, на Западе, племена получили в наследство римскую цивилизацию, которую они до сих пор переваривают и не могут переварить. России достался в удел пустынный лес да дикая степь. Вплоть до XVIII века Россия жила по курным избам и все будущее богатство свое и счастье создавала и носила в мечтах, как скатерть-самобранку — за пазухой. Народ верил в свой талант, знал, что настанет его черед, и другие народы потеснятся, давая ему почетное место в красном углу. Но путь к этому был долог, труден и извилист. Византийская культура древнего Киева погибла под копытами татарских коней, Владимиро-Суздальской Руси пришлось почти четыре столетия бороться и с Золотой ордой, и с Тверью, и с Рязанью, и с Новгородом,

собирая и укрепляя землю. Во главе этой борьбы стала Москва.

Началась она с небольшого городища в том месте, где речонка Яуза впадает в Москву-реку. В этом месте, заворачивая на клязьминский волок, шел зимний торговый путь по льду — по рекам — из Новгорода и с Балтийского моря — в Болгары на Волге и далее — в Персию.

Младший Мономахович — удельный князь Юрий — поставил при устье Яузы мытный двор, чтобы брать дань с купеческих обозов, поставил другой мытный двор в Мытищах на Клязьме и поставил деревянный город — кремль — на бугре над Москвой-рекой. Место было бойкое, торговое, с удобными во все стороны зимними и летними путями. И в Москву стал тянуться народ из Переяславля Залесского, из Суздаля и Владимира и других мест. Москва обрастала слободами. По всей Руси прогремела слава ее, когда московский князь Дмитрий, собрав ополчение, пошатнул татарское иго на Куликовом поле. Москва становилась средоточием, сердцем всей русской земли, которую иноземцы уже стали называть Московией.

Иван Грозный, последний князь из гнезда Мономаха, завершил дело, начатое его отцом и дедом, — со страстной настойчивостью и жестокостью он разломал обветшавший застой удельной Руси, разгромил вотчинников-князей и самовластное боярство и основал единое русское государство и единую государственность с новыми порядками и новыми задачами огромного размаха.

Москва при Грозном обстраивается и украшается. Огромные богатства стекаются в нее из Европы, Персии, Средней Азии, Индии. Она оживляет торговлю и промыслы по всей стране и бьется за морские торговые пути. Кремль стоял над Москвой, как и сейчас стоит. Только на месте колокольни Ивана Великого (поставленной при Годунове) стояла круглая красная башня с колоколом — под ней ставили на правеж должников и там же сидели площадные подьячие, строча грамоты и кляузы.

Центр всей народной жизни был на Красной площади— здесь шел торг, сюда стекался народ во время смут и волнений, здесь вершились казни, отсюда цари и митрополиты говорили с народом, здесь произошла знаменитая, шекспировской силы, гениальная по замыслу и эффекту сцена между Иваном Грозным и народом — опричный переворот. Здесь через четверть века на Лобном месте лежал убитый лжеДимитрий в овечьей маске и с дудкой, сунутой ему в руки; отсюда нижегородское ополчение пошло штурмом на засевших в Кремле поляков. С этих стен на пылающую Москву хмуро глядел обреченный Наполеон. Не раз сгорая дотла и восставая из пепла, Москва, — даже оставшись после Пет-

ра «порфироносной вдовой», — не утратила своего значения, она продолжала быть сердцем русской национальности, сокровищницей русского языка и искусства, источником просвещения и свободомыслия даже в самые мрачные времена, узлом торговли и промышленности.

Настало время, когда европейским державам пришлось потесниться и дать место России в красном углу. Сделать их это заставил русский народ, разгромивший, не щадя жизней своих, непобедимую армию Наполеона. Русскому низко кланялись короли и принцы всей Европы, хвалили его доблесть, и парижские девицы ходили подручку с усатыми гренадерами и чубатыми донскими казаками по Булонскому лесу.

Но не такой славы, не такого себе места хотел русский народ, — время сидеть ему в красном углу было еще впереди. Все же огромный национальный подъем всколыхнул все наше государство. Творческие силы рванулись на поверхность с мутного дна крепостнического болота, и наступил блистательный век русской литературы и искусства, открытый звездой Пушкина.

Недаром пращур плел волшебную сеть русского языка, недаром его потомки слагали песни и плясали под солнцем на весенних буграх, недаром московские люди сиживали по вечерам перед восковой свечой над книгами, а иные — в лесных пустыньках, а иные, как неистовый поп Аввакум, — в яме, в Пустоозерске, и размышляли о правде человеческой и записывали уставом и полууставом мысли свои. Недаром буйная казачья вольница разметывала переизбыток своих сил в набегах и битвах—все, вся широкая творческая, страстная, взыскующая душа народа русского нашла отражение в нашем искусстве XIX века. Оно стало мировым и во многом повело за собой искусство Европы и Америки.

Русская наука дала миру великих химиков, физиков и математиков. Первая паровая машина была изобретена в России, так же как вольтова дуга, беспроволочный телеграф и многое другое. Людям науки и в особенности изобретателям приходилось с неимоверными трудами пробивать себе дорогу, и много гениальных людей так и погибло для науки, не пробившись. Свободная мысль и научная дерзость ломали свои крылья о невежество и косность царского политического строя. Россия медленно тащила колеса по трясине. А век был такой, что отставание — «смерти подобно». Назревал решительный и окончательный удар по всей преступной системе, кренившей Россию в пропасть и гибель. И удар произошел, отозвавшись раскатами по всему миру. Народ стал хозяином своей родины.

Пращур наш, глядя посолонь, наверно, различил вдали веков эти дела своего народа и сказал тогда на это: «Ничего, мы сдюжим...»

И вот смертельный враг загораживает нашей родине путь в будущее. Как будто тени минувших поколений, тех, кто погиб в бесчисленных боях за честь и славу родины, и тех, кто положил свои тяжкие труды на устроение ее, обступили Москву и велят нам: свершайте!

На нас всей тяжестью легла ответственность перед историей нашей родины. Позади нас — великая русская культура, впереди — наши необъятные богатства и возможности, которыми хочет завладеть навсегда фашистская Германия. Но эти богатства и возможности, — бескрайние земли и леса, неистощимые земные недра, широкие реки, моря и океаны, гигантские заводы и фабрики, те тучные нивы, которые заколосятся, те бесчисленные стада, которые лягут под красным солнцем на склонах гор, то изобилие жизни, которого мы добьемся, вся наша воля к счастью, которое будет, — все это — неотъемлемое наше навек, все это наследство нашего народа, сильного, свободолюбивого, правдолюбивого, умного и не обиженного талантом.

Так неужели можно даже помыслить, что мы не победим! Мы сильнее обовшивевших немцев! Чорт с ними! Их миллионы, нас миллионы вдвойне! У них на данное время преимущество в вооружении, особенно в танках. Но из ружья стреляет человек, Красная Армия истребляет этого стреляющего человека. Все опытнее, увереннее и хладнокровнее наша армия делает свое дело — истребление немецких захватчиков. Они ведут отчаянную и — по их расчетам — последнюю битву за Москву в истерической надежде хотя бы по сотням тысяч своих трупов пробиться к сердцу нашей родины. Расчет неверный и надежда безумная. Москва — это больше, чем стратегическая точка, больше, чем столица государства. Москва — это идея, охватывающая всю нашу культуру во всем ее национальном движении. Через Москву — наш путь в будущее. Под Москвой германская военная машина изнеможет. И тогда изменится весь ход войны.

Как Иван в сказке, схватился весь русский народ с чудом-юдом двенадцатиглавым на Калиновом мосту. «Разъехались они на три прыска лошадиных и ударились так, что земля застонала, и сбил Иван чуду-юду все двенадцать голов и покидал их под мост».

Земля оттич и дедич немало поглотила полчищ наезжавших на нее насильников. На Западе возникали империи и гибли. Из великих становились малыми, из богатых — нищими. Наша родина ширилась и крепла, и ничто не могло пошатнуть ее. Так же без следа поглотит она и эти немецкие орды. Так было, так будет.

«Ничего, мы сдюжим...»

АЛЕКСЕЙ ТОЛСТОЙ

Поэма любви и гнева

Эту поэму народный певец Казахстана сложил на проводах своих учеников-поэтов в действующую Красную Армию.

1

Сын мой, радость отцовских глаз!
Барымтач налетел на нас,
Злой басмач налетел на нас,
Он, палач, захотел у нас
Солнце сталинское украсть.
Он шакалью разинул пасть,
Обнажил он свои клыки.
Сталин в битву повел полки,
Сталин в битву народ позвал.
Я коня тебе оседлал,
Богатырский меч наточил.
Ты садись в седло и скачи,
Немцам головы ты коси,
Мою ненависть проноси.
Проноси ты Джамбулов гнев,
Проноси ты аулов гнев
В пепелящем врага огне!

2

Если встретится смерть тебе,
Перед нею, сын, не робей,
Спину ты перед ней не гни,

Ты узду назад не тяни,
Думы черные отгони.
Ты в глаза ей смелей взгляни,
Ты мечом тяжелей взмахни,
Ты скажи: «Сторонись, карга!» —
И увидишь — твоя нога
Через пропасть перешагнет,
Смерть с дороги твоей свернет.
Смерть бесстрашного не берет.
И тебя полюбит народ,
И воздаст он тебе почет,
И Джамбул о тебе споет,
И молва о тебе пойдет,
Сталин соколом назовет.

3

Ты во имя родной страны
Про свои забудь табуны,
Про аульные казаны,
Про расшитые чапаны.
Ни любимой своей жены,
Ни веселых своих детей,
Ни себя, мой сын, не жалей!
Ты и юрту свою забудь,
Под грозой расправляя грудь.
Вражьей кровью залей ты путь,
Настоящим воином будь!
Моих песен не осрами,
Змея Гитлера ты прижми
Богатырским своим плечом,
Отруби ему хвост мечом,
Жало гадины оторви,
Сапогом башку раздави,
А змеиное сердце вынь
И вонючим шакалам кинь.

4

Не давайся врагу живьем,
Бей копьем его и ружьем,
Будь отважен, как Суранши,

На фашиста огнем дыши,
И мечом летучим кроши,
Кулаком покруче круши,
Пятерней могучей души,
Охнуть ты ему не давай,
В землю ты его забивай,
Чтоб дошла голова до ног,
Чтоб вовеки он встать не мог.

5

Если ж будет неравен бой,
Если сдавит аркан тугой,
Если вороны над тобой
Соберутся на черный той,
Будь бесстрашен, как Махамбет,
Ты ни слова врагу в ответ
И на пытке не говори.
Плюнь в глаза ему и умри.
И тебя полюбит народ,
И воздаст он тебе почет.
И бессмертье к тебе придет.
Песню славы седой Джамбул
О тебе, мой сын, запоет!
Ты, мой сын, в грозовые дни
Дружбу сталинскую храни.
В сече смелой будь вожаком,
Как бесстрашный Амангельды,
Будь батыром-большевиком!
. . . .
У отчизны светлой моей
Много соколов-сыновей.
Сыновья летят в облаках
На крылатых аргамаках
И в стальном, боевом седле
Мчатся, грозные, по земле...
Дал им силу отец-народ.
Сталин в битву сынов ведет,
Смелых к подвигам он зовет.
Час расплаты с врагом настал.
Кто добычи у нас искал,
Тот могилу свою найдет.

ДЖАМБУЛ
С казахского перевел П. Кузнецов

Кровь народа

Говорили, что Москва сгорела от копеечной свечки. Наполеон, задумывая поход на Россию, не предусмотрел этой копеечной свечки и слишком поздно понял, что огонь ярого воска горит в каждом сердце русского человека, и Россия — не какая-нибудь Пруссия, которая сразу же — при первом ударе под Иеной — покорно стала на колени ради спасения животов своих.

Россия широка, и размах ее жизни широк. Сжигая древнюю Москву, чтобы один пепел достался наполеоновской двунадесятиязычной армии, русские спасли свою святыню — отечество: сохранен будет корень — высохнут слезы, заживут раны, и миллионы золотых рук — камень за камнем — заново сложат Москву богаче прежней.

С не меньшей жертвы началась жизнь молодой, вконец разоренной, Российской Советской Федеративной Социалистической Республики. В начале восемнадцатого года пришлось дорогой ценой купить короткую передышку, чтобы собрать разметанные силы страны, создать на смену распавшейся царской армии революционную Красную Армию и спасти основное и главное: независимость, где забил источник всечеловеческой правды. Или погибнуть, или завоевать себе право устроить жизнь по правде — так был поставлен вопрос, и все промежуточные компромиссные решения отвергнуты.

Немцы тотчас же, вероломно и подло, нарушили условия договора 1918 года. Известен их план присоединения навечно Украины, Донбасса и Крыма, овладения Черным морем, Кавказом, Месопотамией, Персией и вторжение в Индию. Пригрозив Москве ультиматумом, они потребовали передачи им Черноморского флота.

В ответ на это черноморские моряки вывели весь флот на рейд в Новороссийске и потопили его. Когда эсминец «Керчь», выполнявший эту операцию, подошел к последнему кораблю, линкору «Свободная Россия», и выбросил торпеду,

моряки, стоявшие на «Керчи», сняли фуражки. Линкор, как живой, боролся за жизнь, — сквозь взрывы и потоки воды было видно, как дрожала его мачта. Только после четвертой торпеды он начал погружаться. Моряки утерли слезы и поклялись отомстить за это дело, поклялись победить, не щадя жизней своих.

Меньше чем в четверть века наша страна выросла в могучий, неисчислимо богатый Советский Союз, грозный для врага и верный в дружбе для друзей своих. И вот перед нами стоят новые жертвы, и снова — то же решение: отдать всего себя, все силы для победы.

Четыре месяца без нескольких дней длится битва — упорная, ожесточенная и кровавая, какой не знало человечество. Германские армии, мобилизованные для завоевания всего мира, встретили, не ожидая того, жестокого и беспощадного противника. До сих пор соотношение сил — в вооружении и людской численности — на стороне немцев. Все заводы Европы готовят вооружение Гитлеру, и даже вводя поправку на бомбардировку его заводов, на саботаж покоренных стран и партизанское вредительство, оружия, в особенности танков, у него до последних дней было больше нашего.

И все же первая фаза войны — «молниеносной» — была им проиграна. Не удался высокомерный расчет Гитлера: сохраняя свои резервы, возможностями только 175 танковых и стрелковых дивизий, разгромить Красную Армию и бросить Советский Союз в отчаянии, на колени, на его немилость.

Эта неудача Гитлера повлекла целый ряд серьезных последствий. Она таила в себе ту же неумолимую логику событий, как и роковая неудача немцев под Марной в 14-м году. Неудача Марны, казавшаяся вначале эпизодом, логически привела к разгрому и капитуляции вильгельмовской Германии.

Неудача «молниеносной» войны вызвала со стороны Гитлера необходимость ввести в бой все свои людские и материальные резервы и перевести Германию и покоренные страны на жесткий, голодный, террористический режим; с нашей стороны это дало нам возможность быстрой мобилизации основных сил Красной Армии и военной промышленности и на шахматной доске истории позволило сделать — совсем уже неожиданно для Гитлера — шах королю трехглавым конем: Советская Россия — Англия — Америка.

Вторая фаза войны проходит у Гитлера под угрозой потери инициативы; в системе его стратегического плана получился разрыв, появилась неизбежность зимней кампании, чудовищной растраты людских резервов и вооружения и в то же время усиления его противника.

Гитлер теперь ничего не щадит: любыми жертвами он

хочет поправить первую неудачу, вернуть время вспять и трупами четырех, пяти, энного количества миллионов немцев загородить своего короля от шаха трехголового коня. Предельным напряжением всех сил он добивается окончания войны до зимних холодов или, уж на худой конец, размещения своих армий на зиму в Москве и Ленинграде.

Немецкие дивизии, укомплектованные мальчишками и почтенными немцами, у кого в сердце только отчаяние и ужас, наступают. Румынские, венгерские, итальянские дивизии двинуты туда же — в кровавую бойню. Все это лезет на наши укрепления, дико вопит, отчаявшись в жизни, гибнет, гибнет, и новые волны идут по трупам. Их поят водкой, их понукают наведенными в спины пулеметами. Это нашествие смертников.

Хотел бы я на минутку заглянуть к Гитлеру в его роскошный кабинет или шикарное бомбоубежище... «Что вы думаете делать дальше, немец, каковы ваши перспективы?»

«Русские отступают!» — заорал бы он, раньше чем отправить меня к палачу, чтобы топором отрубить голову.

Красная Армия отступает, но Красная Армия ни разу не была разбита, вам не удалось ее ни окружить, ни пошатнуть. Не всякий боксер, начавший из последних сил молотить кулаками, не щадя своих скул и носа, выигрывает драку. Тот выигрывает драку, у кого в запасе больше физических и моральных сил. У вас они истрачены, ваш тыл пустой, ваше наступление напоминает августовское наступление Людендорфа в 1918 году, когда он рассчитывал только на чудо — и чуда не совершилось. На какое чудо вы сейчас рассчитываете? Красная Армия опирается на могучий тыл и на волю народа к победе, а ваш тыл похож на гнилое дупло. Красная Армия вас остановит, на зиму вам придется перейти к обороне и поджимать ножки, как тараканам, выброшенным на снег. В наступление вы бросили все, как неразумный игрок, стиснувший от бешенства зубы. Германский бог вам не поможет и не пошлет крылатых валькирий для весеннего наступления. Вам придется думать об отступлении и бегстве. В Ленинград вам не удалось ворваться, там триста тысяч немцев уже кормят могильных червей. Два раза вы пытались наступать на Москву, — под Ельней ваши дивизии были позорно разгромлены, из-под Брянска генерал Гудериан едва унес половину своих танков. Мы не хвастаемся этими нашими удачами, наши удачи впереди. Мы лишь только обнаружили перед всем миром, что немецкая якобы непобедимость пугало для детей. И вот — примите уверение, что Москвы вам не взять. Красная Армия и русский народ Москвы немцам не отдадут.

В третье — октябрьское — наступление на Москву немцы естественно и логично должны были начать с успеха: у них

в местах удара было подавляющее преимущество в людской силе и танках. Мы потеряли Брянск, Вязьму и Орел. Москва в опасности.

На этом и закончится вторая фаза войны — отчаянного, бешеного наступления Гитлера, но не его победой, о чем он уже широко обвещал мир, не зимними квартирами немцев на Тверской, Мясницкой и Арбате, не фотографическим снимком самодовольно ухмыляющегося Гитлера у Спасских ворот Кремля! Нет, поход его на Москву закончится нашей великой всенародной победой: в эти грозные дни германские армии будут остановлены перед Москвой и лягут в снега.

Фронт наших отступивших красных дивизий уплотняется и насыщается. Большое количество артиллерии и других огневых орудий стягивается на подступах к Москве. Подходят людские подкрепления. На всех заводах Советского Союза усиливается выпуск танков, самолетов, орудий, оружия и боеприпасов. Инженеры и рабочие по нескольку суток не выходят из цехов, чтобы поднять круто вверх график выпуска продукции. Русское сердце участило свои удары, и они, как удары молота, как набатный колокол, раздаются по всей земле. Москва в опасности!

Мы сравняемся с немцами в самом насущном — в количестве танков. И Гитлер оттянет руку от трехголового коня, глядящего ему в кошачьи глаза с непоколебимой ненавистью: умри, погибни!

Наши жертвы велики. Разрушены и разорены города, врагом захвачен Киев — мать городов русских, сожжены без числа села и деревни, вытоптаны нивы, миллионы советских людей стонут под игом свирепых завоевателей — немцев, о которых только можно сказать, что они заставили нас и весь мир перестать верить, будто из Германии когда-то шел тихий и чистый свет науки, философии, поэзии и гуманизма.

Нам самим пришлось погубить любимого первенца наших пятилеток. Мы взорвали плотину Днепрогэса. Когда части Красной Армии, сдерживая врага, позволили закончить эвакуацию всего имущества, был включен рубильник, и красавица плотина, открывавшая дерзкую и героическую эпоху превращения в пятнадцатилетний срок отсталой России в передовую страну мощной индустрии и механизированного сельского хозяйства, взлетела на воздух. Днепр хлынул в бреши в 40 метров длиной, и воды его затопили позиции фашистов на правом берегу. Обнажились пороги, и черным зубом с днепровского дна снова, как встарь, поднялся Неясыть, преграждая водный путь.

Днепрогэс строил весь советский народ, отдавая свои сбережения, урезывая насущные потребности. Строили его десятки тысяч строительных рабочих, комсомольцы, инженеры, ученые, строили рабочие на заводах Ленинграда, Москвы,

Харькова, Криворожья и других городов, строили его и те безвестные граждане, кто за тысячи верст от Днепра ворчали на скудность жизни и все же несли и свою копеечку строящемуся великому будущему страны. Бетон плотины Днепрогэса уложен на трудовом поте всего стасемидесятимиллионного народа.

Днепрогэс дал жизнь огромному комбинату старых и новых заводов — металлургических, механических, алюминиевых, ферросплавов, коксовых заводов Днепропетровска, Запорожья, Днепродзержинска, Кривого Рога. Днепрогэс поднял воды Днепра, и пароходы побежали от Орши, — через пороги и шлюзы,—в Черное море. Киев соединился с морем. Прокатная сталь, алюминий, ферросплавы, кокс пошли на заводы Советского Союза.

Дорого бы дали немцы, чтобы весь Днепровский мощный промышленный узел, вместе с питающим его Днепрогэсом, невредимым попал им в руки. Сколько лишних боевых машин построили бы они, как бы пополнили свои катастрофически тающие запасы сырья, сколько бы добавочно снарядов обрушили на наши головы...

Этого не случилось. «В захваченных районах создавать невыносимые условия для врага... Срывать все его мероприятия... При вынужденном отходе все ценное имущество, которое не может быть вывезено, должно безусловно уничтожаться...» — таковы указания товарища Сталина.

Мы взорвали все шахты в Криворожьи, превратили в груды развалин верфи в Николаеве. В городах днепрогэсского индустриального узла взорваны электростанции, водопроводы и трамвайные парки. В этих, еще недавно шумных, городах — пустыня и мертвая тишина, по ночам тьма, и воду немцам приходится возить в бочках из Днепра.

Мы сами уничтожили один из мощных узлов металлургии и промышленности. Немцам не досталось ничего, — развалины, пустые корпуса пустых заводов. Все оборудование заводов Днепропетровска, Днепродзержинска, Запорожья Кривого Рога, Никополя, все машины, станки, оборудование и ценное сырье было заблаговременно вывезено в глубь страны, в разные промышленные районы, частью смонтировано в новопостроенных корпусах, частью обогатило оборудование действующих заводов. И на сегодня в эвакуированных электропечах уже начинает плавиться сталь, станки точат снаряды и растачивают орудия, на станах прокатываются плиты для танков, гидро- и паромолоты куют мощь Красной Армии.

Уничтожая своими руками эти огромные ценности, созданные священным трудом народов нашего Союза для своего грядущего счастья, мы не вытирали слез, у нас их нет, их иссушила ненависть. И клятва наша: за гибель — гибель.

На гибель себе, на гибель фашистским полчищам заставил Гитлер нас дать эту клятву смерти. Миллионами своих могил покроют немцы все дороги.

Немцы несут ответственность за те ужасы, несчастья и разрушения во всех странах, куда вторглись немецко-фашистские орды. Немецкому народу, если он не опомнится и не покончит с кровавым режимом Гитлера, вновь придется пройти по кровавым следам своим, но уже не как воину-агрессору, но потрудиться — восстановить разрушенное и залечить наши раны. Так будет справедливо.

Но жертвы самой большой, но Москвы в жертву мы не принесем. Пусть Гитлер не раздувает ноздри, предвкушая этот жертвенный дым.

Звезды над Кремлем кинжальными лучами указывают русским людям: вперед! Вперед на сокрушение врага! Вперед — за нашу свободу, за нашу великую родину, за нашу святыню — Москву!

19 октября 1941 г. *АЛЕКСЕЙ ТОЛСТОЙ*



За Родину Сталин ведет на врага!

За Родину Сталин ведет на врага,
Родина светлая всем дорога,
Кровью батыров добыта она,
Дружбой народов она скреплена —
Непобедимая наша страна.

В юрте спокойно останусь ли я,
Грудью за землю не встану ли я,
Звонких стремян не достану ли я,
Вместе с народом устану ли я
Петь свои песни в труде и в боях?
Эй, сыновья, оседлайте коня!
Вместе со Сталиным — песня моя!

Мир молодой нашей радостью стал,
Солнцем народов из бездны он встал.
Ночью на нас через старый дувал
Черный шакал ненавистный напал.

В песне народ неспроста говорит:
«Зверь перед смертью от страха дрожит
И на открытое место бежит».

Место закрыто. Наши штыки
Выбьют фашистам шакальи клыки.

Эй, сыновья, седлайте коня!
Вместе со Сталиным — песня моя!
Вышли два мира неравных на бой —
Мир одряхлелый и мир молодой.

В песне народ неспроста говорит:
«Гад будет раздавлен, орел воспарит».
Сталин — орел наш, и стаи орлят
Всюду с победой за ним полетят.
Слушайте, степи родные, меня —
Армии Красной ведите коня.

Лейся, горячий чимкентский свинец,
Смертью для черных фашистских свиней
Лейся рекою, балхашская медь,
Чтобы снарядом советским греметь
Каспий широкий, побольше улов
Родина ждет от твоих рыбаков.
Хлопок, и хлеб, и свои табуны
В час грозовой отдадим для страны.

Сталин зовет нас в труде и в бою
Биться с врагом за отчизну свою.
Край мой любимый, родной Казахстан,
Весь поднимайся на вражеский стан!

ДЖАМБУЛ

С казахского перевел П. Кузнецов



Выстоять!

Немцы хотят нас разъесть своей ложью. Они говорят колхозникам: «Мы не против вас, мы против рабочих». Они говорят рабочим: «Мы не против вас, мы против интеллигентов». На самом деле им все равно, кто ты — рабочий, колхозник, украинец, грузин, еврей: они против всех нас. Они хотят завоевать нашу землю. Они хотят взять наше добро. Половину людей они хотят уничтожить. Другую половину обратить в рабство.

Они говорят — им все равно, какой у нас строй. Да, им нужно нас ограбить. Во Франции была республика. Немцы были тогда против республики. В Югославии была монархия — немцы были против монархии. В Польше было правое правительство — немцы были против правых. В Норвегии было левое правительство — они были против левых.

Они говорят: «Мы против коммунистов». Ложь. Они против всех граждан нашей страны. Они только за своих шпионов. Все честные люди для них враги. Кого они сейчас расстреливают в Чехословакии? Коммунистов? Не только. Но и генералов, рабочих, крестьян, учителей, левых и правых. Они сажают в тюрьмы католических священников Франции, Бельгии, Словении. Они пытают православных священников Сербии. Может быть, для них аббаты и священники тоже «коммунисты»?

Они говорят: «Мы против евреев». Ложь. У них есть свои евреи, которых они жалеют. У таких евреев в паспорте две буквы — «W. J.» — «ценный еврей». В Югославии немцы объявили, что «низшая раса» — сербы. В Польше они обратили в рабство поляков. Они говорят, что французы «низшая раса — полунегры». Русских они называют «монгольскими выродками». Они ненавидят все народы, кроме немцев. Они презирают все расы, кроме немецкой.

Они говорят, что они дадут крестьянам землю. Ложь. Для крестьян у них одна земля — на могилу. У кого в Гер-

мании земля? У герцога Кобург-Гота десять тысяч га, у герцога Фридрих-Ангальта двадцать девять тысяч га, у графа фон Арним Мускау двадцать шесть тысяч га, у маршала Геринга двадцать тысяч га. Эти герцоги, графы, бароны решили прикарманить русскую землю.

Немцы вводят в захваченных областях крепостное право. Колхозы они превратили в «предприятия германской армии», машинно-тракторные станции объявлены собственностью германского государства. Колхозники обязаны работать на «общинных дворах» под надсмотром немецких офицеров.

Они говорят, что они несут рабочим «социализм». Ложь. Кто правит Германией? Капиталисты. Круппы, Феглеры. На одного маршала Геринга работает шестьсот тысяч рабочих. Геринг любит кобелей. Каждый его волкодав стоит больше, чем зарабатывают сто рабочих. Немецкие капиталисты хотят забрать нашу нефть, наш уголь, нашу сталь, наш марганец, наш лес. Рабочие будут работать на них и есть помои. Немецкий медицинский журнал недавно разъяснил, что мясо «чрезвычайно вредно для славянской расы», поэтому немцы, заботясь о спасении всех рас, переведут всех славян на вегетарианский режим. Котлеты будут есть Геринги — им полезны котлеты с картошкой. Кожуру от картошки они выдадут русским рабочим.

Они говорят, что они несут интеллигенции культуру. Жалкие выродки, они смеют говорить о культуре нам, стране Пушкина и Толстого, Менделеева и Павлова, Мусоргского и Бородина. Они заставили французских писателей продавать на улицах орехи. Они заставили чешских профессоров убирать немецкие конюшни. Они заставили голландских музыкантов чистить сапоги немецким ефрейторам. Они уничтожают культуру. Они ищут русских ученых, русских врачей, русских инженеров, чтобы послать их на «трудовые работы»: убирать в Германии выгребные ямы.

Они говорят, что они чтут мораль. Это развратники, мужеложцы, скотоложцы. Они устроили у себя случные пункты. Это их скотское дело. Но они хватают русских девушек и тащат их в публичные дома, выдают их своей солдатне! Они их насилуют, заражают сифилисом.

Они говорят, что они исповедуют католическую религию. Но они поклонники языческого бога Вотана. Они вешают священников. У них написано на бляхах «с нами бог». Но этими бляхами они бьют по лицу агонизирующих пленных.

Они говорят, что они сторонники национальной культуры. О культуре они ничего не слыхали. Культура у них — это автоматические ручки и безопасные бритвы. Автоматическими ручками они записывают, сколько девушек они изнасиловали. Безопасными бритвами они бреются. А потом опасными бритвами отрезают носы, уши и груди у своих жертв.

Они призывают фламандцев резать валлонцев, они призывают хорватов резать сербов, они призывают украинцев резать русских. А потом они режут фламандцев, сербов и украинцев. Они заставляют норвежцев говорить по-немецки. Они заставляют чехов писать по-немецки. Они заставляют поляков перед смертью хрипеть по-немецки. Они уничтожают национальную культуру. Они требуют, чтобы все народы отреклись от своей культуры. Они хотят, чтобы была только одна нация: немцы. Остальные пусть лижут камень и глотают пыль.

Они не сотрут нас силой. Они не возьмут нас хитростью. Каждый советский боец знает, за что он идет в бой. Колхозник дерется за землю дедов. Рабочий — за труд, за свое государство. Интеллигент сражается за нашу культуру, за книги, за право мыслить, творить, совершенствовать мир. Юноши сражаются за чистоту любви, за русских девушек. Отцы — за счастье детей и за честь матери. Подростки — за то, что им предстоит впереди. Старики — за то, что они сделали. Русские — за Пушкина, за Волгу, за березы. Украинцы — за Шевченко, за хаты, за вишни. Грузины — за Руставели, за горы, за виноградники. Все народы за одно — за родину.

Враг наступает. Враг грозит Москве. У нас должна быть одна только мысль — выстоять. Они нападают, потому что им хочется грабить и разорять. Мы защищаемся — потому что мы хотим жить. Жить как люди, а не как немецкие скоты. С востока идут подкрепления. Разгружают пароходы с военным снаряжением: из Англии, из Америки. Каждый день горы трупов отмечают путь Гитлера. Мы должны выстоять. Октябрь сорок первого года наши потомки вспомнят как месяц борьбы и гордости.

Гитлеру не уничтожить Россию! Россия была, есть и будет.

12 октября 1941 г. *ИЛЬЯ ЭРЕНБУРГ*

★

Суровая годовщина

Товарищ Сталин, слышишь ли ты нас?
Ты должен слышать нас, — мы это знаем.
Не мать, не сына в этот грозный час —
Тебя мы самым первым вспоминаем.
Еще такой суровой годовщины
Никто из нас не знал за жизнь свою,
Но сердце настоящего мужчины
Лишь крепче закаляется в бою.
В дни празднеств проходя перед тобою,
Не думая о горестях войны,
Все те, кто праздник свой привык с тобою
В былые дни встречать у стен Кремля,
Встречают этот день на поле боя,
И кровью их обагрена земля.
Они везде — от пламенного Юга,
От укреплений под родной Москвой
До наших мест, где северная вьюга
В окопе заметает с головой.
Одетые по-праздничному люди,
Мы под оркестры шли за рядом ряд,
Над головой гремел салют орудий, —
Теперь орудья, смерть неся, гремят.
И мы, сменив пальто свои, надели,
Когда суровый час нам приказал,
Такие же солдатские шинели,
В какой на мавзолее ты стоял.
Ты помнишь, как высокие знамена,
Что море, шли, катя за валом вал;

Московские заводы поименно
По стягам ты с трибуны узнавал.
Теперь они обветрены от стужи,
Пробиты пулями, обожжены.
От этого они не стали хуже,
Они огнем войны освящены.
Есть те, кто в этот день в сраженьи
Во славу милой родины падет,
В их взоре, как последнее виденье,
Сегодня площадь Красная пройдет.
Товарищ Сталин, сердцем и душою
С тобою до конца твои сыны,
Мы твердо верим, что придем с тобою
К победному решению войны.
И жертвы, и потери, и страданья,
И битвы верность русскую крепят.
Мы знаем, что еще на площадь выйдем,
Добыв победу собственной рукой,
Мы знаем, что тебя еще увидим
Над праздничной народною рекой.
Как наше счастье, мы увидим снова
Твою шинель, солдатской простоты,
Твои родные, после битв суровых,
Немного постаревшие черты.

К. СИМОНОВ

★

Солнцеворот

Это было в солнцеворот. Самая короткая ночь в году прикрыла злодеяние немцев. Мы знаем теперь, как это было, по сотням немецких дневников, по рассказам пленных. Дивизии Гитлера были подготовлены к нападению. Немцы нетерпеливо перебирали ногами: их манила богатая и сытая страна. Сигнальные ракеты прорезали теплую ночь. Раздались первые выстрелы. Немецкие самолеты бомбили наши города. Это было в ночь на воскресенье. Одни мирно спали, другие развлекались в клубах, на вечеринках... Немцы напали исподтишка, прилетели на яркие огни городов, ползли, как гады в нескошенной траве, переплывали пограничные реки, убивали безоружных жителей.

Это было полгода тому назад. Всего полгода... Нам кажется, что это было сто лет тому назад: на войне день становится годом.

Вспомним — мы были тогда молодыми. Мы многого не понимали. У нас тогда были седые люди с детской душой. Теперь у нас и дети все понимают. Мы выросли на сто лет. Ничто так не возвышает народ, как большое испытание. Нашу верность проверили каленым железом. Нашу гордость испытали танками и бомбами. Мы выкорчевали из сердец беспечность. Мы выжгли малодушие. Легко мы расстались с уютом и покоем. Шли месяцы. Враг продвигался вперед. Жестче становились глаза. Люди молчали. Но молча они думали об одном: мы выстоим.

Все короче становились дни. Вот и новый солнцеворот. Самая длинная ночь в году покрыла снежные просторы. По белому снегу среди черной ночи идут наши бойцы. Они идут вперед. Они преследуют отступающего врага. Мы выстояли.

Немногие из немецких солдат, перешедшие 22 июня нашу границу, выжили. Шесть месяцев тому назад они весело фыркали: война им казалась забавой. Они восторженно гра-

били первые белорусские села. Они обсуждали, какое сало лучше — сербское или украинское. Они думали, что они — непобедимы. Разве они не побывали в Париже? Разве они не доплыли до Нарвика? Разве они не перешагнули через горы Эпира? Они пришли к нам посвистывая. Где они? В земле.

На их место пришли новые. Пришли старики. Пришли подростки. Пришли калеки. Пригнали испанских каторжников. Пригнали румынский скот. Пригнали марсельских сутенеров. Пригнали босячье всей Европы. Немцы еще стреляют из автоматов. Немцы еще ранят наши города. Немцы еще пускают на нас свои танки. Но это не те немцы. Вода разъедает камень. Наше сопротивление разъело немецкую душу. Где их былая спесь? Они не поют, они дрожат от холода. Они мечтают не о московских ресторанах, но о хате, о крыше, о хлеве. Они суеверно говорят друг другу: «Зима только начинается...» Они замерзали в декабре, что с ними станет к февралю? В ночь солнцеворота мы с усмешкой им напомним: солнце — на лето, зима — на мороз.

Мы знаем, что враг еще силен. Есть имена, которые жгут наши сердца, они не дают нам спать, они кормят нашу ненависть, они пестуют наш гнев. Вот эти имена: Киев и Харьков, Курск и Орел, Днепропетровск и Одесса, Минск и Смоленск, Псков и Новгород. Мы помним о городах-мучениках. Мщение — как вино, со временем оно становится крепче. Мы только пригубили чашу. Мы знаем, что миллионы живых немцев еще топчут нашу землю. Ни минуты передышки! Отдыхать мы будем потом. Но в ночь солнцеворота мы спокойно говорим: шесть месяцев для нас не прошли даром, мы научились бить немцев. Мы были народом на стройке. Мы стали народом на войне.

В длинные декабрьские ночи среди сугробов шли немцы. Они шли на запад. Мир увидел необычное зрелище: немцы убегали. Они убегали, теряя танки и орудия. Убегая, они жгли города. Зарево освещало немецкие трупы. В Германии они зажигали костры в честь своих побед. У нас они жгли русские города в честь своего поражения.

В эфире звучат имена наших побед: Ростова и Ельца, Клина и Калинина. Это звенит рог победы. Он доходит до всех материков. От Америки до Ливии, от Норвегии до Греции об одном говорят люди: немцы отступают. Выше подняли голову французы. Чаще грохочут выстрелы сербских партизан. С восхищением смотрят на Красную Армию наши друзья и союзники. Не зря древние лепили победу с крыльями: она облетает моря. Наши победы — это победы всего человечества. В тяжелые октябрьские дни, когда враг наступал, когда Гитлер готовился к въезду в Москву, мы повторяли одно: «Выстоять!» Победа не упала с неба. Мы ее

выстояли. Мы ее выковывали. Мы ее оплатили горем и кровью. Мы ее заслужили стойкостью и отвагой. Нас спасла высшая добродетель — верность.

Героев Ростова благодарит Париж. За героев Калинина молятся верующие сербы. Героев Ельца приветствует Нью-Йорк. Героям Клина жмут руки через тысячи верст стойкие люди Лондона. Русский народ принял на себя самый тяжкий удар. Он стал народом-освободителем.

Нелегко дались нам эти первые победы. Мы думаем в эту ночь солнцеворота о всех пионерах победы. Мы вспоминаем бойцов, которые вокруг Москвы не дрогнули под натиском танков. Мы вспоминаем прекрасный Ленинград. На его долю выпали горькие испытания. Город, который казался академией, музеем, заводом, стал крепостью. Мы думаем о наших летчиках, о наших моряках. Мы думаем о человеке, который в летнее утро сказал нам суровые и правдивые слова, который в грозный день седьмого ноября приподнял нас своим мужеством и своей волей, который провел корабль государства через грозные штормы, мы думаем о нашем главнокомандующем, о Сталине.

Впереди еще много испытаний. Нелегко расстанется Германия со своей безумной мечтой. Нелегко выпустит паук из своей стальной паутины города и страны. Немцы не уйдут с нашей земли. Их нужно загнать в землю. Их нужно уничтожить. Одного за другим.

22 декабря. Солнце — на лето, зима — на мороз. Добавим: война — на победу.

ИЛЬЯ ЭРЕНБУРГ



3 июля 1941 года

Товарищ с винтовкой, товарищ с гранатой,
В окопе, на танке, на птице стальной!
К тебе обращается, другу и брату,
Со словом правдивым наш Сталин родной.

Зовет это слово на схватки с врагами,
Стучится в горячие наши сердца.
Оно — наша воля, оно — наше знамя,
Оно провожает в походы бойца.

Оно облетает морские просторы,
Обходит пикеты, заставы, полки:
На взлете ль моторы, на взводе ль затворы,
Точны ли прицелы, остры ли штыки?

И тверже идут батальоны пехоты,
И зорче зенитчики в небо глядят,
И выше взлетают герои-пилоты,
И мчится стремительней конный отряд.

И глубже вгрызаются в землю минеры,
И дальше в разведку ползут пластуны,
И резче танкисты включают стартеры,
И люди мужают в пожаре войны.

И где бы пути наши ни пролегали —
В болотах, в трясинах, в лесах, в облаках —
Он с нами, он с нами, любимый наш Сталин,
Он с нами в тяжелых и грозных боях.

Он в бой устремляет могучую силу
Рассветной порою, в полуночной мгле,
Чтоб только осиновый кол и могилу
Фашисты нашли на советской земле.

Чтоб черную свору бесстрашно и смело
Свинцом и огнем мы развеяли в прах...
Идите, герои, за правое дело
Со сталинским словом в горячих сердцах!

Ц. СОЛОДАР

★



6 ноября 1941 года

На радиста с улыбкою он поглядел,
Отложил незажженную трубку,
Он с усилием руку больную продел
В широченный рукав полушубка.

Звездный свет над землянками в тучах угас.
И тогда только падали звезды,
Когда рвался заложенный утром фугас
И раскалывал землю и воздух.

И пришлось человеку итти одному...
А навстречу, безмолвье взрывая,
Приближался к нему сквозь вечернюю тьму
Гневный голос переднего края.

И пошел человек в камышах над рекой,
Через бор непроглядный и синий.
Чтобы тропку найти, он здоровой рукой
На корягах ощупывал иней.

Под бризантным огнем, под сплетеньем ветвей,
Под полетом свистящей картечи
Он прополз по обочинам минных полей.
Он спешил рассказать батарее своей
Об услышанной сталинской речи.

Ц. СОЛОДАРЬ

★

Первый урок

Один немецкий пленный будто бы сказал: «Не знаю, победим мы или нет, но мы научили русских воевать».

На это можно ответить только: «Мы победим — мы знаем, и мы вас — немцев — навсегда отучим воевать».

Школу войны Красная Армия проходит не у немецких профессоров. В исключительно трудной обстановке отступлений, под натиском заранее отмобилизованной для завоевания мира фашистской армии и контрударов по ней Красная Армия не только не растеряла боевых качеств, не превратилась в бегущее стадо, как на это надеялся Гитлер и как об этом вопил Геббельс во все микрофонные завертки, но крепла с каждым месяцем, выбрасывая из себя все негодное и неспособное, нравственно вырастала, набирала опыт, обучалась на ходу новейшим тактическим приемам, порождаемым особенностями этой войны. Советскому народу не впервые было решать на опыте трудные задачи. Весь наш двадцатичетырехлетний путь — это смелость и дерзость, талант и выносливость русского и братских нам народов Союза. Разве мало на этом пути было у нас битв и потерь? Решили никем еще никогда не решавшуюся задачу и вынесли на широкую дорогу великую идею советского государства. Фашизм подверг нас новому трудному испытанию. В шестимесячном опыте кровавого побоища, развернувшегося от Ледовитого океана до Черного моря, возмужали и окрепли красноармейские полки и дивизии, их командиры и полководцы. И вот настал день, когда слава о молодых русских генералах облетела весь мир. Слава о величайшей исторической битве на всей огромной полудуге Московского фронта увенчала молодые дивизии Красной Армии. Пятьдесят фашистских дивизий, густо насыщенных танками, артиллерией и авиацией, имея жестокий приказ: ценою любой крови взять Москву штурмом, — отброшены, растерзаны и потрепаны. Воодушевление прокатилось по всем нашим тыловым республикам,



Рисунок с натуры худ. В. Хвостенко



Рисунок с натуры худ. Н. Жукова

краям и областям. Кончилось наше отступление, по германскому фронту нанесено пять мощных ударов: первый — так называемый «черный день Гитлера» — под Ростовом, где донское и кубанское казачество, обрушившись с флангов на беспорядочно отступающую армию генерала Клейста, вырубало шашками в крошево целые немецкие полки и батальоны, второй — под Ельцом, третий — под Тихвином, четвертый — под городом Калинин и, наконец, пятый — на Московском фронте.

В свое время рейхсканцлер Бисмарк заклинал германского императора — не совать палку в берлогу русскому медведю: «русские долго запрягают, но зато быстро ездят на своей тройке».

Опытные генералы рейхсвера умоляли Гитлера не делать рокового шага, не связываться воевать с русскими, — и, кстати сказать, поплатились головой за свое благоразумие. Мы сами не раз предупреждали Германию: «Вы не представляете, какие скрытые силы таятся в русском народе и в братских советских республиках. Не надо будить этих грозных сил, мы не ищем горя немецкому народу... В борьбе с нами вы изнеможете, сломите себе хребет, погибнете, «аки обры», погибнете, как швед под Полтавой, как Наполеон под мужицкими вилами. Или вы не помните, не знаете старых традиций русской армии — крепнуть и закаляться в огненном горне войны, как сталь под молотом»... Гитлер снова, — как это уже было в конце июля, когда сорвалась молниеносная прогулка его армий, — уехал с советско-германского фронта в Берлин и там, беснуясь на заседании фашистского рейхстага, уснащая свою речь чрезмерным употреблением впечатляющих слов, вроде: «кровь», «смерть», «смерть и смерть», — отложил до весны взятие Москвы.

Чтобы не дать немцам опомниться от такого крутого поворота русских событий, он на другой же день оглушил Германию объявлением войны Северо-Американским Соединенным Штатам. Теперь, заявил он, «все в порядке», Германия в состоянии беспощадной войны со всем миром, осуществлена капитальная фашистская программа:

а) завоевание Европы,
б) уничтожение большевистской России,
в) разгром США,
г) полный контроль над обоими океанами,
д) поднятие флага со свастикой на пупе земли.

Теперь любой непобедимый солдат в шевелящейся от паразитов гимнастерке, покрытый чесоткой и фурункулами, с обмороженными ногами, со вшивой головой, разломанной от зубной боли и грохота русских снарядов и мин, понимает, что изо всей гитлеровской программы за два года, несмотря на истребление миллионов людей, превращение в пепел и

щебень тысяч городов и сел, уничтожение на полсотни лет вперед всевозможных запасов сырья, продовольствия, несмотря на человеческие страдания, перед которыми ужасы, рассказанные в Апокалипсисе, кажутся нам сказкой для детей, — ни один пункт программы Гитлера не выполнен. Даже пункт «а» — если рассмотреть его по существу — диалектически, — неутешителен: завоеванная Европа превратилась в адскую машину, засунутую под походную койку Гитлера. Пункт «б» оказался роковой ошибкой: в русской войне фашистская Германия надорвала свои силы, «потеряла сердце», пьяный громила Гитлер бешено хватил кулаком в дверь, а дверь-то железная...

Реляции его непобедимых генералов стали похожи на старый солдатский анекдот:

«Ваше благородие, я неприятеля поймал...»

«Веди его сюда».

«Так он не идет».

«Ну, иди сам сюда...»

«Так он меня не пускает...»

Для завоевания мира Гитлеру нужно непременно перелезть через Советскую Россию; именно на наших пространствах решается судьба мировой войны. Ее решает Красная Армия, развертывая свои богатырские силы, нарастающие в жестокой борьбе с гасителями человеческого счастья. Ее решает непримиримая ненависть партизан, этого второго — народного — фронта, не взятого на учет гитлеровской стратегией. Ее решают подъем и организация труда в наших тылах, где эвакуированные заводы уже действуют, а те, что еще на колесах, начнут скоро работать на полную мощность. Ее решает патриотическая гордость советского воина и советского человека — не посрамить земли русской. Ее решает дух большевизма: не отступать ни перед какими трудностями, преодолевать все, даже невозможное, даже самое смерть.

Недаром сказано: «Человек — это звучит гордо». Ее решает самоотверженный труд английского и американского пролетариата, посылающего нам многочисленные транспорты с оружием и военными материалами через арктические льды и по запылавшим водам Тихого океана. Ее решает наш Верховный Главнокомандующий сухопутными, воздушными, надводными и подводными силами Красной Армии, — уверенно и спокойно сидя в Кремле, он продумывает на пятнадцать ходов вперед великую игру отечественной войны и с лукавой усмешкой щурит глаза, видя, как бешеный щенок Гитлер делает одну роковую ошибку за другой и как теперь, после декабрьских поражений, грязным носом тщетно ищет новую лазейку из своего логовища, из которого больше нет выхода: с треском захлопнулась дверь.

Действительно, теперь любопытно, прямо-таки интересно, какие еще счастливые перспективы этой войны развернет Гитлер перед одураченной Германией. Трудно, трудно что-либо придумать... Бросить на убой в Россию еще 6 миллионов? Останется тогда для завоевания мира чересчур уж реденькая армия, так как всего под ружьем у Гитлера со всеми резервами из старых бухгалтеров было в начале мировой войны миллионов 14—15. Топить английские и американские военные флоты нечем. Фашистский линейный корабль «Бисмарк» с двойной командой пущен на дно английскими воздушными торпедами. Надежда на друзей «оси» — лишь отсрочка того неминуемого часа, когда тощие ноги Гитлера, успокоенно покачиваясь, повиснут над тротуаром с фонарного столба... Запустить в какую-либо из воюющих стран для провокации нового Гесса — увы! — нечего и пытаться: Рузвельт и Черчилль всеми словами выразили непоколебимое желание народов Америки, Англии, Китая, Голландской Индии, Австралии, Канады, желание почти 2 миллиардов грозно организовавшегося в военный союз человечества раз и навсегда вырвать с корнем фашистский чертополох, так, чтобы и память о нем исчезла. Для этого все средства налицо.

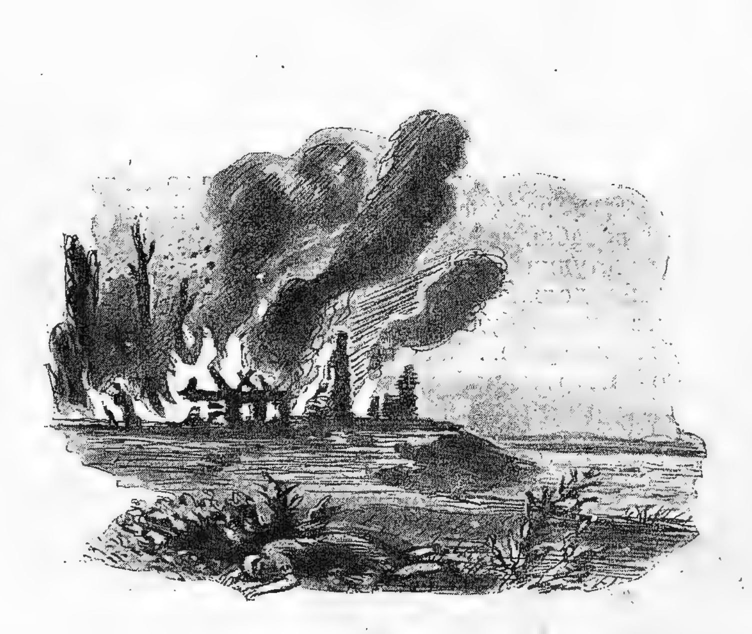
Гитлеру остается одно: еще и еще — до невозможного предела — угрозой смерти, голода, установленными в затылок пулеметами ожесточать немецкий народ, опьянять его кровью, оттягивать день гибели.

Немцы страшны, и еще много намерены пролить они человеческой крови. Нам ни на мгновенье нельзя утешаться. Впереди и грандиозные битвы, и случайности войны, и — шаг за шагом — поражение и конечный разгром всех фашистских армий. Ни на мгновенье нам нельзя ослабевать в организации трудовой дисциплины, в подаче боевой продукции на фронт, в дальнейшем развитии сельского хозяйства и промышленности: и в мартеновском цеху, и на танковом конвейере, и в сборочной моторов, и за чертежным столом конструктора, и на кафедре университета, и за школьными партами, и в кабинете ученого, писателя, драматурга, композитора, и в студии кино, и в огнях театральной рампы. Из нашей жизни должно быть устранено без пощады все то, что надеется как-нибудь чужими руками вернуть свое утраченное благополучие... Война всенародная, против тотальной, — это смотр и мобилизация всех волевых сил, всего творчества страны. И в день, когда в сияющем небе наши боевые самолеты напишут дымной вязью дивное слово «мир» — день этот будет началом нового труда и нового творчества, не менее напряженного, но более счастливого. Война дала нам одно дыхание, одно биение сердца, одну волю. Наряду с близкими задачами обороны мы должны уже сейчас ставить перед собой задачи дальнего прицела.

Мы далеко шагнем вперед, перейдя через усилия и страдания войны. Война выдвинула и еще выдвинет все лучшее, все творческое, все дорогое, бесстрашное, волевое, — все, чего, может быть, не успевали выдвинуть более медленные темпы мирной жизни. Война произведет отличный человеческий отсев, и многим придется посторониться, когда впереди выступит победитель, украшенный золотой пятиконечной звездой. И он уверенно и гордо поднимет голову к небу, в котором боевые самолеты будут писать дымными следами: «Вперед, к строительству счастья, вперед по золотым вехам Сталинской Конституции!»

АЛЕКСЕЙ ТОЛСТОЙ

★



Украине

Украина родимая — волны полей,
Города лучезарные, белые хаты!
Украина! Горячею грудью своей
Ты встречаешь сегодня врага-супостата!

Украина, живого труда сторона,
Зори ясные, тихие, синие воды!
Украина! Ты в славной борьбе не одна,
В ней с тобою под стягом багряным — народы!

Не один ты видала разбойный погром,
Помнишь топот, и грохот, и хохот батыев, —
Но из пепла, сияя лазурным венком,
Вырастал твой певучий, могучий твой Киев.

Видишь, русский с тобою, грузин и таджик,
Братья все и друзья, — грозной рати лавина!
Свят союз наш, народ — беспредельно велик,
Беспредельно силен в своей ярости львиной!

Мать родная моя! Вслед за черной грозой
День победы наступит, звеня и сверкая!
Славен будет вовеки священный твой бой!
Славен серп твой и меч твой, отчизна родная!

МАКСИМ РЫЛЬСКИЙ

★

Белоруссии

Ты лети, мое слово, чрез поля и леса,
Мчись туда, где родимого края краса.
Белоруссия, мать, я твой преданный воин.
Верным сердцем сыновьим всегда я с тобою!

Ты растила меня, в колыбели качала,
Ты мне песни свои по ночам напевала,
Собирала в дорогу с заботой в очах.
Как люблю я задумчивый шелест берез,
Волны ржи, блеск тяжелых, предутренних рос
На твоих заливных, на цветущих лугах!
Тяжко думать, что там на пожарищах кровь,
И все то, что до боли знакомо и дорого,
Стонет нынче под властью взбесившихся псов
И что отчий мой дом оскверняется ворогом.
И когда на привале привидится мне
Древний бор, что ветвями гудит в вышине,
Плеск озер голубых на заре,
И напевы дроздов, и чебрец в серебре, —
Тогда гаснет тоска, затихает забота,
Только ненависть в сердце пылает огнем.
Нет, не вытоптать край мой поганому сброду!
Нет, народ мой вовеки не будет рабом!
Он, бесстрашный, сбирается в пущах дремучих,
Воскрешая легенды в краине лесной,
Что громит супостатов Гаркуша могучий,
Что Кастусь Калиновский выходит на бой,
Что встают из могил партизаны Дукоры

И все громче юнацкая слава гремит,
Что бушует и пенится Нарочь, как море,
Неман гневно клокочет, и Припять кипит.
Верю твердо: погибель врага ожидает,
В край родимый я с песней победной вернусь.
Пока звезды мерцают, пока солнце сияет,
Белорусь не погибнет, будет жить Белорусь!

ПИМЕН ПАНЧЕНКА
С белорусского перевел Е. Мозальков

★



О жизни и смерти

1

Товарищ!

Сейчас нам прочитали приказ: с рассветом — в бой. Семь часов осталось до рассвета.

Теперь ночь, дальнее мерцание звезд и тишина; смолк артиллерийский гром, забылся коротким сном сосед, где-то в углу чуть слышно поет зуммер, что-то шепчет связист...

Есть такие минуты особенной тишины, их никогда не забыть!

Когда-нибудь буду вспоминать я сегодняшнюю ночь — ночь на 30 октября 1941 года. Как плыла над донецкой степью луна. Как дрожали, точно озябшие, звезды. Как ворочался во сне сосед. А над холмами, окопами, огневыми позициями стояла тишина — грозная, пороховая тишина. Тишина перед боем.

А я лежал в окопе, прикрывал фонарик полою мокрой шинели, писал тебе письмо и думал... И так же, как я, миллионы бойцов от Северного Ледовитого океана до Черного моря лежали в эту ночь на мокрой, жухлым листом покрытой, земле, ждали рассвета и боя и думали о жизни и смерти, о своей судьбе.

2

Товарищ!

Очень хочется жить.

Жить, дышать, ходить по земле, видеть небо над головой.

Но не всякой жизнью хочу я жить, не на всякую жизнь согласен.

Вчера приполз к нам в окоп человек «с того берега» — ушел от немцев. Приполз на распухших ногах, на изодранных в кровь локтях. Увидев нас, своих, заплакал. Все жал

руки. Все обнять хотел. И лицо его прыгало, и губы прыгали тоже...

Мы отдали ему свой хлеб, свое сало и свой табак. И когда человек насытился и успокоился, он рассказал нам о немцах: о насилиях, пытках, грабежах. И кровь закипела у бойцов, слушавших его, и жарко стучало сердце.

А я глядел на спину этого человека. Только на спину. Глядел, не отрываясь. Страшнее всяких рассказов была эта спина.

Всего полтора месяца прожил этот человек под властью немцев, а спина его согнулась. Словно хребет ему переломали. Словно все полтора месяца ходил он, кланяясь, извиваясь, вздрагивая всей спиной в ожидании удара. Это была спина подневольного человека. Это была спина раба.

— Выпрямься! — хотелось закричать ему. — Эй, разогни плечи, товарищ! Ты среди своих.

Вот когда увидел я, с предельной ясностью увидел, что несет мне немец: жизнь с переломанной, покоренной спиной.

Товарищ! Пять часов осталось до рассвета. Через пять часов я пойду в бой. Не за этот серенький холм, что впереди, буду я драться с немцем. Из-за большого идет драка. Решается, кто будет хозяином моей судьбы: я или немец.

До сих пор я, ты, каждый был сам хозяином своей судьбы. Мы избрали себе труд по призванию, профессию по душе, подругу по сердцу. Свободные люди на свободной земле, мы смело глядели в завтра. Вся страна была нашей Родиной, в каждом доме — товарищи. Любая профессия была почетна, труд — делом доблести и славы. Ты знал: каждая новая тонна угля, добытая тобой в шахте, принесет тебе славу, почет, награду. Каждый центнер хлеба, добытый тобой на колхозном поле, умножит твое богатство, богатство твоей семьи.

Но вот придет немец. Немец станет хозяином твоей судьбы. Он растопчет твое Сегодня и украдет твое Завтра. Он будет властвовать над твоей жизнью, над твоим домом, над твоей семьей. Он может лишить тебя дома — и ты уйдешь, сгорбив спину, в дождь, в непогодь из родного дома. Он может и сохранить тебе жизнь, ему рабочий скот нужен, — и он сделает тебя рабом с переломанным, покорным хребтом. Ты добудешь центнер хлеба, — он заберет его, тебя оставив голодным. Ты вырубишь тонну угля, — он заберет ее да еще обругает: «Русская свинья, ты работаешь плохо!» Ты всегда останешься для него русским Иваном, низшим существом, быдлом. Он заставит тебя забыть язык своих отцов, язык, на котором ты мыслил, мечтал, на котором признавался в любви невесте. Он заставит тебя выучиться лающей немецкой речи и будет смеяться, слушая, как ты коверкаешь чужой язык.

Все мечты твои он растопчет, все надежды оплюет. Ты мечтал, что сынишка твой, выросши, станет ученым, инженером, славным человеком на земле, но немцу не нужны русские ученые: он и своих сгноил в собачьих лагерях. Ему нужен тупой рабочий скот, и он погонит твоего сына в ярмо, разом лишив его и детства, и юности, и будущего.

Ты берег и лелеял свою красавицу-дочку; сколько раз, бывало, склонялся ты вместе с женою над беленькой кроваткой Маринки и мечтал о ее счастьи. Но немцу не нужны чистые русские девушки. В публичный дом, на потеху разнузданной солдатне швырнет он твою гордость — Маринку, отличницу, красавицу...

Ты гордился своей женой. Первой девушкой была у нас на руднике Оксана! Тебе завидовали все. Но в рабстве люди не хорошеют, не молодеют. Быстро станет старухой твоя Оксана. Старухой с согбенной спиной.

Ты чтил своих дорогих стариков — отца и мать, — они тебя выкормили. Страна помогла тебе устроить им покойную, почетную старость. Но немцу не нужны старые русские люди, они не имеют цены рабочего скота, и немец не даст тебе для твоих стариков ни грамма хлеба из центнеров, добытых твоею же рукой...

Может быть, ты все это вынесешь, может, не сдохнешь, отупев, смиришься, будешь влачить слепую, голодную, безрадостную жизнь?!

Я такой жизни не хочу! Нет, не хочу. Нет, лучше смерть, чем такая жизнь! Нет, лучше штык в глотку, чем ярмо на шею! Нет, лучше умереть героем, чем жить рабом!

Товарищ!

Три часа осталось до рассвета. Судьба моя в моих руках. На острие штыка моя судьба, а с нею и судьба моей семьи, моей страны, моего народа.

3

Товарищ!

Сегодня днем мы расстреляли Антона Чувырина, бойца третьей роты.

Полк стоял большим квадратом, небо было сурово, и желтый лист, дрожа, падал в грязь, и строй наш был недвижим, никто не шелохнулся.

Он стоял перед нами с руками за спиной, в шинели без ремня, жалкий трус, предатель, дезертир Антон Чувырин, и его глаза подло бегали по сторонам, нам в глаза не глядели. Он нас боялся, товарищей. Ведь это он нас продал.

Хотел ли он победы немцу? Нет, нет, конечно, как всякий русский человек. Но у него была душа зайца, а сердце хорька. Он тоже, вероятно, размышлял о жизни и смерти,

о своей судьбе. И свою судьбу рассудил так: «Моя судьба — в моей шкуре».

Ему казалось, что он рассуждает хитро: «Наша возьмет — прекрасно. А я как раз и шкуру сберег. Немец одолеет — ну что же, пойду в рабы к немцу. Опять моя шкура при мне».

Он хотел отсидеться, убежать от войны, будто можно от войны спрятаться! Он хотел, чтобы за него, за его судьбу дрались и умирали товарищи, а не он сам.

Эх, просчитался ты, Антон Чувырин! Никто за тебя драться не станет, если ты отойдешь в кусты. Здесь каждый дерется за себя и за Родину! За свою семью и за Родину! За свою судьбу и за судьбу Родины! Не отдерешь, слышишь, не отдерешь нас от Родины: кровью, сердцем, мясом приросли мы к ней. Ее судьба — наша судьба. Ее гибель — наша гибель. Ее победа — наша победа.

И когда мы победим, мы каждого спросим: что ты для победы сделал?

Мы ничего не забудем! Мы никого не простим!

Вот он лежит в бурьяне, Антон Проклятый — человек, сам оторвавший себя от Родины в грозный для нее час. Он берег свою шкуру для собачьей жизни и нашел собачью смерть.

А мы проходим мимо поротно, железным шагом. Проходим мимо, не глядя, не жалея. С рассветом пойдем в бой. В штыки. Будем драться, жизни своей не щадя. Может, умрем. Но никто не скажет о нас, что мы струсили, что шкура наша была нам дороже отчизны.

4

Товарищ!

Два часа осталось до рассвета. Давай помечтаем.

Я гляжу сквозь ночь глазами человека, которому близостью боя и смерти дано далеко видеть. Через многие ночи, дни, месяцы гляжу я вперед и там, за горами горя, вижу нашу победу. Мы добудем ее! Через потоки крови, через муки и страдания, через грязь и ужас войны мы придем к ней. К полной и окончательной победе над врагом! Мы ее выстрадали, мы ее завоюем.

Вспомни предвоенные годы. Над всем нашим поколением вечно висел меч войны. Мы жили, трудились, ласкали жен, растили детей, но ни на минуту не забывали: там, за нашей границей, сопит, ворочается злобный зверь. Война была нашим соседом. Дыхание гада отравляло нам и труд, и жизнь, и любовь. И мы спали тревожно. На дно сундука не прятали старой шинели. Ждали.

Враг напал на нас. Вот он на нашей земле. Идет страш-

ный бой. Не на жизнь — на смерть. Теперь нет компромиссов. Нет выбора. Задушить, уничтожить, раз навсегда покончить с гитлеровским зверем! И когда свалится в могилу последний фашист, и когда смолкнет последний залп гаубиц, — как дурной сон развеется коричневый кошмар, и наступит тишина, величественная, прочная тишина победы. И мы услышим, товарищ, не только, как шумит ветвями веселый лес. Мы услышим, как облегченно, радостно вздохнет весь мир, все человечество.

Мы войдем в города и села, освобожденные от врага, и нас встретит торжественная тишина, — тишина переполненных счастьем душ. А потом задымят восстановленные заводы, забурлит жизнь... Замечательная жизнь, товарищ! Жизнь на свободной земле в братстве со всеми народами.

За такую жизнь и умереть не много. Это не смерть, а бессмертие.

5

Светает, товарищ...

По земле побежали робкие серые тени. Никогда еще не казалась мне жизнь такой прекрасной, как в этот предрассветный час. Гляди, как похорошела донецкая степь, как заиграли под лучами солнца меловые горы, стали серебряными.

Да, очень хочется жить. Увидеть победу. Прижать к шершавой шинели кудрявую головку дочери.

Я очень люблю жизнь — и потому иду сейчас в бой. Я иду в бой за жизнь. За настоящую, а не рабскую жизнь, товарищ! За счастье моих детей. За счастье моей Родины. За мое счастье. Я люблю жизнь, но смерти не испугаюсь. Жить, как воин, и умереть, как воин, — вот как я понимаю жизнь.

Рассвет...

Загрохотали гаубицы. Артподготовка.

Сейчас и мы пойдем.

Товарищ!

Над родной донецкой степью встает солнце. Солнце боя.

Под его лучами я торжественно клянусь тебе, товарищ: я не дрогну в бою. Раненый — не уйду из строя. Окруженный врагами — не сдамся. Нет в моем сердце сейчас ни страха, ни смятения, ни жалости к врагу, — только ненависть. Лютая ненависть. Сердце жжет. Это — наш смертный бой.

Иду.

БОР. ГОРБАТОВ

Весна в январе

Сначала я считал брошенные немцами машины, потом запутался. Их были сотни. Нагло и жалко глядели на восток морды пушек. Как пойманные слоны, послушно плелись немецкие танки. Я вспомнил слова берлинской сводки: «Мы добровольно укоротили фронт...» Чудаки, они укорачивают костюм вместе с мясом. «Укорачивают» и мимоходом теряют танки.

Наше наступление с каждым днем крепчает. Об этом говорят немецкие могилы. Вначале видишь индивидуальные кресты с тщательно нарисованной свастикой, с затейливыми надписями. Этих хоронили еще на досуге. Их зарывали на площадях городов, в скверах, в деревнях возле школы или больницы. Немцы хотели, чтобы даже их мертвые тревожили сон наших детей. Мы проехали двадцать — тридцать километров. Пошли простые березовые кресты. Этих хоронили второпях и оптом: «Здесь погребено 18 немецких солдат», «Здесь погребен лейтенант Эрих Шредер и 11 солдат». За Малоярославцем нет и крестов. Этих не похоронили. Они валяются возле дороги. Из-под снега торчит то рука, то голова. Замерзший немец стоит у березы, рука поднята, — кажется, что, мертвый, он еще хочет кого-то убить. А рядом лежит другой, заслонил рукой лицо. Не сосчитать.

На березовом кресте рука русского написала: «Шли в Москву, попали в могилу».

Дух наступления, как ветер, несет вперед наши части. Бойцы идут по целине, а снега-то, снега!.. Ничто их не останавливает. Позавчера была метель, снег слепил. Наступали. Вчера было солнце и тридцать градусов мороза, дух захватывало. Наступали.

Я разговорился с одним бойцом. Он чуть прихрамывал. Оказалось, что три дня тому назад осколок мины его ранил в колено. Хотели отослать в госпиталь. Боец запротестовал: «Не пойду! С июня я отходил. А теперь чтобы без меня?...»

Мороз его веселил. Он только находил, что мороз «легонький», «покрепчал бы, как у нас», — это сибиряк.

Генерал-майор Голубев сказал мне: «Немцы наступали отсюда, дошли до Нары. Что же, мы прошли тот же путь в два раза скорее, чем они. Мы наступаем, а потерь у них куда больше, чем у нас».

Переменилась наша армия. Выросла не только материальная часть, выросли и люди. Бойцы возмужали, будто они прожили за полгода длинную жизнь. Но глаза остались молодыми: в них молодой гнев и молодая надежда. Обогатился опыт каждого. Боец, колхозник из Заволжья, говорит: «Я теперь это дело раскусил — как фрицев бить». И смеется генерал Голубев: «Я две военных академии прошел, война — третья и самая главная»...

Немцы упорно обороняют узлы сопротивления. Они хотят измотать нас. Но мы не расшибаем голову об стену: мы обходим узлы сопротивления. Немцы много месяцев говорили о мешках, обхватах, клиньях, клещах. Теперь они барахтаются в нашем мешке, они задыхаются в наших обхватах, они корчатся, пронзенные нашими клиньями, и они умирают, сдавленные нашими клещами.

В яркий ослепительный день января, на дороге наступления, я думаю о пионерах победы. Победу мы начали строить не 6 декабря, но 22 июня. Победу строили герои, не пропускавшие немцев, истреблявшие еще свежие германские дивизии, взрывавшие мосты, выходившие из вражеского окружения, пережившие горечь отступления, позволившие нашей стране выковать новое оружие и поднять на ноги новые части.

Мощной стала Красная Армия. Весь день гудит небо: это наши самолеты. Все припасено — от тяжелых танков до легких белых саночек. На фронте чувствуешь, какой любовью окружена Красная Армия, — для нее работает и дышит огромная страна. Если много стало у нас автоматов — это значит, что ночей не спят рабочие Урала. Если ест боец жирные щи — это, значит, сибирские колхозницы помнят о фронте. «Мало у нас было минометов, теперь хорошо»... Откуда эти минометы? Завод, что в ста километрах отсюда, давно эвакуировали. Но остались старики-пенсионеры, остались устаревшие станки, осталось немного сырья. Остальное сделали русская смекалка и русская преданность. Хорошие минометы. Хорошо они бьют немчуру. Старые рабочие маленького русского городка могут спокойно спать. А варежки чудесные у курносого, веселого минометчика. Варежки связала какая-то Маша в городе Аткарске, прислала к празднику. Фамилии своей не написала — «Маша» и все. Может теперь спокойно спать русская девушка Маша.

Ведут пленных. Лейтенант, ефрейтор, солдаты. Дрожат, хнычут. У одного обувь замечательная: левая нога в кожа-

ном башмаке, правая в эрзац-валенке. Оказывается, правую ногу он отморозил. Ефрейтор мне поясняет: «Легко отмороженные в госпитали не отсылаются». Да и не отошлешь — у половины немецких солдат ноги отморожены. На головах пилотки. Летом они их носили лихарски. Теперь стараются засунуть под пилотку уши. Из носу течет, он не вытирает лицо — рука замерзла. А когда привели в избу, все стали чесаться. Лейтенант пах одеколоном, вылил, наверно, на себя утром целую бутылочку. Он приподнял вязанку, чтобы сподручней было чесаться, и один из наших бойцов крикнул: «Ты погляди: не вошь — медведь! Никогда я такой не видел...» Глядят на пленных бойцы с отвращением: «Эх, немчура...» «Вшивые фрицы...» Другой подхватил: «Ганс сопливый...», «Паразиты...»

Ефрейтор был во Франции. Он вступил с передовыми немецкими частями в преданный Париж. Смешно подумать — может быть, я его видел в Париже? Изменился, голубчик! Спесь с них наши посбивали.

Вчера из лесу вышли четыре немца: волков выгнал мороз. От деревни осталась одна изба, другие немцы сожгли. Немцы поскреблись в дверь. Старая колхозница сплюнула: «Кто жег? Ты. Немец. Иди на мороз, грейся...»

Дощечка осталась: «Село Покровское». А села нет. Село сожгли немцы. Что видишь по дороге на запад? От изб остались трубы да скворешники на деревьях. Отступая, немцы посылали особые отряды «факельщиков» — жгли города и деревни.

Когда не успевали сжечь все, жгли самое хорошее, жгли со смехом. В Малоярославце эти культуртрегеры показали себя во-всю: сожгли две школы-десятилетки, детские ясли, больницу и городскую библиотеку с книгами.

Вот их трупы. А рядом бутылки из-под французского шампанского, норвежские консервы, болгарские папиросы. Страшно подумать, что эти жалкие люди — господа сегодняшней Европы... Часть «господ», впрочем, уже не будет пить шампанского: лежит в промерзшей земле.

Хорошо, когда их застают врасплох. В селе Белоусово остался нетронутым ужин. Бутылки они откупорили, а пригубить не успели. В селе Балабаново штабные офицеры спали. Выбежали в подштанниках и торжественно, в шелковых французских кальсонах, погибли от русского штыка.

Женщины, когда видят наших, плачут. Это следы радости, оттепель после страшной зимы. Два или три месяца они молчали. Сухими, жесткими глазами глядели на немецких палачей. Боялись перекинуться коротким словом, жалобой, вздохом. И вот отошло, прорвалось. И кажется в этот студеный день, что и впрямь на дворе весна, весна русского народа посередине русской зимы.

Страшны рассказы крестьян о черных неделях немецкого ига. Страшны не только зверства, страшен облик немца. «Показывает мне, что окурок в печку кидает, и задается: «Культур. Культур». А он, простите, при мне, при женщине, в избе оправлялся. Холодно, вот и не выходит...» «Грязные они. Ноги вымыл, утерся, а потом морду — тем же полотенцем...» «Один ест, а другой сидит за столом и вшей бьет. Глядеть противно...» «Он свое грязное белье в ведро положил, я ему говорю — ведро чистое, а он смеется. Опоганили они нас...» «Все украли, паразиты! Детские вещи взяли. Даже трубу самоварную и ту унесли...» «Хвастали, что у них страна богатая. Нашел у моей сестры катушку ниток, а у меня кусок мыла. Мыло не душистое, простое. Все равно, обрадовался, посылку сделал — домой подарок—мыло да нитки...» «Говорят мне: стирай наше белье, а мыла не дают, показывают — стирай кулаками...» «Не дашь ему сразу — ружье приставляет...»

«Опоганили нас» — хорошие слова. В них все возмущение нашего народа перед грязью не только телесной, но и душевной этих гансов и фрицев. Они слыли культурными. Теперь все увидели, что такое их «культура» — похабные открытки и пьянки. Они слыли чистоплотными — теперь все увидели вшивых паршивцев, с чесоткой, которые устраивали в чистой избе нужник. Прежде мир не знал, что такое гитлеровская Германия. Глухой стеной была окружена проклятая страна. На выставки за границу они посылали напомаженных и вежливых приказчиков. Ездил по столицам Европы гладенький Риббентроп. А теперь стена упала: в деревнях и городах России, освобожденных Красной Армией, можно изучить «культуру» и «чистоплотность» Германии.

Когда их выгоняют, в уцелевших избах три дня моют пол кипятком, скребут, чистят. «Что дверь раскрыла, бабушка?» — спросил я. Старуха ответила: «Ихний дух выветриваю. Прокоптили дом, провоняли, ироды...»

Крестьянка с хорошим русским лицом, с лицом Марфы-посадницы, рассказала мне: «Боялись они итти на фронт. Один плакал. Говорит мне: «Матка, помолись за меня» и на икону кажет. Я и вправду помолилась: «Чтобы тебя, окаянного, убили».

Добрым был русский народ. Это всякий знает. Умел он жалеть, умел снисходить. Немцы совершили чудо: выжгли они из русского сердца жалость, родили смертную ненависть. Старики и те хотят одного: «Всех их перебить». Некоторые из них три месяца тому назад еще были слепыми и глухими. Один встретил наших с куренком, кланяется, говорит: «Дураков вы принимаете? Дурак я. Шли немцы, а я думал — мне что? А они внучку мою угнали. Так и не знаю, где она. Корову зарезали. С меня валенки сняли, видишь, в чем хожу.



Политотдел. Рис. с натуры худ. В. Хвостенко



Снайпер. Рис. с натуры худ. Н. Жукова

Курицу одну я от них упрятал. Как услышал, что уходят — затопил печь, старуха для вас зажарила. Спасибо, что пришли...» Стоит и плачет. А в душе у этого семидесятилетнего деда — та же ненависть, что у всех нас.

Дом старика не сожгли — не успели. Много домов спасли красноармейцы от огня. За Малоярославцем наши наступали быстро, и немцы, откатываясь, не успевали выполнять приказ — все уничтожать. В одном селе «факельщики» уже выгнали всех из домов, а тут услыхали пулеметную очередь и убежали. Деревня уцелела. В другом селе подожгли один дом, потом показались наши лыжники — немцы удрали. А пожар наши погасили. Не только дома спасли бойцы — жизни. Я видел приговоренных к расстрелу — их не успели расстрелять. Тащили девушку с собой—испугались, бросили. Каждый красноармеец может написать своим: «Я спас от огня русский дом. В этом доме теперь живут русские. Будут там расти дети. Вспомнят и про нас. Я спас от веревки русского человека. Его вели к виселице. Но мы подоспели». Не только родину спасает боец, он спасает еще такое-то село — Лукьяновку, или Петровское, или Выселки. Он спасает такого-то человека — пастуха Федю, лесничего Кривцова, учительницу Марию Владимировну. И каждого бойца благословляют теперь в освобожденных домах спасенные люди.

По скрипучему снегу едут в санях крестьяне, торопятся — скорей бы повидать свой дом. Еще недавно они шли на восток суровые и скорбные. Теперь, улыбаясь и хмурясь от яркого, залитого солнцем снега, они идут на запад.

Скорее их идут бойцы. Эти тоже торопятся: выбить врага из города. Этот город рядом. Его обошли. Его сжали. Завтра заплачут от радости люди и камни еще одного освобожденного города.

Пусть в Малоярославце люди радуются — сегодня снова начала работать электростанция, и в домах светло. Пусть в Боровске вставляют в рамы стекла, — люди наконец-то отогреются. Пусть в Ильинском колхозники выветривают и чистят загаженные немцами дома. Все это позади. Красная Армия идет вперед, и она смотрит вперед. Она думает не о Малоярославце, не о Боровске. Она думает о Вязьме, о Смоленске. Перед ней люди, которых нужно спасти от смерти, русские люди. И по пояс в снегу, не зная усталости, идут вперед любимцы России — бойцы Красной Армии.

14 января 1942 г. *ИЛЬЯ ЭРЕНБУРГ*



Материнское напутствие

На фашистское отродие
Встала сила необъятная...
Слышишь, сын мой, голос родины?..
Надевай доспехи ратные!

С моря Черного до Белого
Развернулась битва лютая.
Чтит страна героя смелого...
Крепнет с каждою минутою!

Зов отчизны сердцу сладостен,
Сердце ей должно быть отдано.
Сто имел бы жизней, —
с радостью
Их отдай любимой родине!

Сто получишь ран в сражении, —
Все же бей врага безустали!..
Пусть тебе во все мгновения
Имя Сталина сопутствует!

ИЛО МОСАШВИЛИ

★

Содружество народов

В моей стране мы свято чтим закон
Содружества народов и племен...
В эти дни великих испытаний
Особый смысл приобретает он, —
Значение победы в нашем стане.

Мы, словно дети матери одной, —
Украинец таджику брат родной,
И белорусс родимый брат грузину, —
Стоим несокрушимою стеной,
Великой дружбой слиты воедино.

Наш свежий сад и наш просторный дом
Мы создали в содружестве своем,
Мы создали свою страну свободы, —
И мира, сотворенного трудом,
Не отдадут свободные народы!

Суровой закаленные борьбой,
Как великаны мы выходим в бой, —
Тверда, несокрушима наша воля.
Зверей, налитых яростью тупой,
Как сорную траву, мы скосим с поля.

Здесь каждый будет биться до конца,
Здесь гордо сердце каждого бойца,
И каждый брат здесь выручает брата,
И чем суровей воинов сердца —
Тем более в них чувство дружбы свято.

Ивану, Янко, раненным в бою,
Сестра-татарка кровь дала свою...
И летчик Петр или Петрусь в тумане
Путь с неба указал в лесном краю,
Заботясь об идущем Нуримане...

Есть братство смелых: наша сила в нем;
Друг друга выручаем под огнем,
Боец бойца без помощи не бросит, —
Вот раненого, сквозь огонь и гром,
Трофимов Галиуллина выносит.

Где дружба есть — там страха смерти нет!
Путь братской дружбы — верный путь побед.
Кто погасит сияние свободы?
Фашистов банду разметут народы,
С лица земли сотрут поганый след!

АХМЕД ЕРИКЕЕВ

С татарского перевела А. Адалис

★

Тысяча девятьсот сорок второй год

Когда началась европейская война, у нас в народе заговорили о сорок первом годе; я сам слышал в деревнях: «Будет трудный сорок первый, такой трудный, что баба на речку пойдет портки стирать, другие-то соберутся хоть на портки посмотреть... Но этот год пройдет, а уж другой будет легкий... Одно: сорок первый пережить...»

Ничего нет удивительного, что почти за год до июньской подлости Гитлера народ своей логикой предвидел события. Разум народный велик, и прост, и ясен — иначе бы не был бессмертен народ. Он предвидел все трудности войны и то, что она закончится для нас счастливо. Народ не сомневался в победе: пришел тяжелый час особенного труда, задан урок, много будет слез и потерь, но урок надо выполнить. И еще: народ верил товарищу Сталину, верил в мудрость вождя в таком важном и большом деле, как оборона родины.

В июльском обращении Сталин сказал: братья и сестры, — сказал он колхозникам, рабочим и интеллигенции, русскому и всем народам Советского Союза, — братья и сестры, зову вас на великий подвиг, — не пожалеть жизней своих, постоять за родину...

Дрогнуло сердце народное. Нахмурясь, пошли от громкоговорителей — одни по горячей дорожной пыли, другие — к скрежещущим сталью станкам, иные — к своим рабочим столам. Смущенья не было, смущение потонуло в общенародном великом бедствии, которое предстояло преодолеть. Мы часто говорим слова, не пробуя их на вкус, на цвет, на ощупь, мы говорим о героизме народа, о национальной гордости. А что это такое? Тот час, когда народ слушал товарища Сталина и, хмуря брови, каждый пошел по своим делам, не шумя, не размахивая руками, но в понятии, что немца надо побить, — это и было проявлением национальной гордости и всенародного героизма. Это, а не снега и мороз,

гонит сейчас свирепые немецкие армии по пути рокового отступления Наполеона.

Дух Красной Армии — разгневанная гордость и героизм сынов народа. Наши дети и внуки будут ходить по земному шару с поднятой головой. «Отцы, — скажут они, — в кровавых трудах и муках, неумолимым ожесточением, своим упорством, которому нет и не было примера, завоевали себе и нам право быть первыми людьми...»

Пускай самоназначенный фельдмаршал фашистских армий не рассчитывает на Днепр, где его немцы, задымив по окопам печурочки и смазывая носы гусиным салом, смогут перезимовать более или менее спокойно; пусть он не рассчитывает, что весной сможет повторить свои штуки с танковыми клиньями и прочими, хорошо теперь нами изученными хитростями и эффектами. Не дадим живорезам ни дня, ни часа — ни погреться, ни помазать салом унылый немецкий нос, не говоря уже о носах итальянских, румынских и прочих, беспокойно нюхающих ветер.

У Красной Армии наказ вождя и народа: «Истребить!» Найденная красноармейцами в лесу полубезумная женщина с трупом ребеночка на руках, у которого немцы взяли для переливания всю до капельки кровь и вырезали для какой-то надобности, еще у живого, куски кожи на груди и спине, не отдавая трупика, не плача, повторяет: «Товарищи, истребите их...» Пусть наши заокеанские друзья не опасаются, что у Красной Армии не хватит пороха преследовать, уничтожать отступающего врага до его полного разгрома. Пусть не опасаются, — психология красноармейца эпохи великой отечественной войны взята не из сочинений Антона Павловича Чехова.

Война распахнула русскую душу. К ней, под ее широкую великодушную охрану, примкнули, сжимая оружие, братья — украинец и грузин, узбек и азербайджанец, белорусс и армянин, казах и таджик... Советский народ создал первую армию мира и на фронте и в тылу. Нам известно, что тяжелые сцены эвакуации послужили тем материалом, которым воспользовались наши враги, чтобы замутить общую картину обороны нашей страны, работы беспримерной по самоотвержению и темпам, в условиях иногда не менее тяжелых, чем фронт.

Немцы были уверены (и поспешили раззвонить об этом), что миллионные массы советского народа, устремившись на восток, как стада баранов, все смели на своем пути, что наши заводы, поставленные на колеса, безнадежно растеряны, загнаны в тупик, что тыл наш — сплошная толкотня, смятка, неописуемый ужас и прочее...

«В казачьем брюхе и еж перепреет». Наши тылы быстро переварили всю эвакуацию.

Полтора месяца тому назад, вдалеке от фронта, вы могли наблюдать фантастическую картину. От магистрали проложена по равнине без насыпи колея, забитая вагонами и платформами. На большом пространстве — груды кирпича, леса, бочек с цементом: видны очертания и столбы будущих цехов; на цементированных площадках уже поставлены станки, они в движении, на них работают, хотя на головы рабочих падает снег, и зажженные на вечерней заре фонари раскачиваются от студеного ветра; тут же — наспех вырытые землянки, палатки или просто одеяла, повешенные на колья. Это — эвакуированный завод с тысячами рабочих, он был выгружен, как на фронте, из вагонов прямо в бой.

Недавно случилось мне быть на открытии одного из наших крупнейших авиационных заводов: в октябре он был эвакуирован из Москвы; всего два с небольшим месяца понадобилось для того, чтобы перевезти его за тысячи верст, разгрузить, выстроить дополнительные помещения цехов, смонтировать и за неделю до Нового года—в сыром кирпичном помещении, среди станков, на кучах еще не убранной земли — устроить литературный вечер по поводу пуска завода в ход. Сотни молодых, утомленных милых женских лиц, седоусые мастера, черноглазые, стройные узбеки (новые кадры). Парторги и секретари, кажется, готовые от усталости заснуть на ходу. Резкий свет лампочек, висящих на путанице проводов; веселый смех и улыбки из-за пуховых платков, вызванные шуточками поэта с оторванной на фронте рукой (и тот же извечный графин с желтой водой на досчатом столе, покрытом измятым кумачом)... Здесь советский народ, — через шесть месяцев после того, как услышал: «братья и сестры, не пощадим жизни своей», — побеждает в великой исторической битве, в которой спокойная и молчаливая национальная гордость и героизм трудовых будней противопоставлены кровавой истерике фашизма и немецкому нахальному высокомерию.

У нас имеется один из вспомогательных фронтов, о котором мы мало пишем. Это — наш гражданский воздушный флот. Пилоты его летают на огромных транспортных самолетах, только за последнее время снабженных пулеметной защитой, и на тихоходных бипланчиках, все вооружение которых — в ловкости и отчаянной смелости летчиков. Гражданский флот возит на фронт боеприпасы, продовольствие, медикаменты, консервированную кровь, сбрасывает воздушные десанты, с фронта отвозит раненых, разгружает иногда целые госпитали, совершает в тылу противника разведывательные полеты, снабжает партизан горючей жидкостью и так далее...

Эти бипланчики, со скоростями сто — сто двадцать километров в час, в мирное время приспособленные для нужд

сельского хозяйства, здесь, на фронте, отправляются прямо к дьяволу в пасть, — через фашистские огневые линии, через завесы зенитных пушек и пулеметов; главная опасность для них — это «Мессершмитты». Но наши бипланчики, деловито тарахтя, летают обычно впритирку к земле — овражками, лощинками, опушками, просеками, вдоль крутых берегов рек. Тарарахнет сверху очередь «Мессершмитта» — бипланчик нырнул в лес и пошел колесить между деревьями. Вот на открытом месте мерзавец кинулся сверху в пике, — деваться некуда, наши летчики шлепаются на пузо, живо задирают самолету хвост, будто бы он капотировал, а сами — в кусты. «Мессершмитт», грозно покружившись над «сбитым» врагом, улетел. Наши — из кустов к биплану, опустили ему хвост, вскочили и, лощинкой через фронт, к партизанам: «Пожалуйте вам, товарищи, два ящика бутылочек с горючей жидкостью». Или из леса, ниже деревьев, налетят внезапно на немецкую батарею. Немцы от обалдения — в стороны. А наши, определив расположение батареи, опять — нырь в лес.

Было задание: из одной нашей окруженной части вывезти в Москву раненого генерала. На двух «У-2» полетели Кашуба и Сергеев. Кашуба взял на борт раненого генерала, а Сергеев начал отвлекать на себя вынырнувшего из облаков «Хейнкеля». Поднялись высоко, он вертелся около него, как чорт, выделывая такие курбеты — петли, бочки, штопоры, иммельманы, — что немец со злости мазал и мазал, покуда не расстрелял весь свой запас пуль и снарядов и, улетая, погрозил Сергееву кулаком, на что Сергеев показал ему советский кукиш. А Кашуба тем временем, с генералом на борту, увиливал от прожекторов и зениток, то снижаясь до бреющего полета, то подымаясь и уходя совсем в другую сторону, где его не могли ожидать немцы. Покрутившись восемь часов над вражеским расположением, он нырнул по овражку на нашу сторону и благополучно доставил генерала в Москву.

Летчица Никитинская летела из немецкого тыла от партизан с важными документами. Подбили — приземлилась. Начала пробираться пешая, по пути встретила нашего летчика на подбитом самолете, сказала ему: «Ждите, товарищ». Дойдя до рубежа, привязала документы на голову, в одних трусах переплыла ледяную реку, явилась в нашу часть, передала документы, потребовала комбинезон и самолет, опять перелетела через фронт, втащила раненого летчика к себе на борт и доставила его в госпиталь.

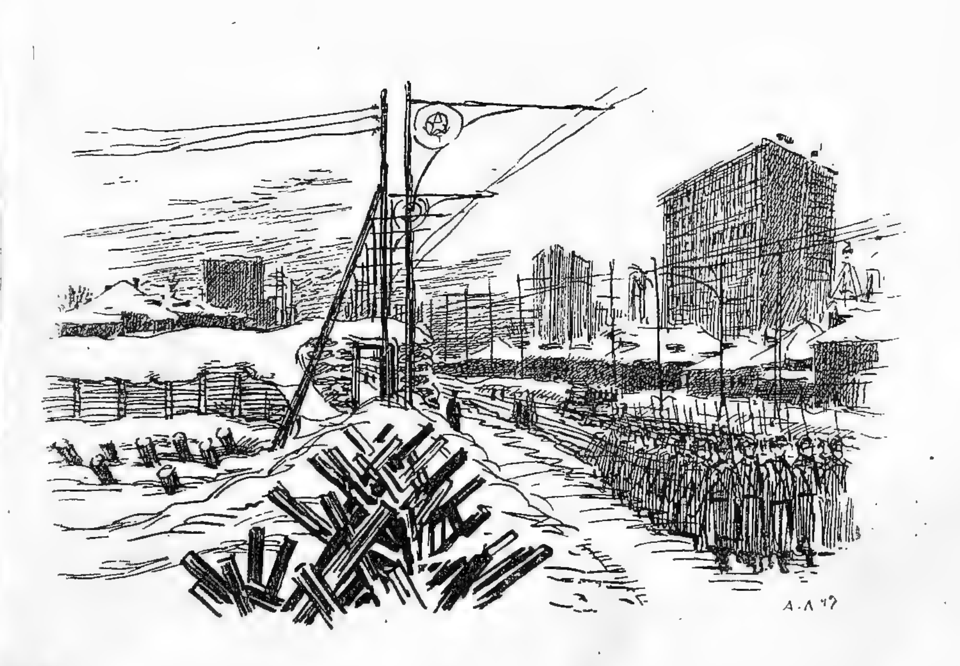
Из лежащих передо мною сводок я мог бы привести добрую сотню примеров храбрости, отчаянной ловкости, смелости и самоотверженности наших гражданских летчиков. У них хорошая школа. В мирное время они летают и в по-

лярных метелях, и в семидесятиградусный мороз, и среди снежных горных вершин Памира, где иной раз, чтобы сесть на плешинку земли, окруженную гигантскими скалами, приходится снижаться винтом, едва не царапая крыльями о камни. Это — сыны советского народа.

Новогодний пламенный привет вам, победоносные воины Красной, первой в мире армии, истребляющей миллионы немецкой сволочи на земле, в воздухе, на воде и под водой. Пламенный привет вам, герои, строители нашей могучей обороны. Наступивший 1942 год должен быть и будет годом победы и мира, величайшего счастья освобождения от кровавого кошмара, мира, который принесет нашей великой родине новое, ослепительное счастье, достойное нашего гордого и героического народа.

АЛЕКСЕЙ ТОЛСТОЙ

★



Родина, отомстим!

От хвойных камчатских сопок
До персиковых садов,
От поля, где зреет хлопок,
До моря, где бьют китов.

От снежных высот Памира
До недр, где блестит руда,
Мы были страною мира,
Мы были страной труда.

Теперь города и села
С их миром и их трудом
Зияют, мертвы и голы,
Захваченные врагом.

Разгромленные в Полесье,
Расстрелянные в степи,
Они вопиют о мести
И требуют: «Отомсти!»

Взорванные плотины,
Вздыбленные пути...
Все взывает единым
Возгласом: «Отомсти!»

Что это? Гул несется?
Гром ли гремит вдали?
Нет, то страна клянется,
Каждая пядь земли, —

Тем, что всего дороже,
Тем, чем она горда:
Волга клянется рожью,
Медью — Караганда.

Нефтью клянется Каспий,
Золотом — Енисей.
Школьник в пожарной каске —
Молодостью своей.

Старая мать — любовью,
Тем, что на фронте сын,
Воин — своею кровью:
«Родина, отомстим!»

В. ИНБЕР

★



Второй день Бородина

Восемнадцатого января в деревне Шаликово, почти целиком сожженной немцами, женщина причитала: «Стращали, что назад придут, паразиты!» На следующий день дальнобойная артиллерия немцев начала стрелять по уцелевшим домам деревни. Ответили наши орудия. А под утро бойцы под командой генерала Орлова пошли в атаку. Они заняли деревню, которая переходит в окраину Можайска. Немцы пытались защищаться. Шли бои на улицах. Боец в темноте спросил старушку: «Бабушка, какая это будет деревня?» Та руками всплеснула: «Заблудился ты — Можайск это. Немцы здесь. Убьют тебя...» Он в ответ рассмеялся: «Зачем убьют? Я их перебью, это точно». Было еще темно, когда наши дошли до центра Можайска. Немцы убежали. Рассвело час спустя. Жители Можайска увидели над зданием горсовета красный флаг.

Немцы спешили. Они все же успели взорвать Николаевский собор, Вознесенскую церковь, кинотеатр, гидростанцию. Заминировали больницу, но не успели взорвать. Зато взорвали сто своих раненых. Хотели поджечь дом, где находилось триста раненых красноармейцев, но наши пришли вовремя.

Сколько раз я слышал эти два слова: «Наши пришли». Их не забыть — прекрасные слова!

Можайск сразу стал тылом. Срывают со стен немецкие бумажонки. Вставляют фанеру в рамы. В магазине суета: завтра начнут отпускать хлеб, крупу, конфеты. Только березовые кресты в центре города напоминают о трех месяцах немецкого ига.

Вот идет по улице немолодая женщина. Она знает, что такое немцы. Ее мужу, Валентину Николаевичу, учителю математики и пенсионеру, было шестьдесят два года. Он шел по улице, вынул носовой платок. Немцы его расстреляли за то, что он «сигнализировал русским летчикам».

За что они убили двенадцатилетнюю девочку, изнасиловав ее? За что повесили неизвестного патриота? Не нужно спрашивать: на то они немцы.

Торопятся наши бойцы. Они спасли в Можайске триста друзей. Они спасли в селе Псарево шестьдесят дворов. Они спасли в Горках памятник Кутузову. Они спасли в Семеновском девушку, которую немцы хотели угнать с собой. Они спасли тысячи домов и десятки тысяч жизней. Их подгоняют два слова: «Наши пришли». И мысль: наши ждут. Трудно итти. Снег глубокий — завязаешь. А мороз — тридцать градусов. Но Можайск всех развеселил. Шли дальше не останавливаясь. За день прошли пятнадцать километров. Вот и Бородино.

«Недаром помнит вся Россия про день Бородина». Проклятая немчура хотела, чтобы мы забыли о нашем великом прошлом. Когда я подъехал к Бородинскому музею, он еще горел, подожженный немцами. Огненные языки лизали на фронтоне слова: «Славным предкам».

Почему немцы устроили в музее Бородина скотобойню? Почему, убегая, они подожгли музей? Они мстили славным предкам за доблесть столь же славных потомков. Они хотели уничтожить память о 1812 годе, потому что сто тридцать лет спустя Бородино снова увидело героев — в других шинелях, но с вечно русским сердцем.

Они хотели взорвать памятники — Кутузову и русским солдатам. Не успели. Рядом с памятником Кутузову вчера торжественно похоронили трех советских артиллеристов, отдавших свою жизнь за славу и величие родины.

При Бородине немцы хотели задержать наше наступление. Их обошли с севера, и немцы убежали. Они отомстили музею и всем селам окрест. Стоит тяжелый запах гари. В большом селе Семеновское, памятном по двенадцатому году, из ста семи домов осталось три. Сожжено село Бородино. От села Горки осталась только немецкая надпись: «Горки».

Не забуду я крестьянской семьи возле пепелища. Они пришли посмотреть, не пощадил ли чего огонь. Замерзли и грели застывшие руки у головешек того, что еще вчера было их домом. Старик, женщина, четверо ребят. И женщина вдруг истошно крикнула: «Паразиты! Чтоб их!..» Казалось, это кричит русская земля.

Бойцы это видят. Бойцы делятся едой с погорельцами. Бойцы ускоряют свой шаг. Их окрыляет надежда спасти еще один дом, еще одну семью.

Широка дорога на запад. Немцы поставили на ней новые указательные столбы с указанием, сколько километров до Москвы. Сосчитать было легче, чем пройти. Наши бойцы теперь не смотрят, сколько от Москвы. Они смотрят,

сколько до Вязьмы. Они смотрят, и они идут вперед. Вчера они взяли Уварово — последний пункт Московской области. Генерал Орлов, улыбаясь, говорит: «Скоро ко мне приедете». Он из Белоруссии. А бойцы шутят: «Скоро фрицы вяземские пряники попробуют...»

В одной деревне ребята показали мне, что́ немцы бросили, удирая: награбленное добро. Один немецкий офицер оставил целую пачку бюстгальтеров — решил было и на этом спекульнуть. Мальчонка допытывается: «Дяденька, зачем это немцу?..»

Жалкие люди! Они способны убить человека из-за какой-то тряпки. Они защищаются в деревнях только потому, что им страшно убираться на мороз. Почему они еще воюют? Да потому, что им страшно держать ответ.

Мы говорим не о мести — о справедливости. Мы не хотим расстрелять немецких учителей шестидесяти двух лет. Мы не тронем двенадцатилетних девочек. Мы не собираемся поджигать немецкие музеи. Но мы знаем одно: тем, кто убил учителя Николаева, тем, кто убил двенадцатилетнюю девочку, тем, кто поджег музей Бородина — на земле не жить. Смертные приговоры подписаны и скреплены русским народом.

Россия не забудет и второй день Бородина: сожженных сел, уничтоженного музея и доблестных красноармейцев, которые сказали своим славным предкам: «Мы вас не осрамили, мы отстояли Москву от проклятых чужеземцев».

24 января 1942 г. *ИЛЬЯ ЭРЕНБУРГ*



Мы победим

Война! Мы слышали далекий гром,
Мы видели ее пожары —
Они вставали огненным шатром
Над рощами Гвадалахары

Мы говорили: «Старый мир, ты спишь,
Очнись! Услышь сигнал тревоги...
Через Мадрид — к Брюсселю, на Париж
Врагом проложены дороги».

Но ты был глух; ты не хотел помочь
Тебя же защищавшим грудью, —
И нависала над тобою ночь,
Грозя раскатами орудий.

А время шло; ты медлил — и война
Нахлынула стальным потопом...
И вот — растоптана, осквернена
Проспавшая свой час Европа.

Мы каждый день читали о фронтах,
И нам казались дикой сказкой
Крылатые сраженья в облаках,
Разгром Дюнкерка и Дамаска.

Мы видели — по трем материкам
Война идет безумным адом,
И что им, этим новым дикарям,
И Нотр-Дам, и храм Эллады?!

Что им наследье тысячи веков,
Законы долга, чести, права?!
В броне машин под рев штурмовиков
Они идут ордой кровавой.

И вот они у наших рубежей;
Вот, знаком свастики ведомы,
Они, как стая алчущих зверей,
Уже ворвались в наши домы;

И вот — кипит суровый, смертный бой...
Уже мы слышим клики вражьи —
Но мы судьбой, историей самой
Поставлены сейчас на-страже.

И мы стоим! Мы боремся — и мы
Из рук не выпускаем знамя...
«Мильоны вас — нас тьмы, и тьмы, и тьмы —
Попробуйте — сразитесь с нами!»

За нами — мир! За нас — грядущий час,
И мы идем в огонь сражений
За счастье всех, без исключенья, рас —
За жизнь грядущих поколений!

Не в первый раз нам меряться с врагом
Оружьем, мужеством и славой,
Не в первый раз отстаивать свой дом
И в схватке побеждать кровавой.

Не в первый раз нам братьям помогать,
Друзей освобождать от гнета,
На правый бой богатырей скликать
И вражьи разрывать тенета!

Россия, мать! По тысячам путей,
В крови, рвалась ты к лучшей доле...
Ты плакала над трупами детей
На древнем Куликовом поле.

Тебе несли бесчестье и раззор
Лихие полчища Батыя —



Зарисовка с натуры худ. В. Хвостенко



Медицинская сестра на поле боя. Рис. худ. В. Баюскина

Но ты бралась за меч и за топор, -
И где твои враги, Россия?!

Тебе ярмом грозил надменный швед,
Псы-рыцари тебя терзали,
Но ты жива, а их бесславный след
Исчез в твоих холодных далях.

Да, ты прошла сквозь грозный строй времен
Могучей, ясной, непреклонной,
И даже вождь двенадцати племен
Перед тобой склонил знамена.

И в Октябре, по-новому светла,
Гордясь своей судьбой суровой,
Не ты ли, Русь, над миром вознесла
Призывный факел жизни новой?!

Не ты ли, Русь, ведомая вперед
Могучей ленинской рукою,
В неотвратимый двинулась поход,
Свое взять будущее с бою?!

И знаем мы, что в этот грозный миг,
Заслышав новых полчищ топот,
Поднимешь ты свой измаильский штык
И вспомнишь славу Перекопа.

Да, это так! Всю ярость наших битв,
Их опыт, скопленный веками,
Мы соберем — и будет враг разбит.
Мы победим! Грядущее — за нами!

ЯК. АПУШКИН

★

Нас голос родины на подвиги зовет

Мне говорил знакомый сталевар:
— Вот я удвою выплавку металла,
А в сердце все горит неугасимый жар,
И кажется, — все мало, мало, мало!

Мне летчик-истребитель говорил:
— Мое звено не раз в боях бывало,
И сам я четырех стервятников подбил,
А кажется,— все мало, мало, мало!

На фабрике сказала мне швея:
— Сама я от себя не ожидала, —
Три нормы выполнять свободно стала я,
И кажется, — все мало, мало, мало!

Священный гнев сердца людей зажег,
Борьба святая нашей жизнью стала.
— Что дал для фронта ты?
— Что сделал?
— Чем помог?
Пока не сломлен враг — все мало, мало, мало!

ВАС. ЛЕБЕДЕВ-КУМАЧ

★



„Любой боец Красной Армии может с гордостью сказать, что он ведет войну справедливую, освободительную, войну за свободу и независимость своего отечества. У Красной Армии есть своя благородная и возвышенная цель войны, вдохновляющая ее на подвиги. Этим собственно и объясняется, что отечественная война рождает у нас тысячи героев и героинь, готовых идти на смерть ради свободы своей родины".

И. СТАЛИН.





Песня смелых

Стелются черные тучи,
Молнии в небе снуют.
В облаке пыли летучей
Трубы тревогу поют.
С бандой фашистов сразиться
Сталин отважных зовет.
Смелого — пуля боится.
Смелого — штык не берет.

Ринулись ввысь самолеты,
Двинулся танковый строй.
С песней стрелковые роты
Вышли за родину в бой.
Песня — крылатая птица —
Смелых скликает в поход.
Смелого — пуля боится.
Смелого — штык не берет.

Славой бессмертной покроем
В битвах свои имена.
Только отважным героям
Радость победы дана.
Смелый к победе стремится.
Смелым — дорога вперед.
Смелого — пуля боится.
Смелого — штык не берет.

Смелый дерется с врагами,
Жизни своей не щадя.
Смелый проносит, как знамя,
Светлое имя вождя.
Смелыми Сталин гордится.
Смелого любит народ.
Смелого — пуля боится.
Смелого — штык не берет.

АЛЕКСЕЙ СУРКОВ



Радисты. Фото С. Струнникова

Связисты

(Быль)

1

В блиндаже было тепло. В печурке, вырытой прямо в земляной стене, весело горели чурки. Пламя освещало лица четырех связистов, телефонные аппараты, стволы березового наката, винтовки, прислоненные к стенам, мягкое душистое сено. Блиндаж был старый, обжитый и уютный. Раньше здесь были огневые позиции батареи. Сейчас разместилась промежуточная станция связи артиллерийского полка.

Недавно смолк сплошной и грозный рев орудий с немецкой стороны. В блиндаж доносились отдельные артиллерийские выстрелы, частое тарахтенье пулеметов. Связи со штабом полка не было, и сержант Николай Микуров тревожился все больше. Здесь, на станции, он был всего два дня. Связистов знал еще мало. Запотылок и Самохин — из одного с ним взвода связи, Белоусов — из другого подразделения. Вот Белоусов и Самохин, напряженно согнувшись, сидят у аппаратов с трубками, плотно прижатыми к ушам. У Самохина болят зубы. Щека его повязана платком. Это очень смешно. Третий — Запотылок — грузный и веселый, лениво дремлет на сене. Кто они — эти новые боевые соратники? Узнать бы, что у каждого на душе.

На Северо-западном фронте, в том бою, когда Микуров был дважды ранен — в ногу и шею, — ему помогли, спасли его товарищи. Смуглое лицо Микурова вдруг озарилось улыбкой; блеснули крупные зубы, ласково и нежно заискрились черные глаза. Хорошие те ребята, с такими ни в каком бою не пропадешь! Да и вся дивизия, в которой служил там Микуров, славная, ордена Ленина дивизия! И почему это получается так: ранят тебя, эвакуируют в тыл, — и уж обратно в свою часть не попадешь! Микуров не в обиде, — попал в гвардейскую, да еще в Московскую, дивизию. А все-таки это неправильно. Выбывшие на лечение командиры и бойцы должны возвращаться по выздоровле-

нии в свои части. Иначе, как же хранить и умножать боевые традиции?

Сержант Микуров поднял голову. Явственно слышался топот многих ног, скрип снега.

— Тише, товарищи!

И без этого все замерли. Микуров осторожно отодвинул край плащ-палатки, которая закрывала узкий проход-траншею из блиндажа. У самого входа в блиндаж траншея была прикрыта козырьком из березовых стволов. Три земляных ступени выводили из траншеи на поверхность земли. Там сияло голубое небо. Теперь сержант слышал галдеж, немецкий окрик: «Русс, сдавайся!»

В этот же миг в узкий проход упала немецкая граната. Связисты мгновенно укрылись за выступом. Грохнул разрыв. Осколки с воем пронизали плащ-палатку, ударили в стены блиндажа; посыпалась земля, клубилась тошнотная гарь.

— Убьют! — вырвалось у Запотылка.

— Молчи! — приказал ему сержант.

В проход упала вторая граната. Она катилась, шипя и подпрыгивая, в блиндаж. Связист Самохин, метнувшись от аппарата, схватил немецкую гранату за ручку и успел выбросить ее. Тотчас же грянул разрыв. Блиндаж содрогнулся. Едкая гарь застилала глаза. Самохин резко сорвал со щеки повязку и взялся за винтовку. Связист Запотылок вздрагивающими руками надел противогаз. Сержанту захотелось обругать его. Но снова грохнул разрыв и заклубилась гарь. Сержанта Микурова охватила ярость. Он взял винтовку и быстро, пока еще не рассеялась гарь, выглянул из траншеи, как раз из-под козырька. Руки сержанта еще вздрагивали от страха, и сердце стучало сбойно. В лицо сержанта пахнул терпкий зимний воздух. Блиндаж — в редком лесу. Березы стояли тихие, опушенные мягким серебряным инеем. Меж деревьев ходили немцы. Поодаль стояли привязанные к кусту лошади с вьюками. И совсем рядом с блиндажом, спиной к нему, стоял, раздвинув ноги, щуплый немец. Быстро, почти не целясь, сержант Микуров выстрелил, и немец упал навзничь. Зеленая пилотка его, слетев, торчком встала на снегу. Метрах в пяти дальше — другой немец, вытаращив оловянные глаза на сержанта, вставлял детонатор в гранату-лимонку. Так же, почти не целясь, Микуров выстрелил и убил его, и он свалился вперед, на удар, схватившись за грудь и уронив лимонку.

Сзади невидимый сержанту враг бросил гранату, да неметко. Она ударилась о катушки с проволокой. Когда грянул разрыв, сержант успел уже юркнуть в блиндаж за выступ. В траншею слетели две катушки и земля. Сержант, согнувшись, выдвинулся в траншею. С левой стороны траншеи немецкий солдат, стоя спиной и согнувшись, ловчился забро-

сить гранату прямо в блиндаж под козырек. Вскинуть винтовку, прицелиться в узкой траншее было невозможно. Микуров упер винтовку в землю, левой рукой навел ствол в немца и большим пальцем правой руки нажал спусковой крючок.

Немец свалился, граната разорвалась у него в руках. Осколки растерзали врага. Они же сбили и засыпали выходившую из блиндажа трубу. Из печки вылетели на сено чурки, угли, зола. Связисты затушили их.

Тут затрещали немецкие автоматы. Связисты укрылись за углом. Красноватые трассирующие пули врагов били в стены. Земля разлеталась пылью и комьями. Трассирующие пули впивались в березовые стволы наката и стоек, сырое дерево шипело, но не загоралось; а как раз пожара-то и боялся Самохин. Издалека донесся взрыв. Немцы наверху загалдели и убежали. Здесь, у блиндажа, упала тишина.

2

— С кем связь есть? — спросил Микуров.

— С полком нет связи! — ответил Самохин.

— С дивизионом есть! — отозвался Белоусов.

— Сообщи!

Белоусов вызвал дивизион и, волнуясь и торопясь, прокричал:

— Тридцатый? Слушай, тридцатый! Я — Днепр. Да. Днепр. Нас окружили фашисты. Забрасывают гранатами. Да. Забрасывают гранатами. Просим помочь.

Связисты ждали, что ответят из дивизиона. Запотылок, снявший противогаз, никак не мог уложить его обратно в сумку. Белоусов растерянно опустил трубку.

— Что там? Что они говорят?

— Их тоже окружили и обстреливают немецкие автоматчики!

— Все равно — проси помощи! — вскрикнул Запотылок.

Белоусов прижал трубку к уху.

— Тридцатый! Тридцатый!

Сержант Микуров ясно увидел, как он побледнел.

— Что еще?

— Связь порвана, товарищ сержант.

— А ты слушай. Слушайте оба. Связь восстановят!

Все четверо слушали, еле дыша. Запотылок с карабином и противогазом в руках, забившийся в угол блиндажа, вдруг прохрипел:

— Танки! Слышите — танки! По шоссе идут танки!

— Замолчишь ты или нет? — с досадой прикрикнул на него сержант Микуров, сам похолодев сердцем и весь превратившись в слух. Снаружи доносился грозный прерыви-

стый рев моторов. Он нарастал, вот он гремел, содрогая землю, блиндаж. Что же это? Почему гул стал слабее? Сержант вздохнул с облегчением.

— Это же самолеты! А ты говорил — танки! — с укоризной сказал он Запотылку.

— Все равно не спасемся. Все равно смерть!

— Какая тебе смерть! Чего ты раскис? А ну-ка дай противогаз!

Самохин взял из рук Запотылка противогаз и ловко уложил его.

Сержант Микуров посмотрел на связистов, — внимательно-внимательно. Запотылок отвернулся. Белоусов и Самохин с трубками около ушей глядели на сержанта широко раскрытыми глазами. И, чувствуя, как железная решимость поднимает его, как новой силой налились руки, все тело, сержант Микуров отчеканил:

— Будем сидеть и отстреливаться! Сколько немцев уже убито! Их стало меньше. Сдаваться не будем. Позор и — замучают. Последняя пуля для себя. Ясно?

Запотылок, дрогнув, уронил голову на колени. Белоусов подал Микурову свою винтовку.

— Товарищ сержант, возьмите. Полный магазин. А я вашу заряжу.

Серые глаза его сильно блестели. В сердце Микурова пахнуло теплом дружбы.

— Давай, товарищ Белоусов! Понятно — отобьемся. Четыре подсумка по тридцать патронов у нас. Хватит!

— У меня еще десять патронов в сумке! — сказал Самохин.

— Хорошо!

3

Сержант Микуров протиснулся в траншею и выглянул. Как и раньше, торжественно синело небо, сверкал иней. Метрах в пятидесяти, у другой землянки, столпились немцы. Там, в той землянке, помещались связисты другой части. Вход в нее был сверху, как в погреб. Немцы поднесли длинное бревно, подложили его под край двери. Два немца стояли рядом, подняв руки с гранатами.

«Сейчас откроют дверь и перебьют всех наших!»

Микуров прицелился из винтовки Белоусова в немца с гранатой и выстрелил. Тот упал мертвый. Микуров ударил в другого. Раненный, он упал и пополз за березу. Остальные немцы разбежались.

«Много их еще! — подумал сержант. — Где же наши? Пора притти на выручку!»

Он притаился в траншее под козырьком. Теперь Самохин переменил ему винтовку.

Послышались шаги, скрип снега. Над траншеей наклонился здоровенный немец, пристально всматриваясь в темноту блиндажа. Осторожно подняв винтовку, Микуров убил врага, и тот свалился зеленым комком.

4

Вдалеке была слышна перестрелка, ухали разрывы снарядов и мин.

Вдруг стремительно и жарко зашептал Самохин:

— Товарищ сержант, связь! Дон отвечает, товарищ сержант!

— Доложите им обстановку!

Связисты придвинулись к Самохину. Тот, прикрыв трубку ладонью, старательно выговаривал:

— Дон! Дон! Днепр. Слышите меня? Кто говорит? Я — Днепр.

— Да скорее ты! — Белоусов даже рукой замахнулся на Самохина.

— Товарищ майор? Вы? Я — Днепр. Нас окружили немцы. Шлите помощь. Иначе мы погибли. Что? Держаться? Отстреливаться? Есть, товарищ майор!

Самохин поглядел на связистов.

— И я то же говорил, — бодро произнес Микуров. — Держаться, отстреливаться!

— А помощь? А помощь послали? — визгливо спросил Запотылок.

— Высылают. Майор сказал — высылают.

Опять наступила тишина. Здесь, около блиндажа, она казалась бесконечной. Она тяготила, душила, и вдруг сержант Микуров услышал, как враг пробежал на крышу блиндажа. Он долго стоял без движения, потом стал топтаться.

«Сейчас бросит гранату», — подумал Микуров и юркнул в блиндаж. Но граната не падала. Еще послышались шаги. Вокруг блиндажа собралась, видно, целая толпа немцев. Вон они как загалдели по-своему! Связисты словно окаменели: там, наверху, кто-то заговорил по-русски. Потом снова закричали немцы. Что же это еще будет?

С того конца траншеи прокричал кто-то:

— Товарищи, не стреляйте!

Связисты посунулись было к выходу. Микуров отстранил их рукой.

— Куда вы? Чтобы узнали, сколько нас?

Из темноты, из-за выступа он видел, как по земляным ступенькам в траншею спустился человек в красноармейской шинели. Вот он снял с себя вещевой мешок, положил на землю, двинулся — словно пополз по траншее. Руки его

тряслись. Дергалось заросшее жестким рыжим волосом горбоносое лицо.

Когда он подошел к козырьку, Микуров скомандовал:

— Стой!

Тот, вздрогнув, застыл на месте. Блудливые зеленые глаза его шарили, вглядываясь внутрь блиндажа.

— Чего тебе?

— Сдавайтесь, ребята! Все равно их много. Вам с ними не справиться! — сказал тот свистящим шопотом.

— Кто ты? Какой части? — спросил Микуров, с отвращением разглядывая зеленоглазого.

— Сдавайтесь, ребята, сдавайтесь! — твердил тот, вздрагивая и озираясь.

— Эх ты, шкура, шкуреха! — Сержант Микуров вскинул винтовку, чтобы расстрелять предателя.

Запотылок, как-то оказавшийся рядом, схватил его за руки.

— Не стреляй, не стреляй!

— Ладно! А ты выходи назад. Скажи, что в блиндаже все убиты.

Тот, сгорбившись, мгновенно выполз из траншеи. Послышался резкий вражеский говор, крики, потом — приглушенные голоса.

— Сейчас нас перебьют. А помощи все нет и не будет! — с озлоблением сказал Запотылок.

— Да замолчи ты, нуда проклятая! — набросился на него Самохин.

Микуров, накрепко сжав винтовку руками, вслушивался. Позади, в блиндаже, тяжело дышали связисты. Наконец снова раздался тот же голос:

— Товарищи, не стреляйте.

И снова, дрожа по-собачьи, зеленоглазый прополз в траншею.

— Сдавайтесь, ребята, выходите.

— А ты сказал, что здесь все убитые?

— Они велят трупы вытаскивать. Сдавайтесь!

— А ты, подлец, живыми нас хочешь выдать?

Сержант Микуров в приливе неудержимого гнева опять вскинул винтовку. Запотылок с силой оттолкнул его от выхода, подал свой карабин зеленоглазому и, согнувшись, выскочил из блиндажа в траншею. Вот он выпрямился.

— Назад! — крикнул Микуров. Но уже стукнули вражьи выстрелы, из головы Запотылка ударила черная густая кровь. Он упал, взмахнув руками, словно схватывая себя под колени — головой к блиндажу, ногами к выходу. И в это же мгновенье Микуров, яростно стиснув зубы, выстрелил в предателя. Тот осел на земляной ступеньке, оскалившись и стеная.

Связист Самохин тоже вскинул винтовку и выстрелил. Зеленоглазый, вздрогнув, все еще стонал и хрипел. И тогда Микуров, выцелив внимательно, новым выстрелом размозжил ему голову.

— Предатель! Собака!

5

Командир взвода связи старший сержант Федор Волощук, улучив свободную минуту, читал в своем блиндаже Чехова.

В дверь бурей ворвался старший лейтенант Зубков, командир батареи.

— Дай связиста, который знает дорогу на «Днепр».

В черных глазах Волощука еще сверкали искорки смеха, чуть пухлые румяные губы и блестящие зубы вздрагивали в улыбке. Веселый украинец из Новофастова, Волощук восхищался Чеховым.

— Для чего вам связист?

— Он поведет группу красноармейцев

— Куда?

— Автоматчики окружили «Днепр». Обстреливают и забрасывают гранатами. Надо выручать.

— Я сам пойду туда!

Волощук выскочил из блиндажа вслед за Зубковым. Он на ходу надел снаряжение, оправился, ловкий и стройный, и прибежал в землянку командира полка. Через десять минут отряд Волощука из восьми человек — его два связиста и пять саперов во главе с младшим лейтенантом Писаревским — устремился на выручку товарищей. До них было всего шесть катушек — это три километра, но прямая дорога вела через поляну. Волощук повел отряд в обход — лесом.

Вскоре засветлела опушка березового леса. Волощук положил свой отряд у крайних берез в цепь, скомандовал:

— К бою!

Впереди, по снегу между кустиками, ползли трое. Кто они?

— Младший сержант Сычевский, вперед! Узнать, кто это ползет.

— Есть.

Сычевский проворно пополз к тем троим. Волощук, стоя за стволом березы, с волненьем смотрел за ним. Вот он остановился, припал за кустиком. Потом обернулся, махнул рукой и быстро тронулся дальше. Волощук облегченно вздохнул: «Наши!»

Сычевский уже возвращался, помогая раненому красноармейцу ползти. Тот был ранен в голову, еще не перевязан, кровь стекала из-под шапки, густела и застывала на лице. За ними ползли еще двое.

У Волощука сжалось сердце: и раненые, и руки обморозили, ободрали о снег. На повязках проступила алая изморозь.

— Давайте помогите им!

Бойцы уже хлопотали около товарищей, перевязывали их, оттирали руки снегом. Залубеневшими от мороза и волнения губами рассказывали красноармейцы-зенитчики, как они подверглись налету автоматчиков.

Волощук гневно кусал губы, густые черные брови его упрямо сошлись над переносицей.

— Много их было?

— Больше сотни.

— Ладно. Вы, трое, добирайтесь до части. Этой тропой через лес. Нам надо спешить.

— Куда вы? Вас же мало!

— Каждый гвардеец — за пятерых!

Волощук повел свой отряд по опушке, выслав вперед двух дозорных. По лесу рассыпалась звонкая трескотня выстрелов. Опять впереди, на этот раз вдоль опушки, Волощук увидел переползавших людей. Они стреляли в сторону врага. Невидимый за могучей березой, красноармеец с азартом прокричал:

— Товарищ старшина, вон, вон немец ворушится.

— Уничтожить огнем!

— Есть уничтожить огнем!

Волощук улыбнулся. Из-за березы грянул выстрел. В стороне врага раздался вой.

«Да тут совсем близко!» — подумал Волощук и немедленно приказал своему отряду залечь вдоль опушки, уничтожать каждого немца огнем.

Спрятавшись за березой, с удовольствием наблюдая, как разгоралась перестрелка, старший сержант Волощук пристально оглядывал местность, оценивал обстановку. За опушкой тянулась полянка, дальше — глубокая продольная выемка, и за нею — крутая насыпь автострады Москва—Киев. Немецкие автоматчики били с той стороны шоссе. Но и по эту сторону насыпи впереди тоже били немцы. Вон там, на буграх, два фашистских пулемета. Немцев здесь немало. А там, в блиндаже, на промежуточной станции — дорогие товарищи связисты...

Волощук вызвал через красноармейца старшину группы, которая вела огонь. У старшины было с ним всего семь человек. Как же с такими силами атаковать врага?

6

— Товарищ сержант, дайте-ка винтовку, берите заряженную, — сказал связист Белоусов.

Микуров словно впервые увидел товарищей: и сероглазого Самохина, снова прижавшего к уху трубку телефона,

и скромного Белоусова, со светлой улыбкой протянувшего ему свою винтовку. Он обменял оружие и взволнованно сказал:

— Ничего, товарищи! Все равно отобьемся! Этот подлец сказал немцам, что нас двое. Один убит. Стало быть, остался еще один. Немцы будут стрелять, а я буду стонать. Они и подумают, что все убиты.

— А если сюда полезут, будешь стрелять? — спросил Белоусов.

— Понятно, буду. Сказал ведь — последняя пуля в себя!

— Чего они там молчат, товарищ сержант? — в томленьи проговорил Белоусов.

Сержант Микуров не слушал его, следя, как под козырек над траншеей опустился ствол немецкой винтовки. Выстрел. Пуля укусила земляную стену. Микуров тоже выстрелил, стараясь достать врага через срез земли.

Сержант Микуров напряженно ждал, что вот в блиндаж опять упадет граната. Но граната не падала. Почему? Враг был тут, наверху, на крыше блиндажа. Было слышно, как он топтался, как поскрипывал примятый снежок. Почему же не падала граната? Догадка обожгла сержанта буйной радостью: чтобы бросить гранату в блиндаж, надо подойти на самый край траншеи, но тогда, как и раньше, загремят выстрелы из темного входа в блиндаж. И немцы боятся смертельного огня из блиндажа! Они нас боятся сейчас! Они боятся!

Черные глаза Микурова заблестели.

— Они нас боятся, товарищи! — звонко произнес он.

Снова под козырек траншеи опустился ствол немецкой винтовки.

— Я его сейчас угадаю! — сказал Микуров товарищам.

Стараясь срезать земляной край траншеи под козырьком, он выстрелил. Но и из ствола немецкой винтовки сверкнул огонь. Пуля немца безвредно шлепнулась в стену. Пуля Микурова, тоже безвредно для врага, сорвала край траншеи. Гремел выстрел за выстрелом. Гарь пороховая синей едкой пеленой вилась в проходе. Микуров выпустил всю обойму и вдруг, предостерегающе подняв руку, пронзительно застонал. Ствол вражьей винтовки тотчас глубже опустился под козырек. Микуров взял винтовку, которую ему подал Белоусов, и, продолжая стонать, вскинул ее. Немец выстрелил. Микуров, прицелившись в самый край траншеи, ударил. Раздался вопль, потом удаляющийся топот.

— Удирают, негодяи! — с удовлетворением сказал Микуров.

7

Сколько часов прошло с тех пор, как грохнул разрыв первой вражеской гранаты?

Связисты в блиндаже сидели молча, прислушиваясь напряженно, жадно к каждому звуку, доносившемуся сверху. Утром до нападения врага у каждого были житейские желания; Самохин сердился, что у него болят зубы, Микуров ворчал, что давно не был в бане. Да мало ли чего хочется и о чем думается на войне!

Теперь все это отошло, пропало, сменилось ожиданием, и все жизненные силы связистов были сосредоточены на прислушиваньи: не приближается ли враг, не падают ли опять в траншею гранаты? Не спешат ли на выручку свои?

Старший сержант Волощук, ведя своим — теперь удвоившимся — отрядом перестрелку с врагом, взволнованно раздумывал, как же выполнить боевую задачу. Если бы было с полсотни бойцов, тогда можно было бы тремя группами охватить врага, атаковать его внезапно и уничтожить. По этой стороне шоссе немцам путь отхода один: вон на тот мостик, тут-то и забросать фашистов гранатами.

Из-за деревьев к нему подошел красноармеец.

— Кто вы? — спросил Волощук.

— Курсант курсов младших командиров. Нас тут человек сорок, два ручных пулемета.

— Где?

— Впереди, на опушке леса. Нас послали перебить немецких автоматчиков. Командует нами комиссар.

— Проводите меня к нему!

Они нашли комиссара, младшего политрука, недалеко от опушки у березовой поленницы.

Волощук подошел, вытянулся и четко доложил:

— Старший сержант Волощук, командир взвода связи. С отрядом выполняю задачу по разгрому немецких автоматчиков и по освобождению окруженных врагом товарищей связистов. Прошу дать мне людей, я имею всего пятнадцать человек со мной.

— А противник?

— Два пулемета и автоматчик на этой стороне, и на той стороне шоссе тоже есть. Я считаю — немцев до сотни.

— А нас все равно меньше.

— Ударим врасплох, гаркнем «ура». Там же товарищи гибнут!

— А как вы думаете действовать?

— Атаковать немедленно. Ваша группа слева. Старшина с бойцами своими справа, и я со своим народом по центру. Выходит — полуокружение врага!



Разведчики в засаде. Фото С. Струнникова



В атаку! Фото С. Струнникова

Младший политрук задумался. Волощук нетерпеливо поглядывал на него.

— Хорошо! Я согласен.

Волощук порывисто и крепко пожал его руку. Они улыбались друг другу сердечно, от всей души.

«Вот молодец, вот молодчина. Настоящий комиссар!»

Выйдя к опушке, они вдвоем еще раз осмотрели местность. Бежать атакующим надо было метров двести. Это было очень опасно, но другого решения здесь не было; местность впереди была открытая, все дело было во внезапности и быстроте.

— Давайте! Действуйте! — сказал младший политрук и побежал к курсантам.

Волощук глубоко-глубоко вздохнул. Он быстро прошел к старшине направо, объяснил ему, как надо действовать, обошел своих бойцов, поговорил с ними, с младшим лейтенантом Писаревским. Потом вышел, старательно прячась за деревьями, на самый край опушки. Теперь комиссар наверняка уже подготовил курсантов. Пора! Он поправил ремни снаряжения. И, набрав полную грудь воздуха, прокричал торжественно и звонко:

— Батальон, слушай мою команду! Внимание!

Он видел, как повернулись к нему головы товарищей, и волна счастья стремительно плеснула в его душе.

— За родину, за Сталина, в атаку! Вперед! Ура!

С винтовкой в руке Волощук бросился вперед со всех ног. Оглянувшись, он увидел бегущих товарищей.

— Молодцы!

Ближе и ближе враг. Слева к Волощуку примкнули быстрые курсанты.

«Немножечко не туда!» — подумал Волощук. Спереди и чуть справа от него ударили немецкие пулеметы. Пули срывали с бугорков горсти снега, взвизгивали совсем рядом. Волощук крикнул курсантам-пулеметчикам: «Огонь!»

И, видя, как все бойцы и курсанты уже залегли, сам упал на снег. Неистово колотилось сердце, воздуха было мало. Волощук дышал, дышал, не думая в эти мгновенья ни о чем — только бы отдышаться. Вот и легко стало дышать. Теперь опять действовать. Осторожно подняв голову, Волощук осмотрелся. Когда кончился день? Вот уже и сумерки скоро. Надо спешить. Пулеметы врага почему-то молчали. Волощук вскочил и побежал, прокричав:

— Товарищи, вперед! Ура!

Справа от себя он увидел, как вскочили и побежали бойцы старшины. Но тут хлестнули немецкие пулеметы, и они залегли. В центре и налево люди наши продолжали бежать. Вдруг Волощук увидел впереди, чуть справа, метрах в тридцати, немецкого пулеметчика. Он стрелял по бойцам стар-

шины. Волощук вскинул свою винтовку, но она не стреляла. Дыханье перехватило. Доставать пистолет времени не было. Схватив за рукав курсанта, Волощук показал ему пулеметчика.

— Бей!

Тот выстрелил, и немец, пригнувшись, схватился рукой за раненое плечо.

— Ура! Бей! — в восторге закричал Волощук. Он видел, как из старых окопчиков выскочили немцы — сухопарые, жидкие. Сколько их было? Где же считать их!

Немцы с воплями карабкались по насыпи и скрывались за шоссе.

Волощук, с силой передернув затвор, в котором застыло обильное масло, выстрелил в немца, тот упал, раненный в ногу, и все-таки уполз за шоссе.

Курсанты и бойцы подбегали уже к насыпи. «Но там же немцы залегли! Перебьют на шоссе!» — мелькнула у Волощука мысль, и он закричал:

— Стой! Назад!

Все остановились. Волощук приказал пулеметчикам-курсантам держать под обстрелом шоссе; остальным — подобрать трофеи, снести в кучу. А сам с замирающим сердцем побежал к блиндажу связистов в лесу. Кто же это наколотил столько немцев? И даже офицера угрохали, — вот скрючился у самого козырька над входом в блиндаж. А этого — чья же граната разорвала, снесла полголовы?

Волощук остановился в изумленьи. Вдруг он услышал шорох, вскинул винтовку к плечу и тотчас опустил. Из траншеи к нему метнулся сержант Микуров. На покрытом копотью лице несказанным светом сияли черные глаза, блестели зубы.

— Товарищ командир взвода, как я рад! Благодарю вас очень!

Волощук хотел сказать и не смог — горло перехватила тугая схватка. Он молча стиснул Микурова в объятиях. Из траншеи уже вылезли и Самохин и Белоусов, такие же закопченные и ликующие.

8

На другой день, отдохнувшие, вымытые, Микуров и Самохин сидели в просторной землянке взвода связи, перебирали, вспоминая, все подробности боя.

— А здорово действовал наш комвзвода! — одобрительно сказал Самохин.

— Жуткое дело — одних трофеев сколько набрали!

— Сколько?

— Я записал, — Микуров достал записную книжку. —

Три пулемета, два миномета, девять винтовок, противотанковое ружье, автомат, два пистолета, два вьючных коня, да патронов и мин — целая гора!

— А помнишь, от мостика как закричал боец: «Помогите!»

— Я того крика всю жизнь не забуду! И тут себя наши товарищи показали — пробрались туда и прямо из пасти немцев вытащили шесть раненых бойцов и сестру. А то уже замерзали. Нам-то в блиндаже тепло было!

— Даже жарко! — усмехнулся Самохин и вдруг стал серьезным. Они умолкли.

— Что-то сейчас дома делается. Хоть бы одним глазком поглядеть! — мечтательно выговорил Микуров.

— Где дом?

— Кировская область. Село Угманово. Я там родился, вырос, выучился и три года учителем в школе работал. Я — восемнадцатого года рождения.

— А я — шестнадцатого. А работал в Москве слесарем на Краснопресненском заводе лакокрасок. Товарищ сержант, дайте лист бумаги.

— Зачем?

— Дело есть!

Взяв лист бумаги, Самохин отошел к столу. Микуров задумался. Как встретили их вчера! Как их все обласкали! Все их называли героями. А если еще в такое же положение придется попасть? Микуров усмехнулся и с непоколебимой верой в себя, в свои силы прошептал:

— Опять будем биться и уничтожать врага!

Самохин вышел из-за стола, подтянутый и строгий:

— Написал?

— Вот, смотри.

Микуров взял лист.

«В первичную организацию ВКП(б) артполка от красноармейца Самохина Василия Ивановича.

Прошу принять меня кандидатом в члены ВКП(б). У меня есть желание быть кандидатом в члены ВКП(б), чтобы быть стойким и мужественным до конца разгрома и уничтожения гитлеровской банды. Обязуюсь быть достойным большевистской партии Ленина — Сталина».

Связисты заглянули друг другу в глаза.

— Правильно, товарищ Самохин, я тоже сейчас пишу заявление.

Руки их сошлись в крепком и красноречивом пожатьи.

ВЛ. СТАВСКИЙ

★

Пуля врагу

Джамбул — это имя простое мое,
Народ — настоящее имя мое.
Я — Родины сын, плоть от плоти ее,
Кость от кости ее.
Страна моя, Советский край,
Твоих сокровищ не сочту.
В тебе народ мой воплотил
Тысячелетнюю мечту.

Я клятву Родине даю:
По капле кровь отдам свою,
Сто миллионов сыновей
С могучими сердцами львов
Оставят материнский кров
В защиту Родины своей,
И никогда нога врага
Не переступит через ров
Гранитной крепости моей.
Пускай не рыщет враг вокруг,
Пускай не тянет жадных рук —
Я сам в ночи подстерегу
Подосланного им слугу.
Я горло вырву у него,
Но на советском берегу
Ни щепки не отдам врагу.

Родина — это народа душа.
Душу от тела — кто оторвет?

Пуля злодейская чья досягнет
До Союза священных высот?
Не играй, разбойник, с огнем
Возле нашего очага,
Не размахивай головней —
Как бы пальцев тебе не обжечь.
Против лютых козней врага
Самый могучий меч —
Знамя единстеа — в моих руках.

Сталин отдал приказ
По всем уголкам страны, —
И отвечают мои сыны
На шестидесяти языках.
Коснулся подлый, злобный враг
Родного рубежа,
Обрушим скалы на него,
Чтобы попятился дрожа.
Потоком хлынет вражья кровь:
Кто крови жаждет — будет сыı
Своею кровью будет сыт.
Пусть захлебнется он в крови —
Врага, как жабу, раздави
Железом танковых копыт.
И, не давая глаз открыть
В кольцо свернувшейся змее,
Врага ты с воздуха бомби
Повсюду на земле.
Врагам у нас пощады нет,
И в песне пуля говорит.
Швырни обратно головню —
Пусть вражий дом дотла сгорит.

ДЖАМБУЛ

С казахского перевел Л. Шифферс



Партийный билет

— Подавай, Катя, подавай...

Она торопливо, лихорадочно подавала патроны. Из-под платка выбились волосы. Алексей не оглядывался, припав к пулемету, бросал:

— Подавай, Катя, подавай...

Трещал пулемет, двигалась длинная лента, Катя торопливо хватала следующую, держа ее наготове.

— Катя!..

— Да.

— Иди еще раз позвони.

— Да.

— Скажи полковнику, слышишь? Все скажи.

— Да.

— Осторожно, Катя, по земле...

— Да, Алеша, да.

Она поползла кустами. За пригорком пустилась бегом, добежала до дому. К телефону.

— Город давай, город, тридцать пять.

— Не отвечает.

— Давай! Давай тридцать шесть...

— Не отвечает.

Телефон щелкнул. Катя заломила руки. Бросилась к окну. Там, за кустами, гремели залпы, хлопали выстрелы. Она еще раз дрожащей рукой схватила трубку.

— Милая, дорогая... говорит Орловка... Орловка... Милая, дорогая, дай город, тридцать пять...

— Не отвечает.

— Милая, милая, пойми, говорит Орловка, Орловка! Город... Все равно какой телефон, город!

— Постараюсь, подождите, — сказал вдруг голос в трубке.

Катя преодолевала дрожь; где-то там, далеко, она слышала треск включаемых проводов и приятный голос телефонистки, упорно повторяющий:

— Город... Город... Город...
— Алло, Орловка!
— Я здесь Орловка, Орловка...
— Связь с городом прервана. Поправляют. Надо подождать.
Она опустила руки. Связь прервана.
Катя снова выбежала из дому. До кустов ползком, на животе. Вот она добралась до своих. Алексей повернул от пулемета потное, закопченное лицо.
— Ну как?
— Связь прервана. Чинят.
Он сжал зубы.
— Катя, посмотри, со стороны Гриши ничего не слышно.
Она поползла направо, на пригорок. Молоденький пограничник лежал лицом к земле. Она осторожно коснулась губами мальчишечьей щеки. Щека была еще теплая. Она сунула руку под гимнастерку — сердце не билось.
— Мертвый, — сказала она Алексею.
— Девять, — отозвался он. — Подавай патроны, Катя.
Она подавала. Расширенными глазами смотрела туда, на другую сторону: узенькая речушка и мосток. Там, за мостком, на зеленом фоне взрывались красные огоньки выстрелов — немцы.
— Подавай, Катюша, подавай...
Они лежали, прижавшись к земле, спрятанные за кустами, за буйно растущей травой. И без перерыва, без памяти палили в ту сторону. В двухстах — трехстах шагах от них засели немцы.
Катя машинально подавала патроны и машинально считала:
— Да, девять, Гриша ведь уже не в счет...
Рядом, совсем близко, кто-то застонал. Теперь уже не девять, а только восемь. Как его звали? Коля... Ну да, Коля...
— Катя, попробуй еще, еще попробуй, может, поправили.
Она вскочила, побежала.
— Орловка... Говорит Орловка... Милая, хорошая, давай город!
— Связь будет через два часа.
Катя бросила трубку. Бегом назад.
— Алексей, связь будет через два часа.
— Через два часа нас уже не будет, Катюша.
Она торопливо сосчитала. Семеро. Ну да, семеро.
— Катюша, возьми платок и посмотри, что там с Платоном.
Она поползла за кусты, платком обвязала раненую руку.
— Ползите отсюда, вы ранены...
— Ничего, ничего, Катюша. Ничего.

— Катя!

Она услышала голос мужа и бросилась к нему.

— Слушай, Катя...

Он не смотрел на жену, он не отрывал глаз от зеленых зарослей там, за мостком, где расцветали красные взрывы.

— Слушай, Катя, внимательно.

— Да.

— Сумеешь вывести машину из сарая?

Она отшатнулась, словно ее толкнули в грудь.

— Сумеешь?

Он не смотрел на нее. Он смотрел туда, в зелень зарослей, расцветающую красными огнями.

— Да, — сказала она глухо.

— Слышишь, Катя?

— Да.

— В шкапу документы. Все документы в машину.

— Да.

— И в город. Отдашь полковнику, понимаешь?

— Да.

— Иди, Катя, скорей.

— Алеша!

— Что?

— Алеша, я останусь... Не могу...

— Катя, немедленно! Понимаешь? Немедленно! Через минуту может быть поздно. Документы, все, что в шкапу. Понимаешь, Катя?

— Да.

Он не взглянул на нее ни разу. А она не решилась коснуться его руки, протянутой за новой пулеметной лентой.

— В машину — и полный ход. Гони, как можешь. Возьми наган, слышишь? Помни, Катя, семь патронов — последний оставь на всякий случай, понимаешь?

— Да...

Она тихо поползла к кустам. Вдруг он позвал снова.

— Катя, подожди, мой партийный билет возьми. Собери у всех. Отвезешь партбилеты.

Она взяла красную книжечку. Потом поползла от одного к другому. Пятеро — пятеро ей подали свои партийные билеты.

— У тех тоже нельзя...

Она обыскала карманы убитых. Вот они, маленькие красные книжечки.

— Помни, Катя, приготовь бензин, в случае чего, облить и поджечь... И седьмой патрон помни. Иди скорей, Катя, скорей...

Теперь он, наконец, взглянул на нее. Серые, любимые глаза... Она почувствовала отчаянную, безудержную, безумную любовь к этому человеку.

— Алеша...

— Ничего, ничего, Катя. Иди поскорей. Это и есть любовь, Катя.

Это и есть любовь. Она закусила губы. Осторожно поползла, чувствуя на груди жесткое прикосновение красных книжечек.

А потом бегом. За домом сарай, в нем грузовик.

Катя завела мотор. Там, за кустами, наверняка слышат его гуденье. Слышит Алексей.

Это и есть любовь. «Вот это и есть любовь», — как в бреду, повторяла она сухими губами. Выехала на дорогу.

Она наклонилась над рулем. Дорога была ровная, гладкая. Катя дала полный ход. Ветер свистел в ушах.

Мелькали зеленые деревья, белые избы. Она неслась, неслась вперед, повторяя про себя слова Алексея:

— Скорей! Может быть слишком поздно.

На распутьи пришлось остановиться, спросить дорогу. Она ведь не знала эти края — первый раз здесь. Один день и одна ночь после шестимесячной разлуки с Алексеем.

Наконец город. Ее задерживали, спрашивали. Она автоматически отвечала.

Ей показали дорогу. Она тяжело шла по лестнице. Один этаж, другой... Ах, какая длинная лестница... Одна дверь, другая дверь, третья... Военные, милиционеры, полно людей. Зеленые шапки. Сердце сжалось при виде зеленых шапок пограничников.

— Комендант, Алексей Назаров, велел мне отвезти документы.

— А вы кто? — спросил человек за столом

— Екатерина Назарова.

— Жена?

Катя удивилась вопросу. Как же могло быть иначе, как можно еще спрашивать?

— Жена.

Она подавала бумаги, портфели, пакеты. Руки за столом брали все по очереди, спокойно, старательно складывали.

— А теперь сядьте, отдохните.

Она хотела сказать, что не устала, но ноги подгибались. Она тяжело опустилась на стул. В голове еще гремели выстрелы, и нестерпимо грохотал мотор грузовика.

Человек за столом взял телефонную трубку.

— Дайте Орловку.

Катя ждала.

— Орловку, Орловку — немедленно!

Она ждала. Тот тоже ждал. Глазами, полными одного страстного желания, она пыталась прочесть что-нибудь в его глазах, крепко-крепко сжимала пальцы.

— Так, так.



Он медленно положил трубку.

— Что, что?

Он вышел из-за стола. Взял в свои руки ее холодные, крепко стиснутые пальцы.

— Что? Что?

— Орловка не отвечает.

— Еще нет связи?

Она чувствовала, как стынут ее пальцы, как леденеют ноги, леденеет все тело.

— Милая, храбрая... Что ж делать? Война... В Орловке немцы...

Как эхо, как отдаленное воспоминание, пронеслись в голове слова песни. Кто же это пел и когда? Алексей, чернобровый, светлоглазый, милый, любимый, любимый Алексей!

> Жалко только волюшки во широком полюшке,
> Солнышка на небе, любови на земле...

Она уже совладала с собой.

— Я пойду...

— Куда?

— Мне надо в обком.

Ей показали, как пройти.

— Пропуск?

Но, взглянув ей в лицо, милиционер смутился.

— Позвоните секретарю, я приехала из Орловки. Екатерина Назарова.

Она ждала. Милиционер тотчас положил трубку.

— Проходите.

Снова письменный стол, снова человек за столом. И снова у нее сжалось сердце. На кого он похож? Ах да, на Гришу, на молоденького Гришу, что пал первым.

— Я принесла партийные билеты.

Она вытащила их из-за пазухи. Десять ярких, красных книжечек.

— Чьи партийные билеты?

Катя выпрямилась. Уверенным сильным голосом сказала:

— Партийные билеты десяти товарищей пограничников, погибших на посту в борьбе с немцами, сегодня на рассвете.

Секретарь встал. Партийные билеты лежали на письменном столе. Десять красных книжечек, сверкавших на зеленом сукне, словно пятна живой крови.

В. ВАСИЛЕВСКАЯ

★

Ленин

Из бронзы Ленин... Тополя в пыли,
Развалины сожженного квартала.
Враги в советский городок вошли
И статую низвергли с пьедестала.
Полковник-щеголь был заметно рад,
Что с памятником справился так скоро.
И щелкал долго фотоаппарат
Услужливого фоторепортера.
Полковник ночью хвастал, выпивал,
А на рассвете задрожал от страха.
Как прежде, памятник в саду стоял,
Незримой силой поднятый из праха.
Заторопились офицеры вдруг.
Неясные вдали мелькали тени.
То партизаны, замыкая круг,
Шли на врага.
И вел их — Ленин.

СТЕПАН ЩИПАЧЕВ



«Черная туча»

(Из одесских записей)

Бой ушел вперед. Он гремел теперь далеко от этих окопов, и сюда доносилось лишь приглушенное ворчание разрывающихся мин и снарядов: стремительный и яростный удар морских полков отогнал врага на восемь километров.

Сейчас здесь было тихо и пусто. Над безлюдными окопами, где две недели держались моряки, легкий ветерок чуть шевелил деревья — вернее, огрызки деревьев. Тонкие их стволы были срезаны, расщеплены или белели ранами сорванной коры, ветви — надломлены, обгрызаны, посечены, и пробитые, надорванные листья преждевременно пожелтели. По этой изуродованной зелени можно было судить о том, что было в этой посадке. Две недели подряд свистел в этой рощице металлический вихрь, две недели рвались здесь мины, снаряды, авиабомбы, густыми роями летели пули из автоматов и пулеметов — и высокие пышные акации превратились в низкий кустарник. Общипанный и жалкий, он стоял теперь немым свидетелем этих двух недель, когда здесь, в посадке, отсиживались в неглубоких своих окопах черноморские моряки, вышедшие на берег для смертного боя.

Спереди, сзади, справа и слева были румыны. И только высокая кукуруза, протянувшаяся к железнодорожному полотну, где оборонялась остальная часть полка, была единственной дорогой, по которой ночами подтаскивали ящики с патронами, пищу и воду. Посадку нужно было удержать во что бы то ни стало: отсюда с подходом подкреплений должен был начаться удар по осаждающим Одессу румынам.

Это было окружением. Но об окружении не раз беседовал со своими бойцами их командир, полковник Осипов, в прошлом матрос с «Рюрика» и «Гангута», боец первого кронштадтского матросского полка гражданской войны, ко-

мандир отряда моряков на Волге, затем полковник и командир одесского военного порта.

— Окружением маленьких пугают, — неторопливо говорил он глуховатым своим голосом, пережидая взрывы мин и снарядов, ибо беседа велась в этой самой посадке: полковник не раз пробирался туда по кукурузе, чтобы подбодрить моряков, побеседовать по душам и распорядиться насчет очередной атаки. — Поглядите, как вы тут ладно устроились: посадочка-то ваша углом идет... Полезут румыны внутрь угла — будете бить с двух сторон. Полезут справа — левая посадка фланговый огонь по ним даст, а слева пойдут — правая так же с фланга будет косить. На самый угол полезут — у вас полная мощь огня. За такую посадку денежки платить можно... А что касается окружения, не все ли равно, где врага бить: сзади, с боков или спереди? Только не зевайте, высматривайте, откуда лезет. Крепче держитесь, товарищи, по-флотски держитесь!.. Скоро эту посадочку оставим, вперед пойдем, не на мертвом якоре тут стоим!..

Румыны знали, что эту посадку держат два батальона морского полка, — того полка, который, появившись на боевом участке, сразу же отбросил их от подступов к городу. И на эти два батальона моряков противник бросил почти целую дивизию — два пехотных и один артиллерийский полк. Румынам удалось просочиться между посадкой и остальными силами моряков. Ежедневными атаками враг пытался сломить сопротивление моряков, закрывших доступ к позиции, выгодной для обстрела Одессы. Две недели подряд на эту посадку одна за другой накатывались волны атакующих румын (в иную атаку до восьми волн!) — накатывались и разбивались о твердость и выдержку советских моряков, как о скалу.

Эти волны застыли у окопов безобразными грудами тел, наваленных друг на друга. Тут были и давние трупы, уже высохшие и съежившиеся за две недели, были и вчерашние. И одинаково у всех пули были во лбу, в сердце, в груди, — точные прицельные пули спокойного морского огня, — и одинаково у всех не было с собой тех автоматов и пулеметов, с которыми они лезли на горсточку храбрецов: оружие их давно попало в руки моряков, и верхние тела были срезаны пулями из тех автоматов, которые принесли сюда нижние.

Только полсотни шагов отделяло убитых от окопов: моряки подпускали к себе атакующих вплотную, чтобы бить их наверняка — в лоб или в сердце. Так учил своих бойцов полковник Осипов.

— Подпускай ближе, не нервничай. Они идут, орут, поливают из автоматов, на психику берут... вон вчера с музы-

кой и иконами пошли в восемь рядов: нам, мол, все нипочем!.. А ты его тоже на психику бери: молчи и жди... Топай, мол, топай, Вася, а я обожду, когда у тебя гайки начнут отдаваться... Они лезут, а ты посиживай, посматривай, выбирай цель, — и тогда только бей, когда его проклятую рожу разглядишь, а на ней — страх... Такого и бить веселей: одного свалишь, десять назад побегут.

И сидели моряки под обгрызанными своими акациями, под срезанными начисто ветками, часами выдерживая бешеный минометный и артиллерийский огонь, предвестник атаки. Сидели и при самой атаке под диким ливнем автоматического огня наступающих цепей, сидели, «не нервничая», поджидая команды и разглядывая лица врагов. С каждым шагом мимо наваленных штабелями трупов (а ведь накануне те так же шли на эти окопы!) небритые, грязные лица атакующих, уже перекошенные страхом подневольной атаки, и впрямь искажались ужасом перед этим грозным молчанием окопов, таящим смерть, перед выдержкой и мужеством «черных комиссаров».

«Черные комиссары», «черная туча», «черные дьяволы» — так прозвали румыны краснофлотцев, бойцов морских полков. Моряки пришли с кораблей в окопы как были — в черных брюках и бушлатах, в черных бескозырках, — такими они и запомнились румынам при первых встречах, когда сказались все качества моряков: боевое упорство, смелость, сплоченность и пренебрежение к смерти. Такими узнали их впервые румыны, когда моряки, подпустив вплотную к окопам и покосив их ряды яростным огнем, ринулись в контратаку, когда черные высокие фигуры замелькали в зелени посадки и в желтых зарослях кукурузы, когда острые штыки настигали бегущих румын могучим ударом в спину. С первой этой встречи многое изменилось во внешнем виде моряков: теперь они были в защитной пехотной форме, в пилотках, в плащ-палатках. Но часто, быстрым морским прыжком взлетая для контратаки на бруствер, словно на мостик, моряки вытаскивали откуда-то из-за пазухи флотские бескозырки — и флотские ленточки развевались на бегу, и черные фуражки опять мелькали в шелестящей кукурузе, — наводящее ужас видение «черной тучи», нетерпеливой, грозной, целеустремленной силы, направленной лишь к одному: разбить и уничтожить врага.

Такими увидели моряков румыны. Нам же, кто повидал и помнит прежние бои за революцию, эти бескозырки в зелени посадок, эти ленточки, развевающиеся на бегу, напоминают другое. Как будто из боевых своих братских могил встали матросы гражданской войны, те, кто дрались и в степи и в лесах, и на конях и на бронепоездах — везде, куда посылал их в бой революционный народ и партия. Как будто

воскресло орлиное племя матросов революции: тот же дух, то же боевое упорство, натиск, смелость, игра со смертью, веселость в бою и ненависть к врагам. Пусть эти новые моложе, но это одна кровь, одна родная семья моряков, какие бы имена кораблей ни сверкали на их ленточках, с какого бы моря ни сошли они на сушу бить врага — с Черного ли, с Балтийского ли, с Тихого или с Ледовитого океанов, — и враг узнает тяжелую матросскую руку, бьющую наотмашь.

В своих бригадах, полках и батальонах они сохраняют на берегу ту сплоченность и боевую дружбу, которая рождается только кораблем, — кораблем, где люди живут, учатся, спят, бьются в бою и гибнут рядом, локоть к локтю, сердце с сердцем. Корабль создает из них монолитный коллектив, единый в мыслях и чувствах.

И это свойство моряка — быть не одному, а в коллективе, гордиться именем своего батальона, как именем корабля, — сказывается и в окопе, и в атаке, и в разведке. Разные люди с разных кораблей сошлись в роте, в батальоне, но, глядишь, через день-два этот окоп или блиндаж напоминает кубрик: уже появились ласково-грубоватые шутливые прозвища, уже известно, что Васильев с «Червонной Украины» — спец по ночной разведке, а Петров с «Беспощадного» — отличный снайпер, что старшина роты, комендор с «Ворошилова» — человек очень горячий, что в атаке надо за ним присматривать и от него не отрываться, — того и гляди залезет один в самую гущу и погибнет дуром. Уже известно, что нет во всем полку лучшего минометчика, чем Иванов с тральщика, — не тот Иванов из авиабригады, который при высадке пристрелил мотоциклетчика и рванул дальше на его машине, и не тот Иванов с канлодки, который пошел ночью в кукурузу оправиться, а вернулся с двумя румынами: напоролся на разведчиков, одного стукнул по голове, а другой сам лапки кверху, — а тот Иванов, у которого усы и который играет на баяне... И каждый из моряков расскажет вам о своем полковнике, о его легендарной машине, пробитой осколками снарядов и прошитой пулеметами, в которой он подлетает к окопам, словно на катере. Вам расскажут и о военкоме полка Владимире Митраксве, о том, как в самых опасных местах обучал он моряков стрельбе из тут же добытых трофейных пулеметов, первый овладев этим оружием, как пробирался он к окруженным подразделениям, неся с собой волю к победе, уверенность, веселую шутку и дружеское теплое слово, и как провожали его, раненого, в тыл и как ждут его обратно — всем полком — и какую встречу ему готовят... Посидите с моряками вечерок в посадке или в окопе, и вся жизнь нового коллектива станет перед вами во всей ее суровой и веселой простоте, в шутках и подначках, в уважительных отзывах о храбрей-

ших, в мужественной скорби по погибшим товарищам, с которыми так и не поспели сдружиться.

Дух крепкого флотского товарищества, корабельная твердая дружба расцветает в степи или в лесу, — и морская часть на суше становится кораблем, то есть сплоченным боевым коллективом смелых советских людей, готовых до последнего вздоха драться за родину, за счастье советских народов, за их и свою свободу.

И если в такой коллектив попадает молодой человек, не видевший ранее ни корабля, ни моря, он впитывает в себя этот великолепный дух, эти традиции, эти боевые навыки и желание сделать свой батальон первым, лучшим, красивейшим и храбрейшим. Его мучает и смущает, что не может он, подобно товарищам, надеть в бой драгоценную ленточку с именем своего корабля, что в беседах между атаками не может назвать тех, с кем плавал, кто командовал его кораблем, кто был на нем комиссаром. Но тем более хочется ему доказать этим особенным людям, понимающим друг друга с полуслова, что и он достоин войти в их тесную и смелую семью, что и его можно назвать высоким именем советского моряка.

И он идет в бой впереди других, уходит в опасную разведку, кидается один на десятки врагов, — все это для того, чтобы перед самим собой завоевать право не опускать глаза перед этими мужественными, простыми и веселыми друзьями моряками.

Так было и с молодым севастопольским пареньком Юрием Меем. Он пришел в полк добровольцем, не служив во флоте. Вместе с остальными он прыгнул с баркаса в холодную воду по грудь, высоко подняв винтовку и гранаты, и так же, как для остальных, для него не был ощутим холод осеннего моря (моряки потом говорили: «Холодная вода, понятно, но очень тогда азартно было, не замечали»). Вместе с остальными он ворвался в темноте в прибрежную деревню, напоролся на тяжелые орудия, — те, которые стреляли по порту и городу, перестрелял и переколол с товарищами немецких артиллеристов, вытаскивал из орудий и прятал замки, потому что было ясно, что кучке моряков, заскочившей в деревню, этой позиции никак нельзя было удержать. Так провел он ночь, день и еще ночь в яростном бою — в первом своем бою.

Удар десантного полка во фланг румынам в сочетании с лобовой атакой батальонов полка (покинувшими, наконец, для этого свою знаменитую посадку) отбросил румын на несколько километров. Моряки заняли новые позиции, расположившись в недавних румынских окопах и повернув их фронт к врагу. Напор моряков освободил Одессу от обстрела тяжелой немецкой батареей, орудия были от-

правлены в город, и каждую пушку провезли по улицам с выразительной надписью, выведенной белой краской на черном длинном стволе: «Она стреляла по Одессе, больше не будет», — и отвезли в Севастополь к Историческому музею.

Румыны решили вернуть потерянные ими выгодные позиции. Удар за ударом, атака за атакой, тысячи мин и снарядов посыпались на полк. Враг попытался подавить его количеством: 29 сентября до полуторы тысяч румын двинулись на окопы, где был только третий батальон морского полка. Автоматчики заранее, в темноте, подкрались по кукурузе на семьдесят метров к окопам и держали моряков в земле, не давая поднять головы. Потом пошли волны атаки — одна за другой. Моряки подпустили атакующих вплотную, как обычно, и скосили первые их ряды. Краснофлотцы Дмитренко, Вчерашний и Лисьев выскочили из окопа, закололи автоматчиков в кукурузе и их же оружием начали бить во фланг следующей цепи румын.

Выскочил из окопа и Мей, залег с винтовкой в кукурузе. На него, прячась за копнами, пошло до шестидесяти врагов со станковым пулеметом. Мей поднялся во весь рост, швырнул две гранаты, рванулся к пулемету, повернул его и погнал его огнем все шесть десятков румын. Увлекшись, он перетаскивал приобретенный пулемет все дальше и дальше, кося им отходящих румын... И хорошо, что командир роты заметил это и выслал к Мею еще семерых моряков, иначе тот был бы отрезан от своих. С этой поддержкой пулемет, затащенный Меем далеко вперед, очень помог бою, ведя губительный фланговый огонь. Так доброволец Юрий Мей вошел в боевую семью морского полка как равный, и никто уже не спрашивал его с дружеской насмешкой, с какого он корабля и какой специальности.

В этом же бою произошло то, что командир батальона, смеясь, назвал «стихийной атакой».

Девятая рота отражала одну атаку за другой. Бешеный автоматический огонь сменялся минометным, потом снова надвигались цепи румын. Поднять людей в контратаку под этим огнем, прижимавшим к земле, командиру батальона казалось преждевременным, и он медлил с приказанием. Но в девятой роте, далеко от командного пункта, командир отделения Вялов, пригибая голову под роем свистящих пуль, повернулся к командиру роты Степанову, лейтенанту с торпедного катера:

— А что, товарищ лейтенант, не пойти ли самим в атаку?.. Прямо терпения никакого нет, до чего хлещет... Может, ударить — драпанут?

И из окопа на бруствер, под огонь, которого, казалось бы, не могли выдержать человеческие нервы, выскочило во весь рост сразу трое: Вялов, Степанов и услышавший этот



Пленный. Рис. с натуры худ. Н. Жукова



Пленный гитлеровец. Рис. с натуры худ. Н. Жукова

разговор пулеметчик с канлодки Соболев. За ними, как один человек, встала вся девятая рота... Увидев это, тотчас поднялась и соседняя, седьмая. За ней — первая. Боевой порыв шквалом поднял моряков из окопов и в соседнем батальоне... «Черная туча» ринулась на атакующих румын и через груды вражеских тел, наваленных перед окопами, покатилась неудержимой страшной лавиной. Румыны дрогнули и побежали назад...

— Ну и дали они ходу — узлов на тридцать, — рассказывает Степанов. — Сперва они в свои окопы попрыгали, а мы обошли, налетели сбоку и порядком их там перекололи, кто не поспел выскочить. А тех — гнали, гнали, пока краснофлотцы не притомились. Главное дело — пить очень хотелось, а воды — ни у нас, ни у них... Так и отогнали за восемь километров, тут и сидим теперь.

Этот бой дал огромное количество трофеев: две тяжелых батареи, которые держали порт под обстрелом, автоматы, пулеметы, винтовки, минометы, танки, зенитки... В новых окопах возле каждого моряка N-ских полков лежал теперь заработанный в бою автомат или пулемет, выставив из зелени посадки свой длинный черный ствол и поджидая бывших хозяев.

Так показал себя в первом же восьмисуточном бою морской полк, только что сформированный из моряков, впервые сошедших с кораблей в десант. В непривычной обстановке, не умея еще применяться к местности, окапываться, вести разведку, держать связь, моряки показали образцы боевого напора, смелости, инициативы. Вперед, только вперед — вот с чем ринулся с кораблей на берег морской полк.

И моряки шли вперед «черной тучей», сметающей сопротивление, сеющей ужас и панику, шли, сшибая мотоциклетчиков и мчась дальше на их же машинах, сшибая кавалеристов и громоздясь на трофейных коней.

Дело порой доходило до курьезов. Разведчик Казмир, оторвавшись от своих, встретил румынского кавалериста, рассчитался с ним и пошел в разведку на его коне. В свете раннего утра он заметил на опушке рощицы кучку румын. Какими-то непонятными жестами румыны стали манить к себе одинокого моряка.

— Я, признаться, подумал, может, они, увидев матроса, желают без лишнего шума сдаться... Не мне же сдаваться предлагают?

Он поскакал к ним. В ста метрах румыны встретили его огнем. Он кубарем слетел с коня, залег в ямку и повел бой — один против двух десятков. Человек шесть-семь положил, понял, что пора выбираться... Оглянулся — а лошадь давно ушла назад.

— Надо было ее на якорь возле поставить, да не догадался... Пришлось по ямкам, по воронкам подаваться назад... Ничего, оторвался от боя, еще двоих положил...

Дважды, трижды раненные, моряки не бросали оружия. Так до конца первого боя оставался в строю командир батальона старший лейтенант Матвеенко, так силой пришлось оторвать от пулемета старшину группы Родионова... К упавшим подбегали санитары и ползком под огнем вытаскивали раненых. Оставшиеся на ногах шли вперед, в тьму, в неизвестные и непонятные рощицы, в сожженные и разграбленные деревни, шли, окруженные врагами, в самую гущу которых ворвалась с моря эта «черная туча».

Так две ночи и день шел через расположение врага морской полк, пока не вышел на соединение с армейскими нашими частями и с морским полком. Советские пехотинцы встретили показавшиеся из кукурузы черные фигуры моряков, запыленных и обожженных боем, радостными криками: «Ура! моряки!»

Но иногда встречи были любопытнее.

На второй день боя трое разведчиков полка, пробираясь по кукурузе, заметили, что в ней кто-то шевелится. Присмотрелись — насчитали шестерых. Все — в камуфлированных плащ-палатках, румынские автоматы торчали из этого одеяния. Разведчики шопотом посоветовались — шестеро, а может, там еще кто притаился?.. Но проверить надо, на то и разведка...

Выскочили моряки из кукурузы, кинулись через прогалину в рост, наклонив штыки:

— Сдавайтесь, руманешти! Моряки идут!.. Матрозен, мы матрозен!..

Из кукурузы проворно выскочила фигура в румынской плащ-палатке. Она кинула автомат и раскрыла руки, как для объятия. Моряки на бегу переглянулись: сдается, факт!.. И вдруг румын закричал на русском языке:

— Славному морскому полку, ура!

И кукуруза подхватила «ура», и из-за шуршащих стеблей выскочили еще люди в румынских плащ-палатках, и трудно было понять, кто кого брал в плен, — так переплелись дружеские объятия. Связь между осиповцами и новым полком была установлена. Когда первый восторг встречи улегся, моряки из полка недовольно сказали:

— Чорт вас догадал так обрядиться. Мы же вас вполне пострелять могли. Хорошо, на штыки вас хотели взять, а то бы...

— Да мы вас уж полчаса в кукурузе видим, — ответили «старички»-осиповцы. — Бушлатики, товарищи, поснимать придется. Война здесь другая... А что втроем в атаку идете — это по-нашему, по-осиповскому. Значит, сдружимся.

И через несколько дней краснофлотцы морского полка научились и окапываться поглубже, и в разведку незаметно ходить, и прикрывать черную матросскую робу защитной гимнастеркой или трофейным румынским плащом. Одному не изменили бойцы: верности флотским традициям, идущим от штурма Зимнего, от давних боев на Урале, Перекопе, Волге и Донбассе, — мужеству, напору, верности родине, готовности быть всегда и всюду первыми.

Так крепли и закалялись в жестоких боях с немецкими бандитами, с гитлеровскими разбойниками советские военные моряки, краснофлотцы, сыны и внуки матросов революции, доказывая всю правоту сталинского утверждения: «В огне отечественной войны куются и уже выковались новые советские бойцы и командиры, летчики, артиллеристы, минометчики, танкисты, пехотинцы, моряки, которые завтра превратятся в грозу для немецкой армии». Морские полки, державшие историческую оборону Одессы, где на каждого советского воина приходилось не менее шести врагов, показывают сейчас на других участках фронта, что моряки и на суше действительно стали грозой для врага.

Л. СОБОЛЕВ



Атака

Напомним псам кровавый снег у Пскова,
Когда разбили русские в бою
На льдах и скалах озера Чудского
Железную немецкую свинью.

Когда, о клин тройным ударив клином
И завершив стремительный поход,
Мы с боем получали под Берлином
Немецкий ключ от городских ворот.

Когда над потрясенными врагами
Вставало пламя, кровлю шевеля,
Когда под их нетвердыми ногами
Горела украинская земля.

Враги дрожат, завидев цепь за цепью,
Почуяв приближение беды,
И перекатное «ура» над русской степью,
И проходящие под пулями ряды.

Им не снести удара лобового,
Прославленного в битвах на века,
Трехгранного, точеного, прямого,
Немеркнущего русского штыка.

МИХ. МАТУСОВСКИЙ



Смельчаки

Это было на Северо-западном направлении.

Лежали в пахучей траве, в густом орешнике. Пункт связи укрыт надежно; побледневшее от зноя небо — пустынно. Зной был такой, что, казалось, трещали листья. Где-то неподалеку находилась муравьиная куча, и лейтенант Жабин нет-нет да и смахивал со щеки муравья. Покусывая стебелек травы, он не торопился с рассказом.

— Немецкому солдату думать запрещено, этот процесс у фашистов считается вредным, — говорит он. — Котелок у него не приспособлен для быстрого соображения, — покуда он еще спохватится. Вот на этих секундах мы и выигрывали... А дело было трудное, вспомнить, — так задним числом мороз дерет по спине... Ну и народ, конечно, у нас смелый. Взгляните на связиста Петрова, — по лицу никак не заметно, что отчаянный парень. Чересчур для мужчины смазливый, глаза сонные, — мгла какая-то в глазах; девушке каждый день открытки пишет... Бойцы ему постоянно: «Петров, да кто ты — человек или пень ходячий! Ведь ты же на войне, — расшевелись...» — «Отвяжитесь от меня, — отвечает, — когда надо — расшевелюсь...»

— Товарищ Жабин, как же вам все-таки удалось столько дней пробыть с двадцатью пятью красноармейцами в фашистском тылу и уйти невредимым? — спросил человек с блокнотом на коленях.

Жабин повернулся на бок:

— У меня шофер очень сообразительный. Я ему говорю: «Зачем ты, Шмельков, вертишь эту баранку? Тебе в университет надо, на физико-математический...» — «Да так, говорит, смолоду засосала шоферская жизнь...» Вы спрашиваете, как мы попали к немцам? Мне было приказано в местечке П. сосредоточить все средства связи и связь держать со штабом до последней возможности.

Там я и оказался в окружении. Под вечер два гру-

зовика, битком набитые фашистами, ничего не думая, сунулись в Дубки. Мы немцев спокойно пропустили, с флангов полили их из пулеметов, когда они из машин расползлись, — мы их в штыки. Немцы этого не любят, некоторым удалось убежать, офицер их кинулся в камыши и сидит в воде так, что видны одни ноздри. Взяли у него сумку с важными документами.

Завели мы немецкие грузовики, погрузились в них все двадцать пять бойцов, да вот мы с Петровым, за рулем на переднем — Шмельков. Небо заволокло, звезд не видно, луна еще не всходила. Едем по фашистскому тылу вдоль фронта. Час-другой не встречаем ни души, на западе полыхают зарева, на востоке — стрельба и тяжелые взрывы. По заревам, по грохоту пушек ориентируемся.

Впереди должна быть знакомая деревня. Остановились. Петров соскакивает:

«Разрешите мне в разведку».

Вот, думаю, когда человек оживился и девчонку свою забыл. «Иди». Он — гранаты по карманам и быстро так, сноровисто, умело пошел. Минут через сорок зашелестели кусты, он стоит у кабинки:

«В деревне — колонна фашистских автомашин».

Думаю, — это неприятно. Но — дорога одна, справа-слева болота, а возвращаться назад нам нет никакого расчета. Шмельков говорит успокоительно:

«Садись, ребята, проедем».

Наши стальные шлемы в темноте могут сойти за немецкие, отличительных значков не разобрать, только штыки наши русские, четырехгранные, могут выдать. Я приказал бойцам держать винтовки на коленях.

Скоро увидели три синих огонька — германский «стоп-сигнал» в голове автоколонны. Шмельков включил свет в подфарники, видим — семитонные грузовики с ящиками, на радиаторах — белый диск с черной свастикой. Сбоку дороги трое офицеров, глядят в нашу сторону и вертят электрическими фонариками. Шмельков дал полный свет в фары, офицеры сморщились, заслонили глаза ладонями, и мы равнодушно проезжаем мимо автоколонны, отворачивая головы, чтобы не показывать красную звезду на каске. Прибавляем скорость, проезжаем деревеньку, уютную, милую, с тихими хатами среди густых вишен и яблонь, где жить да жить. Деревня пуста, все население ушло.

Около деревянной церковки в открытой машине сидит морщинистый немецкий офицер с дряблым кадыком и фонариком освещает карту. Едва-едва я успел схватить Петрова за руку, — он было высунулся из кабинки, замахнулся гранатой.

Но все-таки офицер что-то заподозрил. Когда миновали

село, нас догоняет двадцатисильный мотоцикл с прицепом, в кабине — пулеметчик. Тут Петров и швырнул гранату, да так ловко, что пулеметчик на полтора метра подпрыгнул из кабинки, будто торопился что-то нам рассказать, а водитель вместе с мотоциклом вперед головой кинулся в канаву.

Мчимся в темноте с погашенными фарами. Большое зарево на горизонте отражается впереди за черными кустами: здесь речонка и деревянный мост. Сбавляем ход. Слышим окрик по-немецки. У нас оружие и гранаты наготове, сидим молча. Приближаются две неясные фигуры часовых. Один остановился, другой подошел к кабинке и вглядывается, прижал нос к стеклу, — встретились мы с ним глазами... Вдруг он мне закивал, закивал и — шопотом — ломанно по-русски:

«Рус, мост не ехай, там стреляйт фашист...»

Километров пять ехали мы по лугу вдоль берега реки, слушая, как кричат лягушки. Выбрались на дорогу и опять видим синие огоньки, слышим лязг железа, идут танки, и передний от нас в тридцати шагах.

«Ложись, — говорю бойцам, — чтобы хвост ни у кого наружу не торчал».

Свернули мы к обочине дороги и почтительно, не спеша, едем, пропуская тяжелые черные танки с белым кругом и свастикой, как глаз. Фашисты предполагают, что, например, череп и кости у них в петлицах, черные танки, воющие бомбы должны наводить панический ужас на врага. Может быть, им виднее. Некоторые дикари надевают на войну маски с клыками и рогами, — тоже, говорят, страшно...

За танками шли зенитки, цистерны, грузовики. Вижу, — попали в кашу и нам тут беды не миновать, надо выбиваться на другую дорогу. Но как повернуть? Повернешься — сейчас же вызовешь подозрение.

Справа от дороги показалась березовая аллея. Шмельков сразу сообразил, в чем тут дело, свернул в аллею, замелькали в глазах белые стволы, и мы прямехонько вкатились на двор совхоза, к гаражу.

Шмельков с ходу развернул машину и начал подавать ее задом, будто бы для заправки. Несколько немецких солдат подбежали отворять двери гаража. Вот и хорошо, что Гитлер не учил их думать и скоро соображать. Шмельков, а за ним наша вторая машина, развернувшись, погасили огни и полным ходом дунули обратно в березовую аллею. Позади начали кричать, стрелять, но мы уже выехали на дорогу, где все еще шла автоколонна, и с полным правом, как люди, только что заправившиеся бензином, перегнали танки и свернули в высокую рожь.

На рассвете доехали до лесочка, и тут у нас кончилось горючее. Мы укрыли грузовики и стали закусывать. Вдруг

Петров зажал сухарь в зубах и поворачивает голову, вскочил, кинулся в папоротники, — там что-то пискнуло, — и он тащит за руку мальчишку лет девяти, стриженого, тупоносого, со злыми глазами.

— Ну, чего ты? Видишь — я свой, пусти, — говорит мальчик, — я же думал это фашисты...

— Ты чего тут делаешь, постреленок?

— Я разведчик. Мы с дедом Оксеном работаем...

Оказалось, этот мальчишка и еще пятеро таких же с черными пятками остались на хуторе с восьмидесятилетним дедом Оксеном. Мужчины, женщины с малыми детьми и скотом ушли в лесное болото и оттуда начали партизанить. Штаб был на хуторе у деда Оксена. Шестеро его мальчиков целый день шныряли по окрестностям, не боялись даже подходить к немцам, — будто бы, сопя носом, поклянчить сухарика, — все видели, все узнавали и к вечеру сведения относили к деду на хутор. Ночью туда пробирались партизаны, и дед раздавал им работу: в таком-то месте расположился штаб, — его надо уничтожить, в такое-то место подвезли бензин, там подошел танковый взвод, который требуется подорвать.

Мальчишка оказался очень смышленый; покуда солнце не встало, он нас повел на другой конец леса, — полз, чертенок, как ящерица, в папоротнике, мы за ним едва поспевали. Там на опушке стояли заправочные цистерны и пять истребителей.

С этим делом мы справились без большого труда. Когда грохнули выстрелы моих снайперов и дозорные немцы, шагавшие, чтобы не задремать, около своих окопчиков, повалились носом в землю, — мы выскочили из папоротника: «Ура!» Этот крик тяжело действует на немецкие нервы, не то что воющие бомбы. Повысыпали фашисты из земли, из щелей, — кто руки сразу вверх, кто, как чумной, крутится, стреляя из автомата. Одного летчика вытащили за парашютные ремни прямо из истребителя. Свидетелей этого дела не оставили. Подожгли цистерны и самолеты и вернулись в лес. Мальчишка нам говорит:

«Я побегу, прощайте, скажу деду, а то он на этот аэродром собрался послать большую партию...»

Здесь мы провели весь день. Слышали, как проехали танки и прочесали пулеметами лес, но мы были хорошо укрыты. Решили ночью пробираться вдоль Двины, ища слабого места. У фашистов сплошного фронта нет, — они наступают, очертя голову, узкими клиньями, и — если у тебя котелок варит — всегда можно проскочить.

Ночью пошли развернутым фронтом, с пулеметами на флангах. Вдалеке пылал город Д., по всему городу пламя выбивало под самые тучи. Фашисты любят такие иллюми-

нации много больше, чем ходить в кино; вокруг горящего города бьют с самолетов по бегущим, загоняя детей, женщин, стариков обратно в огонь.

Ну, ладно... Мы были так злы, — сами искали, с кем бы сцепиться. Остановили легковую машину с тремя офицерами и перед смертью заставили их повернуть морды на город Д., чтобы зрелище это показалось им менее занимательным, чем кино. Порезали много проводов связи. Напали на колонну в двенадцать цистерн, перебили прислугу, выпустили и подожгли бензин, — и сами не были рады: очень яркое получилось освещение. Выследили три танка на медленном ходу и пожалели, что нет у нас с собой бутылок с горючим. Все-таки Петров и двое красноармейцев-гранатометчиков, взяв у товарищей побольше гранат, забежали вперед, притаились в обочине дороги и бросили связки гранат — каждый под намеченный им танк. Передний встал на дыбы, два другие, подорванные, только и смогли, что палить в темноту.

Так шли всю ночь полями, перелесками и добрались до хутора, где немцы, видимо, еще не появлялись. В одном, другом домике ставни закрыты, на дворе — ни воробья; вдруг на одной хатенке, на соломенной крыше, запел петух на зеленый рассвет. Видим — у крыльца стоит низенький лысый старик и сухонькая старушка и ждут смерти.

«Старик, — говорит она, — да никак это наши...»

И давай нас крестить и каждого целовать. А нам — не со старушкой целоваться, мы — голодные. Старик принес каравай и стал резать, раздавать ломти, а старушечка — мазать их медом, с приговором: «Кушайте, родные, кушайте, заступники...»

Дневать на хуторе было неудобно. Старик обулся, надел баранью шапку и повел нас лесными болотами на деревню, где помещался у них партизанский лазарет. К нам сбежалась вся деревня, женщины повели нас по избам. Обижать добрых людей не хотелось, пришлось подчиниться: дорожный человек костоват и черен, по старому обычаю его надо помыть, накормить и обласкать. Женщины сами нас разули, у кого ноги были стерты — вымыли их, дали чистые портяночки и давай угощать всем, что у кого было в печи.

Петров, — гляжу, — опять размяк, в глазах мгла и влага... Крестьяне сильно нас уговаривали, чтобы остаться с ними партизанить... И нам этого хотелось... Но — долг службы...

Лейтенант Жабин легким движением приподнялся... «Воздух!» — скомандовал он. В траве между ореховыми кустами сейчас же началось движение. В небе на большой высоте обозначились пять фашистских бомбардировщиков. Не прошло и трех минут после того, как пункт связи сообщил о них на аэродром, — появилось звено наших истре-

бителей. Как натянутые струны — грозно и сильно — пели они, круто поднимаясь к строю бомбардировщиков... И фашистские тяжелые машины, блеснув крыльями, начали поворачивать. Но было поздно... С выцветшего неба донеслась слабая трескотня пулеметных очередей. Истребители настигали. Один из бомбардировщиков качнулся, клюнул носом и пошел вниз, за ним потянулась полоса дыма...

АЛЕКСЕЙ ТОЛСТОЙ





Разведчик Пашков

Видно, был я в тот вечер в разведке плох,
Видно, хитростью я ослаб.
Заманили в засаду, взяли врасплох,
Притащили к начальству, в штаб.
«Парабеллум» приставили мне к виску.
— Говори, подлец, не крути:
Сколько красных в лесу?
　　— Как в море песку!
— Сколько пушек?
　　— Пойди, сочти!
Тут начальник всердцах раскроил мне бровь,
Приказал щекотать штыком.
— Отвечай на вопросы, собачья кровь,
Не прикидывайся дураком!
В трех соснах, говорит, подлец, не кружись,
Отвечай, говорит, не грубя.
Скажешь правду — в награду получишь жизнь,
Утаишь — пеняй на себя...
Если бьют тебя наотмашь, боль сильна.
Это надо, браток, понять.
Я прикинул в уме: дорога цена,
И решил на себя пенять.
Рвали руки мне раз, и другой, и пять,
Били в спину и по плечу.
Мне о том, понимаешь, жуть вспоминать.
Я о том вспоминать не хочу.
Видит главный, пытка меня не берет,
Разорвал протокол со зла.
Дали в руки лопату.

— Топай вперед!
Повели меня из села.
Сам себе я взбивал земляную постель,
И меня торопил приклад.
Для неважных стрелков хорошая цель
Безоружный красный солдат.
Разомкнули они над могилой кольцо.
Бить в упор небольшая честь!
Сколько вспышек ударило мне в лицо,
Я не мог, понимаешь, счесть.
Я в готовую яму упал ничком.
Под рубахой жжет горячо.
Офицер подошел, ударил носком,
Сверху пулей обжег плечо.
Я лежу, не дышу, мертвяк мертвяком.
Порешили, что амба мне.
Застучали лопаты. Глиняный ком
Холодком прошел по спине.
Закопали могилу, ушли в село.
Тяжким грузом сдавило грудь.
Шевельну ногами, а ноги свело,
Глиной рот забит, не вздохнуть.
Задохнуться в могиле какая сласть?
Стал пытать я судьбу-каргу.
И откуда вдруг сила во мне взялась,
До сих пор понять не могу.
Повернулся. Глину руками разгреб.
Сам себя ощупал — живой!
Под ногами холодный глиняный гроб,
Небо в звездах над головой.
Целовал я холодные комья земли,
Уползая к ребятам в лес.
В десять тридцать меня враги погребли,
А в одиннадцать я воскрес.
Через день после первых моих похорон,
Я про раны свои забыл
И опять досылал в патронник патрон
И своих могильщиков бил.

АЛЕКСЕЙ СУРКОВ

★



Могилы немецких захватчиков. Фото С. Струнникова



Герой Советского Союза генерал-майор Доватор. Фото С. Струнникова

Казаки

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Отсюда, с этого бугра с шапкой кустов, была видна вся округа.

Впереди тянулись болотистые низины, поросшие ольшаником и березняком. В зеленой листве кое-где прорывались золотисто-желтые отметки приближающейся осени. Но еще сильно грело августовское солнце.

На горизонте засинела кромка леса. Справа и слева, словно ворота, замыкали низины высотки. На них скучились избы деревень Подвязье и Устье.

В низинах разведчики обнаружили лишь редкие заставы немецких автоматчиков. Но в обеих деревеньках были укрепленные узлы. Этот район оборонял батальон, усиленный артиллерией и минометами. Расстояние между высотками было около восьми километров, и низины в любом месте простреливались артиллерийским и минометным огнем.

Полковник Доватор, командир казачьей группы, перехватил бинокль из правой руки в левую и опять стал всматриваться. Рядом с ним стоял командир дивизии комбриг Кондрат Мельник, широкий, синеглазый, с вьющимся русым чубом. Он тоже смотрел в бинокль, настороженный, зоркий.

Командир дивизии полковник Плиев, подняв голову, прислушался. Очередь из немецкого автомата ударила где-то совсем недалеко в кустах справа. Коноводы с лошадьми были в той стороне. Полковник Плиев взглянул на своего адъютанта. Тот бесшумно исчез в кустах.

«И выучка ж у него!» — с резкой и хорошей завистью подумал Доватор, а губы его дрогнули в усмешке. Он все заметил и очень высоко оценил и настороженность Плиева, и это безмолвное понимание между ним и подчиненным. Плиев стоял, чуть выставив левую ногу, откинув широкие плечи. Смуглое лицо его с черными усиками и крупным с горбинкой носом было невозмутимо. Маузер, шашка в се-

ребряной оправе висели на нем так, словно они были живыми членами его сухого и сильного тела.

«Но и тот тоже молодчина!» — и полковник Доватор глянул на командира Мельника. Это по его совету они, выехав в командирскую разведку, поднялись на этот бугор. Комбриг Мельник ориентировался на местности дьявольски хорошо. С каждым днем узнавая их, полковник Доватор относился к обоим со все возрастающим чувством симпатии и уважения.

Неделю тому назад Доватор вступил в командование казачьей группой. Командующий лично возложил на него ответственнейшую задачу возглавить рейд конницы в тыл немцев.

Уже неделю конная группа Доватора спускалась с севера на юг вдоль линии фронта, ведя разведку боем, всюду обнаруживая сильную немецкую оборону, закопанные в землю танки.

Доватор развил кипучую деятельность. Он спал по два-три часа в сутки. Он сам опрашивал разведчиков, на своем рослом гнедом жеребце вылетая в полки и эскадроны.

Среднего роста, жилистый и крепкий, он привлекал к себе казаков и командиров и лихой посадкой, и неиссякаемым весельем, простым и веселым нравом. Иной разведчик начинал чуточку преувеличивать.

— Подожди, товарищ! — останавливал его Доватор, в темносерых глазах его сверкала хитринка, в улыбке приподнималась толстая верхняя губа. — Я сам пятнадцать лет кавалерист, выкладывай сначала, только начистоту!

И разведчик докладывал «начистоту», а потом говорил товарищам:

— Ух, и хитрый! И откуда такой взялся! Фамилия будто не казачья, а хитер — как столетний казарлюга. И пояс на нем наборный, старинный.

Полюбили его и за внимание к мелким казачьим нуждам, и за то, что сам он любил лошадей и лошади сразу признавали его своим. Самые злые жеребцы, своих-то всадников подчас норовившие куснуть, сбросить, под рукой Доватора становились покорными.

...Неделю двигалась вдоль фронта казачья группа. Полковник Доватор глубоко переживал это промедление. Командующий, — сам кавалерист душой и телом, — возлагал на рейд большие надежды. Удача могла привести к крупному оперативному успеху на большом и важном участке фронта. Удача должна была опрокинуть все измышления горе-теоретиков, уже похоронивших конницу как боеспособный род оружия в современной войне.

Доватор очень хорошо знал, что и за его группой скептически посматривают эти теоретики. Они и ему говорили:

«Ну, куда коннице сейчас до мотопехоты, танков, артиллерии? Да при первом же налете бомбардировщиков кавалерия так быстро расчленится, вот именно — расчленится, что ее потом за полмесяца не соберешь».

— Ладно! Говорите! Дело покажет! — отвечал Доватор, не вступая в споры.

За эту неделю Доватор многое продумал и передумал. Он выбрасывал в разведку эскадроны, усиливая их пулеметными тачанками и взводами артиллерии, и убедился, что в рейд ему не придется брать ни тачанок, ни пушек: в лесах и болотах они не пройдут и будут только связывать... На марше, в походе, по приказу Доватора, были сделаны из простых строевых седел — вьючные, под станковые пулеметы и минометы. Для перевозки боеприпасов и снаряжения — также на походе и на марше — были поделаны особые вьюки.

Сейчас, оглядывая местность с бугра, Доватор думал, что пробиваться в тыл здесь, в этом районе, будет нелегко. И все же он решил прорубать ворота для рейда именно здесь.

Оба укрепленных узла надо сковать, действуя в пешем строю. Дивизии должны, тоже в пешем строю, пройти в промежуток между деревеньками, а следом коноводы на галопе подадут коней. Весь успех зависел от внезапности прорыва. Но пока движение группы проходило скрытно. Искать более благоприятных условий, оттягивать прорыв тоже становилось рискованным. Немцы уже знали о наличии кавалерии.

Доватор опустил руку с биноклем и повернулся к командирам.

— Будем прорываться здесь. Завтра на рассвете.

— Лучшего места не найти, — тотчас отозвался комбриг Мельник и лихо тряхнул светлорусым чубом. Плиев молча кивнул. Доватору было ясно, что оба комдива пришли к тому же решению, что и он.

— Дивизии ночью подтянем под самый нос противника.

НАКАНУНЕ

К вечеру по всей округе пал плотный сизый туман. Полковник Доватор, комиссар Федор Туликов, командиры и комиссары частей разошлись в подразделения к казакам. В темноте они беседовали с бойцами, напоминали о великих целях священной отечественной войны против фашизма, довели боевую задачу до каждого казака.

В памяти казаков жарким видением пронеслись просторы родных кубанских степей, манящие цепи гор Кавказа, волнующая синяя дымка предгорий, ослепительно белые

хаты станиц, милые лица близких. Тяжелой золотой волной льется под солнцем пшеница. Горят шапки подсолнухов. Могучим лесом поднялась и шумит кукуруза. На пастбищах — неисчислимые стада и табуны. Какие же силы у народа, который преобразил и украсил лик родной земли! И вот всему этому, счастливой жизни советских людей, угрожают смерть и мука от фашистских варваров...

— Не будет того во веки веков! В самое пекло пойдем, но разобьем гада! — прошептал Георгий Криворотько.

Узловатая рука его застыла на эфесе тяжелого клинка, и эта рука вместе с эфесом словно отлиты из одного металла. Криворотько обошел своих друзей, земляков из станицы Вознесенской. Все они, девять человек, работали в одной бригаде, пахали плодородную землю. Все они попали в казачью часть.

Криворотько получил звание младшего лейтенанта уже здесь, на фронте. Он первым со своим взводом ринулся на врага, и первую пулю в фашистов пустил он. С головной походной заставой, в конном строю Криворотько заскочил в одну деревеньку. Увидел на улице сотни полторы пехоты, подумал, что это наши, и подскакал с тремя казаками на тридцать метров. Немцы рассыпались, залегли, открыли огонь из автоматов. Криворотько на галопе отскочил назад за угол дома, скомандовал: «Слезай!» Мгновенно спешившись, казаки стали стрелять по фашистам. Первыми очередями из ручного пулемета Криворотько расстрелял двенадцать немцев. Враги отхлынули.

— Получается! — Криворотько весело переглянулся со своим дружком Савиным. Они удобнее устроились в яме, куда заскочили с разбега. Кони их стояли за избой, нетерпеливо переминаясь и клинышками настороживая уши.

Послышалось гудение автомобиля. Оглянувшись, Криворотько увидел легковую немецкую машину и резанул по ней из ручного пулемета. Пули гулко пробарабанили по металлическому кузову. Шофер и седоки грузными кулями осели на своих местах. Неуправляемая машина прокатилась еще с десяток метров и свалилась в канаву.

— Опять получается! — сказал Криворотько. Через мгновение вдоль деревни с треском промчался мотоциклист. Криворотько в упор выстрелил в него. Уже мертвый, фашист на мотоцикле врезался в сруб колодца, свалился, и мотоцикл придавил его. К Криворотько подбежал казак, прерывисто сообщил:

— Немцы нас обходят, давайте отступать!

— Молчать! — обрезал Криворотько. — Отойдешь — убью! Лезь на сарай, веди наблюдение!

Казак мгновенно вскарабкался под крышу сарая. Криворотько с друзьями продолжал бой. Казаки спокойно и

деловито расстреляли восемь немецких автомобилей с фашистами и шесть мотоциклистов. Время от времени наблюдатель с сарая докладывал, что немцы продолжают окружать казаков. Когда очередь из немецкого автомата протрещала откуда-то сбоку, Криворотько принял решение отойти. Казаки по его приказанию проскакивали по одному открытое, обстреливаемое немцами поле за деревней. Все они благополучно выбрались на опушку леса.

Из первого боя Криворотько вынес уверенность в победе, в веселом мужестве товарищей, в самом себе.

С острым интересом и сердечным теплом поглядывая на боевых друзей, на полковника Доватора, стремительно-быстрого и очень ловкого, Криворотько улыбался. Он пошевеливал широкими плечами, переминался, на смуглое и грубоватое, словно вырубленное палашом из темного дуба, лицо его набегала усмешка.

— Ой, и порубаю поутру фашистов!

В глубокой тьме казачьи полки подошли к рощицам вблизи линии фронта. Командиры подали команду:

— Слезай!

Казаки быстро, без шума спешились. Коноводы отвели коней в лесок. Грызлись и ржали жеребцы.

«Еще немцы услышат, — подумал Криворотько. — На такое дело надо бы жеребцов поменьше!»

ПРОРЫВ

На рассвете казаки вплотную подкрались к немецким укреплениям. Они двигались молча, стиснув зубы, без единого выстрела, без единого крика. Туман был настолько густой, что в трех — пяти шагах люди, кусты были еле различимы. Ракеты немецких дозорных взлетали тусклыми шарами и таяли в молочной мгле.

Казаки бесшумно сняли дозорных врага. Но один успел завопить, поднять тревогу. Взахлёб залаяли немецкие пулеметы и автоматы. Разрывы ручных гранат вспарывали туман, а слышались они глухо, словно из-под воды.

Вдруг пронеслось звонкое казачье «ура!» Казаки ринулись в окопы, действуя штыками. Немцы метнулись из окопов в деревни. Казаки ворвались за ними следом.

Тем временем головной полк передовыми эскадронами своими уже прошел низинами линию фронта. Заставы автоматчиков были разогнаны и истреблены. Младший лейтенант Криворотько со своим взводом первым бросился на одну такую заставу. Его могучий грудной баритон гремел на всю низину:

— За родину! За Сталина — вперед!

По низине стремились другие взводы, эскадроны, полки — всесокрушающая казачья лавина.

Немецкая оборона была прорвана. Отовсюду неслось могучее «ура», крики и вопли немцев. Командир немецкого батальона пытался было собрать разбегавшихся солдат, и тут же был убит меткой казачьей пулей.

Наступал день. Туман рассеялся, свиваясь и клубясь. Каждая минута была дорога. Но ворота для конницы уже были пробиты. Командир казачьей группы Доватор, со своим штабом уже прошедший линию фронта, отдал приказание. Тотчас же загремело:

— Коноводов сюда!

Лейтенант Леонид Нимков стрелой домчался по кустам до своего коня. Ему было всего девятнадцать лет, а он уже был помощником начальника штаба полка. Сейчас, при прорыве, на него была возложена задача держать связь.

Вспрыгнув на своего коня, он с места поднял его в галоп. Коноводы в рощице затосковали уже от тягостного ожидания, когда Нимков прискакал и круто остановил вороного, даже присевшего на месте.

Через минуту коноводы на стремительном галопе понеслись за лейтенантом Нимковым.

Немцы, опомнившись, открыли с флангов сильный артиллерийский и минометный огонь. По низине в ольшанике и березняке вставали смертельные и грязные кусты разры-
ленном вороном коне своем прорвался сквозь огонь к другой группе коноводов и провел их через низины. Храпели кони, хлопьями летела пена, но все же проскакали, примча-
вов мин и снарядов. Лейтенант Нимков на храпящем, взмы-
лись лихие кони к своим казакам.

И вот уже в конном строю казачьи полки ринулись дальше в тыл врага, подобрав раненых и захватив убитых казаков. Далеко за линией фронта в лесу остановилась, сосредоточилась казачья группа полковника Доватора.

Сюда подошли казаки, штурмовавшие деревни. Тут были похоронены казаки, убитые в прорывном бою. Обнажив головы, отдали всадники последний долг товарищам. Тут же, в лесу, были оставлены раненые и охрана. Этих раненых — всех до одного! — через болота и чащу лесную вывел в наш тыл младший лейтенант Василий Буслов, скромный и веселый товарищ. Недавно мобилизованный в армию, он работал ранее секретарем райкома комсомола в Орджоникидзевском крае.

Командиры и политработники быстро привели в порядок казачьи части. Командование подвело первый итог: группа уже в тылу врага, при прорыве разбит фашистский батальон, свои потери невелики.

Так начался рейд.

АТАКА В КОННОМ СТРОЮ

В течение дня казачья группа таилась в глубине леса. Немецкие «Мессершмитты» с пронзительным свистом проносились над самыми вершинами деревьев. Они разыскивали казаков, но тщетно: казаки умело маскировались.

И ночь казаки провели в этом лесу, в болоте, заняв круговую оборону, выставив сильное непосредственное охранение. Эта ночь прошла без сна. К утру второго дня полковник Доватор сосредоточил группу на опушке леса. Впереди до следующего леса на три километра лежало поле, ровное, открытое. В десятке метров вдоль опушки шла дорога. По ней было движение немецких машин, мотоциклов. За дорогой виднелась деревенька, в ней были немцы.

Надо было пройти это поле. Немцы в той деревеньке могли сильно напакостить. Полковник Доватор принял решение: атаковать деревеньку в конном строю одним казачьим полком, смести противника; тем временем вся группа на галопе должна проскочить открытое поле.

Группа расчленилась и сосредоточилась вдоль опушки леса. Короткие минуты. Проверка готовности. Последние напутственные слова о задаче, о долге. Короткая и сильная команда: «По коням!»

Полк, выскочив из леса, сразу рассыпался в лаву. Кони, храпя, просили повода. Из-под копыт летели, словно гранаты, комья земли. В деревеньке заметались немцы, затрещали очереди пулеметов и автоматов. Но уже синими молниями засверкали казачьи палаши. Земля гудела. От топота коней качались избы, звенели стекла окон.

Стремительной и неотразимой была эта атака в конном строю, беспощадной была казачья рубка. Ни один немец не ушел.

А казачья группа тем временем уже исчезла в лесу за открытым полем.

ВСТРЕЧИ

Казаки забирались все дальше и дальше в тыл врага. Вести о казаках на крыльях неслись впереди.

Казаки всюду встречали страшные следы немецких захватчиков. В деревне Ю. было развешено на стенах домов объявление:

> «Ввиду продолжающейся связи между жителями и советскими войсками все жители данного района должны быть эвакуированы в тыл оккупированной области.
>
> Все жители данной деревни должны к вечеру 21 августа двинуться в направлении «Дубровица», и для их

расположения предоставляется весь район западнее «Пречистое».

Разрешается брать с собой весь живой и мертвый инвентарь.

Каждый житель, оставшийся в данном районе до 22 августа (утра), подлежит смертной казни.

Командующий немецкими войсками».

У деревни Л. навстречу казачьей разведке выбежали жители. И у многих казаков дрогнуло сердце, когда увидели они крупные слезы радости русских людей, услышали рассказы о злодеяниях врага, о муках колхозников.

При въезде в деревню казаки увидели пять крестьян, повешенных на деревьях. Жители рассказали: около этой деревни был убит немецкий солдат. Немцы из двора во двор разграбили, разгромили всю деревню. Повесили они пятерых крестьян, не успевших, как другие, скрыться в лесу. Тела повешенных висели уже пять суток — почерневшие, с закушенными в последней муке удушения языками.

Полковник Доватор приказал всю дивизию Плиева, проходившую невдалеке, завернуть, пропустить через деревню.

В конном строю проходили казаки мимо повешенных. У каждого цепенело сердце, ярой ненавистью пылали глаза. И руки сжимали оружие, и в душе закалялась воля к беспощадной борьбе с врагом...

Разведчики поймали на дороге немецкого офицера. Он и пикнуть не успел, как его схватили. С завязанными глазами его доставили в штаб полковника Доватора.

— Откройте ему глаза!

Увидев усатых казаков в черных бурках, с шашками, немецкий офицер позеленел и задрожал мелкой собачьей дрожью.

Его привели в чувство. Он рассказал, что в то утро, когда казаки прорвались, по тылам прокатилась паника:

— Сто тысяч казаков появились в нашем тылу!

Два немецких штаба немедленно откатились на автомобилях далеко на запад. Немецкие офицеры бросались к населению, предлагали толстые пачки денег:

— Только выведите нас отсюда. Только спасите от казачьего окружения!

Полковник Доватор умело и ловко использовал эту благоприятную обстановку.

По его приказу, командиры дивизий держали в кулаке главные свои силы. Но отдельные разъезды и отряды мощностью до двух эскадронов перехватывали магистрали и проселки, ловили и уничтожали в засадах врага,

Они удалялись на десятки километров. Нападали внезапно и внезапно исчезали. Они вели бои, но силы их не таяли, а прибывали. К казакам приходили партизаны, военнослужащие Красной Армии, выходившие с запада из окружения.

Полковник Доватор сформировал из этих людей особый пеший отряд. Этот отряд отлично дрался в боях.

Вскоре в руки Доватора попал приказ немецкого командования. В этом приказе говорилось, что действительно в тыл немецких войск прорвалась казачья группа. Но в ней не сто тысяч, а всего три дивизии, то есть 18 000 казаков. В походном штабе группы казаки так хохотали, что кони встревожились, запрядали ушами, дико заплясали на ременных чумбурах.

На другой день после тщательной разведки полковник Доватор провел два полка в конном строю по магистрали. Движение колонны было обеспечено усиленным боевым охранением. Казаки с громкими песнями и звонким присвистом прошли с десяток километров и опять исчезли. Тщетно кружились потом в этом районе немецкие самолеты. Зато молва о ста тысячах казаков с новой силой понеслась по округе.

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

До этой войны Иван Васильевич Иванкин работал в городе Грозном. Он был преподавателем военного дела в средних школах. Строгий, он излагал свой предмет, словно выкрикивал команду. Рука его взлетала и ловко подкручивала светлые усы.

Его слушали внимательно, его уважали, и он старался. Но душою, сердцем он был в армии. Он пошел в армию шестнадцатилетним юношей, в суровом восемнадцатом году. Демобилизовался в 1933 году.

Когда его призвали из запаса, он расцвел душой. В рейд он пошел командиром эскадрона. И здесь неожиданно для него самого в нем проснулся страстный педагог.

Командир полка приказал Иванкину выброситься с эскадроном километров на тридцать, в засаду у перекрестка дорог, в лесу. Действовать в пешем строю. Старший лейтенант Иванкин вскоре был уже со своими казаками на месте. Он обошел весь район засады.

Одна дорога шла к фронту, и она была сильно накатана. С краю тянулся черный четырехжильный провод. Его Иванкин сам разрубил, смотал метров пятьдесят и закопал в землю. Вдоль этой дороги Иванкин и расположил в кустах своих казаков, группами по десять человек.

Оглядывая по очереди всех серыми глазами, он растолковывал казакам, и огромный кадык на его горле двигался солидно и строго:

— Обратите внимание: такой порядок расчленения позволит нам сразу захватить колонну в пятнадцать машин.

Вечером за поворотом затрещал мотоцикл. Казачья граната разорвалась прямо в прицепной коляске. Всплеснуло пламя.

— Нет чтобы подстрелить фашиста! — недовольно говорил старший лейтенант. — Может быть, он документы вез, а от всего — одни каблуки остались. Думать надо!

Через четверть часа казаки забросали гранатами две грузовых машины с боеприпасами и сами еле успели отползти в лес. Машины горели, снаряды рвались до полночи. В темноте стволы деревьев виднелись, словно облитые дымящейся кровью.

Иванкин отодвинул группы своих казаков вправо и влево метров на двести, за повороты. И казаки еще подорвали полевую радиостанцию немцев, оборудованную в автобусе.

Ночью же казаки захватили легковую машину с офицером. Полевая сумка его была набита картами и документами.

На рассвете к перекрестку подошли броневики и грузовики с солдатами.

Старший лейтенант Иванкин потеснее расположил казаков. Гранаты были на исходе. Силы явно неравные.

— Бить только наверняка!

В броневики и в грузовики с солдатами грянули смертоносные гранаты, засвистели пули. Взрывы, дикие крики, проклятья. И снова взрывы...

Когда подоспели другие грузовики и немецкие солдаты рассыпались еще у поворота и стали наступать, Иванкина и след простыл. Он повел своих казаков чащобой и буреломом. Двое суток шли казаки, питаясь ягодами, незрелыми еще лесными орехами, и вышли к своим.

— Понятно, как надо действовать? — поучал Иванкин своих казаков. — Внезапный удар, другой, третий. А потом исчезай, чтобы никакая сила тебя не нашла! И опять налетай, бей, как сокол, и опять исчезай.

Полковник Доватор подробно расспросил Иванкина и объявил благодарность.

— Служу Советскому Союзу! — гаркнул Иванкин на весь лес, и усталое лицо его запылало от радости и глубокого удовлетворения.

— А теперь-то как раз и придется послужить! — И полковник Доватор тотчас поставил Иванкину еще более ответственную задачу и подчинил ему еще две группы казаков.

На этот раз действовать пришлось в конном строю. На рассвете Иванкин со своими казаками захватил деревни К.

и Г., расстреляв и вырубив взвод немецкой пехоты. Через деревни шли три линии связи: телефон, телеграф и четырехжильный провод немецкого командования.

— Мы им сейчас вызов устроим! — усмехнулся в светлые усы Иванкин. — Рубите, хлопцы, столбы! Валите завалы!

Казаки быстро срубили и спилили добытыми в деревнях пилами столбы, навалили завалы, опутали проводами.

Иванкин расположил взвод казаков с запада, в деревне Г., а сам разместился в К.

— Скоро будут гости! — посмеивался Иванкин. — Надо же им такое безобразие разобрать — вся связь разом отказала!..

Ждать пришлось недолго. На бугре показались немецкие автомобили. Взвод казаков обстрелял немцев у деревни Г. С автомобилей соскочила целая рота фашистов. Немцы открыли по деревне Г. пулеметный огонь, стали охватывать ее с двух сторон. Взвод казаков отскочил к Иванкину. Немцы, захватив деревню Г., стали из пулеметов обстреливать казаков с чердаков, из сараев.

Пробрав комвзвода Ткаченко за отступление, Иванкин приказал ему подползти к деревне Г. балочкой, потом огородами и зажечь сараи. Тот пополз. Иванкин подал команду:

— К бою!

Из-за угла дома он следил, волнуясь, как комвзвода Ткаченко, не замеченный немцами, добрался до сараев и зажег сначала один, потом другой. Сараи, набитые сеном, запылали. Густой дым застилал деревню.

— Великолепная завеса! Сейчас только и наступать! — поучительно произнес Иванкин. — Товарищи казаки, вперед!

Казаки молча вплотную подобрались к деревне тем же путем, каким двигался Ткаченко.

Иванкин был впереди казаков. Когда они поровнялись с горевшими сараями, Иванкин голосисто скомандовал:

— Первый полк вправо! Второй полк влево! Вперед! Ура!

Казаки с ревом бросились в деревню. Казак Попов забежал за дом и кинулся сзади на немецкого пулеметчика. Прикладом он выбил из него дух, схватил пулемет, повернул его и ударил по немцам.

Те удирали куда попало. Так, на бегу, и умирали они — где кого догнала казачья пуля: кто на грядках картошки, кто падал с забора, кто свалившись на улице. Три офицера, полсотни немцев убили казаки.

— Сжечь машины! — приказал Иванкин.

И не стал смотреть, как загорелись полные проводов, аппаратов и инструментов автомобили. Жалко стало добра.

Однако тринадцать катушек кабеля казаки захватили с собой.

— Поняли, как надо действовать? — поучал казаков Иванкин. — Смело, лихо! Вы действовали необычайно. Так надо действовать всегда!

ВЕСЕЛЫЙ КОМАНДИР ЭСКАДРОНА

Он среднего роста, сухощавый. И лицо его тоже узкое и худое. Но в карих глазах так и скачет, бьется лукавое веселье. Крепкие, крупные зубы сверкают в озорной ухмылке. Вокруг него, командира эскадрона старшего лейтенанта Петра Алексеевича Ткача, всегда весело. И его эскадрон во всем полку самый веселый. Не только во время передышки, на привале, но и в бою.

Эскадрон Ткача не только веселый, но и удачливый. За все время боев в эскадроне всего двое убитых и двое раненых. А водил свой эскадрон старший лейтенант Ткач почти на сто километров в тыл врага. Уничтожил эскадрон Ткача несколько танков, вырубил и расстрелял не одну сотню немцев. Понятно, что для командования эскадроном у старшего лейтенанта Ткача был не только веселый нрав, но и боевое умение, и личное бесстрашие, и горячее сердце советского человека.

Было так. Эскадрону предстояло выбить в пешем строю немцев из окопов на опушке леса. Ткач бросил один взвод прямо на противника, а с остальными прошел в обход, ударил с фланга, по-пластунски пробравшись ложбинками.

— Вперед! — скомандовал Ткач.

Он первым вскочил в лес и тотчас же упал за деревом. Немецкая граната, брошенная рыжеусым фельдфебелем, разорвалась в пяти шагах без всякого вреда. Советская граната, брошенная Ткачом, разнесла немецкий станковый пулемет со всем его расчетом и рыжеусым фельдфебелем. Но за мгновенье до этого красноармеец Ступаков Михаил Иванович, колхозник, комсомолец станицы Вознесенской, метнул свою гранату, видя, что командиру Ткачу грозит смертельная опасность. Вот этой-то гранаты испугался и свою недобросил до Ткача немецкий фельдфебель.

— Молодчага! За мной! — крикнул Ткач и бросился вперед.

Немцы были выбиты.

На другой день эскадрон уходил в конном строю из-под огня броневиков врага. Конь бойца Винокурова поскользнулся на мокрой траве, упал в канаву. Винокуров не выпустил повода, кубарем вылетев из седла. Но, поднявшись вместе со своим конем, он никак не мог вскочить в седло;

разгоряченный храпящий конь плясал и метался под вражескими пулями. Смерть глянула в глаза бойца. Старший лейтенант Ткач, подняв своего коня на дыбы, крутнул его на месте и послал галопом к Винокурову, помог бойцу вскочить в седло. Они вместе благополучно ушли из-под вражеского огня.

В другом месте эскадрон Ткача действовал самостоятельно на большом удалении от главных сил группы. Немцы стянули сюда свои броневики. За ночь Ткач оторвался от врага. Зная, что поутру броневики могут появиться вновь, Ткач пустился на хитрость. Заправив бензином найденный на дороге трактор, Ткач приказал завести его и водить неподалеку от деревни, в которой были немцы. Трактор усердно загудел, загрохотал гусеницами. Вскоре выставленные Ткачом наблюдатели доложили, что немцы расставляют мины вокруг деревни.

Ткач довольно ухмыльнулся и вывел свой эскадрон вправо, в лес.

Утром, преследуя казаков по дороге, пришли немецкие броневики. Казаки с восторгом наблюдали, как первый немецкий броневик подорвался, наскочив на немецкую мину.

Казаки смеялись. Громче всех смеялся старший лейтенант Ткач.

Но громче обычного смеялся он несколько дней спустя. Вместе со своими казаками он сидел в засаде на большаке. Ожидался мотоцикл с штабным офицером. Ждать пришлось недолго. Из-за поворота послышался стрекот мотоцикла.

— Приготовь гранату! — приказал бойцу Ткач.

— Есть приготовить гранату!

Мотоцикл полным ходом проскочил мимо казаков. Боец метнул гранату и... на какое-то мгновенье опоздал. Граната взорвалась позади мотоцикла. Вслед за взрывом не стало слышно ни раздосадованных возгласов казаков, ни стрекота удалявшегося мотоцикла. Карие глаза Ткача изумленно распахнулись. Ткач увидел, как немецкий офицер, ухватив себя за сидение, невероятно широко разинул рот, и на всю округу только и слышался неистовый и отчаянный его вопль:

— А-а!

Ткач повернулся к бойцу, который неудачно метнул гранату, сказал с укором:

— Эх, ты!

Но он не услышал своего голоса из-за того же немецкого вопля. И тут Ткач, а за ним и все казаки захохотали. И долго потом, стоило кому-либо раскрыть рот и протянуть «А-а!», как казаки отзывались неудержимым раскатистым хохотом.

И Ткач смеялся громче всех.

ПОЛИТРУК БОРИСАЙКО

Командира эскадрона Ткача дополнял, поддерживая, когда надо, поправлял его политрук Борисайко.

Очень спокойный, вдумчивый взгляд его, открытое, приятное лицо, русые пряди волос на лбу и грудной голос — все вызывало чувство симпатии к политруку.

Александр Ефимович Борисайко, 1913 года рождения, работал до армии инструктором райкома партии. Его первое боевое крещение было всего недели за две до рейда в тыл врага. Эскадрон, заняв окраину деревни, ночью прикрывал марш своей части. Немцы обнаружили движение. Они открыли огонь трассирующими снарядами. Это было очень красиво и жутко, когда снаряды, свистя и светясь красноватым светом, во всех направлениях распарывали темноту. На рассвете немецкие бронемашины пошли в атаку. Политрук Борисайко быстро обошел казаков, проверил боеготовность, подбодрил их. Немецкие бронемашины, извергая огонь из пулеметов, приближались. Вот первый броневик поровнялся с ямой, в которой находился политрук Борисайко. С возгласом «Вперед!» политрук Борисайко выскочил и подорвал бронемашину связкой гранат. Орудие ПТО расстреляло другой броневик. Остальные повернули назад.

Командир эскадрона Ткач и казаки горячо приветствовали своего политрука. Он стал дорогим и близким. И так уж повелось в эскадроне, что к политруку шли с самыми задушевными думами, сердечными признаниями. А в жарких схватках бойцы оглядывались на него, брали с него пример. В одной разведке политрук Борисайко, подвергаясь смертельной опасности, под проливным пулеметным огнем врага, сам вынес с поля боя раненых товарищей.

Каждый день, в сумерках, а то и в глубокой темноте, в эскадроне подводились итоги боевых действий. Командир эскадрона и политрук говорили крепкое слово похвалы и одобрения отличившимся мужеством, бесстрашием и боевыми своими действиями казакам. Здесь же критиковали, не давая спуска, бойцов, которые действовали не так, как должно.

Политрук Борисайко сплотил коммунистов, коммунисты входили в разведотряды, в поисковые группы. Коммунисты показывали пример мужества и отваги в бою.

За все время рейда политрук Борисайко работал без устали, удивляя казаков своей выносливостью.

Вспоминая про дни рейда, каждый казак начинал свой рассказ словами про своего политрука:

— А наш политрук Борисайко сразу зажег два танка!

Эскадрон действовал самостоятельно, в удалении от главных сил. Он оседлал большак, перехватив его своими

засадами. Разведка донесла о появлении трех танков. Командир эскадрона Ткач приказал немедленно срубить завал на большаке. Танки на большой скорости проскочили к завалу и стали поворачивать назад.

Командир эскадрона Ткач скомандовал:

— ПТО, к бою!

Политрук Борисайко со связками гранат и зажигательными бутылками проскользнул за ствол огромной сосны в двух метрах от дороги. Танк поровнялся с этой сосной. Борисайко метнул бутылку в моторную группу. Разлетелись осколки бутылки. Танк запылал. Подошел второй танк. Так же хладнокровно политрук Борисайко метнул во второй танк бутылку, затем связку гранат. Вспыхнуло пламя. Откинулся люк на башне танка. Два немецких танкиста с перекошенными от ужаса рожами выбросились на землю. Политрук Борисайко, невозмутимо стоя за сосной, уничтожил фашистов гранатой. В этот миг третий немецкий танк обогнал горящие танки. На лице у политрука Борисайко — глубокое горе: нехватило одной зажигательной бутылки, а то бы и этот танк не ушел!

МОЛЧУН

И командир эскадрона Ткач и политрук Борисайко не раз пытались разговориться с красноармейцем Михаилом Ступаковым. Тот отмалчивался. Смотрел карими блестящими глазами, улыбался сдержанно и молчал. Так его и прозвали «Молчуном».

Он спас жизнь Ткачу, вместе с другими казаками захватил броневик и мотоцикл фашистов.

Однажды эскадрон был отрезан немцами. Надо было пробиваться, но сил нехватало. Ткач и Борисайко решили просить о выручке командира полка. Надо послать донесение. А была ночь темная, дождливая. До полка — тридцать километров, путь через стан врага. Кого послать?

Ткач перебрал в уме всех казаков, вспомнил сдержанную улыбку и глаза Ступакова.

— Молчуна послать!

Ступаков молча взял донесение, вскочил на коня и пропал в темноте. Он прекрасно помнил дорогу и уверенно направлял коня вдоль лесных опушек, в обход деревень, занятых немцами. Он шептал, рассказывая себе, где он сейчас находится и что будет дальше.

Только раз он сбился — это было за топкой балочкой. Он вернулся в топь, вспомнил и дальше уже не сбивался. Остаток пути он двигался по азимуту.

Выручка пришла во-время. Ступакова казаки хвалили, от души благодарили и расспрашивали:

— Да как же ты пробрался — ночь, страх, немцы!..

Ступаков улыбался, потом сказал:

— Приказ выполнил в срок!

И умолк. Казаки стали ругаться. Но тут вступился командир эскадрона:

— Вы не трожьте его! Пусть молчит. Когда он рядом со мной в бою молчит, мне никакой чорт не страшен!

ВОЗВРАЩЕНИЕ

Допекли немцев казаки. В штабе полковника Доватора счет уничтоженным немцам перевалил уже за три тысячи. Захваченные немецкие документы возились мешками, набитыми туго-натуго. Заставы казачьи на дорогах парализовали движение. Немецкое командование бросило против казаков карательную экспедицию: дивизия пехоты, броневики, танки, самолеты.

Кони казачьи вымотались, пристали. И сами казаки устали. А враг наседал со всех сторон. Дивизия комбрига Мельника была прижата двадцатью шестью броневиками. Партизан, местный житель, старик семидесяти лет, провел казаков под носом у врага. По грудь в топких мхах шли казаки, тащили на себе седла: усталые кони даже седла не могли нести на себе. Полковник Доватор принял решение: вывести группу через линию фронта к своим. Предстояло опять прорубать ворота через немецкие укрепления. Но где их прорубать? На хвосте у казачьей группы — преследователи. На линии своего фронта немцы тоже ждали казаков.

Полковник Доватор решил пробиваться старым следом. Он проникновенно разгадал и точно рассчитал: вряд ли немцы допустят мысль, что он пойдет старой дорогой. Конечно, и там они приняли меры для перехвата казаков. Но такие же меры приняты ими и на других, на всех участках фронта. Лучше пробиваться знакомым путем. Прикрывшись эскадронами, которые держали огневую связь с противником, полковник Доватор с главными силами ночными маршами, лесными трущобами и болотами вышел к линии фронта.

Здесь, в лесу, присоединились к группе арьергардные эскадроны.

Лейтенант Нимков Леонид был послан в разведку с задачей пробраться через фронт. Ночью он прополз с двумя казаками через немецкие окопы. Их обнаружил немец, подскочил к ним. Боец заколол его кинжалом.

Лейтенант Нимков с казаками бросился в кусты и вскочил в немецкий окоп. У немцев поднялась паника, беспорядочная стрельба. Лейтенант Нимков с казаками в этой неразберихе проскользнул к своим обратно. Он доложил пол-

ковнику Доватору, что полем итти опасно, можно итти только лесом.

Полковник Доватор принял решение пробиваться лесом, несмотря на то, что в лесу была вырублена просека шириною более ста метров, а по обеим сторонам этой просеки были завалы. Это установила разведка.

Было опасение, что завалы минированы. Но иного пути не было. Вперед на завалы были посланы смелые из смелых, и среди них первыми были Нимков, Иванкин и другие.

Под проливным огнем из немецких ДЗОТов, вдоль просеки, смельчаки разведали и разобрали завалы. Кипел ожесточенный бой. Немцы бросались в яростные контратаки. Они заходили с тыла. Но прикрывали казачью группу тоже смелые из смелых. Криворотько сбил с деревьев двух немецких «кукушек». Третьего сбил казак Федоров.

К немцам прибывали новые силы. И тогда полковник Доватор вместе со всеми командирами повел казаков в последнюю и решительную атаку.

— За родину! За Сталина! Ура! — гремело и перекатывалось в лесу.

Немцы были разбиты, отброшены. Фашистские трупы устилали просеку, завалы, лес.

Казаки пробились к своим. Раненный в ногу, лейтенант Гончаров просил товарищей пристрелить его. Командир отделения Костомаров Павел сурово и нежно сказал лейтенанту:

— Погибать с вами буду или спасу.

Ни один раненый не остался у немцев. Всех раненых казаки вынесли с собой.

Пробившись, уже за своей линией фронта, казаки обнимались, глаза их пламенели. И первое казачье слово — было слово привета родине, советскому народу, далеким и милым станицам, великому и родному Сталину.

ВЛ. СТАВСКИЙ



Дума
про Ивана Медовца

От Москвы далёко
Есть село Чижи.
За речной осокой,
За полями ржи
Гнал в степи отары,
Доглядал овец
Украинский парень
Ваня Медовец.
Он в Москве ни разу
В жизни не бывал.
Он за перелазом
Звонко распевал
Про столицу песни,
Песни про метро.
И с коханой вместе
Над седым Днепром
Часто думу думал,
Что настанет срок —
Повезет их, думал,
Поезд на восток,
В город тот, где Сталин,
Кремль и мавзолей.
Вот про что мечтали
В тишине полей,
Где цветут на тропах

Лютик и чебрец,
Девушка и хлопец
Ваня Медовец.

***

Раздувают ветры
Полымя столбом.
Надругался недруг
Над родным селом,
И, накрыт овчиной,
Труп лежит в траве.
Никогда девчине
Не бывать в Москве.
Ветер в травы прячет
Лютик и чебрец...
Кто сказал, что плачет
Ваня Медовец?
Только в чубе глянул
Серебристый след,
А всего Ивану
Восемнадцать лет.
Шел в дыму пожарищ,
Вышел в поле он,
И явился парень
В третий батальон.
«В армию примите,
Пригожусь я вам.
Под Москву пошлите!» —
Так сказал Иван.

***

Подмосковье. Вечер.
В тыл врагу ползет
Лучший наш разведчик
Дедунов Федот.
Каменщик бывалый,
Складный, что кирпич.
Сам себя прозвал он —
Коренной москвич.

С Дедуновым в паре
Молодой боец,
Украинский парень
Ваня Медовец.
За лесной поляной
К речке поворот.
Эту речку Ваня
Переходит вброд.
За крутой лощиной
Видит блиндажи.
«...Ой, моя девчина,
Ой, село Чижи,
Ой, днепровский камень,
Ясень голубой...»
Мгла. Скрипит ремнями
Немец-часовой.
Рассчитал, как надо,
Молодой боец.
Лихо бьет прикладом
Ваня Медовец...

***

В полночь тихо плещет
Сонная река.
Притащил разведчик
Немца-языка.
Парня с Украины
Хвалит капитан.
Отвечает чинно
Медовец Иван:
«Мы в бою суровом
Будем горячи.
Мы ведь с Дедуновым —
Оба москвичи.
Присягаю в этом,
Мне поверьте вы:
Украине нету
Счастья без Москвы.
В села, в хаты наши,

В дальние Чижи
От кремлевских башен
Ясный путь лежит.
Мы еще вернемся,
Братья земляки,
Мы еще напьемся
Из Днепра-реки!»
За село родное,
Где цветет чебрец,
Бьется под Москвою
Ваня Медовец.

Ц. СОЛОДАРЬ





Третий адъютант

Рассказ

Комиссар считал, что смелых убивают реже, чем трусов. Это было его твердое убеждение. Он любил это повторять и сердился, когда с ним спорили.

В дивизии его любили и боялись. У него была своя особая манера приучать людей к войне. Он узнавал человека на ходу. Брал его в штабе дивизии, в полку и, не отпуская ни на шаг, ходил с ним целый день всюду, где ему в этот день надо было побывать.

Если приходилось итти в атаку, он брал этого человека с собой в атаку и шел рядом с ним.

Если человек выдерживал испытание, то вечером комиссар знакомился с ним еще раз.

— Как фамилия? — вдруг спрашивал он своим отрывистым голосом.

Удивленный командир снова называл свою фамилию.

— А моя — Корнев, — говорил тогда комиссар, протягивая руку, — Корнев. Вместе ходили, вместе на животе лежали, теперь будем знакомы.

В первую же неделю после прибытия в дивизию у него убили двух адъютантов.

Первый струсил и в тяжелую минуту вышел из окопа, чтобы поползти назад. Его срезал пулемет.

Вечером, возвращаясь в штаб, комиссар равнодушно прошел мимо мертвого адъютанта, даже не повернув в его сторону головы.

Второй адъютант был ранен навылет в грудь во время атаки. Осеннее солнце резало глаза. Было холодно, нестерпимо сухо. Он лежал в отбитом окопе на спине и, широко глотая воздух, просил пить. Воды не было. Впереди за бруствером лежали трупы немцев. Около одного из них валялась фляга.

Комиссар вынул бинокль и долго смотрел, словно стараясь разглядеть, пустая она или полная.

Потом, тяжело перенеся через бруствер свое грузное немолодое тело, он пошел по полю всегдашней неторопливой походкой.

Неизвестно, почему немцы не стреляли. Они начали стрелять только тогда, когда он дошел до фляги, поднял ее, взболтнул и, зажав подмышкой, повернулся.

Ему стреляли в спину. Во флягу попала пуля. Он зажал дырки пальцами и пошел дальше, теперь неся флягу в вытянутых руках.

Спрыгнув в окоп, он осторожно, чтобы не пролить, передал флягу кому-то из бойцов.

— Напоите!

— А вдруг бы дошли, а она — пустая... — заинтересованно спросил кто-то.

— А вот вернулся бы и послал вас искать другую, полную! — сердито смерив взглядом спросившего, сказал комиссар.

Он часто делал вещи, которые, вообще говоря, комиссар дивизии делать был не обязан. Но вспоминал об этом всегда только потом, уже сделав. Тогда он сердился и на себя, и на тех, кто напоминал ему о его поступке.

Так было и сейчас. Принеся флягу, он уже больше не подходил к адъютанту и, казалось, совсем забыл о нем, занявшись наблюдением за полем боя.

Через пятнадцать минут он неожиданно окликнул командира батальона.

— Ну, отправили в санбат?

— Нельзя, товарищ комиссар, придется ждать дотемна.

— Дотемна он умрет. — И комиссар отвернулся, считая разговор оконченным.

Через пять минут двое красноармейцев, пригибаясь под пулями, несли неподвижное тело адъютанта назад по кочковатому полю.

Может быть, это было безрассудно, но, когда командир батальона спросил: «Кто понесет?» — люди, видевшие, как комиссар ходил за флягой, сказали: «Я!» Они не могли этого не сказать, — видеть и не сказать.

А комиссар хладнокровно смотрел, как они шли. Он одинаково мерил опасность и для себя и для других. Люди умирают — на то и война. Но храбрые умирают реже.

Красноармейцы шли смело, не падая, не забывая, что они несут раненого, и именно поэтому он верил, что они дойдут.

Ночью, по дороге в штаб, комиссар заехал в санбат.

— Ну, как, поправляется, вылечили? — спросил он хирурга со своей обычной торопливостью. Ему, по его характеру, казалось, что на войне все можно и должно делать одинаково быстро — доставлять донесения, ходить в атаки, лечить раненых.

И когда хирург ответил ему, что его адъютант умер от потери крови, он удивленно поднял глаза.

— Вы понимаете, что вы говорите? — тихо сказал он, взяв хирурга за портупею и близко придвинув к себе. — Люди под огнем несли его две версты, чтобы он выжил, а вы говорите — умер. Зачем же они его несли?

О том, что люди кроме того ходили под огнем за водой, он промолчал. Промолчал не из скромности, а просто потому, что уже успел забыть об этом.

Хирург пожал плечами.

— И потом, — заметив это движение, добавил комиссар, — он ведь был смелый парень, он должен был выжить. Да, да, должен! — сердито повторил он. — Плохо работаете.

И, не простившись, вышел к машине. Синие пятна фар скользнули по черным стволам кипарисов. Машина свернула влево и скрылась.

Хирург смотрел вслед. Конечно, комиссар был неправ. Может быть, даже логически рассуждая, он сказал сейчас глупость. И все-таки было в его словах, в сердитом и грустном голосе что-то такое сильное и убеждающее, что хирургу на минуту показалось, что, действительно, смелые не должны умирать, а если они все-таки умирают, то это потому, что он плохо работает.

— Ерунда! — сказал он вслух, пробуя отделаться от этой странной мысли. Но мысль не уходила. Ему показалось, что он видит, как двое красноармейцев несут раненого по бесконечному кочковатому полю.

— Михаил Львович, — вдруг сказал он, как о чем-то уже давно решенном, своему вышедшему на крыльцо покурить помощнику. — Надо будет утром вынести дальше вперед еще два перевязочных пункта с врачами...

Комиссар добрался до штаба только к рассвету. За окнами шел мелкий дождь со снежной крупой. Начиналась осенняя непогода. Комиссар был не в духе и, вызывая к себе людей, сегодня особенно быстро отправлял их с короткими, большей частью ворчливыми напутствиями. Впрочем, это он делал не просто так, в этом были свой расчет и хитрость. Комиссар любил, когда люди уходили от него сердитыми. Он считал, что человек все может. И ругая его, он никогда не ругал человека за то, что тот не смог, а всегда только за то, что тот мог и не сделал. А если человек делал многое, то комиссар ставил ему в упрек, что он не сделал еще больше. Когда люди немножко сердятся, они лучше думают — это было его глубокое убеждение. Он любил обрывать разговор на полуслове, так, чтобы человеку было понятно главное, а об остальном тот догадывался бы сам. Именно таким образом он добивался, чтобы в дивизии всегда чувствовалось его присутствие. Он не мог быть все время с

каждым. Но, побыв с человеком минуту, он старался сделать так, чтобы тому было над чем думать до следующего свидания.

Утром ему подали сводку вчерашних потерь. Читая ее, он вспомнил хирурга. Конечно, сказать этому старому, опытному врачу, что он плохо работает, было с его стороны бестактностью, но ничего, ничего, пусть думает, может, рассердится и придумает что-нибудь хорошее. Он не сожалел о сказанном. Самое печальное было то, что погиб адъютант. Впрочем, долго вспоминать об этом он себе не позволил. Иначе за эти месяцы войны слишком о многих пришлось бы вспоминать. Он будет вспоминать об этом потом, после войны, когда неожиданная смерть станет несчастьем или случайностью. А пока — смерть всегда неожиданна. Другой сейчас и не бывает, пора к этому привыкнуть. И он, должно быть оттого, что, несмотря на эти рассуждения, ему было все-таки грустно, как-то особенно сухо сказал начальнику штаба, что у него убили адъютанта и надо найти нового.

Третий адъютант был маленький светловолосый и голубоглазый парень, только что выпущенный из школы и впервые попавший на фронт.

Когда в первый же день знакомства ему пришлось итти рядом с комиссаром вперед, в батальон, по подмерзшему осеннему полю, на котором часто рвались мины, он ни на шаг не отставал от комиссара. Он шел вплотную, рядом, потому что таков был, по его понятиям, долг адъютанта, и еще потому, что этот большой, грузный человек с его неторопливой походкой казался ему неуязвимым. Казалось, что если итти совсем рядом с ним, то ничего не может случиться.

Когда мины начали рваться особенно часто, и стало ясно, что немцы охотятся именно за ними, комиссар и адъютант стали изредка ложиться.

Но не успевали они лечь, не успевал рассеяться дым от близкого разрыва, как комиссар уже вставал и шел дальше.

— Вперед, вперед, — говорил он ворчливо, — нечего нам тут дожидаться.

Почти у самых окопов их накрыла вилка. Одна мина разорвалась впереди, другая сзади.

Комиссар встал, отряхиваясь от земли.

— Вот видите, — сказал он на ходу, показывая на маленькую воронку сзади. — Если бы мы с вами трусили да ждали, как раз она бы по нас и пришлась. Всегда надо быстрей вперед итти — тогда ни за что не попадет.

— Ну, а если бы мы еще быстрей шли, так... — и адъютант, не договорив, кивнул на воронку, бывшую впереди них.

— Ничего подобного, — сказал комиссар. — Они же по нас сюда били — это недолет. А если бы мы уже были там, они бы туда целили, и опять был бы недолет.

Адъютант невольно улыбнулся: комиссар, конечно, шутил! Но вдруг он увидел, что лицо комиссара было совершенно серьезно. Он говорил с полной убежденностью. И вдруг вера в этого человека, вера, остающаяся раз и навсегда, охватила адъютанта. Последние сто шагов он шел рядом с комиссаром совсем тесно, локоть в локоть; теперь он окончательно знал, что ни этого человека, ни того, кто идет рядом с ним, убить нельзя.

Так состоялось их первое знакомство.

Прошел месяц. Южные дороги то подмерзали, то снова становились вязкими и непроходимыми. На виноградниках ржавел и гнил неубранный виноград. Опустевшие поля были изрыты окопами.

Где-то в тылу, по слухам, готовились к контрнаступлению, а пока поредевшая дивизия все еще вела кровавые оборонительные бои.

Была темная осенняя ночь. Комиссар в землянке пристраивал на железной печке, поближе к огню, свои мокрые, забрызганные грязью сапоги.

Сегодня утром было тяжело: ранен, очевидно смертельно, командир дивизии. Начальник штаба, положив на стол подвязанную черным платком раненую руку, тихонько барабанил по столу пальцами. То, что он мог это делать, доставляло ему удовольствие, пальцы снова начинали его слушаться.

— Ну, хорошо, упрямый вы человек, — продолжал он, видимо, прерванный разговор. — Ну, пусть Холодилина убили, потому что он боялся, но генерал-то ведь был храбрым человеком, как по-вашему?

— Не был, а есть. И он выживет, — сказал комиссар. И по своей вечной привычке отвернулся, считая, что тут не о чем больше говорить.

Но начальник штаба потянул его за рукав и сказал совсем тихо, так, чтобы никто лишний не слышал его грустных слов:

— Ну, он выживет. Но ведь Миронов не выживет, и Заводчиков не выживет, и Гавриленко не выживет. Они умерли, а ведь они были храбрые люди. Как же с вашей теорией?

— У меня нет теорий, — резко сказал комиссар. — Я просто знаю, что в одинаковых обстоятельствах храбрые умирают реже, чем трусы. А если у вас не сходят с языка имена тех, кто был храбр и все-таки умер, то это потому, что когда умирает трус, то о нем забывают прежде, чем его зароют, а когда умирает храбрый, то о нем помнят, говорят и пишут. Мы помним только имена храбрых. Вот и все. А если вы все-таки называете это моей теорией — воля ваша. Теория, которая помогает людям не бояться, — хорошая теория. А все остальные плохие. Между прочим, мне она тоже



Разведчики на лыжах. Фото С. Струнникова



Прифронтовой аэродром. Фото С. Струнникова

помогает не бояться, — вдруг улыбнулся комиссар. — Ведь, между нами говоря, как хотите, а иногда и нам с вами страшно бывает.

В землянку вошел адъютант. Его лицо за этот месяц потемнело, а глаза стали усталыми. Но в остальном он остался все тем же мальчишкой, каким в первый день увидел его комиссар. Щелкнув каблуками, он доложил, что на полуострове, откуда он только что вернулся, все в порядке. Только ранен командир роты, старший лейтенант Поляков.

— Кто вместо него? — спросил комиссар.

— Лейтенант Васильев из третьего взвода.

— А кто в третьем взводе?

— Какой-то сержант.

Комиссар на минуту задумался.

— Сильно замерзли? — спросил он адъютанта.

— По правде говоря, сильно.

— Выпейте, — комиссар налил из чайника полстакана водки, и лейтенант, не снимая шинели, только наспех распахнув ее, залпом выпил.

— А теперь поезжайте обратно, — сказал комиссар. — Я тревожусь, понимаете? Вы должны быть там, на полуострове, моими глазами. Поезжайте!

Адъютант встал. Он застегивал крючки шинели тем особым медленным движением человека, которому хочется еще минуту побыть в тепле. Но, застегнув, он больше не медлил. Низко согнувшись, чтобы не задеть за притолоку, он исчез в темноте. Дверь хлопнула.

— Хороший парень, — сказал комиссар, проводив его глазами. — Вот в таких я верю, что с ними ничего не случится. Я верю в то, что они будут целы, а они верят — что я. А это самое главное. Верно, полковник?

Начальник штаба медленно барабанил пальцами по столу. Храбрый человек, он не любил подводить никаких теорий ни под свою, ни под чужую храбрость. Но сейчас ему казалось, что комиссар прав.

— Да, — сказал он. — И вообще я не верю, что кто-то умирает. Мне всегда кажется, что где-то есть кто-то другой, который придет на место мертвого и будет не хуже его, и поэтому я верю, что мы победим, потому что раз действительно так, то иначе и не может быть.

В печке трещали поленья. Комиссар спал, упав лицом на десятиверстку и раскинув на ней руки так широко, как будто он хотел забрать обратно всю большую начерченную на ней, оскверненную врагом землю.

Утром комиссар сам выехал на полуостров. Он переправлялся туда через лиман на утлой лодке. Дул северный ветер, и седые барашки с треском колотились о днище. Потом он не любил вспоминать об этом дне. Ночью немцы, внезапно

высадившись на полуострове, в жестоком бою перебили передовой третий взвод, — весь, до последнего человека.

Комиссару в течение дня пришлось сделать то, что ему, комиссару дивизии, в сущности, делать совсем не полагалось. Он утром собрал всех, кто был под рукой, и трижды водил их в атаку. Тронутый первыми заморозками, гремучий песок был изрыт воронками и залит кровью. Немцы были убиты или взяты в плен. Пытавшиеся добраться до своего берега вплавь потонули.

Передав кому-то уже ненужную винтовку с окровавленным штыком, комиссар обходил полуостров. О том, что происходило здесь ночью, ему могли рассказать только мертвые. Мертвые тоже умеют говорить. Между трупами немцев лежали убитые красноармейцы третьего взвода. Одни из них лежали в окопах, исколотые штыками, зажав в мертвых руках разбитые винтовки. Другие, те, кто не выдержал и струсил, валялись на открытом поле, в мерзлой зимней степи. Они бежали, и здесь их настигли пули. Они лежали, раскинув руки, лицом на восток, спиной к врагу. Комиссар медленно обходил молчаливое поле боя и вглядывался в позы убитых, в их застывшие лица. Для него и после смерти эти люди все равно делились на трусов и храбрых. В позе мертвого он угадывал, как тот вел себя в последние минуты жизни. И даже смерть не примиряла его с мертвым трусом. Он не мог простить трусости и после смерти. Если бы это было возможно, он похоронил бы отдельно храбрых и отдельно трусов. Пусть после смерти они, как и при жизни, будут отделены друг от друга.

Он напряженно вглядывался в лица, ища своего адъютанта. Его адъютант не мог бежать и не мог попасть в плен, он должен был быть где-то здесь, среди погибших.

Наконец сзади, далеко от окопов, где дрались и умирали люди, комиссар нашел его. Адъютант лежал навзничь, неловко подогнув под спину одну руку и вытянув другую, с насмерть зажатым в ней наганом. На груди, на гимнастерке запеклась кровь.

Комиссар долго стоял над ним. Потом, подозвав одного из бывших рядом командиров, приказал приподнять гимнастерку и посмотреть, какая рана — пулевая или штыковая.

Он посмотрел бы и сам, но правая рука его, раненная в атаке несколькими осколками гранаты, бессильно повисла вдоль тела. Он с раздражением смотрел на свою обрезанную до плеча гимнастерку, на кровавые, наспех замотанные бинты. Его сердили не столько раны и боль, сколько самый факт, что он был ранен — он, которого считали в дивизии неуязвимым, он, веря в неуязвимость которого, люди легче и безбоязненней шли в бой. Рана была не кстати, ее скорее надо было залечить и забыть.

Командир, наклонившись над адъютантом, приподнял гимнастерку и расстегнул белье.

— Штыковая, — сказал он, подняв голову к комиссару, и снова согнулся над адъютантом. Согнулся и надолго, на целую минуту припал к неподвижному телу.

Когда он поднялся, лицо его было удивленным.

— Еще дышит, — сказал он.

— Дышит? — комиссар ничем не выдал своего волнения. Он еще не знал, надо ли волноваться за этого оказавшегося живым человека. Он лежал здесь, далеко позади окопов, он наверно бежал. Нет, все-таки нет, не может быть! Он очень редко ошибался в людях.

— Двое, сюда! — вдруг резко приказал он. — На руки и быстрей до перевязочного пункта. Может быть, выживет.

И, повернувшись, он пошел дальше по полю.

— Выживет или нет? — этот вопрос у него путался с другим: как адъютант вел себя в бою, почему оказался сзади всех в поле, и невольно оба вопроса связывались в одно: если все хорошо, если вел себя храбро — значит, выживет, непременно выживет.

И, должно быть, поэтому, когда через месяц на командный пункт дивизии из госпиталя пришел адъютант, побледневший и худой, но все такой же светловолосый, голубоглазый и похожий на мальчишку, комиссар ничего не спросил его, а только молча протянул для пожатия левую здоровую руку.

— А я ведь тогда и не дошел до третьего взвода, — после первых слов приветствия сказал адъютант, — застрял на переправе, еще сто шагов оставалось, когда...

— Знаю, — прервал его комиссар, — все знаю, не объясняйте. Знаю, что молодец. Рад, что выжили.

Он с завистью посмотрел на мальчишку, который через месяц после смертельной раны был снова живым и здоровым, и, кивнув на свою все еще перевязанную руку, грустно сказал:

— А у нас с полковником уже годы не те. Второй месяц заживает, а у него третий. Так и правим дивизией — двумя руками. Он правой, а я левой. Хотя, впрочем, что ж, ничего, говорят, получается...

К. СИМОНОВ

★

В полет, орлы!

Штыком и танком, бомбой и снарядом
Мы смерть несем остервенелым гадам,
Мы ломим их, громим их ряд за рядом —
И нет спасенья кровожадным псам!

Над Западом пожар, и над Востоком, —
Мы, как один, в стремлении высоком
Двухсотмильонным двинулись потоком, —
Победа путь указывает нам.

Да славится оружие героя,
Подъятое над черною ордою!
Великою священною войною
Фашистский мрак с лица земли сотрем.

Народы, величавы и суровы,
Идут на битву, к подвигу готовы,
И в общий клич слилось мильонов слово:
«Громи фашизм железом и огнем!»

Моторы, громче! Яростней, моторы!
Полетом стали пронизав просторы,
На головы кровавой, подлой своры
Обрушьте бомбы в грохоте атак!

Весь мир благословляет эту кару
И наших бомб смертельные удары,
Как молнии — стремительны и яры —
Разящие взбесившихся собак.

В полет, орлы, отважны и могучи,
Кидайтесь на врага с небесной кручи
И мерзких свастик щупальцы паучьи
Топчите и давите всякий раз!

Пускай дрожат предсмертной дрожью гады,
Почувствовав, что нет для них пощады,
Что грозные советские снаряды
Им предвещают их последний час.

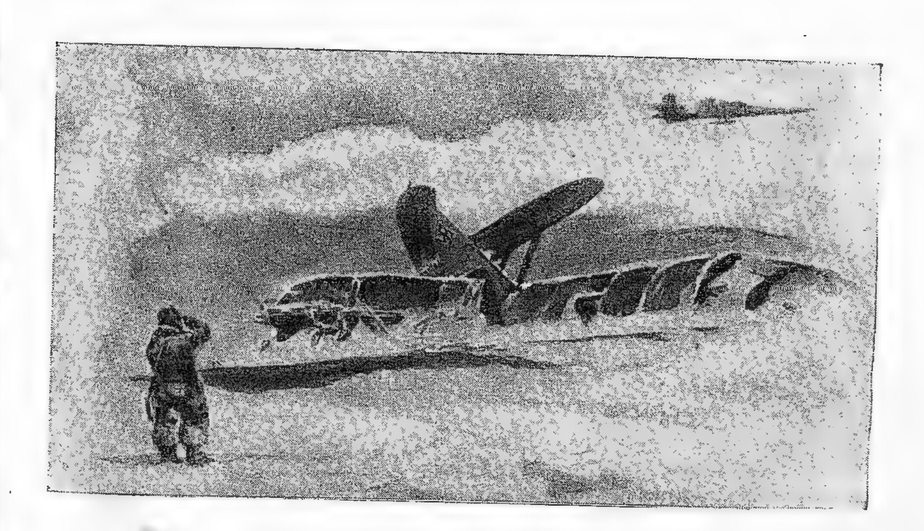
Да! Смерть им, смерть им! Ход неудержимый,
Удар сверхметкий, суд неумолимый!
Освобождая мир, в плену томимый,
Страна вершит победный свой полет.

Нигде тебе, фашистская орава,
Не уцелеть, не спрятаться лукаво,
Летят орлы, и клекот — словно лава:
«За Родину, за Сталина, вперед!»

М. БАЖАН

С украинского перевел Б. Турганов





В снегах

1

Свиридов привык умываться, скинув рубаху, и теперь он, как всегда, вымыл шею, грудь и, сколько мог достать, спину, сделал руками два-три выпада, чтобы размять неслабые мускулы, вытерся, оделся и забыл о сне.

Однако за общим столом в землянке, завтракая, сказал Свиридов так себе, между прочим:

— Вот, небось, в удивление привели люди всякую дичь по болотам, также и в лесах!.. Костерят повсеместно и с земли, и с воздуха, по всем квадратам, — куда ей прикажешь деваться? Только одно осталось: лети и беги с предельной скоростью куда подальше!

В этот день он должен был патрулировать там, в стороне чуть заметно синевших дальних сопок, из-за которых появлялись вражеские бомбардировщики, чтобы тревожить Мурманск.

Аэродром, на котором, тщательно замаскированный, стоял в ряду с другими и его «ястребок», был укрыт мягким пока еще снегом, неглубоким, нисколько не мешавшим ни взлету, ни посадке машины.

Тепло одетый для полета, Свиридов казался издали толстым и неуклюжим, хотя был легким и гибким, хорошим гимнастом. Из землянки он вышел, захватив с собой на всякий случай портпаек — несколько банок консервов, несколько плиток шоколаду. Вместе со своим воентехником Бадиковым он подготовил машину к полету, и вот, бойко пробежав по снегу и оставив в нем широкий след, «ястребок» оторвался от земли и пошел в высоту свечою.

Как-то вышло так, что лейтенант даже не попрощался с Бадиковым, когда садился в кабинку, а вспомнив об этом при взлете, подумал: «Ну, пустяки какие... Не надолго же лечу, вернусь ведь сегодня».

Часто приходилось вылетать для наблюдений и возвращаться в положенный срок, никого не встретив в воздухе.

Однако еще с раннего утра он, как и другие, видел, что день наклевывается летный. Небо было хотя и облачным, но с большими прозорами бледной голубизны. А когда «ястребок», поднимаясь, прорезал два слоя облаков, небо стало гораздо просторнее, чище... И вдруг разглядел в нем Свиридов три смутных, прячущихся в облаке тени самолетов.

Может быть, свои, не фашистские?

Послушный опытным рукам, лежавшим на штурвале, «ястребок» пошел на сближение.

Свиридову просто хотелось убедиться, что это свои, в чем он был почти уверен, однако, чем ближе он подходил, тем яснее видел — враги.

С земли он узнал бы их по характерному шуму их моторов, но теперь рев своего «ястребка» заглушал все звуки кругом. Врагов выдал их желтый камуфляж. Глаза искали на ближайшем из них белый круг с черной свастикой в середине и нашли. И тут же пришло решение — напасть.

Чтобы напасть, нужно было взмыть кверху, и «ястребок» пошел набирать высоту. Прошли минуты, но они показались длинными, так велико было в Свиридове желание поскорее всадить во вражескую машину затяжную очередь из пулемета.

Настал момент. Ближайший бомбардировщик был ведущим в тройке, и, скатившись к нему сверху, Свиридов пронизал пулями его правую плоскость.

Тяжелая машина скрылась в дыму и начала оседать.

— Ага, подлец! — крикнул Свиридов радостно. — Теперь каюк!

Упадет ли, или дотащится до удобного места посадки, но этот бомбардировщик был уже выведен из строя, — а два других?..

Он присмотрелся к ним и увидел, что они, лишившись ведущего, теряют взятое направление, «рыскают» в стороны, а главное, уходят от него во всю силу моторов. А боеприпасы кончились.

— Таранить! — самому себе будто скомандовал Свиридов, направляясь наперерез к ближайшему из двух.

— Врешь, не уйдешь, гад! — подвинчивал себя лейтенант, заметно покрывая расстояние к ближайшему из двух.

Сбитый им немецкий бомбардировщик был шестым по счету в списке его побед; этот, впереди, выходил в шеренгу седьмым. Одного из пяти прежних он таранил, слегка только погнув свой винт. Он уже видел, что этот, стремившийся от него уйти, будет второй.

И такое было чувство уверенности, что его ждет и здесь полная удача!.. Однако случилось не совсем так, как ожидалось.

Была ли допущена какая-то небольшая, но роковая ошибка им самим, когда он повис уже над хвостом немец-

кого самолета и приготовился всем телом к удару, или немецкий летчик в какую-то долю секунды чуть-чуть взял влево, но только что винт «ястребка» ударил в хвост немца, причем от руля глубины посыпались вниз обломки, как Свиридов почувствовал, что левое крыло его «ястребка» тоже ранено: оно столкнулось с рулем поворота немецкой машины.

От толчка Свиридов едва усидел на месте. Потом точно судорожная дрожь охватила все тело «ястребка»: этого не было в тот первый раз, когда он применил таран. И хотя лейтенант видел, как от его удара пошел вниз бомбардировщик, но радость не появлялась: он чувствовал, что, дрожа и забирая влево, стала снижаться и его машина. Он понял, что левое крыло повреждено, что о полете дальше или на свой аэродром нечего было и думать, что единственное, о чем он может мечтать теперь, — это посадить свой самолет где-нибудь так, чтобы он не разбился и не схоронил его самого под обломками.

Мгновенная оторопь, от которой даже виски под шапкой вспотели, сменилась в нем предельной собранностью: впереди была смерть, если он допустит хоть малейшую ошибку. Где-то нужно было посадить самолет, но где именно? Внизу видны были только скалистые сопки, обрывы, почти отвесные и потому не покрытые снегом. Вся земля от этих каменных обрывов казалась полосатой, как огромнейший матрац. А времени для выбора места посадки отводилось в обрез: самолет мог еще плавно снижаться, но лететь он уже не мог.

Свиридов был так полон острой мыслью спасти самолет, а значит и себя, что не вспомнил даже о сбитом им только что бомбардировщике. На какую из этих сопок внизу он упал, ему было уж безразлично. И велика была его радость, когда он заметил какую-то ровную площадку между гор. Он не сразу понял, что это замерзшее и покрытое снегом озеро; он видел только, что здесь можно совершить посадку. И вот «ястребок» коснулся колесами снега, протащился в нем десятка два шагов и стал.

Снег лежал неровно, местами его было меньше, местами больше, но мотора уже не стало слышно. Тишина и сознание, что жив, что машина цела, что ее можно будет еще исправить и пустить в дело. Нужно было только осмотреться, запомнить местность, сообразить, как и в какую сторону отсюда выйти, чтобы добраться к своим.

Свиридов сдвинул на лоб очки, снял с себя парашют, отодвинул колпак с кабины и огляделся, насколько мог.

Горы обступили озеро со всех сторон, но скаты их, поросшие деревьями, были не круты. Их складки, где снег казался особенно глубок, густо синели. Никак не представля-

лось, чтобы ходили где-нибудь здесь человеческие ноги, до того нетронутая стояла кругом тишина.

И вдруг тишину эту прорезал выстрел. Это было так неожиданно, что Свиридов не поверил себе, — выстрел или, может быть, треснул лед... Но спустя две-три секунды еще выстрел и даже как будто пуля ударилась о самолет. Тогда лейтенант выхватил из кобуры свой пистолет и зажал в руке, в то же время высунувшись из кабины.

Первое, что он увидел, была огромная собака — мышастого цвета дог; двух немцев-летчиков, бежавших тяжело следом за ним, он увидел в следующий момент, и только потом бросился ему в глаза тот самый бомбардировщик, который был так недавно сбит им тараном: немец-пилот посадил его в другом конце того же озера.

Врагов было двое, с огромной собакой, которую вздумалось им взять в самолет, и собака эта уже подбегала неловкими прыжками, увязая кое-где в снегу, но не в нее, а в переднего из немцев, который стрелял, три раза подряд выстрелил Свиридов, и он упал, а дог был уже в двух шагах, и лейтенант едва успел укрыться от него в кабину, закрыв колпак.

Дог рычал и скреб передними лапами колпак кабины. Низко обрезанные круглые уши он прижал к широколобой квадратной голове; шерсть на затылке поднялась дыбом. Яростные зеленые глаза, огромные белые клыки, пена на красных брылях, рычание, перешедшее в вой, — все это за стеклом, тут же, и видно, как подбегает высокий, грузный второй немец.

Но сорвался вдруг дог, стремившийся вскочить на гладкий верх машины, и опрокинулся на спину в снег. Точно толкнуло что Свиридова тут же отбросить колпак кабины, перегнуться через борт и выстрелить. Огромная собака забилась на снегу, окрашивая его своей кровью. Встать она не могла уж больше — голова ее была прострелена. Длинным языком она лизала снег.

А немец, толстощекий, пышащий, брудастый, зеленоглазый, всем своим внешним обликом разительно походивший на своего дога, был уже близко и кричал:

— Погоди, русский, погоди-и!

Русские слова угрозы — это было так неожиданно, что Свиридов тут же выскочил из кабины навстречу немцу.

Он выстрелил в его сторону, но промахнулся ли от волнения, или только слегка ранил, не понял; немец, рыча подожьи и бормоча: «Не уйдешь, врешь!» — опрокинул его и прижал всей тяжестью своей шестипудовой туши.

Свиридов собрал свои силы, насколько позволило это сделать кожаное пальто, и сбросил с себя немца. Но при этом пистолет выпал из его руки, а немец, оказавшийся че-

рез момент снова сверху, обеими руками схватил его за горло.

Видя, что вот-вот конец, что уже нехватает воздуха, Свиридов подтянул левое плечо и вывернул правое из-под немца. Тогда пальцы немца разжались, и лейтенант не только сильно втянул в себя свежий морозный воздух, но, вспомнив о пистолете, начал нашаривать его около себя в снегу.

Однако немец предупредил его. Руки он разжал, затем, чтобы вытащить финский нож из кармана, и торжествующими стали его круглые зеленые дожьи глаза, когда он вонзил этот нож в лицо лейтенанта и резанул его от переносья вдоль левой щеки к нижней челюсти.

Острая боль отдалась в сердце лейтенанта. Нож в руке врага — это была уже явная смерть... И всплыл в памяти дед, как-то раз сказавший: «Если лихой человек беспощадный тебя осилил, вдарь его ногой в причинное место!» Свиридов шевельнул правой ногой, согнутой в колене, и из последних сил ударил немца коленом между раскоряченных ног.

«Лихой человек» вскрикнул глухо и обмяк, опустив руку с ножом, занесенную было для второго смертельного уже удара, а лейтенант тем временем нашарил подмятый им под себя и вдавленный в снег пистолет. Не теряя ни одного мгновенья, он выстрелил туда, куда пришлось дуло пистолета, — в левый бок немца, и тут же почувствовал себя свободно: враг сполз с него совсем, он же отодвинулся по снегу в сторону и сел, не имея сил подняться на ноги.

Так сидел он несколько минут. Он глядел в глаза смертельного врага, которые стеклянели, туманились, но не закрывались, и, дотягиваясь рукой до чистого снега, прикладывал его к ране; когда же комок снега багровел от крови, отбрасывал его и брал другой.

Дог перестал уже дергать лапами — застыл. Неподвижно лежал в снегу шагах в тридцати другой немец. Неподвижно, как на аэродроме, стояла одна в виду другой две воздушных машины — одна со свастикой, другая с красной звездой.

Всюду на льду озера было тихо, кругом в горах было тихо, вверху, в облачном небе, было тихо. Живого здесь было теперь только он один, лейтенант Свиридов, с глубоко разрезанным ударом финского ножа лицом.

2

Боль была острая, не утихающая, глухо отдающаяся в голове.

Сжать губы оказалось невозможно, так как ранена была и верхняя десна во всей левой стороне и часть нижней, и долго он выплевывал кровь.

Но нужно было все-таки встать и, не теряя времени, итти в сторону своих землянок: зимний день короток везде, а здесь, в тундре, он короче, чем где бы то ни было.

Свиридов подошел к своему «ястребку» и взял из него то, что считал самым нужным в дороге: портпаек, карту, авиакомпас. Перезарядил пистолет, оглядел в последний раз машины, свою и чужую, и трупы врагов и пошел прямо на север, чтобы выйти к морю.

Он то проваливался в глубокий снег, то выбирался на лысый обледенелый камень обрывистых ребер сопки, то застревал в ползучих деревьях, похожих на кустарник, и не успел еще перевалить через сопку, как уже надвинулся вечер.

Ему казалось, что отсюда, с порядочной высоты, он должен будет увидеть темную полосу моря, как приходилось видеть ее с истребителя, но не было ничего видно, кроме других сопок, густо уже синевших во всех своих впадинах.

Он старался припомнить, как летел в начале полета, пока не встретился с немецкими бомбардировщиками, и куда повернул потом, чтобы на местности определить, хотя бы приблизительно, где он находится. Но в памяти это стерлось, заслонилось другим, а карта, взятая им, ничего ему не разъяснила: на ней тут было просто белое пятно.

Разогревшись от ходьбы, он не чувствовал холода, и когда совсем окончился день, остановился и сел прямо на снег. Он очень устал и от борьбы с немцем, и от потери крови, и от ходьбы, но когда вздумалось ему хоть немного подкрепить силы шоколадом, который был в его портпайке, оказалось, что не мог этого сделать. Боль во рту не позволяла сжать зубы, которые к тому же качались. Он подержал на языке кусок шоколадной плитки и выплюнул.

Он знал, что ночь не будет темной, что небо на севере вот-вот расцветится сполохами, и сполохи начались, как обычно, каким-то мгновенным разрывом темного неба и заколыхались радугой цветов. Отсюда, с пустынной сопки, это было гораздо более величественно, чем оттуда, от своих землянок, однако не менее непонятно. Оно проявлялось само по себе в то время, как все кругом, казалось, служило войне: небо— для полетов, земля — для окопов, море — для военных транспортов и кораблей.

Снежные шапки сопок заиграли то голубыми, то розовыми, то палевыми полосами и пятнами, и лейтенант Свиридов следил за этими переливами тонов, точно сидел в картинной галлерее. Но усталость постепенно тяжелила и тяжелила веки, и он задремал, прислонясь спиною к камню.

Он именно дремал, а не спал, потому что в одно и то же время и отшатывался куда-то в провалы сознания, и какой-то частью мозга сознавал, что он на сопке, один, что

кругом снежная пустыня, что тянется ночь, что переливисто блещет северное сияние.

Очнулся и откинул голову он, когда чем-то провели по его израненному лицу, отчего внезапно стала острее боль. Он даже приподнялся несколько на месте, огляделся.

Недалеко от себя, на камне обрыва, он заметил две светящихся точки рядом; их не было прежде. Они пропали было на миг и опять зажглись. Он догадался, что это глаза совы, белой большой полярной совы; что это она пролетела около него так близко, что задела его крылом, а может быть, даже села на его плечо.

Потом раздался довольно резкий в тишине крик: это другая такая же сова пролетела над ним и села недалеко от первой. Скатав снежок, он бросил его в сторону двух пар светящихся глаз. Совы слетели, и крик их послышался издали.

Свиридов встал и пошел дальше, однако свет сполохов, достаточный, чтобы итти по ровному месту при неглубоком снеге, здесь, на стремнинах сопки, оказался очень обманчивым по своему непостоянству, по прихотливой игре тонов. Лейтенант проваливался чуть не по пояс в снег там, где ему представлялось твердое место, и натыкался на деревья, тщательно обходя их резкие тени.

Кончилось тем, что через час он сел снова, чтобы дождаться рассвета. Опять дремал; опять над ним и около бесшумно вились белые совы, а он, прогоняя их снежками, вспоминал случай, бывший на его московской квартире.

Там на балконе зимой Нюра ставила кое-что из продуктов, и вот замечено было ею, что исчезали бесследно то сливочное масло, кусками по сто граммов, то ветчина, нарезанная и закрытая тарелкой, то даже растерзана была курица, приготовленная для бульона.

Грешили на чьего-нибудь кота, хотя и не понимали, как мог он взбираться на балкон шестого этажа, и вдруг нечаянно застали на балконе ворону. По описанию Нюры, это была какая-то необыкновенно большая ворона, видимо, очень опытная в подобных кражах. Масло, например, она аккуратно освобождала от оберточной бумаги; тарелку с ветчины, тоже аккуратно и стараясь не стучать, спихивала клювом; у курицы она съела только печенку и сердце...

Грезилась московская квартира, Нюра, Катя... Представлялось, как воентехник Бадиков и другие товарищи ждали его возвращения, а теперь решили уже, конечно, что он погиб.

Тяжелели веки, дремалось, ухали совы, колдовали сполохи на круглых шапках сопок — в этом прошла ночь, а чуть свет он двинулся дальше, справляясь со стрелкой компаса.

Все казалось, что море где-то не так далеко, что вот еще час, два, пусть три, ходьбы, и он его увидит. В это

хотелось верить, и в это верилось. А между тем чем дальше, тем все труднее становилось итти, деревянели ноги.

Он понимал, что нужно было подкрепиться, хотя не ощущал еще сильного голода. Но когда снова вынул плитку шоколада и положил в рот, то убедился, что не только жевать, даже и сосать было нестерпимо больно, и он бросил всю плитку в снег.

Это он сделал с досады, но потом уже не досада, а только ощущение непосильной тяжести всего, что было на нем и с ним, заставило его выкинуть из своего портпайка две банки консервов, совершенно ему ненужных, раз он не мог жевать, но тяжелых.

Был ли это обман чувств, или настойчивое желание убедить себя, что поступил он как следует, но несколько времени потом он шел более бодро.

У родника, бившего из-под тонкого льда и пропадавшего в снегах, он остановился и начал пить из горсти. Глотать было больно, однако пить очень хотелось, кроме того холодная вода освежала рот. Около родника просидел больше часа и раза три принимался пить.

Но когда он пошел дальше, он вздрогнул, увидев совсем недалеко от себя ожившего дога. Так показалось по первому взгляду — медленно, так же как и он, идет шагах в десяти в крутящейся поземке мышастый немецкий дог.

Рука лейтенанта потянулась к пистолету, но он разглядел острые уши и пухлый хвост и понял, что это волк.

Матерый волк легко ставил лапы, не проваливаясь на слабом насте, и поглядывал на него, казалось бы, вполне добродушно. Шел Свиридов, шел рядом волк, точно старый знакомый, и лейтенанту поначалу это не казалось неприятным.

Он не знал, правда, как ведут себя полярные волки, но о своих рязанских волках он с детства слышал, что они на человека не нападают. Он пробовал останавливаться, чтобы дать волку свободу уйти куда-нибудь дальше, но волк останавливался тоже.

Между тем, несколько оживленный холодной водой, Свиридов снова начинал уже терять силы. Ему даже казалось, что у него жар; во всем теле начиналась ломота. Тогда он понял вдруг, что волк идет за ним неспроста, что он, хищник, видит, насколько обессилел человек, — вот-вот упадет, чтобы не встать больше. Тогда он станет его законной добычей.

Свиридов остановился. Волк поглядел на него и присел на задние лапы, для приличия отвернув морду.

Свиридов медленно вытащил пистолет, проговорив при этом: «Ого, тяжелый какой!» Так же медленно он поднял

его и нажал спуск. Он не целился, он выстрелил только затем, чтобы испугать волка. И хищник, действительно испуганный, помчался от него во всю мочь и пропал там, в сопках.

Поземка же разыгралась в мятель. И хуже всего вышло, что это случилось к концу дня. Надежда увидеть море было все, чем он жил теперь, но мятель била в глаза, мятель крутилась около, застилала все кругом, принесла с собой резкий холод.

Он нашел место, где можно было сесть спиной к ветру, и когда совсем стемнело и потом в миллионах снежинок перед ним переливисто засверкала радуга северного сияния, остро стало ему жаль того, что он замерзнет тут.

Очень хотелось спать, и страшно было заснуть. Он знал, что замерзают люди во сне: сначала приходит сон, потом смерть. Он силился убедить себя, что слишком тепло одет для того, чтобы замерзнуть, но в то же время чувствовал озноб, сменивший недавний жар.

Когда он покидал свой истребитель, то думал, что он придет к своим и потом прилетит сюда, на озеро, с воентехником Бадиковым и другими; что его «ястребок» будет исправлен и вновь поднимется в воздух, а может быть, исправят и немецкий бомбардировщик. Теперь ему думалось, что на озеро непременно налетят немцы.

Боль в разрезанных деснах показалась ему теперь сильнее: все зубы ломило. Каждую небольшую тень впереди или сбоку он принимал за вернувшегося волка: сидит и смотрит, жив ли еще человек, или уж можно начать его рвать клыками, такими же огромными, белыми, как у дога.

Представился довольно ярко тот сон, который он видел в последнюю ночь в землянке: мечется хохлатый жаворонок с красными от ужаса большими глазами, и слышен его умоляющий голос: «Я — жаворонок... Я умею говорить по-человечески... И вот меня хотят изжарить!» Потом очень непонятно как-то Катя очутилась у него на коленях и все допытывалась, какие бывают жаворонки и как поют... Он прижимался раненой щекой к ее мягким волосам, и от этого прекращалась боль.

Несколько пар совиных глаз то здесь, то там около, — видел ли он, или чудились они, не был твердо уверен в этом Свиридов. Но он почти чувствовал, как совы садились тут где-то, прилетая вместе с мятелью: они помнили — должны были помнить — о нем с прошлой ночи, — они, как и волк, не могли упустить своей добычи.

Мятель бушевала всю ночь, и странно было Свиридову увидеть при первых признаках близкого рассвета, как она утихала, как порывы ее все слабели... Когда можно уже было разглядеть стрелку компаса, он пошел снова.

Мятель местами намела сугробы, местами обнажила кочки тундры, отчего итти стало труднее, так ему казалось; но он просто обессилел, — ночной отдых если и подкрепил его, то не надолго. Непосильной тяжестью лежало на плечах кожаное пальто... Едва передвигая ноги, он думал, что бы такое выбросить на снег, чтобы было легче итти. Пистолет?— Нельзя, может опять появиться около волк... Авиакомпас? — Тоже нельзя, иначе не выйдешь к морю... Он пошарил в кармане, нашел там карандаш, совершенно ненужный ему теперь, и выкинул.

Он шел, как в бреду, но все-таки переставлял тяжелые ноги, двигался, иногда вглядываясь туда, вперед, где должно было показаться море. И когда оно показалось, наконец, к вечеру этого дня, он был уже до того слаб, что не почувствовал радости. Но почти тут же он заметил темный силуэт человека, — первого человека за эти несколько дней, и первое, что он сделал, — вытащил свой неимоверно тяжелый пистолет.

Так как последние люди, которых он видел, были немецкие летчики, непременно хотевшие его убить, то и этот, новый, показался его затуманенным глазам тоже немцем. А через минуту он, терявший сознание от усталости, был в заботливых руках матроса северного флота, на помощь которому подходили трое других матросов.

С. СЕРГЕЕВ-ЦЕНСКИЙ



Ястреб и сова

Сова птица хищная, злая, тяжеловесная, с круглыми глазами. Вылетает на добычу она ночью, а днем спит где-нибудь в глухом лесу, на верхушке обломанного ствола. Потревоженная криком сокола или ястреба, сова в испуге с резким уханьем вылетает из темной чащи, и тогда ястреб треплет ее ударами крепкого клюва.

Черные фашистские «Юнкерсы» похожи на этих ночных птиц, боящихся дневного света. Вылетая ночью на грабеж, они избегают встречи с ястребом или соколом.

А «соколами» или «ястребками» любовно называет советский народ своих героических летчиков, чертящих небо линиями стремительных полетов. Подвиги наших авиаторов похожи на быстрое нападение ястреба на сову.

Вся наша страна знает молодого сталинского сокола, беззаветного храбреца Николая Терехина. Терехин любит ясный и открытый бой с противником, пусть в десять раз сильнейшим. Он показал, что за социалистическую родину можно биться сразу с тремя и четырьмя вражескими машинами.

Высоко в небе разыгрался жестокий бой с хищными птицами фашистских разбойников. Вот Терехин прострочил пулеметом баки и бензинопроводы — кровеносные сосуды гнусной фашистской совы. Объятый пламенем горящего бензина, кубарем летит вниз фашистский самолет, раскидывая полосы черного дыма, словно растрепанные перья насмерть пораженной совы.

Вот второе смрадное фашистское чудовище беспомощно валится на крыло и, войдя в плоский штопор, описывает бесформенную кривую: пилот убит, никем не управляемая машина кувыркается.

Вот третья гадина зигзагообразным полетом стремится уйти от ужасающего огня пулеметов Терехина. Но ястребок предугадал новый зигзаг, и винт фашистского бомбардиров-



щика разбит. Машина германского полковника вынуждена спланировать на нашей территории. Гитлеровский бандит с «железным крестом», матерый усатый волк, летавший над Грецией и над Кипром, выбрасывается на парашюте. Советские пулеметы встречают его свинцовым приветом. За судьбу этого врага Терехин спокоен.

Сталинский сокол настороженно осматривает воздух. Он видит четвертую машину. Терехин гонится за врагом, он нажимает спуск пулеметов. Но магазины пусты, расстреляны все патроны. Мгновенно созревает план. Надо использовать преимущество скоростной машины.

Расстояние между ястребом и совой сокращается. Гнусная сова гадит в воздух дымовыми отбросами. Но, не создав дымовой завесы, она только лучше указывает свой след ястребку, уже не заинтересованному точностью прицела. Вот расстояние уже меньше ста метров. Терехин берет легкое превышение. Он налетает сверху на хвостовое оперение гитлеровской совы и в какую-то десятую долю секунды, толкнув ручку от себя, быстро перебрасывает ноги. Самолет Терехина ударяет самым концом винта по хвостовому оперению фашистского хищника. Летчик делает быстрый поворот в воздухе и, подлетев снизу к фашистскому бомбардировщику, вторым ударом винта срывает у фашистской совы оба руля глубины.

Потеряв управление, беспомощная сова через голову становится на крыло. Колеблясь и создавая вихревую волну, качается в воздухе неуправляемый гигантский фюзеляж. На крыло и на спину, затылком к земле, валится дохлая сова. И вот где-то далеко внизу раздается оглушительный удар. Это ударился о землю гитлеровский бомбардировщик. Вспыхивают бензиновые баки, крутится не выключенный мотор, вгрызаясь в землю, как раненый бешеный пес.

Но где Терехин?

Концы блестящего стального винта его машины отрезаны. Самолет дрожит: аэродинамические свойства нарушены. Но машина цела. Цел и сам Терехин. Бой был очень высоко. Соколиными глазами озирая пространство, молодой летчик видит бесконечно далекую точку входного ориентира, за которым простираются колхозные поля и крепко залег прекрасно маскированный родной аэродром.

Новый быстрый расчет. Винт поставлен горизонтально. Выключен мотор. Ястребок, сберегая каждый метр высоты, планирует далеко-далеко и уверенно смотрит на выходную точку ориентира. Вот уже опознавательный ориентир под колесами. Планирующий самолет еще высоко над землею. Однако аэродром уже виден. Еще несколько минут сквозного расчетливого планирования без мотора. Сигнальная ракета зовет на посадку. Легкий поворот на прямую против

ветра, и Терехин приземляется. Самолет садится на три точки.

Быстро выскочив из кабины, Терехин отдает четкий рапорт командиру и принимает поздравления товарищей. А поздравить его есть с чем.

Из века в век народы будут помнить и чтить Николая Терехина и всех героев сталинской авиации. Из века в век народы мира будут клеймить позором гитлеровскую трусливую стаю воздушных громил и бандитских налетчиков.

АНАТОЛИЙ ВИНОГРАДОВ





О красоте

Его любой себе представит живо.
Он каску снял, стирает пот с лица.
Бесстрашием и мужеством красиво
Лицо простого русского бойца.
Ни перед чем такой крутить не станет, —
Ходил в штыки четырнадцатый раз.
Случится, смерть в глаза ему заглянет, —
Он не зажмурит юных, дерзких глаз.
Казалось мне — земле, и той хотелось
Запечатлеть широкий шаг бойца.
Неразделимы красота и смелость:
Отвратен трус — пускай красив с лица.

СТЕПАН ЩИПАЧЕВ

★



Рис. с натуры худ. В. Хвостенко.

Братство народов

Эй вы там, братство народов, идите есть!

— Идем, — отвечал Рысаков. И вся тройка двигалась к дымящейся полевой кухне.

— Где братство народов? — спрашивал командир, и каждый красноармеец безошибочно показывал большой серый танк. Их было трое — украинец, русский и еврей. Экипаж танка. Но они держались вместе не только в танке, они были неразлучной троицей всюду. Спали на одной постели, вместе брали пищу из котла и целыми часами могли разговаривать друг с другом.

— О чем вы вечно болтаете? Не надоело вам еще?

Финкельштейн застенчиво улыбался.

— Зачем? Столько разных вопросов... Мы себе разговариваем; что, это мешает кому?

Собственно больше всех говорил как раз Финкельштейн. Микола любил смеяться и слушать, что ему рассказывают. Рысаков часто впадал в меланхолию.

— Как подумаешь... Вот говорится: жизнь... Я вам скажу, ужасно я люблю жизнь... И как бы все могло быть хорошо... Страна у нас, эх, что за страна! Люди у нас — сами знаете, что за люди... Из года в год было все лучше, да что там из года в год! Из месяца в месяц... И вот...

— Это вполне понятно, — начинал длинные рассуждения Финкельштейн. — Пока существует капитализм, будет существовать война. Пока существует капиталистическое окружение, над нами висит угроза войны. После войны другое дело.

Рысаков слушал, кивал головой, вздыхал.

— Я понимаю... Я отлично понимаю; что ты мне тут будешь лекции читать? Только, видишь ли, понимать — это одно дело, а другое дело — ну вот, тяжело становится, как подумаешь...

— Это все потому, что мы сидим на месте и ничто не происходит, — ввернул басом Микола.

— А то как же...Эх, когда пули свистят над головой, ни о чем думать некогда...

— А я, — робко признался Финкельштейн, — я... как раз тогда думаю...

— О чем думаешь?

— Не о чем — о ком... Я себе думаю... Ее зовут Соня...

— Твоя девушка?

— Да... Так вот я и думаю себе о Соне...

— А какая она? — заинтересовался Микола.

— Она? Соня... Соня, она маленькая, совсем маленькая... Мне по плечо, не больше... и волосы у нее черные, и глаза черные, ох какие черные... А на щеке, когда смеется, ямочка...

— Да, — живо подтвердил Микола, — круглая ямочка...

— Ты же ее не знаешь, — обеспокоился Финкельштейн.

— Кого не знаю?

— Да Соню же...

— Я не о Соне, глупый, я о Гаше.

— Ага...

Рысаков вздохнул.

— А у меня уже дети. Двое. Девочка и мальчик. Чудесные дети.

— Большие? — заинтересовался Микола.

— Шесть и семь лет. Мальчик озорной, как там мать с ним справится?.. А девочка... Эх, что за девочка! А как поет! Артисткой будет, что ли? Голосок, говорю вам, как у соловья.

— Как там теперь, дома? — расчувствовался Финкельштейн.

— Дома? Сейчас тебе скажу. Моя жена чинит Коле портки, наверняка порваны, каждый день мальчишка портки рвет, как он ухитряется, прямо не знаю. Миколина Гаша, верно, в поле, уборка ведь... А Соня...

— Соня на фабрике. Она на трикотажной фабрике работает. И мой отец на фабрике, ткач. А мамы у меня уже нет, давно умерла, не помню ее. Я самый младший...

— А братья, сестры есть?

— А как же? Сестра у меня врач. Брат в Красной Армии на Дальнем Востоке. Нас трое. Было четверо, но один брат умер.

— Ага... Скажи мне, Финкельштейн, как ты думаешь, что будет после войны?

— После войны? Это зависит от многого. Рабочий класс Германии...

Они внимательно слушали.

— Очень ты ученый, Финкельштейн. Тебе бы где-нибудь за письменным столом сидеть, в библиотеке. Профессором бы тебе быть или что... А не в танке.

Финкельштейн застенчиво улыбнулся.

— Я как раз и думал... Профессором... И отец всегда говорит: Шмуль, у тебя есть голова... Ну, что за голова! Ты будешь профессором. Но это уж после войны.

— Ну, конечно, после войны.

— Учиться еще нужно, много учиться.

— А я после войны женюсь на Гаше, сейчас же, в первый же день. У нас колхоз — хо-хо! Дети будут, много детей. Буду хозяйничать.

— А я поеду с Леной на Кавказ. Она никогда не была на Кавказе. Я уж давно ей обещал, да все не выходило. Но после войны уж наверняка.

— Знаете что, — оживился Финкельштейн, — а после войны мы все встретимся. Я с Соней, и Микола с Гашей, и ты со своей женой. Все приедете ко мне в Харьков.

— А я думаю, лучше ко мне. Чего там в город ехать. Приедете, полежите на травке в саду. Сад у нас — хо-хо! Такие яблоки, говорю вам... Приедешь с детьми, так вот им будет радость! Мальчишка твой полазит по деревьям, натрясет яблок.

— И опять портки порвет.

— Что там портки... К реке пойдете, рыбу ловить. Рыбы у нас — богатство... Эх, что вы там знаете! Гаша борща наварит, по-нашему. Нигде такого борща не варят.

— С чесноком? — заинтересовался Финкельштейн.

— Можно и с чесноком. Только чтоб не слишком. Если много чесноку, весь вкус пропадет, один чеснок. Так уж только самую чуточку... А?

— Чуточку можно, — согласился Рысаков. — А блины у вас делают?

— Почему нет? Можно и блины... А только лучше наварит Гаша вареников. С творогом вареники, со сметаной. Ешь, ешь, брюхо лопается, наесться не можешь. Такие вареники...

— Я-то за едой не очень. А вот полежать на траве, на речку сходить, это да, — согласился Финкельштейн. — Соня очень любит природу.

— Значит, договорились, ребята?

— Договорились.

— Только бы немцев побить.

— Не бойся, побьем.

— Я это знаю. Только хотелось бы поскорей.

— Глядите, какой скорый!

— Первая империалистическая война продолжалась... — начал лекцию Финкельштейн. Рысаков махнул рукой.

— Что там первая империалистическая? Тогда не было таких танков, ни таких самолетов, вообще техники. Теперь не то. Скорей дело пойдет.

— Может, и скорей, — согласился Финкельштейн.

— Только бы уж вперед, — вздохнул Микола.

— Будет и вперед, — успокоил его Финкельштейн. — Стратегия требует...

— Эй вы там, братство народов, собираться!

Они кинулись к своей «хате». С шумом, грохотом, скрежетом огромный танк двинулся вперед.

Высоко вверху шумели самолеты. Глухой гул далекой артиллерийской стрельбы сотрясал воздух, как вздох огромного зверя, затаенное львиное рычание в глухую ночь. Яркий свет далеких взрывов вспыхивал на горизонте, как отблеск пожара. По лесной дороге в ночную тьму шли танки. Далеко вокруг разносился грохот стальных гусениц, грозное бряцание железа. Над дорогой низко нависали сосновые ветви, срывались во мраке испуганные птицы, беспомощно трепыхали крыльями в лесной тьме. Колонна двигалась вперед, хрустящая стальная змея, один за другим шли танки, молчаливые, слепые чудовища.

Бой начался утром. С грохотом, скрежетом шли тяжелые машины, опрокидывали мелкие деревца, давили стволы. Березовая рощица послушно ложилась, как рожь под косами косарей летом. Роса на листьях еще не обсохла и капала теперь, как дождь, на стальную обшивку идущих впереди танков. Над белизной березовых стволов, словно над молочными сгустками тумана, нежно зеленели хрупкие ветки. И в этот молочный туман, в колеблющуюся зелень берез, в чащу папоротника, устилающего землю перьями разлапистых листьев, шли давящие все на своем пути чудовища. Огромной дугой падали снаряды минометов и со стоном, свистом, шумом взрывались фонтаном огня. Глухо гудели орудийные выстрелы, коротко лаяли пулеметы. Рысаков непрестанно держал руку на своем пулемете. Смерть брызгала струей пуль, смерть безошибочно шла к немецким рядам, теснящимся вперед сплоченной массой, с диким, нечленораздельным криком. Внутренность танка гудела, содрогалась от непрестанной пальбы, стальные плиты раскалялись, было жарко и душно, пахло порохом. Танк медленно взбирался на пригорок, всей тяжестью скатывался с него вниз, гусеницы стлались по сухой земле, по ним шли колеса, безошибочно действовал механизм, созданный по точнейшим расчетам. Купа берез... Спустя мгновение хруст, треск ломающихся стволов — и перед танком открылось свободное пространство. Хруст. Рысаков чувствовал, что танк давит не только березовые стволы. Под гусеницами трещали, хрустели человеческие кости, человеческие черепа, человеческие тела. «Как тараканы», — с отвращением подумал Рысаков. И в тот же момент что-то грохнуло, стальное чудовище задрожало. Оно засопело, еще немного подвинулось вперед и остановилось.

— Гусеница! — пытался Микола перекричать дикий гвалт боя. Рысаков кивнул головой. Его друзья стали с другой стороны у пулемета. Неподвижный танк торчал как мрачная гора среди путаницы белых березовых стволов и сплетений длинных зеленых березовых ветвей, еще не тронутых золотящей рукой осени.

— О-ооох!..

Рысаков тотчас же услышал этот стон, и ему показалось, что застонал он сам. Прямо напротив перли в атаку немцы. Он почти отчетливо видел их красные, разгоряченные лица, широко открытые в крике рты. Они были пьяны — по обыкновению они были пьяны, вне себя, и перли вперед на верную смерть в пьяном безумии. Он оглянулся. Те двое, оба держались руками за глаза. Их пулемет умолк. Из-под пальцев Финкельштейна узкой струйкой текла кровь.

— Глаза... в глаза... в глаза, — монотонным голосом повторил несколько раз Микола. Рысаков почувствовал пробежавшую по телу холодную дрожь. Он обернулся к раненым. Но в ту же минуту со стороны немцев раздался удвоенный шум. Он бросился к своему пулемету. Да, они шли, перли вперед, не глядя ни на что.

— Патроны! Можете подавать патроны?

Финкельштейн ощупью подполз к нему. Микола дрожащими пальцами нащупывал пулеметные ленты.

— Подавайте, подавайте, можете подавать?

— Подожди, я сейчас, я сейчас...

Он не смотрел на их окровавленные лица. За спиной он чувствовал их тяжелое дыхание, машинально брал патроны. С ожесточением бил, бил в ясно видимую цель, в немцев, появляющихся из-за небольшого холмика земли.

— Подавайте, подавайте.

Они подавали. Финкельштейн тяжело дышал, при каждом дыхании из его груди вырывался глухой стон. Микола стонал тонким, детским голосом.

Бах! — танк задрожал вторично. Рысаков выругался.

— Вылазить! Вылазить! Теперь будем из-за танка...

— Подожди, я...

Конечно, они не видели. Они были слепы, слепы. Рысаков не ощущал в этот момент сочувствия, а лишь дикое бешенство. Как раз сейчас, как раз в этот момент дать себе вышибить глаза! Куда они глазели, как они глазели, разини? Как раз теперь, когда нужны были все силы...

Он вылез из танка и рванул за руку Миколу.

— Сюда! Сюда!

Раненые, хватаясь за плиты, за гусеницы, колеблющимися шагами вышли из подбитого танка.

— Тут, тут ложитесь!

— Где немцы? — глухо спросил Финкельштейн.

— Прямо перед нами, не видишь?

— Нет, я не вижу, я же не вижу, — сдавленным голосом ответил Финкельштейн.

— Прямо против тебя, прямо перед носом, — бросил Рысаков и выстрелил. Небольшой холмик земли и разбитый танк заслоняли их. Позиция была хорошая. Лежа, он продолжал стрелять из винтовки. Шумел и гудел воздух, хлопали выстрелы, гремели и хрустели танки. Немецкий напор ослаб. В какой-то момент Рысаков увидел, как сбоку, со стороны купы берез, вдруг вынырнул танк. Серо-зеленое тело чудовища появилось вплотную рядом с немецкой группой.

— Зашли в тыл! Зашли в тыл! — радостно заорал он.

Немцы не выдержали. В паническом бегстве они бросились назад, в ту сторону, откуда пришли. Рысаков вскочил с земли.

— Бегут! Бегут! Бегут!

Он был черен от сажи, перепачкан землей, кровью, пьян от утомления и внезапной дикой радости. Сзади, в стороне, двигались танки, бежали бойцы. Немцы перестали даже отстреливаться. Серо-зеленые чудовища перли вперед, неумолимо догоняли их, давили стальными гусеницами. Погасли огни мин, умолк шум.

— Эй, братство народов, где вы? Что там у вас, разбили вашу избу, а?

К ним подходил командир. Он с изумлением смотрел на маленькую группку.

— Финкельштейн, с ума ты сошел, что ли? Что ты делаешь?

Рысаков оглянулся. За маленьким холмиком земли, откуда он только что поднялся, лежали те двое, Микола и Финкельштейн. Поддерживая друг друга плечом, ощупью помогая друг другу, они заряжали наганы и вслепую били в ту сторону, где еще минуту назад двигалась вперед немецкая часть. Из кровавых глазниц ручейком стекала кровь. Дикое напряжение, нечеловеческое усилие отпечаталось на поднятых вверх, глядящих невидящими глазами на невидимую цель, лицах. Резко, коротко били наганы. После каждого выстрела из груди Финкельштейна вырывался глухой стон. Микола стрелял молча, белые зубы так крепко врезались в нижнюю губу, что на ней выступила кровь.

— Что вы делаете? С ума сошли, что ли?

— Они слепые, — глухим, беззвучным голосом объяснил Рысаков.

ВАНДА ВАСИЛЕВСКАЯ

★

Соловей

На фронте под Одессой работал отряд разведчиков-моряков. По ночам они пробирались в тыл румынам, проползая на животе между минными полями, переходя по грудь в воде осеннего лимана, забираясь на шлюпке далеко за линию фронта. Они снимали часовых ударом штыка или кинжала, забрасывали гранатами хаты со штабами, сидели под обстрелом своих же батарей, корректируя огонь, — неуловимые, смелые, быстрые «черные дьяволы», «черные комиссары», как с ужасом звали их румыны.

Среди них был электрик с миноносца, красивый и статный моряк с гордыми усиками, которого за эти усики и за любовь к кавалерийским штанам прозвали «гусаром». Галифе, армейские гимнастерки и пилотки были вызваны необходимостью: не очень-то ловко ползать по болотам в широких морских штанах и флотских ботинках. Разведчики изменили морской форме, но «морская душа» — полосатая тельняшка — свято сохранялась на теле и синела сквозь ворот неоспоримым доказательством принадлежности к флоту, и на пилотке под звездочкой гордо поблескивал якорек.

Люди, пришедшие с разных кораблей в береговой отряд, сдружились удивительно быстро и крепко. Сказалась флотская тяга к коллективу: ничто так не сближает людей, как корабль, где люди живут, работают, спят, бьются в бою и побеждают и гибнут — рядом, локоть к локтю, сердце с сердцем.

В первые же дни начинающейся морской дружбы и узнавания друг друга «гусар» обнаружил неожиданные способности.

В жаркий пыльный день шестеро разведчиков шли через Одессу из бани. Пить хотелось нестерпимо. Но пить в городе хотелось всем, и у ларьков скопились очереди. Моряки со вздохом прошли три ларька, поглядывая на часы: стать

в очередь у них нехватало времени. Внезапно им повезло: с неба раздался характерный жужжащий вой мины. Это было на краю города, куда мины порой залетали, и звук их — противный, воющий, длинный — был хорошо знаком одесситам. Очередь распалась, люди попрыгали под защиту каменных стен домов.

Но мина не взорвалась. Она проныла свою скверную песню и бесследно пропала. Зато у освободившегося ларька, откуда привычный ко всему продавец так и не ушел, уже стоял «гусар» и с наслаждением тянул содовую воду, приглашая остальных моряков.

Оказалось, что «гусар» был одарен необыкновенной способностью к звукоподражанию. Из его розовых полных губ вылетали самые неожиданные звуки: свист снаряда, клохтанье курицы, визг пилы, вой мины, щелканье соловья, шипенье гранаты, лай щенка, отдаленный гул самолета. И способности эти, едва они только обнаружились, были немедленно обращены на пользу дела.

«Гусара» объявили «флагманским сигнальщиком», разработали целый код и понесли его на утверждение командиру. Клохтанье курицы означало, что у хаты замечен часовой, кряк утки — что часовых двое. Пулеметчик, замаскированный в кустах, вызывал жалобный посвист иволги. Место сбора ночью после налета на румын определялось долгим пением соловья, с упоением артиста самозабвенно щелкающего в кустах или у шлюпки.

Вечерами, когда разведчики отдыхали после опасного рейда, «гусар» устраивал в хате концерт. Моряки лежали на охапках сена, и он, закинув руки за голову, свистел. Так я и застал его в хате, приехав в гости к морякам-разведчикам.

За поздними щами — ночным военным обедом — я узнал, что, уйдя с флота в запас, он стал артистом. Он назвал свое имя, которое я не раз встречал на афишах, и тогда я вспомнил, что слушал его в Москве, в Доме народного творчества. В первые дни войны он явился на флот и скоро пошел добровольцем в береговой отряд.

В темной хате, где свежо и тонко пахло сеном, он свистел чисто и сильно штраусовские вальсы, шопеновские прелюды, виртуозные скрипичные пьесы, и верный, прозрачный его свист, которому аккомпанировали глухие, непрерывные гулы своих и чужих орудий и взрывов (постоянная симфония осажденной Одессы), звучал далекой мечтой о мирной, спокойной жизни, о ярком свете на улицах и в залах, о белых нарядных платьях и чистых руках, о забытом, утерянном спокойствии, уюте и доме. Моряки слушали молча, и, когда замирал последний, утончающийся и переходящий в хорошую, умную тишину звук, гигант-комендор тем глухим

урчанием, которое иногда слышишь в могучей дымовой трубе линейного корабля, негромко басил:

— Ще давай... Гарно свистишь.

И моряки лежали на сене и думали каждый о своем: о прошедшем удачно ночном набеге, о раненом друге, о письме от далекой семьи, о жизни, судьбе и победе и о том, что будет еще — непременно будет! — жизнь с такой же тишиной и с мечтающей песней. И орудия за стенами хаты извергали металл и крошили тех, кто нарушил нам эту жизнь.

В следующий вечер разведчики, отдохнув, вновь ушли в тыл. Я уехал на другой участок фронта. Через неделю я встретился с новыми друзьями, и вот что они рассказали мне о «гусаре».

Он остался в шлюпке в камышах — охранять это единственное средство возвращения к своим и, как обычно, быть «флагманским сигнальщиком». Ночью моряки натворили дел в тылу, сняли два пулемета, взорвали хату с румынским штабом и ушли в каменоломни отсидеться до следующей ночи. В шесть утра на вторую ночь они возвращались к шлюпке. Крадучись, они подходили к камышам. Гиганта-комендора несли втроем — его ранило разрывной пулей в бедро, двоих товарищей недосчитывались. В камышах все прилегли передохнуть и стали слушать ночь, чтобы определить, где находится шлюпка.

В ночи пел соловей. Он щелкал и свистал, но трели его были затруднены и пение прерывисто. Порой он замолкал. Потом пение возобновлялось, но такая тоска и тревога были в нем, что моряки толкнули друг друга. Они оставили тяжелое тело раненого под охраной и кинулись на свист соловья.

«Гусар» лежал в шлюпке навзничь. В темноте не было видно его лица, но грудь его была в липкой крови. Автомат его валялся на дне, все диски были пусты. Те, кто подтаскивал к шлюпке раненого комендора, наткнулись в камышах на трупы румын. Очевидно, они обнаружили днем шлюпку, и здесь был неравный бой.

«Гусар» не узнавал родных голосов. Он лежал на спине и хрипел тяжко и трудно. Потом он набирался сил, и тонкий свист вылетал из-под его усиков сквозь непослушные, холодеющие губы. Не видя, не сознавая, что те, кому он должен был дать спасительный сигнал, уже вернулись к шлюпке, он продолжал свистеть. Он все свистел и щелкал, даже тогда, когда все сели в шлюпку и, осторожно опустив весла, пошли по тихому, темному морю.

И соловей — птица кустов и деревьев — пел и щелкал над морем. В шлюпке молчали, и только иногда шумно и долго вздыхал огромный комендор, лежавший рядом с «гусаром».

«Гусар» все свистел, замирая, отдыхая, трудно втягивал воздух. Он все свистел, и небо над морем стало розоветь, и пение соловья перешло в мелодию.

Оборванная, изуродованная, как и его тело, она металась над светлеющим морем последней жалобой. Никто не понял, что он свистел. Может быть — то, что я слышал когда-то из-под этих гордых, задорных усиков на огромной светлой московской эстраде, где ему впервые сказали, что свист его — искусство.

ЛЕОНИД СОБОЛЕВ

★



Задание

Снег был сухой, чистый, фарфоровый.

И деревья в лесу были такими беззвучными, что, казалось, они сделаны из камня или железа.

Старый ворон с пепельной головой и обтрепанными крыльями, внимательный и осторожный, сидя на разбитом пне, караулил добычу.

Она упала сюда ночью, с неба, большая и тяжелая, воняющая гарью, и лежала недвижимо.

Старый ворон, прикрытый одними жесткими перьями, озяб... Наконец, преодолев свою мнительность, ворон слетел с пня и боком подскакал к лежащей на снегу рядом с черным предметом круглой, ярко-красной бусинке крови. Он клюнул ее и жадно проглотил, задрав по-куриному шею.

Человек в полусожженном комбинезоне, лежавший на снегу, открыл глаза и поглядел на голодного ворона удивленными усталыми глазами. И ворон, присев, зашипел, отпрыгнул в сторону и снова взлетел на пень и стал ждать, терпеливый, голодный.

Григоренко сидел в отсеке бортмеханика, когда снаряд зенитки разорвался внутри кабины самолета. Раскаленными осколками пробило пояс со взрывчатыми веществами, одетый на Григоренко. Яростное пламя охватило его. Бортмеханик пытался погасить огонь огнетушителем. Но Григоренко, закрыв лицо согнутой рукой, подскочил к лебедке и, открыв бомбовый люк, прыгнул вниз, пылая, как факел.

Он падал, до тех пор не раскрывая парашюта, пока не сбил пламя. Приземляясь, он зацепился о вершины деревьев и с разорванным парашютом тяжело свалился на землю.

И вот теперь, придя в себя, зачерпнув горсть снега, он жадно ел его, удивляясь, почему снег имеет привкус крови и почему ворон зашипел, как гусь. Разве вороны умеют шипеть, как гуси? Ведь они каркают.

Но постепенно сознание вместе с мукой боли возвращалось к нему.

Григоренко сел, разрезав сапог, осмотрел вывихнутую ступню. Обрывками парашюта он туго перебинтовал ногу. Остальные ушибы и ссадины не так беспокоили его, как нога. Ведь ему нужно итти дальше. Он выбросился из самолета на территории противника примерно километрах в сорока от того места, где это ему нужно было сделать.

Тяжело опираясь на палку, он пошел, проваливаясь в снег. И черный ворон провожал его печально.

Потом, когда человек скрылся из виду, ворон спрыгнул на снег и стал клевать на снегу алые, как брусника, замерзшие капли крови.

Дул холодный ветер. Немецкий часовой стоял на деревянной вышке спиною к ветру, подняв воротник шинели. За серым бесконечным забором в кирпичных корпусах пивоваренного завода немцы устроили склад боеприпасов.

Вокруг было поле, пустынное, белое, дымящееся снегом.

И по этому полю ползло какое-то существо. И когда часовой оглянулся, он увидел это существо и понял, что это, наверно, собака, издыхающая от голода, — так медленно она ползла. Таких отощавших собак он видел немало в брошенных русских деревнях. И часовой снова повернулся спиной к ветру и, зажав коленями винтовку, сунул свои озябшие руки в карманы.

Была вторая ночь, и Григоренко уже не мог итти. Вывихнутая ступня распухла, как подушка. Он полз, и он не знал, отчего болело его лицо — оттого ли, что оно обожжено, или отморожено. Отдыхая в оврагах или балках, он варил себе в банке из-под консервов гороховую похлебку из концентрата и жадно пил горячую жидкость, когда она закипала на крохотном костре.

Спать он не мог. Обожженное бедро стало мокнуть. Вместо бинта, он обмотал рану шерстяным шарфом. И эти бесчисленные волосики шерстинок, казалось, копошились в ране, причиняя непомерную боль, от которой хотелось кричать, кататься в снегу, сорвав повязку, и плакать.

Ободранная о ледяной наст, закопченная одежда превратилась в лохмотья. Григоренко не знал, как он выглядит. Но когда он на четвереньках переползал шоссе, его увидел какой-то человек, и по тому крику ужаса, который вырвался у этого человека, Григоренко понял, как он страшен со своим черным, помертвевшим лицом, изодранным комбинезоном, из прорех которого торчала густая шерсть. Его руки, обутые в рукавички с крагами, наверное, напоминали лапы какого-то диковинного чудовища.

В сознании тяжело раненного парашютиста была только одна мысль — добраться до того пункта, который указал ему командир, добраться во что бы то ни стало и, может

быть, умереть на пути от истощения и терзающей его нечеловеческой боли ожогов. Но все, что оставалось в нем живого, стремилось туда, вперед, с жадным упорством.

И вот, переползая сейчас это поле, Григоренко не думал о том, что должно случиться дальше. Все его истерзанное существо стремилось к той точке, которую указал командир. Он стремился к ней, как утопающий к берегу.

Уткнувшись лицом в серый забор, Григоренко присел на корточки и поднял голову. Перебраться через забор он не мог. Тогда, вынув нож, Григоренко стал отламывать от доски узкие щепки.

Ефрейтор Курт Ганске должен был проверить караулы на крыше. Но он не сделал этого. Там было слишком холодно, и он знал, что солдаты спят на крыше, зарывшись в солому. Приносить на крышу солому, а тем более спать на посту — за это солдатам грозило жестокое наказание. Но Ганске давно перестал придираться к солдатам. Его предшественника нашли задушенным в сортире. Хорошо, что все это дело удалось свалить на партизан. И это вполне походило на правду. Тем более, что партизаны закололи совсем недавно восемь солдат, ушедших за женщинами в село, чтобы пригласить их к себе на вечеринку. И все это заставило ефрейтора Курта Ганске забраться на чердак, чтоб отсидеть там время, которое полагалось для обхода.

В чердачное окно на земляной пол падал голубой столб лунного света.

Ефрейтор, очень мнительный пожилой человек, с детства боявшийся привидений, чувствовал себя, прямо сказать, не особенно бодро. Но все-таки муки страха он предпочел мукам стужи и, забившись в угол, смотрел на толстый голубой лунный свет и пытался не думать ни о чем плохом.

И когда это случилось, он даже не завыл, не завизжал, а, закрыв лицо руками, повалился головой на пол, моля только об одном, чтоб от ужаса у него не лопнуло сердце. У ефрейтора был миокардит.

Когда волосатое чудовище с черным лицом вползло в чердачное окно, ефрейтор не удивился. Он знал, что когда-нибудь это ужасное должно с ним случиться. И когда ледяная рука прикоснулась к его горлу, ефрейтор почувствовал только, как холодная боль раздирает его сердце. Он захрипел. Ефрейтор умер от паралича сердца, а вовсе не от того, что его так беспомощно пытался душить Григоренко.

Ощупывая мертвого, Григоренко нашел в кармане фляжку с остатками коньяка. Хлебнув жгучей жидкости, он почувствовал такой приступ дурноты, что чуть было не потерял сознания.

Отдохнув, Григоренко спустился вниз по железной заржавленной лестнице в помещение цеха. На деревянных

стеллажах в досчатых клетках лежали авиационные бомбы. Ящики с запалами Григоренко нашел в другом помещении. С трудом притащив ящик, он уложил внутрь запалов остатки толуола и, прикрепив бикфордов шнур, зажег его.

Шнур горел, шипя. И Григоренко, сидя на ящике с запалами, бессмысленно смотрел на медленно движущуюся огненную точку на конце шнура, и ему очень не хотелось уходить обратно. Это было так мучительно! Ведь всякое лишнее движение причиняло ему такую боль! Единственное, что ему сейчас хотелось, так это в довершение блаженства отдыха еще прикурить от тлеющего конца шнура.

И все-таки, когда часовой посмотрел на поле, попрежнему дымящееся снегом, он увидел опять ту же самую издыхающую собаку, но теперь она ползла еще медленнее. И солдат подумал: «Видно, собака хотела найти что-нибудь покушать на нашей помойке. Какая глупая собака! Разве на нашей помойке можно найти что-нибудь покушать?» И солдат поднял винтовку с сердобольным желанием пристрелить собаку. Но, вспомнив, что он на часах, солдат повернулся спиной к ветру и, зажав в коленях винтовку, сунул озябшие руки в карман.

В 7 часов утра склад боеприпасов взлетел на воздух. Взрыв имел чрезвычайную силу. Сорок грузовиков, приехавших за боеприпасами и выстроившихся в длинную колонну возле ворот завода, разнесло в щепы взрывной волной.

А через полтора месяца Григоренко прибыл в свою часть. Он мог бы рассказать, как его подобрали в лесу партизаны, как они лечили его и как он долго боялся огня, и к костру его приходилось сажать почти силой.

Докладывая командиру, Григоренко заявил:

— Конечно, товарищ командир, чистое нахальство с моей стороны было так необдуманно проникать в расположение объекта, пренебрегая всеми средствами маскировки и предварительно не изучив все пути подхода. Конечно, немного нервничал в связи с вывихнутой ногой. Но, принимая во внимание мой пожар в кабине самолета, задание все-таки выполнил на «удовлетворительно».

— Как вы себя чувствуете? — спросил командир.

Григоренко пожал плечами и серьезно ответил:

— Чувствую себя обыкновенно.

Григоренко вышел на улицу. Это был широкоплечий человек с юными глазами и с лицом, еще покрытым синими пятнами от ожогов. Подойдя к высокому летчику, Григоренко спросил:

— Ну как, Вася, слетаем сегодня ночью?

Летчик внимательно поглядел на небо, потом сказал:

— Погода подходящая.

В. КОЖЕВНИКОВ

Фронтовое шоссе

Гудят машины, тягачи грохочут.
Земля похрустывает на зубах.
И у изрытых бомбами обочин
Бензином, пылью каждый куст пропах.

Идут цистерны, танки,
Конный, пеший —
Прошли полки, дивизии прошли.
Не шевельнется лист отяжелевший,
Ему, как в шубе, тяжело в пыли.

Еще трудны недели фронтовые.
Шоссе скрежещет, лязгает. Оно
Ведет не просто на передовые —
Оно к победе все устремлено.

СТЕПАН ЩИПАЧЕВ



Сын

Рассказ

Я считаю, генерал-майор, что их надо встретить в районе села Жабье и здесь дать бой. Здесь самая подходящая местность для действий танков и конницы. Вот видите...

Пожилой полковник с морщинистым узким лицом, пересеченным пушистыми седыми усами, стоял у стола, где была разложена карта, и, наклонившись, водил по ней тыльным концом карандаша.

Генерал был моложе его. У него крупные, резкие черты лица, энергичный подбородок, огромный лоб с зачесанными назад русыми волосами. Генеральская форма ловко облегала его плотную фигуру. Он молча сидел на табуретке, задумчиво глядя в окно, за которым в вечерних сумерках видны были желтеющие ветви яблони, обезглавленные стебли подсолнухов и высокий плетень.

Полковник, не встречая возражений, начал развивать свой план. План казался простым и несложным. Получив сведения, что большая немецкая колонна танков и мотопехоты, прорвав фронт, движется в сторону Жабьего, он хотел встретить ее там и дать бой.

— Мы подбросим к имеющимся там силам танковую бригаду и стрелковую дивизию, — говорил он, стараясь поймать взгляд генерала и получить подтверждение своих мыслей.

Но генерал продолжал глядеть в окно.

— А вы знаете, я родился в этих местах, — сказал он вдруг, и какая-то нотка не то грусти, не то сожаления прозвучала в его голосе. — Вот в этих самых местах, — прибавил он, — да-а... Мальчишкой бегал...

Полковник, несколько удивленный этими словами, замолчал. Генерал оторвал взгляд от окна и взглянул на полковника.

— Да, да, при других обстоятельствах вы могли быть

правы, — неопределенно сказал он, как обычно говорят, когда не хотят обидеть человека. — Места у нас болотистые,— как бы случайно обронил он. — Вы знаете, в наших болотах утонуть можно.

— Утонуть? — переспросил полковник, не понимая, что хочет сказать генерал.

— Вы извините меня, — мягко произнес генерал. — Я увидел родные места и немножко расстроился. Пусто здесь в деревне. Никого нет. А как здесь было хорошо! Вы любите антоновские яблоки?

— Нет, я предпочитаю южные сорта.

— А я больше всего люблю антоновку. Эх, попробовали бы вы здешние моченые яблоки.

Генерал поднялся с табуретки, сделал несколько шагов. Хата была мала и низка. Большое место занимала печка. Генерал подошел к ней, открыл заслонку, заглянул внутрь и снова закрыл ее. Потом подошел к стене, где висели фотографии в рамках. Фотографии были блеклые, безжизненные. Был среди них групповой снимок, который изображал, очевидно, семью, живущую в этой хате. Сидел отец семейства, крестьянин лет 30—35, принарядившийся к такому торжественному случаю, с примасленными волосами; сидела рядом с ним его жена. Между ними стояли дети. Две девочки и мальчик. Фотография была выцветшая, давняя. Наверно, это было снято где-нибудь на базаре в праздничный день, у приезжего фотографа. Рядом в киоте из-под иконы хранились погнувшиеся от времени венчальные свечи с лентами.

Генерал с интересом разглядывал фотографии. Полковник тоже подошел к стене и смотрел из-за плеча генерала.

— Где-то все они теперь? — сказал генерал.

— Да, разбрелись люди, ушли в леса, — подхватил за ним полковник.

Заметив, что генерал не отрывается от фотографии, он произнес:

— Наверно, этому снимку лет двадцать — двадцать пять. Отца семейства, вероятно, уже нет в живых, а мальчишка, которого мы здесь видим, возможно, сражается где-нибудь. Глядите, какой-нибудь запасник, танкист, летчик, кто его знает.

Генерал чуть усмехнулся, хотел что-то сказать, но полковник уже отошел к столу.

— Ну, хорошо, давайте займемся делами, полковник!

Генерал наклонился над картой.

— Вы говорите, что их надо остановить у Жабьего?

— Так точно.

— А вы уверены, что немец там захочет принять бой?

— Но как же, если мы его там будем встречать?

— А он возьмет, да и свернет куда-нибудь вот сюда,—

отчеркнул генерал пальцем. — Зачем ему прямо итти на Жабье? Он обойдет его и ударит нам во фланг.

— Но позвольте...

— Да?

— Ему выгоднее итти прямо на Жабье. Его цель — захватить Вещеватую. Узловая станция!

— Пора бы вам, полковник, уяснить немецкую тактику. Часто вы видали, что они идут прямо, в лоб?

— Это не значит, что мы...

— Это именно значит, что мы должны сделать кое-какие выводы и для себя.

Генерал сосредоточенно глядел на карту, где черными и красными линиями были нанесены позиции обеих сторон. Черная линия шла криво, то вбок, то вкось, изгибалась и извивалась, как змея. Красные стрелки вытягивали свои острия навстречу. Но черная линия все тянулась и тянулась... Генерал взял красный карандаш и рывком перечеркнул ее в трех местах.

Полковник удивленно вскинул на него глаза. В первую минуту он подумал, что генерал сделал это не всерьез, возможно — он просто символически зачеркнул эту линию и несомненно, в конце концов, согласится с ним, с человеком, который по должности начальника штаба привык при прежнем генерале сам намечать и разрабатывать операции. Прежний генерал Михаил Степанович вполне полагался на него. Правда, бывали промахи. Говорили, что Михаил Степанович был мягкотел, несамостоятелен, жил старыми заслугами. Его как-то неожиданно сняли и назначили вот этого. С Михаилом Степановичем работать было легче, он был понятен, и главное — он старался поменьше сам во все вмешиваться. А этот забрал все в свой кулак, и трудно бывает его понять иногда. Сразу и не раскусишь. Вот и сейчас... Что за план он придумал?

— Понимаете? — спросил генерал.

— Не совсем. Там, где вы провели стрелки, — болота. И действовать нашим танкам и коннице...

— Э, болота, — пренебрежительно бросил генерал. — Там, где я указал, по этим болотам можно шагать, как по дороге. Разведали вы плохо, вот что скажите. Начальник штаба должен знать местность на-зубок. Вы этого не сделали. И говорите, — болота. Вот я вам укажу, где настоящие болота, там город затонуть может. Вот, вот где... — тыкал он карандашом в карту.

Обернувшись, он увидел, что начальник штаба стоит с надутым видом.

— Я вас обидел, Антон Петрович, простите меня за резкость. Я тут прикинул один план. Видите ли, мы имеем дело с очень хитроумной тактикой врага. Очень часто они

берут только этой тактикой. Поэтому, скажем, в другом случае я бы, может быть, согласился с вами. Но здесь нужно нечто иное. Условия местности здесь должны связать немцев, а не нас. Понятно?

Генерал оторвался от стола и прошелся по хате. За окном уже совсем стемнело. Глухо била где-то артиллерия. Стекла слегка подрагивали. Вошел боец, занавесил окна и зажег керосиновую лампу. Генерал ходил по хате, от его фигуры метались по стене тени.

Затем обернулся к полковнику и вдруг, громко рассмеявшись, весело сказал:

— Мы их разрежем, как пирог, и скушаем по частям, Антон Петрович. А? Хотите немножко коньячку? Я что-то проголодался, давайте закусим, а то потом некогда будет.

— С удовольствием, — как-то весь просиял польщенный полковник, — я, признаться, тоже есть хочу.

Они вынули сало, колбасу. Генерал налил из фляжки коньяку. Потом взял лампу и пошел за перегородку. Погремев там посудой, он внес большую стеклянную банку с мочеными яблоками.

— Вот я вам говорил про антоновку. Попробуйте, что это за вкус.

— А не обидятся ли хозяева, что мы так, без спроса? — нерешительно протянул полковник.

— Ничего, ничего. Кушайте, я вас угощаю, — сказал генерал.

Полковник непонимающе поглядел на него.

— Да ведь это же моя хата, — засмеялся генерал.

— Ваша хата! — даже привскочил на табуретке полковник.

— Моя. Здесь я родился. Вот тот мальчишка на фотографии — это я. Отца уже нет в живых, он был убит еще в первую германскую войну. А мать где-то должна быть здесь. Наверно, живет в лесу... Давно я ее не видал.

Он вынул из банки яблоко и стал есть.

— Кушайте, пожалуйста, — угощал он полковника. — Не стесняйтесь.

Полковник от неожиданности все еще не мог притти в себя. Он как бы заново оглядывал хату, стены, печку, потом остановил взгляд на генерале, словно видел его впервые.

— Бывают же в жизни такие случайности, — засмеялся генерал. — Так бы, наверно, и не собрался дома побывать, а во время войны вдруг и в своей хате переночуешь... Но ночевать, кстати сказать, не придется. Нам предстоит беспокойная ночь. Кушайте, кушайте, полковник, яблоки. Вот я вам сам выберу. Эх, вкусная штука.

Яблоки понравились и полковнику. Банка пустела. Когда они кончили есть, полковник поднялся с табуретки и сказал:

— Разрешите, я пойду в оперативную часть. Там поработаю.

— Но вы, кажется, недостаточно убеждены?

— Свое мнение я вам скажу через час, когда разберусь в деталях.

— Хорошо. Идите.

Полковник ушел. Генерал еще некоторое время сидел, задумавшись, у стола. Потом встал, подошел к кровати, застланной пестрым тканым одеялом, и прилег. Он был так утомлен за эти дни, что сразу же уснул.

Ему приснилась мать. Она ставила на стол ту самую банку, из которой они сегодня ели яблоки.

— Ванюша, — позвала она, — иди снидать. Поешь яблочков с хлебцем. Вот холодец еще...

Он сел на табуретку, он был маленьким, вот таким, каким изображен на фотографии.

Мать тоже сидела за столом, но не ела.

— Отцу бы теперь холодца и яблоков, — сказала она и заплакала.

Отец только что ушел на германскую войну.

И мальчик перестал есть, вспомнил отца. Мать протянула к нему руку через стол, хотела погладить его по голове, приласкать и нечаянно столкнула банку с яблоками. Банка со звоном разбилась на каменном полу...

Генерал проснулся. Возле кровати стоял полковник.

— Извините, Иван Иванович, я вас разбудил, — сказал он.

— Правильно сделали. Я заснул, — словно извиняясь, сказал генерал. — Сколько же это сейчас времени?

Он взглянул на часы.

— Целый час проспал. Ну, как у нас дела, Антон Петрович?

У полковника был взволнованный вид, как будто он хотел сообщить что-то важное, неожиданное.

— Что-нибудь случилось?

— Никак нет. Я только хотел сказать... сознаться, что час тому назад я считал ваш план... ошибочным, недостаточно, так сказать, обоснованным... Но, разобравшись, понял...

— Сработаемся, друг! — просто сказал генерал, протянув ему руку.

Полковник крепко пожал ее.

— Вы извините меня, я уже старик, — сказал он. — Жизнь несет все новое и новое. И не всегда сразу поймешь. Переносишь сюда навыки прежних войн. А все стареет. Нужно искать, творить...

— Сработаемся, — опять повторил генерал. — Люди свои. И интерес у нас один. Лишь бы не страдала родина. Пойдемте, пора.

Он оделся. Полковник отворил дверь.

— Одну минутку, — сказал генерал. Он подсел к столу, написал на листке бумаги несколько слов и оставил листок на столе.

Они ушли. Хата осталась пустой. Она была пуста целую ночь. Утром воздух наполнился грохотом выстрелов, разрывами снарядов, шумом машин. В хату вошла старая женщина и, остановившись на пороге, прислушивалась к звукам, доносившимся извне. Хата вздрагивала и сотрясалась от ударов. Женщина подошла к столу, увидела початую банку с яблоками и листок бумаги.

Она взяла в руки листок и прочла:

«Мать. Я был здесь. Никого не застал. Не знаю, где ты. Возможно, сегодня буду здесь ночевать. Обнимаю. Иван».

Женщина застыла с этим листочком бумаги в руке, прижав его к груди.

— Ванюша!

Она подбежала к двери, распахнула ее и стояла неподвижно, словно окаменев, глядя в ту сторону, где шел бой.

Шум боя то затихал, то становился сильнее. На лице женщины были нетерпеливое ожидание, страх, любовь.

Потом она вошла в хату, села у окна за перегородку и так сидела час, два, три... целый день она ждала.

На закате дня у крыльца послышались голоса. В хату вошла группа командиров. Женщина из-за перегородки глядела на них, ища глазами того, кто был ей ближе всех и родней.

Первым в хату вошел высокий человек. На его петлицах сверкали крупные маршальские звезды. Женщина знала его по портретам, она ужаснулась, что в ее хате так не прибрано. Она хотела броситься, чтобы хоть расставить табуретки и смахнуть крошки со стола, но в это время увидела сына. Она его сразу не узнала в генеральской форме и так растерялась, что замерла на месте, боясь шевельнуться.

Сын вошел вслед за маршалом. Они продолжали начатый разговор. Маршал признал план операции совершенно правильным. Он высказал полное удовлетворение результатами боя, в котором немцы были разбиты.

Он дружески обнял генерала и похлопал его по плечу.

Женщина стояла в уголке, за перегородкой, никем не замеченная, безмолвная, с замиранием сердца следя за всем, что происходило в хате. Слезы бежали по ее морщинистому лицу.

Она терпеливо ждала своей минуты обнять сына.

СЕРГЕЙ ВАШЕНЦЕВ



Минное поле

Ночью немецкие солдаты стали выгонять из домов жителей.

Мела пурга. Черные потоки бешеного ветра, густо замешанного снегом, гудели в воздухе.

В непроглядном мраке нельзя было разглядеть лица людей.

Немцы поспешно выстраивали жителей в шеренги и связывали телеграфной проволокой руки. Потом между связанными руками продевалась веревка, концы которой держали солдаты.

И так их гнали по обочине дороги, и если падал один человек, за ним валилась вся шеренга.

Солдаты били прикладами по стонущей куче человеческих тел. И люди, подымаясь, снова шли, теряя сознание от дикой боли вывернутых суставов, скрученных тонкой проволокой.

По дорогам катились грузовики, фургоны, переполненные солдатами. Остановившуюся машину задние сталкивали в канаву. Слышалась брань, истеричные крики команды, которую никто не слушал.

Немцы катились обратно на запад, ослепленные пургой, отупевшие от стужи, ошалевшие от близости смерти, каждый с единственным яростным желанием — спасти только самого себя.

А зловеще-спокойные звуки канонады все приближались, и алые вспышки все дольше висели в черном мраке грозным заревом.

Так всю ночь они текли шальным грязным потоком по белым, завьюженным дорогам.

На рассвете было приказано остановиться.

Солдаты... Да разве это были солдаты? Не слушая офицеров, они разводили гигантские костры, сидя на корточках в дыму, совали в огонь сведенные стужей грязные

пальцы, били вшей и, развесив на палках рванье, сушили его на огне. Это было изможденное босячье, с худыми, костлявыми лицами, слезящимися от дыма глазами. Но они были толсты и неповоротливы. Это они разбухли от награбленной одежды, которую успели напялить на себя, пытаясь спасти от мороза грязные, до крови расчесанные тела.

Никакие силы не могли оторвать их сейчас от дымного, теплого пламени костров. Но ведь русские шли по пятам, и надо думать о том, как спасти свою шкуру. Вот для этого они и прихватили с собой, отступая, жителей поселка.

Каменно-твердую землю рыли старики, женщины, дети. Обер-ефрейтор, сидя спиной к костру, держа на коленях автомат, наблюдал за ними. Для того, чтобы ударить нерадивого, нужно стоять возле него на холоде, на ветру. Обер-ефрейтор предпочитал удобства. Первым выстрелом он предупреждал, вторым — наказывал.

Что думали эти наши русские люди, какие страдания испытывали они? Может, в гневе проклинали себя за то, что не сожгли себя вместе со своими хатами, когда эти звери внезапно ворвались к ним? Или, отупев от изнеможения, жаждали только скорой и легкой смерти? Разве может быть мера мукам, о каких шептали они своими белыми, обескровленными губами?

А может быть, они просто хотели сохранить жизнь любой ценой, забыв святую, высокую гордость советского человека? Слабые душой, старики, женщины, что они могли сделать?

Далеко впереди окопов немецкие саперы осторожно укладывали мины; засыпая снегом лунки, они тщательно заметали следы сосновыми вениками.

Смертью начиненное снежное голубоватое поле равнодушно блестело на солнце белой своей скорлупой.

Хорошо оградили себя немцы от внезапного нападения.

К вечеру плененных жителей согнали в кучу и, вбив вокруг колья, окрутили колючей проволокой.

Но не успела ледяная зеленая луна выскочить из серых облаков, как с опушки леса застучали пулеметы, и, невидимые на снегу, в белых халатах приблизились цепи советских бойцов.

В расположении немцев стали рваться снаряды. Солдаты, охранявшие русских пленных, уползали на брюхе в окопы.

И поняли наши советские люди, что спасение близко и они могут теперь, спасая себя, бежать в лес, и там, притаившись в сугробах, выждать, когда бой кончится. И люди кинулись в лес.

Но вдруг раздались крики «ура», грозные, единодушные, ликующие. Это русские бойцы, поднявшись, шли в атаку.

И никто не сказал этого слова, но вдруг пленники остановились. Они с ужасом глядели туда, где впереди окопов простиралось это снежное поле, набитое смертоносным железом. И никто не произнес этого слова. Никто не призывал друг друга пожертвовать собой во имя своих спасителей. Только сначала один человек метнулся туда, вперед, к этому полю, за ним другой, третий. Они падали, сраженные выстрелами немецких солдат, но некоторым удалось добежать, другим, истекая кровью, — доползти до незримого страшного рубежа.

Огненные взрывы минного поля вздыбили в небо черные столбы земли. И между этими столбами пронеслись наши бойцы, как карающие призраки в развевающихся белых халатах, держа в руках винтовки.

К полуночи все было кончено.

Командир собрал бойцов и, оглядев залитое лунным светом снежное поле, покрытое черными, зияющими ранами минных взрывов, сняв шапку, сказал:

— Товарищи, вы видели, какие люди живут в нашей стране. Какие у нас матери, отцы, сестры. Где еще в мире есть такие? Так не дадим же мы врагу передышки. Я знаю, товарищи, есть мера силам, и невозможно нам, не отдохнувши, преследовать врага. Но не я прошу, они велят, — и командир простер руки к снежному полю. — Что мы им ответим, товарищи?

И бойцы, глядя в молодое лицо своего командира, с головой, покрытой серебряной сединой инея, сняли шапки и, вытянувшись, замерли в грозном молчании.

Потом отряд без единого слова команды двинулся вперед. И они мчались по белому снегу, в белых халатах, невидимые мстители.

ВАДИМ КОЖЕВНИКОВ

★

Ракеты и гранаты

Десять разведчиков под командой молодого сержанта Ляпунова крутой тропкой спускаются к речному броду.

Бойцы торопятся. Темнеет, и надо успеть в последний раз на ночь покурить в покинутом пастушьем шалаше, близ которого расположился и окопался полевой караул сторожевой заставы.

Дальше — где-то на том берегу — враг. Его надо разыскать. Пока десять человек влежку — голова к голове — жадно затягиваются крепким махорочным дымом, начальник разведки, молодой сержант Ляпунов, такого же молодого начальника караула, сержанта Бурыкина, предупреждает:

— Пойдем назад, так я тебе, дорогой, с того берега пропуск орать не буду. И ты по этому поводу огонь по мне открывать не вздумай. Я вышлю бойца вперед. Ты его окрикни с берега на воду тихо. Он подойдет, тогда скажет.

— Знаю, — важно отвечает Бурыкин. — Наука нехитрая.

— То-то нехитрая! А вчера часовой так громко крикнул, что противник мог бы услышать. Что на том берегу? Тихо?

— Две ракеты вот так в направлении. Потом два выстрела, — объясняет Бурыкин. — Иногда ветер дунет — тарахтит что-то. Да! Потом самолет прилетал, разведчик. Покрутился, покружился, да вон туда, сволочь, скрылся.

— Самолет — хищник неба, — солидно говорит сержант Ляпунов, — а наше дело — шарь по земле, по траве и по лесу. Ну! — сурово поворачивается он. — Как, перекурили? И какая у меня мечта — некурящая разведка! А они без табачной соски жить не могут.

Подвесив на шею патронные сумки, держа над водой винтовки и гранаты, темная цепочка переходит реку.

Голубоватым огоньком мерцает над волнами яркий циферблат компаса на руке сержанта.

Выбравшись на лесную опушку, сержант отстегивает светящийся компас, прячет его в карман, и безмолвная разведка исчезает в лесной чаще.

Ядро разведки движется по лесной дороге. Два человека впереди, по два слева и справа. Через каждые десять минут без часов, без команды, по чутью разведка останавливается. Упершись прикладами в землю, опустившись на колени, затаив дыхание, люди напряженно вслушиваются в ночные звуки и шорохи.

Чу! Прокричал где-то еще не сожранный немцами петух.

Потом что-то вдалеке загудело, звякнуло, как будто бы стукнулись буферами два пустых вагона.

А вот что-то затарахтело... Это мотор. Здесь где-то мотоциклисты. Их надо разыскать во что бы то ни стало.

Из темноты возникает красноармеец Мельчаков и, запыхавшись, докладывает:

— Товарищ сержант, на пригорке через дорогу под ногами — провод.

Сержант идет вперед. Он ощупывает провод рукою и раздумывает: итти по проводу влево или вправо? Но оказывается, что слева провод уходит в топкое болото. Нога вязнет, и сапог с трудом выдирается из липкой грязи. Вправо то же самое.

К сержанту подходит Мельчаков, вынимает нож и предлагает:

— Разрешите, товарищ сержант, я провод перережу.

Сержант останавливает Мельчакова. Он хмурится, потом хватает провод, наматывает его на ножны штыка и с силой тянет. Провод поддается. В болоте что-то чавкает. И вот на дорогу выползает тяжелый камень.

Сержант торжествует. Ага, значит, провод фальшивый! Так и есть, на другом конце провода привязан и заброшен в осоку кусок железной рессоры.

— Перережу, перережу, — передразнивает сержант Мельчакова. — «Товарищ сержант, доношу, что телефонную связь между двумя батальонами болотных лягушек уничтожил». Очень ты, Мельчаков, на все тороплив. Иди вперед. Ищи. Где-нибудь неподалеку тут есть настоящий провод.

Опять слышится впереди фырчанье мотора. Разведка движется ползком по песчаной опушке. Отсюда виден за кустарником силуэт хаты. У хаты — плетень. За плетнем — неясный шум.

Сержант шопотом приказывает:

— Приготовить гранаты. Подползти к плетню. Я с тремя иду вперед справа. Гранаты бросать точно по тому направлению, куда я дам пологий удар красной ракетой.

Приготовить гранаты — это значит: щелк — взвод, щелк — предохранитель, щелк — и капсюль на место.

И вот он, скрытый, готовый взорваться огонь, лежит возле груди, у самого сердца.

Проходит минута, другая, пять, десять. Ракеты нет. Наконец появляется сержант Ляпунов и приказывает:

— Разрядить гранаты. Дом брошен. Это бьется во дворе раненая лошадь. Быстро поднимайся. Берем влево. Слышите? Немцы где-то здесь за горкой.

К сержанту подходит Мельчаков. Он мнется и правую руку, сжатую кулаком, держит как-то странно наотлет.

— Товарищ сержант, — сконфуженно говорит он. — У меня граната не «бутылка», а лимонка. И вот — результат печальный.

— Какой результат? Чего ты бормочешь?

— Она, товарищ сержант, стоит на боевом взводе.

Мгновенно инстинктивно от Мельчакова все шарахаются.

— Химик! — отчаянным шопотом восклицает озадаченный сержант. — Так ты что... Уже чеку выдернул?

— Да, товарищ командир. Я думал: сейчас будет ракета, и я ее тут же брошу.

— Брошу, брошу, — огрызается сержант. — Ну, теперь держи ее в кулаке и не разжимай руки хоть до рассвета.

Положение у Мельчакова незавидное. Он торопился, и боек гранаты теперь держится только рычагом, зажатым в ладони. Вставить предохранитель, не зажигая огня, нельзя. Бросить гранату в лес, в болото нельзя тоже — будет сорвана вся разведка.

Бойцы на ходу шопотом ругают Мельчакова:

— Ты куда, парень, к людям жмешься? Ты иди стороной или боком.

— Куда ему боком? Пусть идет дорогой, где глаже, а то о корень зацепится да как брякнет.

— Не махай рукой, не на параде. Ты ее держи, гранату, двумя руками.

В конце концов у обиженного Мельчакова забирают винтовку и его с гранатой посылают вперед, головным дозорным.

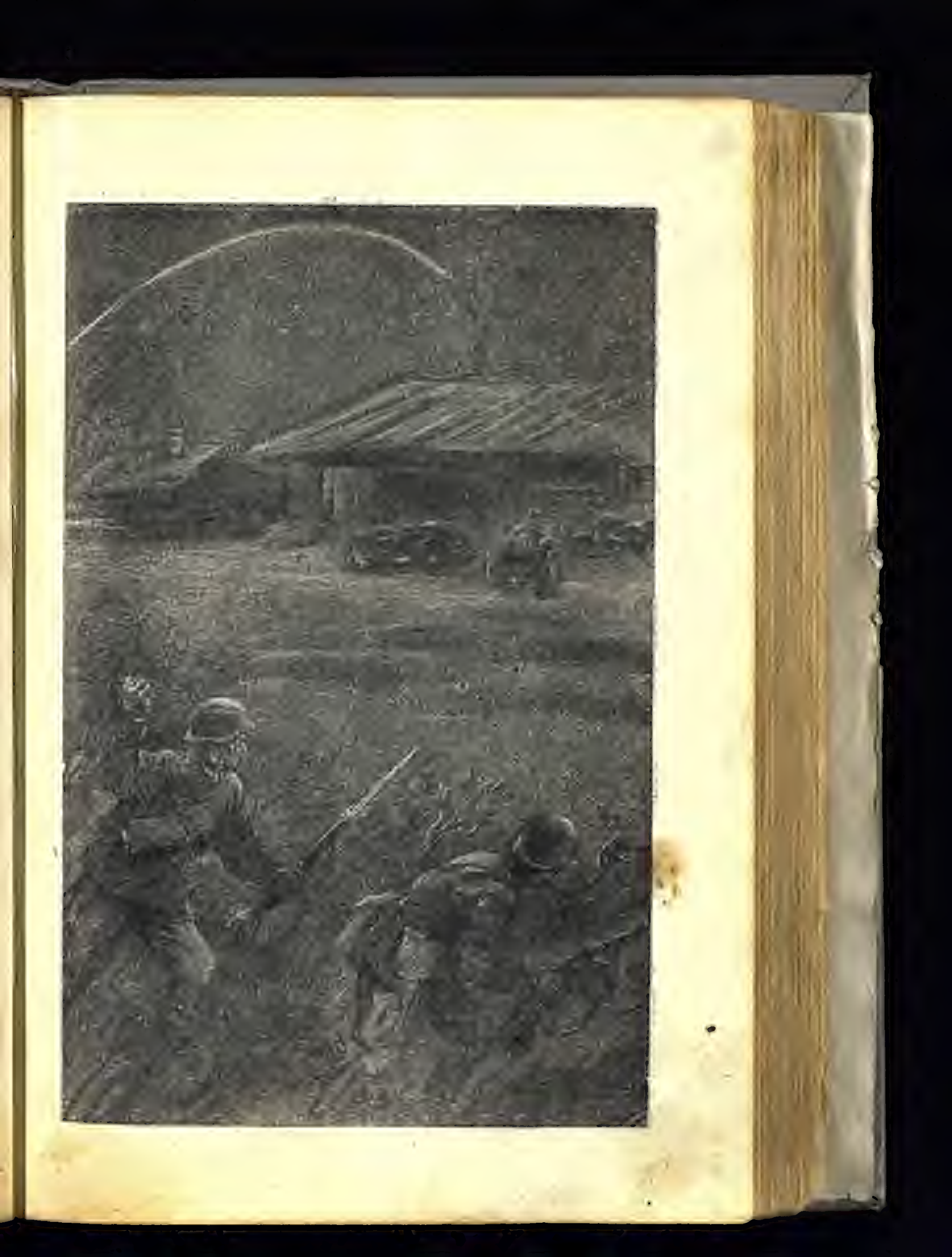
Через несколько минут ядро разведки застает его сидящим на краю дороги.

— Ты что?

— У меня тут под ногой провод, — хмуро сообщает Мельчаков.

Разведка идет по проводу. Вдруг треск моторов раздается совсем рядом. Блеснул и потух огонь. Впереди, у колхозных сараев, шум, движение. Сержант, за ним вся разведка плашмя падают на землю и ползут прочь от дороги, на которой, вероятно, где-то совсем вблизи стоит сторожевое охранение.

Двести метров разведка ползет минут сорок. Потом



долго лежит недвижимо, прислушиваясь к шуму, треску и звукам незнакомого языка.

Сержант дергает Мельчакова за пятку и показывает ему на заряженную ракетницу.

Мельчаков молча и понимающе кивает головой. Сержант отползает.

Опять одна, другая, долгие минуты. Вдруг красной змейкой, показывая направление, вспыхивает брошенная сержантом ракета.

Мельчаков вскакивает и что есть силы бросает свою гранату через крышу сарая.

Раздается гром, потом вой, затем оглушительный треск моторов сливается с треском немецких автоматов.

Разведчики открывают огонь.

Загорается соломенная крыша сарая. Светло. Видны враги. Так и есть — это мотоциклетная рота.

Но вот в бестолковый треск автоматов ввязываются тяжелые пулеметы.

Перерезав в нескольких местах провод, разведка отходит.

Пальба сзади не прекращается. Теперь она будет продолжаться до рассвета. Цель разведки достигнута: немцы обнаружили всю систему своего огня.

Темно. Далеко на том берегу проснулся, конечно, командир роты. Он слышит этот огонь и сейчас думает о своей разведке.

А его разведчики шагают по лесу дружно и быстро. Несердито ругают они теперь длинноногого Мельчакова. Нетерпеливо ощупывают карманы с махоркой.

И, чтобы хоть теперь за рекой, в шалаше, он дал им вдоволь накуриться, они дружно и громко хвалят своего молодого сержанта.

АРК. ГАЙДАР

★

Бессмертие

Направо река от него. Повороты
Дорог, пропадавших вдали.
И там, за рекою, фашистские роты
На нашей земле залегли.

Он видит далеко и в грохоте слышит,
И пусть хоть полнеба в дыму,
Но тянется яростный провод на крышу,
Послушный ему одному.

Фашисты из щелей полезли — он видит.
Им место не здесь, а в раю!
Так пусть же узнают, как их ненавидим!
Как любим отчизну свою!

Ведь мы их не звали сюда, не просили, —
Скорей настигай их, беда!
И ненависть, равная буре по силе,
Как буря, летит в провода!

— Огонь! — он скомандовал на батарею. —
Вояки промокли слегка,
Пора подсушить их, коль солнце не греет,
Подсыпьте-ка им «огонька»!

И ухнули разом. Кривая полета
Идет через песню мою.
О том, как разили его минометы,
Я слово герою даю.

«Сегодня на рассвете, — записал лейтенант Иван Николаевич Павленко, — немцы подтянули к деревне около 15 танков и больше роты пехоты. В это время я сидел на крыше двухэтажного дома. Когда я увидел варваров, сердце облилось кровью. Я скомандовал: «Огонь!» Тяжелые мины рвались среди скопища вражеской пехоты. Я от радости кричал. Здесь на поляне враг увидит свою смерть! Вперед, за победу! Подлый враг будет разбит!»

И дальше на уголке клочка бумажки:

«Вражеские снаряды изрешетили весь дом. Я с поста не уйду!»

Вперед, за реку, прорывались отряды.
И враг заметался, гоним.
...Он пал, наш товарищ, но бывшее рядом
Бессмертие встало над ним!
И, славящий мужество наше прямое,
Я вижу, как входят в века:
Дом, в щепы разбитый. Герой-комсомолец.
Столетние сосны. Река.

АЛЕКСАНДР ПРОКОФЬЕВ



Парашютисты

Ночью они спустились сюда на парашютах.

Поверх меховых комбинезонов на них были надеты белые, брезентовые. На головы накинуты белые капюшоны, стянутые на лбу шнурками, как у бедуинов. Белые валенки, белые перчатки, только загорелые лица выделялись ореховыми пятнами на белом, снежном поле.

Закопав в снег парашюты, Кисляков, огромный, широкоплечий, угрюмый человек, взглянув на мешки, сказал:

— Может, подзаправимся, Сурин? Чего с собой тяжесть таскать.

Сурин, маленький, подвижный, с темными веселыми глазами, ласково ответил:

— Ты, Гриша, еще и мой мешочек понесешь. Ты здоровый.

Кисляков печально вздохнул и, легко взвалив мешки на спину, пошел вслед за Суриным, глубоко проваливаясь в снег.

У Сурина было задание минировать дорогу отступающим немецким частям, у Кислякова — уничтожить транспорт с горючим.

На рассвете они выбрались на шоссе, в то место, где дорога разветвлялась. На шоссе были вбиты колья и на них были прибиты дощечки с немецкими надписями: «Осторожно, мины!»

Сурин прочел надпись, задумался, потом приказал Кислякову:

— Гриша, вытягивай колья, живо!

Кисляков быстро выполнил приказание.

Потом Сурин велел ему вбить эти колья с надписями у развилки дорог. Кисляков сделал и это. Уже в лесу Кисляков равнодушно спросил:

— Ты для чего это, Сурин, делал? Для смеха?

— Гриша, — с притворной печалью сказал Сурин, — почему ты такой ограниченный человек!

— Всякие люди бывают, — честно сознался Кисляков.
Сурин сказал:
— Вот, детка, слушай. Шоссе минировано, согласно надписи?
— Минировано, — согласился Кисляков.
— А объезды?
— Объезды не минированы, — покорно повторил Кисляков.
— От перемены места надписи обстановка изменится?
Кисляков задумался.
— Понятно, с тобой в шашки не сыграешь. Обжулишь.
— А ты как думал? — гордо подтвердил Сурин.
Простившись с Суриным, Кисляков ушел дальше на запад. Сурин остался в лесу проследить, что выйдет из его замысла с минной ловушкой.
Ночью со стороны шоссе раздался ряд громких взрывов, и красные столбы пламени поднялись в небо.
На следующий день к вечеру явился Кисляков. Сурин, вглядываясь в окровавленное лицо Кислякова, тревожно спросил:
— Не сильно ранили?
— Не-е, — сказал Кисляков. — Жрать хочу.
Закусывая, Кисляков рассказал:
— Ну, шел и шел. Смотрю, мотоциклист едет. Вышел на дорогу, поднял руку. Он остановился. Сел я вместо него на мотоцикл и поехал. Увидел — цистерны, восемь штук идут. Ну, я пулемет направо, гранаты за пояс. Газ. И по колонне, на ходу, из пулемета. Так и прочесал.
— А ранили где?
— Нигде. Это я сам. Увидел, трое по шоссе шагают. Ну, я на них с хода.
Потом они снова шли лесом. Сурин, размахивая руками, говорил:
— Почему ты, Григорий, такой несообразительный человек? Прешь на рожон, — и только...
Кисляков угрюмо слушал его, потом сказал:
— Эти места, где немцы сейчас, мои родные.
— Ну и что?
— А то, что я сейчас смекалкой заниматься не могу. Об этом и командир знает.
Дальше они шли молча.
Остановившись закурить, Кисляков внезапным грубым голосом сказал:
— Неделю тому назад я сюда в разведку прыгал. Собрал ценнейшие сведения. Пробирался назад все на животе. И вот в овраг, за кладбищем, где я отдыхал, немцы человека вывели. Они его не стреляли. Они ему руки и ноги сначала прикладами ломали. А я сидел в рощице и смотрел. Не имел

я права себя проявлять. Сведения ценнее наших обоих, с моим батькой, жизней были.

— Так это отец твой, значит? — с ужасом спросил Сурин.

Кисляков затоптал окурок, оглядел свои ноги и глухо произнес:

— Лихой старик был. Пока они, значит, его разделывали, он их все матом, как Тарас Бульба, крыл.

Сурин, моргая, жалобно хватая Кислякова за руки, взволнованно просил:

— Гриша, ты прости, что я так перед тобой... Ты же пойми...

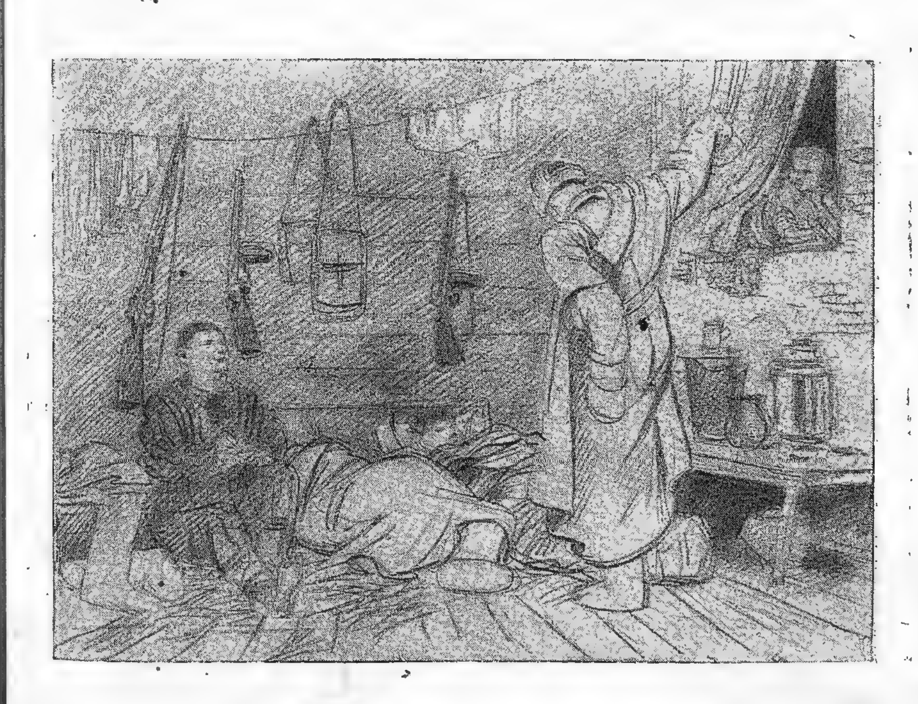
— Я понимаю, — серьезно ответил Кисляков, — разведчик соображать должен. А я сейчас как бы не на высоте.

И, передернув плечами, поправив автомат на ремне, с трудом улыбнувшись, он сказал:

— Ну, пошли, что ли? Дел для занятия еще впереди у нас много.

И теперь Сурин шел вслед за широко шагавшим Кисляковым. Он ступал в его глубокие следы в снегу и все думал, какое ласковое слово утешения можно сказать этому так гордо скорбевшему человеку.

ВАДИМ КОЖЕВНИКОВ



Советские бомбовозы

Посвящается боевым летчикам части, которой командует майор Кузнецов.

В лучах заходящего солнца,
Гудя над землей, как шмели,
Плывут, в облаках исчезая,
Воздушные те корабли.

И с курса они не собьются,
И к цели они долетят.
Радисты-стрелки неустанно
За воздухом синим следят.

Пшеница внизу колосится,
Пылят по дорогам стада,
Как тонкие ниточки, вьются
Идущие в тыл поезда.

Девятка летит над садами,
В пути не встречая преград.
Тяжелые авиабомбы
Под крыльями в люках стоят.

Плывут они, крылья раскинув,
Теченьем воздушной струи.
И дети им смотрят вдогонку,
И матери шепчут: «Свои!»



Танк в засаде. Рис. с натуры худ. В. Хвостенко



Разбитые немецкие танки. Фото С. Струнникова

Свои самолеты! И людям
Становится сразу легко.
Свои! Это значит — родные
Заплавский, Демидов, Янко.

В планшете на штурманской карте
Отмечена эта река.
Вот здесь у врагов переправа,
Сюда они гонят войска.

Саперы наводят понтоны,
Форсируют реку полки,
Вползают германские танки
На берег советской реки.

Вперед же, к намеченной цели!
Уже переправа видна,
Уже разделилась девятка
На три боевые звена.

Во имя родимого края,
Во имя погибших бойцов
На цель в боевом развороте
Заходит майор Кузнецов.

По цели! По цели! По цели!
И кони встают на дыбы,
И там, где взрываются бомбы,
Встают водяные столбы.

По цели, и вновь закипает
Вода у крутых берегов —
То Кравченко, сталинский сокол,
Как смерч, налетел на врагов.

СЕРГЕЙ МИХАЛКОВ

★

Два комсомольца жили в окопе

Два комсомольца жили в окопе. Окоп находился за линией границы. Граница проходила по просеке на перешейке, где полуостров Ханко соединяется с материком.

Позади окопа — колючая проволока. У проволоки — наш пограничный столб. За пограничным столбом — сосны, как в Отдыхе под Москвой.

Из сосен выходят шоссе и железная дорога. Это прерванный линией фронта путь с запада на Хельсинки. Отсюда до Хельсинки километров полтораста.

Окоп незаметен глазу наблюдателя. Сверху посмотришь — груда камней. Много тут на перешейке таких хаотических нагромождений. Кустарник и сучья над камнями в беспорядке. Нельзя же под каждой веткой подозревать людей!

Но тут под камнями — ряд бревен. Сквозь бревна в глубокую яму падает свет. Днем оттуда видно солнце. Ночью в яму смотрят звезды. Эта яма и есть окоп наблюдателей.

Яма тесна — два метра на метр. Сырая земля посыпана песочком с берега. На песке — пара досок и солома. Поверх соломы — две красноармейские шинели. Одна — Петра Сокура, другая — Андриенко.

Ветками скрыта узкая амбразура. В амбразуру всегда смотрят два глаза: то — черные, Сокура, то — серые, его товарища. Они следят за той стороной.

На той стороне тоже проволока. За проволокой высокая скала. Будто залив бросил на берег обрубленную глыбу. Так выглядит Монах в Симеизе.

У скалы стоит одинокое дерево.

И за деревом, и за скалой надо смотреть.

За ночь на дереве густеет крона. Шапка дерева непо-

мерно пышнеет. Глаза из амбразуры следят за пышностью до боли.

В кроне скрывается финская «кукушка». Но стрелять из окопа нельзя. Окоп — секретный, он только для наблюдения.

К лесу из окопа ведет канава. По ней протянут телефонный провод. Сверху канава тоже закрыта ветками. Под ними можно пройти согнувшись. Сокуру приходится ползти: сапер Репня сделал канаву не по его росту.

Ночью в окоп приходят гости. Больше молчат, разговаривать тут не стоит: на той стороне все слышно.

Политрук Кузьмин протягивает Сокуру листок: на нем все новости из газеты.

Комвзвода Емельянов шопотом произносит:

— Исайчев вчера снял с проволоки финна. С тысячи метров, между прочим...

И как будто тут же об этом забывает.

Сокур и Андриенко чуют, к чему разговор. Комвзвода нарочно говорит о конкуренте. У Сокура тоже свой снайперский счет.

Он лениво осведомляется, каков счет Исайчева. У того — два десятка. До равенства Сокуру нехватает двух.

Кажется, он не обращает на то внимания. Он тихо говорит командиру о густоте на дереве возле скалы.

Утром в окоп приходит Мандебура. Роста он небольшого, по канаве итти легко. Он приносит котелок с борщом и кашу.

Сокур и Андриенко обедают по очереди.

Сокур с аппетитом ест флотский борщ.

— Петро Трофимович, — говорит Мандебура, — я думал, что будете вы без борща. Та погана финска собака, шо на дереве под скалой, — стреляет и стреляет...

Сокур передает котелок Мандебуре.

— Подержи маленько, я мигом вернусь.

Он берет винтовку с оптическим прицелом и ползет по канаве из окопа к лесу.

В лесу осторожно вылезает на шоссе. Быстро, по-пластунски, его пересекает. Тихонько подтягивается к железнодорожной насыпи. Под насыпью ложится на живот и смотрит в оптику.

До скалы отсюда дальше, чем из окопа. Но в оптику дерево хорошо видно. Крона на нем попрежнему густа.

Сокур щурится в стеклышко прицела. И крона на дереве снова беднеет.

Тем же путем он ползет в окоп.

Мандебура смотрит на него с восхищением.

— Вот борщ остыл, Петро Трофимович! — Мандебура подает снайперу остывший котелок.

Борщ остыл, это, конечно, плохо. Флотский борщ хо-

рош «с дымом». Но зато до Исайчева теперь нехватает одного: еще «кукушка» — и счет сравняется.

В эту ночь Сокур гостей не принимает: он занят важным военным делом.

В окопе остается один Андриенко. Сокур ползет к лесу, к железной дороге. Оттуда он резко сворачивает к границе. Неслышно передвигает снайпер свое длинное тело. Метр движения, две минуты неподвижности.

Андриенко из амбразуры всматривается в перешеек. Но и он не замечает ничего подозрительного.

«Хитро робит, — думает Андриенко. — С этим хлопцем в беде не пропадешь».

Сокур подтягивается к самой скале. Под деревом ничком лежит «кукушка». Финны побоялись убрать ее днем. Но ночью они могут притти.

Он снимает с врага автомат и шарит по земле. Он ищет диски с патронами.

Он отходит обратно к нашей границе, ложится на камнях и ждет, что будет.

Перед рассветом у скалы движение. Пришли, видимо, за убитым финном.

Сокур стреляет в темноту у скалы. Крик у скалы подтверждает попадание. Снайперский счет сравнялся.

Два комсомольца жили в окопе. Жили за проволокой рядом с врагом. Все, что видели, докладывали командиру. Второй день у финнов суета. У станции Таммисаари дымят паровозы. К границе подходят эшелоны с войсками. Ходят офицеры в какой-то странной форме.

— Немцы, — уверенно говорит Сокур. — Я немцев в жизни не видел. Но отец про таких рассказывал. Были на Украине в восемнадцатом году, в нашем Тростянецком районе. Идем, бывало, с отцом по Демковке на базар — обязательно надо мост перейти. Как к мосту подходим, отец говорит: «Вот тут моя кровь, здесь немец меня ранил». Раз сорок, а то и больше, говорил он мне это. Все никак не может забыть старик.

Немцы смотрят на просеку в большие бинокли. Они ощупывают стеклами весь перешеек. Они ищут за маскировкой гангутские пулеметы.

Стекла бинокля поворачиваются к окопу. На мгновение они против амбразуры. Кажется, виден за тем стеклом человечий глаз.

Конечно, это только кажется. Бинокль медленно проходит мимо. Он ничего не открыл под грудой камней.

Два комсомольца живут в окопе. Светлая ночь стоит над границей. В пазы между бревен смотрит бледное небо.

У амбразуры дежурит Петр Сокур.

Николай Андриенко лежит на спине на шинели. Он смо-



Герой Советского Союза П. Сокур. Рис. худ. В. Смирнова.

трит сквозь бревна рассеянным взглядом. Он считает звезды, что видны в пазах. Промеж средних бревен — двенадцать звезд. В пазу над головой — одна, крупная.

— Петро, — говорит он тихо, — а на Украине звезды такие же?

— На Украине крупнее, — смеется Сокур, — неужели, Микола, ты думаешь, что над Ханко другие звезды подвешены?..

Петро отвечает Миколе иронически.

Друг его всегда любит почудить.

Петро смотрит в амбразуру на территорию Финляндии и невольно думает о родной Украине.

Странная тут местность, в этой Финляндии. Нет ни рек, ни степной травы. Будто все переломано гремучим штормом, навалено одно на другое. Украина вот куда лучше. На Украине хорошие песни поют. Только сейчас и в Демковке стоят немцы. И писем оттуда не пишет никто...

Тихо над просекой на узком перешейке. Тихо, как до войны. Ветер упрятался куда-то в небеса. Замерло все на двух враждебных рубежах. Только с залива с двух сторон шелестит волна.

Видит Сокур на перешейке тени. Семь ломаных теней падают от скалы.

— Довольно про звезды, — толкает он ногой товарища. — Доложи командиру: вижу семерых разведчиков.

— Семеро разведчиков у финской проволоки! — эхом откликается в телефон Андриенко.

— Хорошо, — отвечает комвзвода Емельянов. — Пропустить свободно, продолжать наблюдение.

Забыты звезды и далекая Украина. Забыты все лишние, праздные думы. Два комсомольца насторожились в окопе. Четыре глаза сверлят амбразуру. Два черных — Сокура, два серых — его товарища.

Затишье над просекой лопается грохотом. Из грохота высвистывает смертельный металл. Земля за окопом вздымается от взрыва. Падает высокая сосна в лесу.

На финской стороне сверкают зарницы. Снаряд за снарядом рубит за просекой лес. Неслышно летят к проволоке мины. Они рвутся с визгом и рвут проволоку.

— Держитесь спокойно, — говорит из телефона голос Емельянова. — Продолжать наблюдение, себя не обнаруживать!

Финны расчищают пространство перед проволокой. Они зажигают на камнях кустарник и сучья. Горит длинной лентой костер вдоль границы. Огонь разливается по всему перешейку.

Два комсомольца сидят в окопе. Два советских бойца несут службу наблюдателей. Над окопом в один ряд поло-

жены бревна. Над бревнами беспорядочно набросан камень. На камнях трещит подожженный хворост.

Сокур и Андриенко смотрят вверх. Дым затуманил звезды на небе. Душно и горько дышать в окопе.

Два комсомольца глотают дым. Над амбразурой тоже горит маскировка. Желтое пламя застилает панораму. Сокур и Андриенко протирают глаза.

— Выкуривают, — говорит сквозь зубы Андриенко.

— Не выкурят! — шепчет Сокур.

Огонь полыхает над окопом наблюдателей. Грохочет канонада над длинным костром. У границы началось сражение с финнами.

Звуки разрывов уже далеки. Финские снаряды летят за просеку на полуостров. На границе трескотня автоматов и ружей.

Хворост над окопом уже догорал. Дымились камни, стихало пламя. В окоп шел чистый, свежий воздух. В огне амбразуры рос просвет.

Сгорел весь хворост и обнажил амбразуру. Сокур и Андриенко увидели цепь белофиннов.

— Два взвода финнов, — доложил Сокур, — маскировка сгорела, нас могут обнаружить.

— Продолжать наблюдение! — приказал Емельянов.

Но тут в амбразуру брызнула земля. Финны бросили к окопу мины. Фонтан грязи залепил просвет.

Два наблюдателя лишились обзора. Без амбразуры они полуслепые. Они видели только небо над собой и узкий проход к лесу, в тыл.

Сокур сбросил с доски шинель. Доской он стал буравить в амбразуре отверстие. Снова впереди появился просвет. Два комсомольца продолжали наблюдение.

Бледное небо светлело к утру. Сокур и Андриенко сидели в окопе. Окоп окружали финские стрелки. Свободен остался только ход сообщения. Этот единственный путь звал в тыл, к своим.

— Отходить не будем? — спросил Андриенко.

— Остаемся здесь, — ответил Сокур.

Два друга-бойца вышли из окопа. Спина к спине они стали в канаве. Каждый держал в руке по гранате. Один бросил вправо, другой метнул влево.

По сторонам от окопа падали финны.

— Закроем проход, — сказал Сокур. — А то пройдут к нам по канаве.

Сокур и Андриенко строили баррикаду. В два счета подтащили они к канаве бревна. Бревно на бревно — и ход закрыт. Но и выход к своим закрыт тоже.

— Одни остались, — вздохнул Андриенко. — Может, помирать придется, Петро Трофимович.

— Поживем еще, — ответил Сокур. — Ты стой у баррикады, а я гляну в амбразуру.

На войне это называют круговой обороной. Но в круговой обороне не меньше четырех сторон. На четыре стороны нужно четырех бойцов. Сокур и Андриенко отбивались вдвоем.

Финны бежали мимо окопа. Гитлер дал им сроку всего три дня: они спешили наступать на полуостров.

Шум боя уходил в глубь леса. Фронт отдалялся от двух наблюдателей. Они очутились уже в финском тылу.

— Солнышко встанет — наши вернутся, — спокойно проговорил Петр Сокур.

— Я тоже думаю, что наши вернутся, — согласился с ним Николай Андриенко.

У скалы постукивал финский пулемет. «Крупнокалиберный», — подумал Сокур. По каске Андриенко шлепнула пуля.

— Войди в окоп, — предложил Сокур.

Пулемет прочесывал перешеек и просеку.

— Крупнокалиберный у скалы, — доложил Сокур, и телефон на полуслове внезапно смолк.

Над окопом звучала какофония свистов — мины, снаряды, шрапнель, свинец...

— Козлов стреляет, — сказал Андриенко, — скоро наши начнут наступать.

В лесу на полуострове тоже вспыхивали зарницы. Снаряды рвались теперь на финской стороне.

— Между окопом и скалой упал наш снаряд. Осколки зарывались в песок на перешейке.

— Метра на четыре бы поправее взяли, — спокойно сказал Петр Сокур. — Как раз угодили бы в пулемет у скалы.

— Жаль, нельзя передать поправку, — Андриенко зло смотрел на безмолвный телефон.

Следующий снаряд разорвался возле дерева. Дерева у скалы тут же не стало. Захлебнулся и крупнокалиберный пулемет.

— Деревцо жаль, — заметил Сокур. — Хорошая ловушка для финских снайперов.

В окопе вдруг сразу стемнело. Исчезло небо в просветах бревен. Что-то прикрыло наглухо пазы. Над головой дятлом застучал автомат.

— Финн! — взволнованно шепнул Андриенко. — Петро, финн над нами!

— Зенитки к бою! — Петро сказал это весело и тихо. — Следи за тылом, а я позабочусь.

Он лег на спину и к животу прижал приклад.

Короткая очередь стеганула по бревнам.

Сокур вновь увидел чистое небо над головой.

У комсомольцев остались только две гранаты. В дисках патроны были на исходе.

— Доставай лопатки, — сказал Сокур, — будем лопатками драться, гранаты еще могут нам пригодиться.

Трое финнов бежали к баррикаде. У баррикады лежали Андриенко и Сокур.

— Троих бояться не будем, Петро,—шептал Андриенко.

— В плен возьмем, — решил Сокур.

Финны подошли к самой баррикаде.

— Ложись! — закричал неожиданно Сокур.

Он показал жестом, как это сделать.

Двое солдат сразу же легли. Третий, офицер, кричит по-русски: «Огонь!»

Сокур исполнил его команду охотно. Он не хотел его убивать. Он решил положить его рядом и выстрелил в руку.

Офицер уронил пулемет и упал.

— Так-то лучше,—сказал Сокур,—перевернуться на спину!

Трое финнов как будто не поняли. Не знают, мол, русский язык.

— Микола, переведи-ка им на финский!

Андриенко угрожающе сунул в баррикаду автомат.

Трое финнов уразумели, что от них требуют. Легли на спину, раскинув руки.

Сокур протянул за баррикаду руку. Нащупав автоматы, он потянул их к себе.

В окопе у комсомольцев обогатился арсенал: два финских автомата и финский пулемет.

К окопу бежали еще четверо финнов. Сокур и Андриенко лежали у баррикады. Между ними и финнами уже две баррикады. Одна — из бревен, другая — живая.

С той стороны стреляли финны. С этой стороны отвечали комсомольцы.

Живая баррикада не шевелилась. Двойной огонь приковал ее к земле.

Внезапно за баррикадой стало тихо. Наступавшие финны куда-то исчезли. Кто-то бежал со стороны леса.

— Мандебура! — гремел над перешейком голос Емельянова. — Доставить мне Сокура с Андриенкой живыми или мертвыми. До Хельсинки дойти, но чтоб были найдены!

— Так мы здесь, — громко произнес Сокур. Он нарочито старался скрыть волнение. — У нас тут в окопе все в порядке. Есть пленные и есть трофеи.

К окопу бежали Емельянов и Мандебура.

— Петро Трофимович!—кричал Мандебура. — А мы думали вы совсем убитые!

— Осторожно, Мандебура, — предупредил Сокур. — Тут по дороге кое-какое хозяйство дышит. Если раздавите — не сдобровать вам!

Живая баррикада подавала признаки жизни. Перед окопом поднялись трое белофиннов: двое солдат и один офицер. Вид у них был довольно неказистый. Невесело глазеть на небо под свистом пуль.

Сокур и Андриенко разгородили баррикаду. В окоп собрались бойцы взвода. Остальные взводы уже ушли вперед. Они гнали финнов за перешеек. Над просекой уже встало утреннее солнце.

Мандебура возле окопа насчитал тринадцать убитых.

— Наверху еще один, четырнадцатый, — Сокур небрежно показал на окоп.

— Это Петро Трофимович из зенитки его, — пояснил товарищам Николай Андриенко.

Сокур повел пленных по канаве к лесу.

Через месяц на Ханко прилетел самолет. Бойцы получили по десятку писем сразу.

Сокуру пришло одно письмо. Из Махач-Калы писала жена:

«В газетах написано: Петр Сокур — герой. Как будто и имя и фамилия правильные. Только неужели это ты, Петро, а не однофамилец?»

Так это все верно, насчет Сокура и Андриенко. Я был у них сам и могу подтвердить.

Два комсомольца жили в окопе. Окоп находился за линией границы. Граница проходила по просеке на перешейке, где полуостров Ханко соединяется с материком.

Только под бревнами не та яма, что раньше. Репня построил новое жилище. Окоп сравняли с гранитной скалой. Сверху его уж никак не приметить. А внутри так и совсем не узнать. Там сложили даже печку и в лес вытянули трубу. Печка топится на перешейке, а дымится в лесу.

К лесу из окопа ведет канава. Теперь уже Сокуру не приходится ползти: Репня построил канаву по его росту.

Вот там и жили Сокур и Андриенко.

Андриенко — такой молоденький, белесый, с серыми глазами. Очень веселый и боевой комсомолец. А Сокур — черный, высокий и курносый. И всегда лениво разговаривает.

Так что если попадут эти строки в Махач-Калу или занесет их на украинскую землю, а может, где на фронте есть бывшие школяры из Демковки, так пусть все знают, что я видел Сокура.

Пусть знают все школяры из украинской Демковки, что их учитель биологии стал настоящим героем. На полуострове Ханко. На Красном Гангуте. В гарнизоне славы!

Полуостров Ханко.
На Балтике.

ВЛАДИМИР РУДНЫЙ

Рождение разведчика

Звать меня Ухалов, Анатолий Васильевич. Год рождения девятьсот пятнадцатый, боец роты старшего лейтенанта Калинина.

О себе ничего такого рассказать не могу. Работа обыкновенная, фронтовая. Народ поднялся немцев гнать, ну и я тут.

В роте нашей люди разных специальностей и разного мастерства. И слесаря, и шоферы, ткачей много, есть пекари и даже извозчики.

Разведчиком меня случайно признали: к лейтенанту послали, который со своим подразделением находился где-то в расположении противника. Дали мне примерное направление — пять деревенек, где лейтенант мог оказаться. А если в тех деревнях нет его, так по лесам, говорят, ищи.

Я в те деревни прорвался — нет лейтенанта. Где искать? Война ж не позиционная, как в четырнадцатом, — из окопа в окоп ходили по ходам сообщения. Война с холмов на поля перекатывается и по болотам бродит, и в лесах автоматами отзывается. Где лейтенант? Я, согласно приказу, в лес углубился. А сам думаю, — нет, не найду. Потом задор меня взял. Все должен найти и всего собственной догадкой обязательно достигнуть. И нашел. Нашел в лесах лейтенанта.

За правильное хождение по лесам без карты и компаса признали меня настоящим разведчиком.

Потом приказ вышел: найти человека, чтобы во вражеский тыл незаметно прошел и все нужное доглядел. Спрашивают меня:

— Желаете?

— Желаю, — говорю, — дело нужное.

Нет, не могу сказать, чтобы в ту минуту сердце у меня было совершенно спокойное. Я раньше в таких делах не бывал. Другие ходили, а мне — в первый раз. Через линию

фронта туда, к этой сволочи! Другое дело — в атаке. А тут — один.

Однако первую свою тревогу человек должен пересилить, и тогда ничего.

И я пересилил. Вот это для меня самое интересное, самое важное — минута, когда я тревогу из сердца гнал. А дальше все легко пошло. Дальше и рассказывать нечего. На фронте таких случаев — тысяча.

Ну, посадили меня в эмочку, довезли до переправы, высадили. И я пошел.

По ту сторону реки — немцы. Там одна деревушка есть, ночью они туда наведываются, а днем отходят. Боятся. Стемнело. В двадцать три часа все орудия с обеих сторон стали палить. Немцы в пулеметы ударили и в минометы, весь западный берег охватило. Я до нашего секрета дошел, предупреждаю:

— Иду на ту сторону. Вы по мне не стреляйте.

Лейтенант, старший в секрете, говорит:

— Сейчас итти не советую. Немцы по всему берегу режут. Знаешь, как они темноты боятся?

Дождался я света. Утром немцы, как всегда, от берега отошли, и я тихо перешел через мост, даже не нагнулся. На той стороне огляделся. Ничего не видно. Пошел было к деревне С., выполз на бугорок, чувствую — там возня, фашисты елозят. Так близко натыкаться на них невыгодно, мне в глубину надо. Схоронился, взял полевее, обогнул ту деревню.

Дорога бежит по гребню холма, и все мне замечательно видно: на большом участке ихние солдаты ходят, одеты повсякому — и в военном, и в одних рубахах, — от жары, что ли, и в белых платках вместо баб по ржи ходят, наш берег высматривают.

Мне приказано было точнее всего разведать деревню П. и тамошнюю переправу. Это уж совсем в ихней гуще.

Тут я подобрался весь, пал на землю и, чуть дыша, пополз.

Ползу. По пути — речушка, через нее мостик. Ползу. Доски скрипят. Я совсем сжался. Скатился на тот берег и в рожь. Опять бугор. Карабкаюсь выше и выше. Осталось мне до деревни триста метров.

Только я стал подыматься на ноги, а передо мной — солдат. Из окопа, дьявол, вылезал. Он меня не видел, а я его. И вдруг мы с ним враз поднялись и тут глазами встретились.

Как я его не убил — не знаю. Это меня и спасло. Подними я стрельбу, тут бы мне и каюк.

То ли он со страху ослеп, то ли в пыльной моей одеже за красноармейца меня не признал, только обращается он ко

мне со словами. И представьте, по-русски. Коряво, но я его понимаю.

— Стой! — говорит.

Я стою, а у самого руки в карманах, пистолеты щупаю.

— Куда идешь?

Вижу, он меня за местного жителя принял. Я и ляпнул:

— Домой! К отцу, к матери!

— Откуда? — говорит.

— Из тюрьмы.

Он от моих слов успокоился, надулся, заважничал:

— Проходи, а то застрелю.

И ружьем показывает, как стрелять будет. Мне того и нужно — скорее от него отвязаться и дальше итти. Делаю вид, что все понял, поворачиваюсь и — ходу!

Спустился я ниже, к самой переправе, нащупал броды и приметные места запомнил, чтобы лейтенанту Калинину потом подробно все описать. Ползу еще дальше, но очень тихо и медленно, потому что прямо ихней обороны достиг. Всюду окопы, блиндажи в шесть-семь накатов. И главное, что удалось высмотреть, — окопы с бронированными щитами. Щиты дерном обвалены, сверху кустики понатыканы, листья пожелтели, пожухли. И стало мне ясно, что фашисты готовятся к обороне. В другом месте, на колокольне, трех наблюдателей заметил. Я это дело для наших артиллеристов припомнил. У церкви опять минометы, а за деревней две бронемашины. Знали бы, что я тут, вот кутерьма поднялась бы. Солдат — две-три роты. Одни в шапках, другие в касках. Видно, не мылись давно, завшивели. Погоди, думаю, зима придет, и вовсе гнить станет падаль фашистская.

Так я приказ выполнил — всюду, где сказано, побывал. Вернулся я обратно к реке, мост перешел, а там и наших часовых встретил. Понятное дело, задержали. Кто таков? — говорят. Я им все объяснил, а им, видно, было оповещение, что с немецкого тыла человек выйдет.

— Ступай, — говорят, — к своей части.

И тут только усталость пришла, и голод я впервые за сутки почувствовал. Спал я в ту ночь так, что пушек не слышал, а очень гремели — наши части в наступление поднимались.

И стал я с той поры настоящим разведчиком.

Сегодня ночью опять иду. Туда. За реку, в ихний тыл.

Е. КРИГЕР

★

Казачья честь

Казачий взвод ворвался на одну из окраин Ростова первым. Немцы в этом районе сидели крепко. Автоматчики простреливали почти каждый метр подступов. Пробиваться казакам пришлось в пешем строю. Коноводов с лошадьми оставили в укрытии.

Увидя, что казаков не очень много, немцы попытались перейти в контратаку.

— Братцы, честь свою казачью отстаиваем! — крикнул бойцам командир взвода, рослый, чубатый казак.

И этот клич снова поднял казаков. Не выдержали немцы натиска, начали отходить. А с других сторон их теснили тоже казачьи взводы, эскадроны и многочисленные роты стрелковых частей Красной Армии.

— Как ваша фамилия? — обратился к командиру казачьего взвода командир соединения, руководивший боем.

— Алексей Курганов, — ответил казак.

— Хорошо дрались вы и ваши казаки. Умеете беречь казачью честь, — похвалил командир соединения.

А в ночь сабельный взвод, которым командовал Алексей Курганов, получил новое боевое задание. Немцы, выбитые из Ростова, поспешно отступали на запад. Нужно было продолжать их разгром на дорогах, уничтожать технику, истреблять живую силу.

Казачьему взводу было приказано проскочить в тыл отступающего врага и взорвать мост, находящийся на пути их отхода. На пробки будет налетать наша авиация, сосредоточит свой огонь артиллерия.

— Понимаете, какое важное дело вам доверили? — обратился к взводу командир эскадрона.

— Все понятно. Задание будет выполнено! — ответил Курганов.

Ночью казачий взвод, обогнув отступающие немецкие части, зашел в тыл. Впереди взвода на рыжем горячем

дончаке скакал командир — Алексей Курганов. Саперы в вьюках везли подрывные мины. Кони устали, но казаки торопили их. К утру мост должен взлететь на воздух.

Недалеко от моста взвод спешился. К мосту пробирались ползком. Разведчики сообщили, что мост уже охраняется многочисленным нарядом.

— Первому и второму отделениям уничтожить охранение противника, — приказал командир взвода. — Остальным отделениям и саперам следовать за мной!

К утру вражеские солдаты, стоящие на охране моста, были почти все уничтожены. А когда из-за льдов Азовского моря взошло солнце, то, вместо моста, уже стояли вздыбленные к небу быки. Возле моста уже сгрудились немецкие машины и танки. Офицеры и солдаты выскакивали из машин, ругались, нервничали. У моста копошились немецкие саперы. А над мостом в небе слышался гул моторов советских самолетов. Фашисты в панике бросились по полю врассыпную.

Обратный путь взвода был значительно труднее. Двигаться пришлось днем, на виду у отступающих немецких частей. Кое-где казаки отваживались в конном строю атаковать бегущую немецкую пехоту. Но на одном из участков за казаками погналось немецкое бронетанковое подразделение. Пули и снаряды визжали над головами.

Конный взвод скрылся в ближайшей балке, но в это время у командира лопнула седельная подпруга. Пришлось казаку спрыгнуть с коня и под огнем переседлывать. Казаки повернули обратно на выручку своему отважному командиру. Но Курганов приказал бойцам скакать дальше.

— Я догоню вас, пробирайтесь по балке!

Немецкие танкетки тем временем все ближе и ближе подходили к тому месту, где возился с седлом Курганов. Рыжий дончак стоял возле хозяина, вздрагивая золотистой шерстью. Вскоре танкетки, окружив казака, перестали стрелять. Из машин выпрыгнули солдаты и устремились к коннику:

— Живьем хотите взять, в плен? — зло произнес Курганов и выругался. — Не выйдет, не старайтесь!

Как только фашисты подобрались на расстояние выстрела, казак спокойно достал из кобуры пистолет и выстрелил в ближайшего офицера. Тот рухнул на землю. Вслед за этим он сделал еще несколько выстрелов. Немцы ответили ожесточенным огнем, но пули, свистя, летели мимо.

Переменив обойму, Курганов сделал еще несколько выстрелов. Затем вынул обойму. В ней остался один патрон. Конь стоял рядом невредимый.

— Это для тебя, мой боевой друг, чтобы ты не достался врагу, — мрачно произнес казак. Затем вставил пистолет дончаку в ухо и, закрыв глаза, нажал на крючок.

Конь, вздрогнув всем телом и глубоко вздохнув, опустился на передние ноги. Затем, еще раз вздрогнув, медленно начал валиться набок.

— А это для твоего хозяина, — так же мрачно сказал казак, доставая гранату. — Не попадаться в плен — это тоже дело казачьей чести.

Он взвел гранату на боевой взвод, вставил запал и, немного помедлив, с силой тряхнул ее в руке. Граната, соскочив с боевого взвода, щелкнула.

Так, не пригибаясь, со спокойным, но грозным лицом, рядом с трупом золотисто-рыжего дончака, приложив гранату к груди, казак стоял на виду у немцев...

Когда замолк грохот гранатного взрыва и рассеялась мерзлая земляная пыль, в тыл немцам затрещали пулеметные очереди и защелкали выстрелы. Неожиданность на фашистов подействовала так, что они бросились обратно.

Это казачий взвод, в первый раз ослушавшись приказа своего командира, все же возвратился и теперь шел ему на выручку.

Но казака Курганова в живых уже не было. Свято храня казачью честь, он предпочел умереть смертью храбрых, чем сдаться врагу в плен. Своей смертью он помог конникам разгромить еще одно бронетанковое подразделение врага. Фашисты, увлекшись охотой за командиром, не заметили, как казаки зашли им в тыл.

Подняли казаки изуродованный труп своего верного командира и, перекинув через седло, поскакали с ним по балке вперед, к своим. А когда вышли к берегу Дона, на холм, с которого хорошо виден Ростов, стали рыть могилу. Мерзлую землю копали шашками.

А когда зарыли, то долго стояли, опустив головы, сняв мохнатые бараньи шапки с острым красным верхом. Затем два чубатых донца принесли с берега большой валун, отшлифованный вешними водами Дона, бережно положили его на могилу и чернильным карандашом написали:

«Славному сыну Дона. Освободителю родного города. Защитнику святой казачьей чести».

В. ЗАБОЛОТНЫЙ

★



Танковый таран. Рис. худ. А. Бочкова



Трофейные танки. Зарисовка с натуры худ. В. Хвостенко

Боец Садоха

Закрыв тяжелые ворота,
Посты расставив во дворе,
Под Новгородом немцев рота,
Разувшись, спит в монастыре.

Но стекла вышибло гранатой,
Старинный монастырь оглох,
За белой каменной оградой
Сбивает с ног переполох.

Огонь. Рвут темноту гранаты...
Панкратов с ротой шел не зря:
Бегут немецкие солдаты
Из женского монастыря.

А выход из ограды узкий,
И, чтобы немцу не уйти,
Стоит, как витязь древнерусский,
Боец Садоха на пути.

И штык его до основанья,
До самого ствола — в крови...
Когда нет подвигу названья,
Ты подвиг песней назови.

СТЕПАН ЩИПАЧЕВ

★

Слепень

Глядя на Прохора, вы, наверно, захотели бы спросить: правда ли, что за плечами этого беспечного, беззаботно улыбающегося человека больше двухсот боевых вылетов? Правда ли, что в его активе сотня воздушных боев? Может ли быть, чтобы этот присяжный балагур, как ни в чем не бывало, сунул уже в мешок два десятка немецких самолетов? Но достаточно вам перехватить любовный взгляд, каким полковник следит за своим любимцем, когда тот этого не замечает, и вы все поймете.

Полковник не любит выражать свои чувства бурными излияниями.

Единственный раз, когда полковник открыто высказал восхищение, оно относилось именно к Прохору. Оно не отличалось многословием или яркостью выражений, но все хорошо знали, чего оно стоит.

— Слепень, а не человек, — сказал полковник. Во взгляде его сверкнули искры такого задора и гордости, что всем нам стало весело. Относилось это определение к одному из ценнейших качеств, какие может проявить летчик: к умению навязать бой противнику и довести его до конца, даже тогда, когда единственным, ясно выраженным желанием немца бывает «удрать, удрать во что бы то ни стало».

Второй, не менее яркой особенностью Прохора является чувство боевой дружбы, доведенное до высшего предела. Если Прохор видит товарища в беде, ничто не может уже удержать его от атаки. Соотношение сил теряет всякое значение. Из этого вовсе не следует, что Прохор неспособен к рассудочному анализу обстановки, не умеет проявить расчетливость и хитрость там, где нельзя взять напором. Но, чтобы понять, как сочетаются эти противоречивые качества в одном человеке, нужно пролежать под крылышком бок о бок с Прохором не день и не два.

Шли упорные бои. Их исход решал судьбу борьбы за один из секторов на подступах к Москве. Части приходилось работать с напряжением бо́льшим, чем когда-либо. Кроме обычной работы по прикрытию своих штурмовиков, на нее была возложена оборона воздуха в районе станции.

Прохор принял очередное задание. Как всегда, несколько минут одинокой задумчивости над картой. Собраны летчики. Задача разъяснена каждому. Даны ответы на вопросы. Минута, и «маски» из голых покрытых инеем деревьев упали с самолетов. Ведущее звено во главе с Прохором выруливает на старт. Быстрая тень его истребителя проносится над аэродромом, делается все меньше, исчезает...

Противника в зоне над станицей еще не было. Прохор воспользовался этим, чтобы пройти несколько к западу. Оттуда, с выгодной в отношении света позиции, было лучше наблюдать за воздухом над станцией. Прохор держал свое звено на высоте двух тысяч метров. Отсюда была возможность отразить вражескую попытку проскочить к станции и на больших и на малых высотах.

Километрах в четырех севернее озерка Прохор заметил группу фрицев. Это были «Мессершмитты-109». Они шли с превышением в тысячу метров и со стороны солнца. Прежде чем Прохор принял решение, один из его ведомых вдруг качнул «оставьте меня», сунул газ и пошел один навстречу противнику. Повидимому, он хотел отвлечь от себя противника, но Прохор понял, что для остальной пары положение создается невыгодное: у противника преимущество в высоте, идет он от солнца и группой, а свое звено разбито. Прохор качнул второму ведомому «следовать за мною» и пошел набирать высоту, чтоб занять исходное для боя положение. Немцы явно потеряли желание драться, несмотря на свое численное превосходство. По всей вероятности, им предстояло прикрывать свои бомбардировщики, идущие на станцию. Но именно поэтому Прохор и решил навязать им бой. Но тут он неожиданно увидел, что летит совершенно один: куда-то исчез и второй ведомый.

Быстро работает мысль. Взор обыскивает пространство, чтобы оценить положение противника. Вот несколько оторванно от других идет звено «мессеров». Прохор решает развернуться на восток, так, чтобы атаковать немцев, как он всегда делает, — в лоб, прорваться сквозь их строй и увлечь их в погоню за собой. Так же мгновенно, как работает мысль, совершают движения руки и ноги, шевелится оперение, машина ложится в крутой разворот, и... Прохор видит: на хвосте у него висит четвертый немец. Зная, что «Ме-109» не любит крутого виража, Прохор именно виражем уходит от севшего на хвосте немца и одновременно отрывается от первой группы врагов. Несколько секунд передышки. Ис-

пользуя их, Прохор спешит набрать сколько может высоты. Берет на себя, дает газ. Рука еще довершает движение сектора, а повернув голову, Прохор уже видит в хвосте у себя новую пару фрицев. Попытка оторваться ничего не дает. Немцы жмут на полный газ. Прохор принимает решение: уйти от врага пикированием до бреющего. Ручка от себя. Машина валится на нос, и... Прохор видит над собою еще трех немцев, а выше и еще одного. Теперь их уже семеро против его одного. Но размышлять уже некогда — вот она земля, страшный враг летающего человека. Скорее ручку на себя. Самолет выходит из пике. И человек и машина чувствуют, какого напряжения стоит им этот маневр. Но человек и машина должны выдержать любую перегрузку: на хвосте немцы, их семеро. Короткий взгляд на компас: курс — чистый запад. Как раз обратное тому, что нужно Прохору для выхода к своим. Во что бы то ни стало лечь на курс 90! Нога жмет педаль...

«Мессершмитты» упрямо не дают развернуться. Слышно, как стучат их пули по корпусу самолета. Машину толкает разрывом снаряда. Прохору ясно: его гонят к расположению врага. Хотят посадить живьем. «Кофе пить везут», — мелькнула было озорная мысль, но тут же сменилась другой: «Неужто конец?.. Нет, врешь!» Рискуя зацепиться за землю, Прохор на бреющем вводит машину в бочку. Недоделав фигуры, обратным разворотом вправо выводит машину в сторону ближайшей пары немцев. Самолет оказывается на курсе 90. Полный газ! Все семеро немцев с хода проскакивают мимо. Прохору удается оторваться от дистанции огня. Теперь жать и жать. Сектор дан доотказа, но немцы снова у него на хвосте. Настигают. Занимают прежние места. Прохор пробует пошуровать ногами, но свирепые очереди тотчас заставляют держать прямо. Только прямо — иного пути нет. Машина несется над самой водой. По поверхности лесного озера летит вихрь брызг, срываемых винтами восьми истребителей. По сторонам крутые берега озера. Они сближаются. Озеро делается все уже. Оно превращается в теснину с крутыми обрывами высоких берегов. Немцам приходится менять строй, чтобы не врезаться в берега. Всего доля секунды, но ее достаточно Прохору: разворотом с набором высоты он выскакивает над берегом. Перепрыгивает через лес. Немцы снова проскочили за хвостом. Нужно использовать эти несколько секунд, чтобы опять лечь на свой курс. Над самым лесом, едва не цепляя крылом за деревья, Прохор разворачивается до девяноста. Послушная машина вращается почти на месте. Ее крыло стоит вертикально. И сразу в поле зрения Прохора оказываются четыре немца. Три остальных куда-то исчезли. И то дело! Четверка строится крестиком и начинает поливать Прохора огнем со всех сто-

рон. Прохор пользуется каждой лощинкой, каждой складочкой местности, кустами, просеками. Машина утюжит деревья. Взгляд Прохора шныряет вокруг, отыскивая новые укрытия, но, как борзые, вцепившиеся в благородного оленя, несутся по его следу четыре «Мессершмитта». При каждом повороте головы, при каждом нажатии педали Прохор видит сверкание их очередей... Однако движения Прохора быстрее вражеских пуль. Едва заметив начало немецкой очереди, он дает ногу. Истребитель послушно отворачивает. Сверкание выстрелов с другой стороны — другая нога. Так удается уберечь машину от попаданий в жизненные части. Пусть бьют по консолям, по корпусу. Только бы не поразили мотор и баки. Спасти машину, спасти себя, чтобы снова в бой!

Прицельная очередь резанула по фюзеляжу. Прохор бросает машину в открывшуюся справа ложбину. Правый немец проскакивает над головой, едва не зацепив винтом преследуемого. Ложбина тесна. За самолетом остается полоса оголенного леса, и листья сорваны струей винта. Пусть-ка «мессера» попробуют его тут достать!

Рядом с самой кабиной вспыхивает молния — снарядный разрыв. Осколок рассекает бровь. Кровь заливает глаза. Ничего не видно. Едва успев столкнуть на лоб очки, Прохор почувствовал, что мазанул машиной по кустам. Беречься земли! Но кровь стекает на глаза; багровый полог застилает все. Выхода нет — впереди только кровавый туман. Нужно садиться. Прохор проводит рукой по глазам. Сверкнул свет: просека. Зашел на посадку. Один за другим два снаряда рвутся у самого затылка. Осколки впиваются в голову, в руки, в колени. Последним усилием Прохор выравнивает машину. Вершины леса шуршат по брюху истребителя. А сверху — ясно слышно теперь сквозь гул притихшего мотора — беснуются пулеметы четырех «мессеров». Истребитель вибрирует от ударов пуль. Впереди перед самым лицом вспыхивает молния, гремит оглушающий взрыв: «Пушка мессера»,— отвечает сознание. Лицу становится жарко. Все плывет в багровом покое.

* * *

Выслушав доклад о том, что Прохор не вернулся с задания, полковник сжал зубы. Загорелое лицо, налившись кровью, стало еще пунцовее, глаза сделались маленькими и злыми. Полковник знал, что враг за все получит сторицей. Он знал, что за каждого из наших людей воздастся вдвойне и втройне, но... слепень?! Слепень не вернулся.

Полковник знал, как трудно вырваться из цепких лап семи преследователей даже такому искусному летчику, такому напористому бойцу, как Прохор, и все-таки сказал:

— Вернется! — он хотел придать своему голосу уверенность. Может быть, кое-кто поверил ему.

Прошли сутки, другие. В каждом возвращающемся самолете все хотели видеть истребитель Прохора, хотя все уже были убеждены, что общий любимец погиб смертью храбрых в неравном бою. Мрачнее всех ходил капитан, бывший ведомым в последнем вылете Прохора и первым покинувший строй. Он клял себя за то, что в пылу боя дал немцам увлечь себя в сторону, оттянуть от командира. Капитан лучше других знал, что из такого боя нельзя вернуться целым, но и он, потупя голову, повторял вслед за другими:

— Может быть, вернется...

— А то нет! — бодро говорил полковник. Глаза его снова загорались злым огоньком. — Если в нем есть хоть капля крови, непременно вернется.

День четвертого октября подходил к концу. Свирепый осенний ветер гнал по аэродрому тучи пахучих желтых листьев, гнул стволы березок, среди которых прятались истребители.

Противник продолжал ожесточенное наступление в обход. Голова его танковой колонны, пробив, как тараном, наше расположение, застряла на лесных дорогах. То и дело взлетали наши штурмовики, чтобы долбить по этой голове. Противник знал, что едва ли не самым страшным врагом его танков являются наши штурмовики. От них невозможно укрыться ни в лесах, ни в болотах. Их бомбы и пушки настигают везде. Переворачивают танки, рвут им гусеницы, вдребезги разносят машины с пехотой. Противник стремится парализовать на аэродромах штурмовики и истребители. То и дело рвался он к нашему аэродрому, пользуясь каждым облачком. А облаков сегодня, как назло, много. Тяжелым пологом мчатся они над нами, время от времени рассыпаясь тонкой снежной крупой, уныло стучащей по крыльям самолетов, по затвердевшим листьям засыпающих на зиму деревьев, по стеклам наших землянок. Вдали ухнула очередь разрывов, другая. Немец ошибся. Бомбы легли совсем не в тот лес, где прячутся наши аэродромы. Не успели мы по звуку определить, куда развернулись бомбардировщики, как слышим совсем низко над самым леском стрекотанье самолета. Ошибиться нельзя — «У-2». Кто бы это мог быть? Свои все на месте. Задание? Нет. Это не связная машина, а лимузин. Что за нежданный гость?

«У-2» садится. От него отделяется фигура. Машина тотчас снова выруливает на взлет и уходит. Высаженный пассажир медленно, неуверенным шагом бредет по аэродрому. Мы выжидательно смотрим. Сощурившись, стоит полков-

ник. Его лицо на минуту мрачнеет, потом так же быстро разглаживается. Он резко оборачивается:

— А ну, что я говорил?!

Он быстро идет навстречу прибывшему. Его спутники нерешительно делают несколько шагов следом. Прохор!

Прежде чем мы нагнали полковника, он уже был около Прохора. Мы с удивлением увидели, что наш, обычно сдержанный на слова и жесты, командир широко раскрыл объятия, принял в них летчика и трижды поцеловал.

Опознать Прохора по лицу было невозможно. Вся голова его представляла собою белоснежный ком бинтов. Правая рука на перевязи. Свободной левой он опирался на палку.

— Дома? — ласково бросил полковник, заглядывая в отверстие в бинтах, сквозь которое глядел улыбающийся глаз моего друга.

— А то как же! — Прохор криво улыбнулся опухшей губой.

— Кто говорил, что он не вернется? — полковник обвел нас искрящимся от радости взглядом. А когда наш полковник глядит такими глазами, нельзя не улыбаться. Все улыбались. Улыбались боевые друзья Прохора — летчики, улыбались штабные командиры, улыбался техсостав и связисты, шире всех, показывая ряд белых зубов, улыбался стоящий в стороне капитан — напарник Прохора. Оказалось, он был вынужден оставить его в бою из-за отказа мотора. Он боялся, что это явилось причиной гибели его лучшего друга и боевого товарища.

Позже, у койки Прохора, все услышали рассказ о его бое и заключение этого рассказа, которое вы еще не знаете:

«... Прижали они меня, — медленно шевеля распухшими губами, говорил Прохор. — Как сел, не помню. Пехотинцы мне потом сказали, будто выкатился я из машины, как мешок, и упал. Фрицы надо мной елозят и строчат по мне, как могут. А я поднялся, прикрыл плечи парашютом, — заметь: значит, котелок-то работал, — и пошел к лесу. А оттуда мне бойцы кричат: «Ложись, убьют». Подобрали меня и на перевязочный. Там я очнулся, когда в затылке стали ковырять, вынимая осколки. Сунули меня потом в самолет и — в Вязьму. Там мне дали направление в тыловой госпиталь. Гляжу я на эту бумажку, и так это мне грустно делается: «Неужели ж с родной частью расставаться?» И вижу я тут: идет под окошком знакомый человек — дружок мой по школе, а форма на нем аэрофлотская. Окликнул:

— Сашок!

— Прохор, ты аль нет?

— Чем ты тут командуешь? — говорю.

— Диспетчер, на вывозке раненых, — говорит.

Поговорили. Мне тут мысль пришла. Тихонько я ему:

— Друг ты мне или нет?

— Вопрос! — говорит.

— Недоразумение у меня вышло. Ваш летчик из молодых, видно, был. Вез меня в часть, а привез вон куда. Тут меня за раненого сочли и чорт его знает куда отправляют. Часть меня ждет, а лететь не на чем. Дай самолет, коли твоя власть.

Поглядел он на мое оформление:

— Врешь ведь, Прохор.

Я в вираж:

— А говоришь друг. Самолета дать не можешь.

Видно, совесть в нем заговорила: дал».

Прохор не успел закончить рассказ. В дверях избы появился полковник, следом врач.

— Дома? — весело спросил полковник.

— А как же иначе, — так же весело откликнулся Прохор.

— Дома-то дома, — сказал врач, — но я все же не могу его тут оставить.

— Ну, ну, перестаньте, — сказал полковник, и глаза его сузились. — Какой смысл увозить летчика из части? Потом ни он нас, ни мы его не найдем.

— Закон остается законом, — настаивал врач, — я не имею права оставлять в таких условиях тяжело раненного.

— Это кто же тут тяжело раненный? — Прохор поднялся на койке. — Кто тут раненый, я спрашиваю?

Чтобы не волновать его, мы вышли из избы. Но уговоры все же ничего не дали: врач стоял на своем. Единственное, чего добился полковник, — Прохор будет эвакуирован в полевой лазарет, ближайший к расположению нашей части, чтобы оставаться у нас на глазах.

В тот же вечер мы заботливо уложили в санитарку нашего любимца, в душе уверенные, что расстаемся навсегда. Даже полковник ходил мрачнее тучи. Он знал, что в боях будет не до лазарета.

— Предали, — зло скривил губы Прохор, когда я выходил из санитарки, — а еще друзья. Эх!..

Подпрыгивая на замерзшей грязи, автомобиль исчез за лесом. Вдали ухали разрывы немецких бомб. Ярко горели в небе трассы очередей наших ночных истребителей.

Часть неожиданно переменила стоянку. Сборы были короткими. Штабной эшелон уходил на своих автомобилях перед рассветом. Последние звезды тонули над ним. Мутная пелена снега нехотя отступала перед фарами. Снег густо налипал на ветровое стекло. Щеточки прочищали в нем дорожки, которые тотчас снова забивались мокрыми сне-

жинками. Под баллонами хрустело сало дорожных луж. Проезжая большое село Карманово, я вспомнил, что именно здесь должен быть госпиталь, в который собирались поместить Прохора. Когда мне удалось, наконец, отыскать здание больницы, уже почти совсем рассвело. Холодный свет утра вливался в широкие окна пустых и гулких палат. Ни Прохора, ни других раненых не было. Молодой фельдшер не знал ни того, куда ушел госпиталь, ни того, куда эвакуированы раненые. Не без раздражения захлопнув дверь больницы, я направился к своей машине мимо неприглядных сараев, загромождавших больничный двор. У одного из покосившихся сарайчиков послышался осторожный свист. Я не сразу определил, откуда он доносится. Дверь сарая приотворилась, и просунувшийся в щель чей-то палец таинственно поманил меня. Я распахнул дверь сарая, и необыкновенное зрелище представилось мне: из-за поленниц дров высовывалась белая чалма бинтов.

— Тсс... — прошипел ее обладатель, — костоломы убрались?

— Неужели Прохор?! — крикнул я в изумлении.

— Тсс!..

Это был он. В больничном белье, завернутый в одеяло, он спрятался сюда, чтобы не ехать с эвакуирующимся госпиталем.

— Ты с ума сошел, — сказал я. — Хотел замерзнуть и погибнуть?

— Всего только присоединиться к своей части, — уверенно ответил он. — Вы же должны были за мной заехать.

Нагнав автомобиль полковника и докладывая ему о Прохоре, я ждал гнева. Но вместо этого глаза его блеснули смешком.

— Слепень, а не человек, — с удовольствием произнес он.

— Придется снова сдать его врачу, — сказал я.

Смешок сразу пропал в глазах полковника.

— Пока не доедем до новой стоянки, врачу ни звука... Право, настоящий слепень. Что в немцев, что в своих: вопьется — не отстанет.

Однако видеть Прохора он отказался и приказал передать ему, что не одобряет его проделки.

Я с удовольствием завернул Прохора в свой кожан, усадил в кабину и приказал двигаться в путь.

— Как только приедем, сдам тебя врачу, — сказал я для острастки.

— Поживем — увидим, — спокойно ответил он. — Дай-ка пока закурить.

НИК. ШПАНОВ

Наблюдательный пункт

Эта дорога считалась очень опасной, и капитан решил проскочить ее на карьере. Как обычно, разведка была поручена Кряжеву. Кряжев прошел дорогу туда и обратно, почеркал что-то коротеньким карандашиком в полевой книжке и доложил командиру дивизиона:

— Первые две батареи обязательно проскочат до того, как противник откроет огонь. Третья в случае чего может свернуть в лес. Есть там узкий проселочек. Трудно, но пройти можно.

Быстрота решения и маневра определяла все. Капитан отдал необходимые распоряжения. Бойцы с возбужденными лицами садились на передки, переглядывались. Ездовой первого орудия подмигнул Митюхину, ездовому второго орудия, и сказал с нарочитым пренебрежением:

— Отстанешь — плохо будет...

А Митюхин ответил, едва взглянув на товарища:

— И как только таких в артиллерию берут! Сидеть бы тебе в обозе.

И оба, засмеявшись, бросились по своим местам.

Первая батарея ринулась с места и сразу скрылась в желтых облаках пыли. Вторая за нею. Сильные, крупные лошади, разгорячившись, рвались вперед, и ездовые только глядели — не наскочить бы на передних. Командир третьей батареи, шпоря своего буланого коня, поглядел на дымок разрыва, на второй, вспыхнувший в стороне, и подумал:

«Тут и полк проскочит, пока вы нас, немцы, в вилку будете брать».

Новые позиции находились близко от противника. Готовился удар короткий, резкий, неожиданный. Пехота уже накапливалась на исходных позициях, быстро и бесшумно уходя в землю, маскируясь так ловко, что, проходя мимо, трудно было подумать, что тут прячутся многие сотни людей, а танки, покрытые ветвями, терпеливо ждут начала атаки.

— За нами дело, — сказал капитан, прочистив путь. — Идите, Кряжев.

Оба скупо улыбнулись, как люди, хорошо знающие друг друга, и Кряжев со своими бойцами отправился вперед.

Этого худого, сероглазого, молчаливого командира хорошо знали не только в дивизионе и в полку, но и во всей дивизии. Стрельба батарей, где наблюдателем был Кряжев, считалась мертвой, крушила наповал.

Лейтенант шел как будто неторопливо, но споро, зорко слушал и смотрел. Глядел, не видно ли чужих следов, радовался, когда близко вспархивала с куста птица, — никто, значит, до сих пор не спугнул ее. Связисты разматывали провод, ловко укрывая его под хвоей, под травой. Один тащил маленькую рацию—двойная связь была гарантией точных передач на командный пункт дивизиона. Это был маленький, но очень крепкий, очень сбитый коллектив, душой которого был Кряжев. Они все ближе подбирались к противнику, выискивали удобное возвышенное место. Грохот орудий, треск пулеметов, тяжелые, глуховатые взрывы мин, после которых густой волной колебался воздух, — оставляли всех их равнодушными, — это был привычный шум их работы.

— Река, товарищ лейтенант, — тихо доложил Зимин и осторожно сложил на землю рацию. Он знал, что сейчас Кряжев поползет вперед, как это делал он всегда, а остальные будут ждать, пока лейтенант не укажет им наблюдательный пункт.

Земля была влажная, сырая после недавнего дождя. Птицы молчали, только одна где-то в ветвях несколько раз пыталась петь и замолкала. Река кривым синеватым клинком рассекала лес. Кряжев ползал по берегу, искал. Лег между двух холмиков и, водя биноклем, ловил движение на другом берегу. Река была узкая («Речонка», — подумал Кряжев), и совсем близко от себя лейтенант увидел чужие зеленоватые фигуры, увидел, как несколько человек, подбодряя себя криками, с трудом тащили вперед увязающее в грязи орудие. Он все отмечал и запоминал, выбрал пункт наблюдения, вернулся, подозвал бойцов. Попутно заметил по рябоватой поверхности воды мелкое место и засек его, — здесь смогут в атаке перейти наши танки. Удобно улегся в свое гнездо, в каких-то полутораста метрах от неприятеля, взял трубку. Услышал голос командира дивизиона, низкий, чуть хрипловатый басок, и доложил ему, что все у него готово.

И когда шрапнель, своя, родная, с визгом пронеслась над его головой, когда затем добротно ударили гаубицы, он уже больше ни о чем не думал, наблюдал, давал поправки, выкрикивал цифры и иногда, вдавливая в трубку губы, говорил укоризненно:

— Куда бьете? Левей, еще левей, чуть вперед... Ох! Хорошо, накрыли!

В самый разгар боя вдруг отказал провод.

— Зимин! — крикнул Кряжев. — Включай радио, провод исправить!

Надел наушники, которые ему тут же подал Зимин, и продолжал работу.

Приполз связной — ефрейтор Сухой, показав знаками (лейтенант был в наушниках), что провод исправлен, и протянул ему трубку телефона. Минуты через три Кряжеву понадобился ефрейтор. Он увидел его внизу под холмиком. Сухой, завернув штанину, перевязывал ногу. Сквозь вату, сквозь перехваты бинта ярко проступала кровь.

— Когда ранили? — отрывисто спросил Кряжев. — Почему не доложил?

— Да какая же рана! — с досадой ответил Сухой. — В мясо ведь, товарищ лейтенант. Немцы сзади у нас. Двоих я снял, а там еще гады бродят...

Кряжев кивнул ему и схватил трубку. Немцы были уже у самой реки, и он быстро передал новые данные. Он приказал своим бойцам отползти немного назад и остался один. Противоположный берег был совсем близко, всего в нескольких десятках метров, и когда ударили в него первые наши снаряды, взрывная волна достигла Кряжева. Он наблюдал. Еще оставалась узенькая кромка у самой воды, и там копошились немцы, готовясь к переправе. Считалось, что наблюдатель должен так корректировать огонь, чтобы снаряды ложились не ближе, чем в полутораста — двухстах метрах впереди от него. Сейчас же наши снаряды рвались в какой-нибудь сотне метров от Кряжева. Но он следил за кромкой и ровно негромким голосом передал команду. Он прищурил глаз — как сейчас лягут снаряды? — и довольно улыбнулся. Первый ударил в воду, метрах в трех от берега, второй — в самую кромку. Комья земли, щепы от раздробленных деревьев и брызги воды долетали до лейтенанта; стукнул рядом в дерево маленький осколок. «Свой», — подумал он с каким-то особым чувством и, подавляя возбуждение, крикнул в трубку:

— Так, так, веером немножко, так их, прямо в лоб, чаще давай!

Теперь он сам находился под огнем своих орудий, но не было времени думать об этом. Жадно прощупывал он глазами каждый уголок того берега, и где только замечал еще нетронутое местечко, направлял туда огонь. Вся картина сокрушительного удара нашей артиллерии развернулась перед его глазами, и в эту минуту все его внимание и силы направлялись на то, чтобы сделать этот удар еще сокрушительнее, смертельнее. И, увидев, как прямо против него

немцы толкали в воду надувные лодки, серые и толстые, похожие на гиппопотамов, и, подумав, что, может быть, через минуту эти лодки будут на другом берегу, он хрипло крикнул:

— Шрапнелью, шрапнелью... перелет, теперь хорошо!

Фактически он обстреливал самого себя, свой наблюдательный пункт. Когда шрапнель взорвалась недалеко, почти над ним, он хотел инстинктивно отбежать, укрыться. Но тогда нельзя было бы видеть, и он продолжал оставаться на своем месте, невольно поеживаясь, когда со свистом проносились над самой его головой шрапнельные осколки.

Первая лодка, пробитая во многих местах, стала похожа на простой брезент. Мертвые валились из нее, живые плыли обратно. Вторая перевернулась, третью уже не пробовали спустить на воду. Большая сосна с треском перегнулась над рекой и падала долго, мучительно кряхтя. И сквозь падающие деревья, сквозь сбитые огнем сучья Кряжев увидел, как все живое бежало в глубь леса, увидел, как вдруг показались там неуклюжие танки (до сих пор он не мог обнаружить их) и уходили вглубь, подальше от реки, и, зажмурившись, прокричал в трубку, чтобы перенести огонь на двести метров дальше.

Он недоверчиво оглядел себя, улыбнулся и машинально погладил трубку микрофона. Оглядел берег, биноклем нашаривая, не осталось ли здесь фашистов, и прислушался к большому гулу, который нарастал сзади из леса. Прихрамывая, вышел ефрейтор Сухой и, боязливо поглядывая на командира (он опасался, как бы тот не отослал его из-за раны назад), весело крикнул, показывая назад:

— Пошли, пошли наши в наступление, товарищ лейтенант. Эх, и идут!

И Кряжев посмотрел на лес. Выскочили оттуда могучие машины, пронеслись к реке, к мелкому месту, указанному им, и, вздымая столбы воды, вскочили на тот берег. Кряжев отложил трубку.

— Собирай имущество! — приказал он. — Наблюдательный пункт переносится вперед!

КИРИЛЛ ЛЕВИН

★

Красноармеец Михаил Соколов

По плавням прибрежным, по вязким болотам
Выходит в атаку стрелковая рота.
Над мутной рекою едва рассвело,
Но видят бойцы за пригорком село.
Там избы пылают, там женщин пытают,
Там стоны и ночью, и днем не смолкают,
Там все опозорено злобным врагом...
За это село мы в атаку идем.
Нам помнятся лица Галины и Люды,
Девчат-комсомолок, бежавших оттуда.
У брода речного, где топи да ил,
Их встретил вчера Соколов Михаил.
И лица девичьи — в безмерной печали,
Они говорили, но больше молчали.
И было молчание горестней слов —
И это не может забыть Соколов.
Он шепчет невнятно, но всем нам понятно,
Что он говорит нам: ни шагу обратно!
И смело идут комсомольцы за ним,
За ним, кареглазым комсоргом своим,
За ним, с кем делили и службу и отдых,
За ним, запевалой в тяжелых походах,
За ним, кто так пламенно только вчера
Про честную смерть говорил у костра.

Идут храбрецы атакующей роты,
Выходят на поле, политое пóтом,

На землю, где время стоять бы жнивью,
На землю родную, твою и мою,
Где сникли в бессилии тучные нивы...
И гневные вспышки снарядных разрывов
Вскипают над линией.
— Вперед, комсомольцы! — зовет Михаил.
Пригнется на миг, офицера заметив,
И — выстрел. И меньше фашистом на свете.
А немцы в щетине нескошенной ржи
Опять уползают в свои блиндажи.
Из логовищ волчьих стучат автоматы,
Над полем проходит «ура» перекатом.
В штыки уже впору пойти бы. Но вот
За кочками слева стучит пулемет.

Губителен с фланга огонь пулемета,
Но движется рота, но движется рота,
И только приказ командира: «Залечь!»
Бросает нас наземь... Да, жизни беречь
Умеем мы так же, как смерть презирать,
Когда это требует родина-мать.
Не зря командиру понятно без слов,
О чем призадумался ты, Соколов.
Ты хочешь хлебами пробраться до кочек —
Туда, где фашистский залег пулеметчик.
Ты хочешь засаду гранатами снять —
И рота пойдет в наступленье опять.
Ты знаешь, что ждет тебя смерти угроза.
Ты помнишь одно — материнские слезы,
Ты слышишь одно лишь — младенцы кричат,
Ты видишь одно лишь — пытают девчат,
Ты пальцами рвал бы, зубами загрыз бы
Врага за сожженные мирные избы,
За скорбный и горестный взгляд стариков!..
С двумя смельчаками пополз Соколов.
И вскоре услышали мы, молчаливы,
Четыре коротких гранатных разрыва.

Еще мы прождали двенадцать минут,
И видим мы: два красноармейца ползут.
Приносят товарищи труп Соколова.

Не слышно ни слова. Молчанье сурово,
Как клятва над гробом, как скорбный салют,
Как песня, с которой на подвиг идут.
И строем железным на вражьи высоты
Выходят в атаку стрелковые роты.
Нет слов, чтоб священную месть описать,
Но сердцем, товарищ, ты сможешь понять.
Фашисты сдавались под натиском стали,
А кто не сдавался — штыками достали,
Откапывали из окопов живьем,
Чтоб в землю втоптать их прицельным огнем.
И сделала ярость и гневная сила
Окопы фашистов глубокой могилой
Для бешеных псов, для жестоких врагов!
Так был отомщен Михаил Соколов.

Ц. СОЛОДАРЬ

★



Рис. с натуры худ. И. Титкова

Летчики и танки

Выпал первый снег. В одну ночь он закрыл ровной, пышной пеленой черную подмосковную землю. На рассвете с севера на юг проносились рваные седые облака, все подсыпая и подсыпая белой пороши.

Засыпаемые снегом, на ровном поле стояли люди в меховой одежде, в разноцветных унтах, нетерпеливо переминаясь с ноги на ногу.

— Первая пороша, — что может быть лучше для охотников!

Нахмурив дремучие брови, прищурив горящие глаза, впереди всех, большой и немного сутулый, как медвежатник, стоял Леонтий Драмарецкий. Рядом с ним маленький и ловкий Петр Шитов. Здесь же Егор Пономарев, с детства участвовавший в волчьих облавах степной Башкирии, и москвич Алексей Мясин, видавший волков и медведей только в зверинце.

Все они нынче охотники за танками и думают только об одном — как бы не упустить такого случая, как первая пороша. Прекрасно поохотились они и по чернотропью. По охотничьему календарю так называется то время глубокой осени, когда опавший лист уже загнил и почернел на тропах, когда леса оголились и зверю нигде нет пристанища.

Немецкие танки, зашедшие в леса и завязнувшие в грязи, стали сверху видны, как на ладони.

Наши пикировщики целые дни вились над подмосковными рощами и дубравами, поражая прямым попаданием тяжелые танки, указывая штурмовикам наибольшие скопления железного зверья.

Совместная охота была такой удачной, что штурмовики вылетали по четыре раза в короткие осенние дни. После каждого вылета на лесных полянах, где дачники любили собирать грибы, на проселках, по которым проезжали только телеги с молоком, оставались обгоревшие и поломанные остовы фашистских бронированных чудовищ.



Летчики находили их везде, где бы они ни прятались. Охотник за танками должен быть зорок, хитер и наблюдателен.

— Танк — он от самолета куда хочешь залезет. Один раз смотрим — на краю села большой стог соломы, молотилка, недомолоченные снопы. Колхозная картина, одним словом... А под стогом оказались танки.

Залезают они и в избы. Как ткнет в простенок, так бревна и выдавит. А сам под крышу. И сидит, выставив гляделки. Сверху как будто обыкновенная деревня, а глядишь — она с начинкой.

— Однажды мы заметили танки под мостом, который был наполовину разрушен.

— Зимой им будет хуже, следы видны...

Молодой штурман, младший лейтенант Степанов, которому разрешен полет, внимательно прислушивается к разговору «стариков», имеющих по тридцати вылетов на танковые охоты.

Признаться, он в свой первый полет не разглядел даже места, откуда били по нему зенитки. Так близко мелькала земля, что леса, деревни, поля и речки сливались в одну серую карусель.

Только опыт дает возможность летчику разглядеть на бешеной скорости и танки, и машину, и спрятанные зенитки.

Снежные облака поднялись немного выше. Совсем уже рассвело. Пора в полет. Командир вполголоса сообщает задание. Летчики быстро прокладывают на картах заданный курс. В воздух летит ракета, и один за другим боевые самолеты уходят вверх. На аэродроме остается небольшая группа людей, и среди них раненый Константин Брехов.

Это самый страстный охотник за танками. По самым скромным подсчетам, он истребил их не менее семидесяти штук. Но вот фашистский снаряд разорвался совсем близко. В левой руке до сих пор еще сидят осколки. Рука уже действует, но врачи еще не разрешают летать. Напрасно убеждает их Брехов, что для летчика самое главное — правая рука.

Пропустить вылет по первой пороше, — что может быть досаднее?

Но на медиков не действуют его авиационные доводы.

Время ожидания тянется нестерпимо медленно. Мотористы и воентехники то и дело поглядывают на часы. Накануне командование ВВС Западного фронта наградило большинство из них именными часами за самоотверженную и образцовую подготовку самолетов. И сержант Иванов, и младший воентехник Свичкарь непрочь лишний раз взглянуть на заслуженные подарки.

Брехов первым слышит отдаленный гул моторов. Одна

машина, другая, третья... Поднимая снежную пыль, слегка покачивая длинными, широкими крыльями, самолеты важно заруливают на свои места. Пробоин почти нет. Царапин и вмятин мало. А ну, каковы результаты?

Докладывает старший лейтенант Шитов:

— В районе цели встретили снегопад и низкую облачность. Пользуясь знанием местности, решили прорываться. В деревне Б., как и сообщала разведка, застали ночующую часть противника. Ночлег охранялся несколькими дивизионами зенитной артиллерии. Но противник не ожидал налета, и солдат у орудий не было. Деревня подожжена и разрушена бомбометанием без всяких помех. Наблюдались отдельные солдаты противника, выбегающие из домов в нижнем белье...

Докладывает старший лейтенант Драмарецкий:

— Большую группу танков удалось обнаружить по следам. Они зашли в лощину и стали в круг. Внутри круга поставили грузовики с пехотой и автоцистерны. По всей видимости, опасались ночевать в деревне из-за ночных бомбежек. Следы говорят, что они пришли в лощину среди ночи, после сильного снегопада. При налете группа не успела рассредоточиться. Стрельба снарядами была очень удачна. Наблюдали пожары. Хорошо бы послать туда пикировщиков. Солдаты частью побиты, частью разбежались и растащить танки быстро не успеют...

Докладывает младший лейтенант Мясин:

— Противник все больше лезет в теплые помещения. На окраине деревни Т. нами были замечены танки, покинутые командами. Водители ночевали в избах. При открытии нами огня стали бежать из деревни прочь от танков. По всем данным, в деревне спрятана большая танковая часть — во все сараи ведут следы гусениц... Разрешите сделать второй вылет на ту же цель.

Разрешение получено. В этот день было сделано четыре вылета.

Быстро спустился зимний вечер. Все охотники за танками собрались в жарко натопленном просторном доме. После хорошего ужина — мертвый час. Сняв тяжелые меховые комбинезоны, гимнастерки, летчики расположились по-домашнему.

Мясин и Драмарецкий затеяли единоборство на шахматном поле. Их сильные, большие руки, только что сжимавшие ручку управления либо штурвал, осторожно передвигают шахматные фигурки. А мысли далеко.

— Дисциплинка-то у них все падает... Ты заметил, Алеша, как танкисты от танков улепетывали? Это что-то новое... Гарде королеве! — Драмарецкий прищуривает глаз, вспоминая:

— Бывало, побьешь танки, — через час прилетишь, их уж

нет, — в ремонт утащили... А теперь? Ты видел, сколько на дорогах брошенных танков?

— Зима, — односложно отвечает Мясин. — Шах королю!

— Зима нынче ранняя, как при наполеоновском нашествии...

— Наполеон? Наполеон к этому времени уже из Москвы бежал, а они еще и Бородина не испытали...

— Испытают похуже Бородина...

За окнами снова идет снег. Крупный, холодный, обильный. Опять предвидится хорошая пороша. Что может быть лучше для охотников за танками!

НИК. БОГДАНОВ





Баллада о красноармейце Демине

Земля дорогая в пепле, в золе.
Горячий июльский зной.
Фашистские танки идут по земле,
По нашей земле родной.

И встали мы грозно на их пути,
Вкопались в землю до плеч!
Чтоб им не пройти, чтоб им не уйти,
Чтоб их, ненавистных, сжечь!

Мы любим отчизну, с ней смерть победим.
Кто мыслит не так — умрет!
И здесь против танка один-на-один
Демин боец встает.

Но рано он встал. Мгновенье одно
Ему б подождать еще,
Коль пуле врага лететь дано, —
И вот она бьет в плечо.

Хочу, чтоб понятно было всем,
И стих не хочу тянуть...
Пятнадцать метров...
Десять...
Семь...
Осталось танку рвануть.

И счет на секунды ведется. Не лгу,
Тут песню бы надо сложить

О том, как крикнул Демин врагу:
— Не жить тебе, гад, не жить! —

Мы, что завоевано, не сдадим,
Об этом знает любой.
И вновь против танка один-на-один,
Превозмогая боль,

Демин стоит, и кровь течет,
И ненависть бьет ключом,
Бутылка с горючим летит в броню
И танк предает огню.

За то, что плечо пробил, — гори!
За все, что ты сжег, — гори!
За то, что пришел сюда, — умри!
За то, что ты гад, — умри!

АЛЕКСАНДР ПРОКОФЬЕВ

★



Таинственный союзник

В одну из октябрьских ночей я находился на острове Хорсен. Не ищите его на картах мира, он нанесен лишь на мореходках среди бесчисленных шхер вокруг полуострова Ханко.

Издалека островок кажется необитаемым нагромождением скал, гранита, сосен и густой лиственницы — вот такими-то и представляешь себе сказочные робинзоновы острова.

Когда-то Хорсен, действительно, принадлежал одному финскому Робинзону, обосновавшему тут тихую гавань контрабандистов. Владелец острова построил в лощине на его северной стороне каменный дом и посадил там картошку. Но сельское хозяйство, видимо, прельщало его меньше тайных ночных путешествий к чужим берегам на моторном баркасе.

Когда после прошлой войны с белофиннами наши войска пришли на Ханко, этот островок был так же пустынен, как и весь полуостров.

Владелец Хорсена, разорив свой дом, бежал.

На острове поселились пограничники. До сих пор сохранилась пограничная вышка, где день и ночь, наблюдая за водами залива, дежурили краснофлотцы.

Стратегически Хорсен выгодно расположен. От материка его отделяет всего лишь полтора кабельтовых. Окруженный множеством маленьких островков и заросших мхом скал, он господствует над западными подходами к Ханко. Потому с первых дней войны начались кровопролитные бои за обладание этим выгодным клочком земли.

Финны поджигали снарядами лес. Они пытались отбить у нас Хорсен и установить там пушки для обстрела полуострова. Хорсен переходил из рук в руки, пока десантники из морского отряда капитана Гранина не закрепили его за нами вместе с группой других островов.

Война изменила облик этого красивого острова. Она

обнажила его скалы, выжгла на нем лысины, грубо и жестоко покорежила его густую растительность.

От единственного дома осталась черная труба и на некотором расстоянии от нее — половина подвала, превращенного в самостоятельную постройку — санчасть отряда. Даже трудно представить себе, что труба и подвал — части одного и того же дома.

В естественных укрытиях, под навесами скал, расположились подразделения краснофлотцев. В скале, в котловине возле восточного берега Хорсена, в тесном капонире, отделанном со всем возможным на острове комфортом, находился командный пункт отряда.

Начальник штаба отряда капитан Попик присмолил к столу свечу, насыпал из ракетного патрона в чашечку мыльного порошка и, взбив белую пену, стал намыливать свою темную, давно не бритую щетину.

Капитан Лев Маркович Тудер, командир острова, сидел по другую сторону стола на своей узенькой койке с гитарой и, перебирая струны, напевал:

Раскинулось море широко,
И волны бушуют вдали...

А комиссар, Степан Александрович Томилов, — наш, московский — он учился в академии на Садовой, не кончил ее и попал вот сюда, на островок, в первые дни войны, — комиссар крутил рычажки радиоприемника, силясь поймать родную речь.

Эфир был заполнен до невозможности. Пищали морзянки о кораблях, нашедших могилу на дне морей и заливов, о подводных катастрофах, об угасших жизнях. Ворчала какая-то финская дама, убеждая жителей Суоми, что тощий паек в Хельсинки и ежедневные бомбардировки — это испытание от бога, и надо, мол, терпеть. Гнусавил джаз какого-то нейтрального кабака. Языков было много, но Москву, нашу родную Москву Томилов никак не мог поймать.

Кто-то заговорил по-русски — незнакомый дикторский голос, но с такой арийско-финской транскрипцией, что Томилов сердито стукнул кулаком по динамику, сказал свое привычное — «Бенц!» и в растяжку проговорил:

— Я тебе погнусавлю, сорока проклятая. Хоть бы научились по-русски наш Ленинград называть. А то вон как — Лэнинград, Лэнинград...

И, переключив волну, снова побрел по миру.

За тонкой стенкой в штабной каюте сидел оперативный дежурный краснофлотец Манин. Возле него несколько телефонов, связывающих Хорсен с передовыми островками и наблюдательными постами. Манин, обхватив голову руками, читал чертовски интересную книгу Густава Эмара. Он прогла-

тывал две-три строки о прериях, лихих всадниках, о всевозможных таинственных приключениях, но тут пищал телефон над ухом, Манин с досады засекал ногтем интересное место на страницах книги, раскрывал штабной журнал, схватывал трубку в одну руку, в другую — перо:

— Утка слушает, утка слушает! Обстрел «ворона» финскими минометами? Записал. Опять добро переводят зря. С пеленга 123? Понятно. Продолжайте наблюдения.

И снова прерия, всадники, стрелы, далекий неведомый край.

Сегодня Манин получил из Москвы письмо. Пишет девушка. Она прислала ему маленькую фотографическую карточку. Милая девушка, и мне она понравилась, когда я глянул в этой скалистой конуре в холодной Балтике на юное улыбчатое лицо землячки. Девушка, девушка, милая москвичка! Сколько радости доставила ты нам в ту беспокойную октябрьскую ночь, на чужбине, своей маленькой фотографией. Она не принадлежала Манину, нет. Это была наша общая ласточка оттуда, с Большой Земли, из нашего города, где не один из нас оставил кусок сердца и души. Мы все грезили в ту ночь о тебе, нам хотелось, чтобы над тобой в этот час светила такая же луна, холодная, но спокойная, чтобы мирный ее блеск не затмила черная, зловещая тень и чтобы совсем не было этих теней больше над нашим городом, над землей.

Томилов переключал приемник то на короткие, то на средние. Вдруг слабо прорвалась Москва.

Попик решил бриться лишь один раз.

И Манин в своей дежурке уже тише отзывался на телефонные вызовы.

Мы стихли, слушая знакомый домашний голос диктора, то уходивший далеко-далеко, то говоривший, кажется, из соседней комнаты.

Шум пришел извне, откуда-то со стороны. Над головой нашей послышался протяжный свист, потом свист за свистом, и глухие раскаты удара, будто кто-то настойчиво, нетерпеливо стучал сверху в наш капонир.

— Ах вы лоботрясы белобрысые, — рассердился Тудер, — послушать не дают. Манин, запроси острова об обстановке.

В соседней комнате Манин стал вызывать остров за островом, тихо повторяя одно слово:

— Обстановка?

Остров, зашифрованный под именем «Сокол», доносил, что слышит на финском острове Фурушер перестрелку.

— Так там же Резник с ребятами? — взволнованно сказал Томилов.

— Точно, — подтвердил Тудер, — восемь разведчиков.

Надо немедленно послать подкрепление. Щербановского ко мне.

На финском острове Фурушер находились восемь наших разведчиков. Они пошли туда загодя, в единственный темный час вечера, когда солнце уже скрылось, а луна еще не взошла.

Финны приходят на этот остров редко. Восемь краснофлотцев, под командой снайпера Резника, незаметно подошли на веслах к чужому берегу, высадились, беспрепятственно обшарили островок, пробираясь по бурелому скошенных снарядами деревьев, скрываясь в камнях и скалах. Шлюпку они отправили обратно. Обследовав остров, разведчики дали сигнальным фонарем «буки» — их прочитали на соседнем острове и доложили командиру, что разведка начала операцию благополучно и осталась в засаде.

И вот теперь с этого острова доносилась перестрелка. Видимо, там произошло столкновение и требовалась помощь.

Главстаршина Щербановский, бородач, отчаянный человек, моряк торгового плавания, побывавший во всех странах мира, исключая Албанию и Китай, явился к капитану Тудеру через несколько минут.

— Отправляйтесь на «Сокол», — приказал ему командир, — оставьте там часть своих людей и с остальными к Фурушеру на помощь разведке. Действуйте по обстановке. Все восемь разведчиков должны быть сняты с острова. Ясно?

— Ясно, товарищ командир, — заикаясь, подтвердил Щербановский, — Ив-ван Петрович Щ-Щербановский н-не подведет тт-товарищей, — эти слова он произносил уже у выхода, закидывая на ремень свой трофейный, добытый в бою, автомат «Суоми».

— Неисправим, — усмехнулся Томилов, — потравить любит как никто у нас на острове. Но в бою — орел. Самый надежный человек.

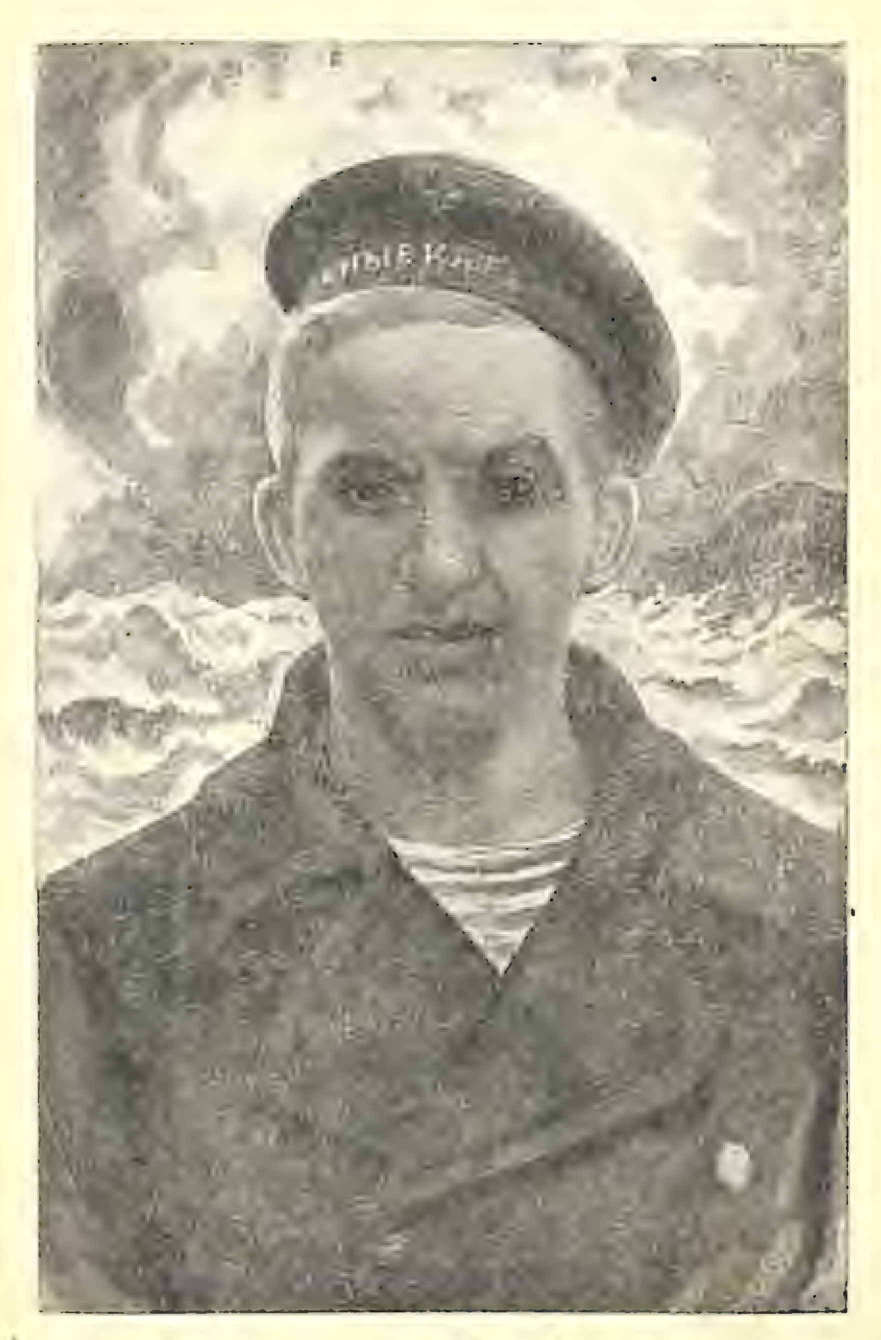
Судьба восьмерых наших товарищей зависела сейчас от быстроты действия Щербановского и его бойцов; мы ждали вестей с «Сокола», с Фурушера, с других островов, настораживаясь при каждом писке телефонных аппаратов.

Манин отложил в сторону Густава Эмара. Он держал наготове перо и левой рукой прижимал трубку телефона, связанного с «Соколом». Оттуда докладывали ежеминутно, юное пухлое лицо Манина раскраснелось, вот блеснули его глаза, и он снова произнес:

— Утка слушает, да, Иван Петрович, это я, Манин!

И, прикрыв рукой микрофон, радостно сообщил командиру:

— Товарищ капитан, Щербановский уже там, у аппарата.



Краснофлотец Родионов. Рис. худ. В. Смирнова

Тудер взял трубку.

— Что там происходит, товарищ Щербановский? Что? Бой на Фурушере? Человек плывет? Следите за пловцом.

Манин записал в журнал, что с Фурушера на «Сокол» плывет какой-то человек.

Все сидели молча. С «Сокола» то и дело сообщали, что пловец приближается. Ему надо было проплыть семьсот пятьдесят метров по холодной ледяной воде. Кто он? Что там произошло?

— Т-товарищ командир, — докладывал с «Сокола» Щербановский, — л-луна проклятая здорово светит, финики все видят...

— Т-товарищ командир, — они бьют снарядами по воде...

— П-пловца заметили, бьют в него...

— Ныряет, м-молодец, в такую холодную воду ныряет...

— Т-товарищ командир, в вилку его взяли...

— Ох, как бьют, и в нас бьют...

— Держится, т-товарищ командир, держится...

— Что-то кричит — не разобрать...

— Шлюпку просит, шлюпку. Сейчас возьмем его...

«Сокол» на время замолчал. Наверно, там побежали к берегу вытаскивать пловца.

Но вот снова слышен голос Щербановского:

— Т-товарищ командир, это Родионов, мой краснофлотец. Орел! Совсем голый приплыл. Сейчас заверну его в ш-шинель и дам к ап-парату.

Через минуту к аппарату подошел Родионов.

Он докладывает с трудом, сбивчиво, — замерз. Его послали с донесением товарищи.

Финны, оказывается, спокойно шли всю ночь на четырех катерах к своему острову, зачем-то перебрасывая туда большую группу солдат. Есть основание предполагать, что ими была намечена десантная операция.

Разведчики подпустили катеры почти к самому берегу, но зацепиться за берег не дали, взяв шюцкоровцев под перекрестный огонь автоматов и ручных пулеметов.

Внезапность, сильный обстрел, да к тому же еще несколько связок гранат привели финнов в смятение. Катеры беспомощно заметались, один из них пошел ко дну, слышны были стоны, крики; другие — развернулись и ушли обратно. Но ясно было, что вскоре вернутся к этому острову с подкреплением, и горстке бойцов придется туго. Надо было просить помощи и дальнейших указаний. Родионов, молодой, худенький парнишка, прозванный краснофлотцами за свою политическую развитость «комиссаром», быстро разделся и на риск поплыл к «Соколу».

— Наш,— улыбнулся Манин,— московский...

Тудер, ярый ленинградец, свирепо глянул на Манина и сказал:

— Занимайтесь своим делом. Передайте Щербановскому, чтобы Родионову дали спирту и обогрели. Сам пусть отправляется с катером на Фурушер и снимет всех разведчиков до одного. У меня все. Исполняйте.

Тихая октябрьская ночь давно стала уже шумной, трескучей, до нас доносились очереди пулеметов, разрывы мин, свист снарядов. Финны били уже и по нашему острову, и по «Соколу», и по своему — Фурушеру, накрывали снарядами весь фарватер, стремясь помешать нашим катерам выйти на помощь разведчикам.

Щербановский, по донесению «Сокола», ушел с катером на Фурушер.

Долго не было известий. Наблюдатели сообщали лишь о продвижении катера и разрыве снарядов возле него. Потом они потеряли катер из виду. Это были тяжелые минуты неизвестности.

Наконец снова катер Щербановского появился в поле зрения наблюдателя. Но, видимо, не только наши прекрасно его видели, финны тоже заметили маленькое суденышко и решили его не пропустить.

С каждым мгновением разрывы снарядов приближались к катерку. Финские батареи обстреливали его с трех сторон. Щербановский, опытный моряк, маневрировал, но гибель его кораблика была неизбежной, только чудом он мог проскочить сквозь это пекло к своему берегу.

— На чудо рассчитывать не приходится, — сказал Томилов, — придется попросить помощи у Ханко. Давай, капитан, попросим у них огня по финским батареям.

Тудер соединился с командованием на полуострове, доложил обстановку и попросил по возможности умерить пыл финских артиллеристов. Ему обещали, что сейчас вступит в дело тяжелая артиллерия. Но не успел капитан назвать все цели, как запищали один за другим телефоны наблюдательных постов:

— Кто-то бьет по финским батареям трассирующими снарядами!

— Видим разрывы на финском берегу!

— Батареи финнов прекращают огонь!

— Наш катер вырвался из зоны обстрела и идет к «Соколу».

Кто же это помог нам в самую трудную, тяжелую минуту, кто оказался спасителем восьмерых разведчиков и команды катера, кто же был этот неожиданный таинственный союзник?

Все вышли из командного пункта на волю. Над островом стояла удивительная тишина, нарушаемая лишь редкими

ударами каких-то батарей и далекими разрывами снарядов. Даже плеска воды не было слышно. Нигде ветка не шелохнется, не треснет сучок. Мы осторожно пошли к заливу, прыгая с камня на камень, и по скользким уступам поднялись на высокую скалу, где возле одинокого, неведомо как выросшего на граните дерева стоял краснофлотец-часовой. С этой скалы мы видели темные массивы соседних островов, черную густую воду, отполированную лунным лучом, и вспышки орудийной стрельбы в стороне от Хорсена. По небу, вслед за пушечными ударами, метеором пролетали красные трассирующие следы снарядов.

— А, — протянул Тудер, — теперь я знаю: Это бьет наш катер, «Морской охотник», из флотилии. Он патрулирует в этих водах. Молодцы, вот молодцы. Как они во-время и точно открыли огонь.

Вскоре все стихло и на нашей и на финской стороне.

Разведчики сушились на «Соколе».

В журнале боевых действий было записано: «Разведка с острова Фурушер благополучно снята. Задание выполнено. Потоплен один финский катер с солдатами. Имеются раненые на других катерах. Сорвана высадка финнов в эту ночь на их же остров. Краснофлотец Родионов под обстрелом проплыл семьсот пятьдесят метров с донесением. Решающую помощь оказал катер «МО». С разрешения командира Манин от себя добавил еще три слова: «Наш таинственный союзник». Так это название и осталось за «Морским охотником», который и в дальнейшем не раз помогал Хорсену.

Манин вновь взялся за Густава Эмара.

Тудер иронически произнес:

— Сражение при Фурушере окончено, — и вновь взялся за гитару.

А Томилов опять подсел к радиоприемнику в поисках затерянного за эти тревожные часы в эфире родного голоса Москвы.

ВЛАДИМИР РУДНЫЙ



Возвращение

Тщедушный ольшаник не мог скрыть рослого танка. Его орудийная башня виднелась над кустарником как раз на полдороге между нашими и немецкими окопами.

Подбитый танк стоял на пригорке, который усердно обстреливался с обеих сторон. И трудно сказать, отчего так быстро спадала желтая листва на кустах: от пуль или от леденящего прикосновения осени.

Какова судьба танкового экипажа? Что произошло с машиной? Действительно ли ранение смертельно? Или танк можно еще возвратить к жизни?

Мысль о подбитой машине не оставляла Александра Симонова, командира вновь прибывшего танка. Эта мысль сильно занимала и его товарищей по экипажу. Догадки и предположения сменяли друг друга, но все они нуждались в проверке.

Симонов и механик-водитель Кравченко терпеливо выждали наступления беззвездной и безлунной ночи и двинулись вперед. Осторожно, с гранатами в руках бойцы подползли к подбитому танку. У него было разбито снарядом правое ведущее колесо, люк открыт, машина пуста. Окровавленная куртка и шлем танкиста валялись поблизости на траве. Значит, танкисты сами обезоружили свою машину, прежде чем покинуть ее.

Кравченко первым долгом пробрался на сидение водителя и взялся за рычаги. Мотор, видимо, от снаряда не пострадал, но кто-то снял пусковое магнето, стартер. Впереди было много работы. Но разве танк не стоил того? Предрассветный туман прикрыл возвращение разведчиков на свои позиции.

Следующая ночь вновь застала Сашнева и Рачинского в ольшанике. Лежать, притаившись у машины, еще было более или менее терпимо. Но как только кто-нибудь брал в руки молоток или ключ, раздавался лязг железа, немецкие авто-

матчики открывали по кустам бешеный огонь. Они били разрывными пулями.

Тогда танкисты подлезали под машину и терпеливо ждали, пока стихнет обстрел. Затем они снова вылезали и деловито принимались за ремонт. Как будто дело происходило не на линии фронта, а где-нибудь в тихой усадьбе МТС, и речь шла не о танке, а о тракторе, который закапризничал в разгар сева!

Днем четверо товарищей забирались в машину и — «хату на замок». С наступлением темноты они опять предпринимали смелые вылазки. То нужно было притащить деталь со сгоревшей машины, то надо было отыскать ключ для регулировки клапанов мотора. Казалось бы, мелочь, пустяк. А из-за этого ключа едва не приостановился весь ремонт...

Нужно сказать, что фашисты уже на второй день отрезали смельчаков от их окопов. На пути, метрах в двухстах от рощицы, устроили засаду вражеские автоматчики.

Ну что же, Симонов решил искать ключ на поле сражения. Он пополз к сгоревшему немецкому танку, который чернел поодаль, влез в него и нашел там весь нужный инструмент.

Наступили третьи сутки ремонта. Голод напоминал о себе все чаще и настойчивее. Для того чтобы вырыть из земли несколько картофелин, приходилось подползать ночами чуть ли не к самому немецкому блиндажу.

Еще труднее было варить эту картошку. Но здесь за дело взялся башенный стрелок Рачинский. Он вырыл в кустах окопчик, накрыл его ветками, потом отыскал и разрядил несколько снарядов и на бездымном порохе сварил спасительную картошку. Хотелось пить. К счастью, неподалеку от танка в кустарнике разорвался снаряд. Воронка наполнилась водой. Из этой «кринички» люди утоляли жажду.

В другой исковерканной немецкой машине каким-то чудом уцелел бак с бензином. Драгоценное горючее перетащили ночью в котелках, флягах и касках.

Как знать, может быть, мотор уже можно запустить. Но удастся ли вывести обезоруженную машину? Не станет ли она мишенью для врага?

Вот почему Симонов был недоволен ходом ремонта.

— Не может быть, — упрямо твердил он, — чтобы раненый боец или его товарищ могли далеко утащить оружие. Не может этого быть!

И Александр Симонов с наступлением темноты вновь принимался за поиски. Он прилежно лазал по земле вокруг танка, проводил рукой по мокрой траве и на ощупь определил, где срыт дерн, где вскапывали почву. Он истыкал шомполом всю землю вокруг танка, но не прекратил поисков.

И вот, наконец, настал долгожданный миг: шомпол, во-

ткнутый в землю, стукнулся о что-то твердое. Раздался приглушенный металлический звук.

«Неужели! Неужели!» — повторил про себя Симонов, боясь поверить своему счастью.

Дрожащими от нетерпения руками он начал разрывать рыхлую почву. Симонов раскровянил пальцы, но не заметил этого. Еще несколько усилий, и танкист вытащил ствол пулемета. Ствол был бережно завернут в нательную рубаху, пропитанную оружейным маслом. Слава тебе, неизвестный танкист, который снял с себя последнюю рубаху, чтобы прикрыть ею тело пулемета и спасти оружие от ржавчины! Поблизости был зарыт и прицел для орудия.

Может быть, неизвестный танкист еще надеялся вернуться сюда сам. Может быть, он рассчитывал, что другой боец найдет его клад, отмоет оружие от земли, начистит его до блеска, и вновь оно накалится в разгаре боя, как бывало.

Немцы подозревали, что в кустарнике кто-то прячется, но приблизиться не решались. Зато при малейшем шорохе они строчили из автоматов по кустам и по танку. Слышно было, как чиркали пули по броне.

Ответного огня танкисты не открывали, хотя давно заприметили врага: у линии проволочного заграждения — пулемет, у дороги — три снайпера, за бугорком — минометы. Ремонт не был закончен, и люди скрепя сердце молчали, не желая выдавать своего присутствия. Но наступила ночь, и с ней минута, которой все ждали с таким нетерпением: орудие и пулемет были собраны, заряжены и «опробованы».

«Приемка» танка состоялась еще до наступления сумерек. Вспышек огня не было видно, и немцы долго не могли ничего понять. Они не заметили, как повернулась башня боевой машины. Уже третий снаряд разнес пулеметное гнездо врага, первая же очередь из пулемета уничтожила группу автоматчиков. Не поздоровилось и прислуге минометной батареи. На радостях Сашнев во время боя даже затянул песню про трех танкистов, трех веселых друзей — «экипаж машины боевой». Симонов и его друзья мстили за свое вынужденное миролюбие в течение нескольких дней подряд.

Теперь можно было смело заводить мотор. Здоровяк Рачинский взялся за ручку, и через пятнадцать минут мотор подал первые признаки жизни. Оживший танк тронулся с места и пошел вперед, набирая скорость.

Е. ВОРОБЬЕВ

★

Высшая огневая точка

Наша зимняя стужа смертоносна для чужеземца, а белые снега зыбучи, как болотная пучина. И поэтому враг предпочитает дороги, где снега спрессованы колесами машин и гусеницами танков. Враг страшится лесных троп. Теснится к населенным пунктам.

Выбить немцев из занятой деревни подчас так же трудно, как изгнать раненого зверя из норы.

Немецкие солдаты знают, что в открытом поле к огню артиллерии, минометов и автоматов присоединяется голубой огонь русской зимы, который наносит черные, незаживающие раны.

И поэтому выбивать немцев из населенных пунктов не так просто.

Силантьев, глядя вверх, так задрал свою голову, что ушанка чуть было не свалилась на землю. Он сказал:

— Разрешите доложить, товарищ отделенный! Позиция самая что ни на есть подходящая.

Отделенный неопределенно ответил:

— Высоко больно.

— Не выше полторы колокольни, товарищ отделенный, — горячо заступился за выбранную им позицию Силантьев. — А обзор-то какой!

— Обзор подходящий, — согласился отделенный.

Разведчики, задирая головы, еще раз внимательно оглядели позицию.

Эта единственная уцелевшая труба кирпичного завода, превращенного в груды развалин, одиноко торчала в небе тонкой розовой башней.

Ночью Силантьев снова приполз с двумя бойцами к кирпичному заводу.

Забравшись по скобам на вершину трубы, Силантьев сбросил вниз веревку и поднял к себе мешок с гранатами, ручной пулемет и три коробки с дисками.

Помахав рукой, Силантьев простился с бойцами, сел на каменной кромке трубы, свесил ноги в черный колодец и стал ждать рассвета.

Невидимый ветер мчался ледяным потоком. Земля скрылась в белой сухой пене пурги.

До рассвета было еще далеко, а ядовитая стужа все сильнее проникала в тело, и уже не боль, а немеющая тоска подходила к сердцу. Все труднее было дышать этим ядовитым шелестящим воздухом.

Силантьев поднялся и стал на карачках ползать по кромке трубы, чтобы согреться. Но потом он подумал, что немцы могут увидеть его и, немного поколебавшись, спустился на руках в дымоход трубы. Перехватив между ног скобу, он оперся спиной о закопченную, шершавую стену. В трубе было теплее, так как ветра здесь не было.

В жерле трубы над головой Силантьева был вправлен удивительно красивый, сияющий круглый слиток звездного неба. Но смотреть Силантьеву на небо не хотелось. Он думал об одном: выдержит он до утра или не выдержит?

Немцы не худо организовали круговую оборону населенного пункта.

Когда первая рота пошла в атаку, солдаты успели выскочить из теплых домов и, заняв свои места в блиндажах и на чердаках зданий, открыли интенсивный артиллерийский и пулеметный огонь.

Но вскоре одна за другой огневые точки стали неожиданно замолкать.

Обер-ефрейтор, пробираясь от одной огневой точки к другой, выяснил, что солдаты, находящиеся в укрытии, были убиты или ранены в голову и плечи так, словно их били сверху из самолета. Орудийный расчет пришлось менять полностью дважды, хотя орудие было укрыто в силосной яме с крепкими бетонными стенами.

Обер-ефрейтор доложил офицеру. Офицер сказал, что это действует снайпер, и приказал обнаружить его и уничтожить во что бы то ни стало.

Вскоре огонь батареи обрушился на каменную узкую трубу, и от черной ее камфорки на землю посыпались обломки камня. Успокоившись, немцы перенесли все огневые средства по наступающей нашей пехоте. Но вскоре опять снайпер, засевший на заводской трубе, стал выводить из строя немецкие расчеты.

И снова от пушечного огня с раздробленной вершины трубы посыпался на землю битый кирпич. Но проходило две-три минуты, и офицеру докладывали, что пулеметный огонь с трубы вновь возобновился. Орудия открывали огонь, и снова на землю сыпался камень с укороченной трубы. Потом опять снова падали солдаты.

Маневр советского снайпера разгадал фашистский офицер: дав несколько разящих очередей, снайпер, прихватив пулемет, поспешно скрывался в дымоходе трубы и сидел там, пока над его головой разлетался вдребезги камень, потом он снова появлялся на разбитой вершине и открывал огонь.

Бить дальше из орудий бессмысленно. Разве угадаешь, в каком каменном полом суставе трубы притаился этот снайпер?

Офицер приказал посадить в танк подрывников и взорвать проклятую трубу.

Высадив подрывников у подножия трубы, командир танка отвел машину в сторону и открыл беглый огонь по зазубренной вершине, чтобы не дать русскому перебить подрывников. Но в стволе трубы имелись пробоины от снарядов. И вот в одну из этих пробоин, как в бойницу, высунулась рука снайпера, и вниз полетели гранаты.

Подрывники, готовившие запалы, гулко взлетели в воздух. А из противоположной пробоины показался ствол пулемета, и тесная очередь застучала по башне танка.

Командир танка, взбешенный гибелью солдат, открыл методичный огонь из пушки по трубе, намереваясь перебить ее, или, вернее, перерубить ее каменный ствол, как перерубают стволы деревьев.

И когда уже порядочное дупло было выщерблено в каменной колонне, командир танка развернул машину, чтобы с нового места несколькими залпами повалить каменную колонну. Но на вершине трубы поднялся во весь рост русский человек и, взмахнув тяжелой противотанковой гранатой, бросил ее вниз, потом другую, третью, четвертую. И танк, завертевшись на одной гусенице, окутался черным дымом и пламенем.

Ворвавшись в расположение немцев, наши бойцы уже выбивали врага из его нор врукопашную.

Отделенный командир, разгоряченный боем, запыхавшись, подбежал к заводской трубе, ставшей совсем куцой, во многих местах пробитой снарядами и от этого приобретшей сходство с флейтой. Приложив ко рту руку, задрав голову, отделенный закричал:

— Силантьев! Жив или нет?

Отняв руки от рта, он тревожно прислушался. Немного погодя из развороченного огромного дупла в трубе показался Силантьев. Спустившись на землю, он подошел к отделенному, самодовольно, гордо усмехаясь, и протянул руку.

Но отделенный отшатнулся от него. Прислонясь к трубе, махая руками, захлебываясь от смеха, он кричал:

— Да ты погляди, на кого ты похож! Да ты не боец Красной Армии, а негритос или трубочист какой-то!



Рисунок худ. А. Лаптева.

Силантьев стал сердито стряхивать с себя черную пыль, потом сказал:

— Хотел бы я поглядеть на такого человека, который в этой трубе полазил полдня взад и вперед и при этом не извозился.

Взводный успокоился и, наконец, серьезно спросил:

— Ну, а как же это ты, Силантьев, все-таки ловко в трубе так? Это не каждый может.

— Конечно, — согласился Силантьев. — Но только ты запомни: у нас в Туле, когда я по улице иду, мне все металлисты первые «здравствуйте» говорят. Вот тебе и трубочист.

Набросив себе на плечи белый халат отделенного, Силантьев пошел в поселок, чтоб дострелять по немцам оставшиеся у него диски.

Он шел белый, а на белом снегу оставались черные отпечатки сажи, оттиснутые подошвами его сапог.

В. КОЖЕВНИКОВ



Считайте меня коммунистом

Мирной и тихой жизнью жил Максим Афанасьев в родном селе. Работал на тракторе. Ухаживал за девушкой. Откладывал деньги на новый костюм. Потом женился. Было маленькое тихое счастье. Маленькие приятные заботы. О тракторе, о трудоднях, о доме, о новых обоях и пластинках к патефону.

И за всем этим обыкновенным, будничным, мелькающим, как спицы в колесе, все некогда было подумать о большом и главном: о своем месте на земле, о своем месте в борьбе. Так и жил Афанасьев тихой жизнью. Хороший тракторист. Хороший муж. Аккуратный и непьющий человек.

И вот пришла война. Немец напал на нашу родину. Куда-то вдаль отодвинулись маленькие семейные заботы. Над большой семьей — над родиной — нависла беда. Мир пылает. Решается судьба миллионов Афанасьевых. Быть или не быть власти Советов. Быть или не быть нашему счастью.

И когда в первых боях тяжело ранили Максима Афанасьева и товарищи бережно несли его на руках на медпункт, не о молодой жизни жалел Афанасьев, не о доме, не о милой Марусе.

— Эх, — горько шептал он товарищам, — эх, так и не успел стать я коммунистом.

— Товарищи, — прохрипел он, — у людей спросите: я честно выполнял свой долг. Все скажут. Если придется умереть, убедительно вас прошу — считайте меня коммунистом.

«Считайте меня коммунистом». Живого или мертвого. Тысячи просьб об этом. Это самое замечательное, самое великолепное, что есть в нашей великой и святой борьбе.

Никогда не приходилось так много работать секретарю партийной комиссии, батальонному комиссару товарищу Устименко, как в эти дни.

— Народ требует принимать в партию до боя, в бою. Люди хотят итти в бой коммунистами.

И Устименко и его комиссия работают прямо в бою. За дни войны разобрано куда больше заявлений о приеме в партию, чем за шесть предвоенных месяцев.

Каждый день рано утром отправляется партийная комиссия на передовые. Чаще всего пешком. Иногда ползком. Под артиллерийским и минометным огнем.

Где-нибудь в рощице, подле огневой позиции, у стога сена или прямо в поле, или за линией окопов открывает свое заседание партийная комиссия. Тут же под рукой фотограф Люблинский, молодой человек, вздрагивающий при свисте снарядов. Он фотографирует принятого в партию. Нужно срочно изготовить карточку.

Часто бывает, что Люблинский только что установит свой аппарат на треноге, скомандует «спокойно», а вражеский снаряд шлепается неподалеку и «сорвет съемку», засыплет землей фотографа и его объект. Тогда партийная комиссия быстро меняет свою «огневую позицию». Сейчас Люблинскому стало легче работать. К снарядам он привык и вместо старого аппарата на треноге у него «ФЭД».

Принимаемые в партию приходят на заседание комиссии прямо с передовой. На их лицах дым боя. Они садятся на траву. Волнуются. Один нервно покусывает травинку, другой ждет в стороне, курит. Свершается великий момент в их жизни. Они становятся коммунистами. Отсюда они уйдут обратно в бой. Но уйдут людьми иного качества — большевиками.

И хотя вокруг гремит музыка боя, заседание партийной комиссии проходит строго и сурово, как принято. Коротко излагается биография вступающего, взвешивается, прощупывается его жизнь. Достоин ли он высокого звания большевика? Придирчиво и внимательно на него смотрят члены партийной комиссии.

И главный, решающий вопрос задают каждому:

— Как дерешься? Как защищаешь родину?

Семь километров нес на плечах Василий Копачевский своего командира, своего парторга Гурковского. Вокруг были немцы. Немцы наседали. Но не бросил Копачевский раненого парторга, положил к себе на левое плечо и нес. А к правому плечу Копачевский то и дело прикладывал винтовку и отстреливался. Так и нес его семь километров до ближайшего села. Но и в селе уже были немцы. Как нашел здесь повозку Копачевский, как ушел от немцев и увез Гурковского? Чудом! Но вот они оба здесь, среди своих, и боец и парторг. Только сейчас заметил Копачевский, что и сам он легко ранен.

Вот и принимают в партию Василия Копачевского, разведчика с бронемашины.

— Как дерешься? Как защищаешь родину? — спрашивают и его.

Он смущается. Ему кажется, еще ничего геройского не сделал он.

— Буду драться лучше.

— Кто рекомендует?

Парторг Гурковский, которого семь километров сквозь вражье кольцо нес Копачевский, может дать ему лучшую рекомендацию: она скреплена кровью.

Вот стоит перед партийной комиссией Павел Вербич. Двадцать лет ему от роду. Украинец. Молодой боец.

Но уже успел отличиться в боях сапер Вербич.

Он минировал участок под огнем противника. С редким хладнокровием делал он свое дело. Враг бил по нему, по его смертоносным минам — он продолжал работать. И, только заложив последнюю мину, ушел.

— Говорят, на ваших минах подорвались четыре немецких машины и один танк?

— Не знаю, — смущается Вербич, — люди говорят так, а сам я не видел.

Сапер редко видит результаты своего героического труда.

Принимается в партию связист Николай Боев. Только вчера он представлен к награде, сегодня вступает в партию. Боев — морзист. Но эта работа не понутру ему. Он рвется в огонь, на линию, и часто в горячем бою добровольно идет с катушкой наводить линию. Он знает — только геройский, только смелый боец может стать коммунистом. Он честно заработал право на высокое звание.

И Копачевский, и Вербич, и Боев приняты в ряды ВКП(б). Они поднимаются с травы радостные, возбужденные.

— Ну, — обращается к каждому из них Устименко, — оправдаете доверие партии?

— Оправдаем.

— Жизнь за родину не пожалеете?

— Нет, не пожалеем.

И это звучит, как клятва. Они уходят отсюда в бой. Нет, не пожалеют они жизни за родину.

29 августа был принят в ряды партии комсомолец Русинов. 4 сентября он пал смертью героя. Такой смертью, о которой песни петь будут.

— Комсомольцы, ко мне! — кричал он.

И с двадцатью комсомольцами бросился в лихую и последнюю атаку. Это было в бою под Каховкой. К старой песне о Каховке поэты прибавят новые строки о коммунисте Русинове, павшем в бою как большевик.

В грозные военные дни огромной волной идут в партию бойцы и командиры. Еще крепче связывают они свою судьбу с большевистской партией. Они знают: быть коммунистом сейчас трудное, ответственное дело. Они рады этой ответственности. Они знают: быть коммунистом сейчас — значит драться впереди всех, смелее всех, бесстрашнее всех. Они готовы к этому. Они не боятся смерти и презирают ее. Они верят в победу и готовы за нее отдать жизнь.

Такой народ невозможно победить. Такую партию победить нельзя.

Б. ГОРБАТОВ

★



Рапорт Макатахина

Мишу Макатахина мне не удалось повидать. Когда я пришел на остров Хорсен, его уже не было в живых.

Я много слышал о нем еще на полуострове, в обгоревшем городке Гангэ, от товарищей, с которыми он делил годы срочной службы на торпедных катерах.

Все говорили:

— Вот был парень...

— Вот был герой...

Но мало кто мог связно и хорошо рассказать об этом краснофлотце, чтобы я мог представить себе полный, ясный и душевный образ человека.

Рассказали, что он был молод, горяч, любил побушевать. Этот русый, синеглазый юноша бесконечно влюблен был в море. Только и слышали от него:

— Что тут в заливе, в поход бы пойти! Куда-нибудь к океану, в тропики...

Война застала его радистом на маленьком штабном катерке, бегавшем в спокойных водах у берегов полуострова Ханко.

Он стал сразу важен, значителен, потому что одни — чужие — слушали его точки и тире, когда он передавал штабные радиограммы, стремясь разгадать запутанный их смысл, другие — свои — далеко-далеко читали его сигналы как ясную азбуку войны. О многих поступках Макатахина вспомнили уже после его гибели.

Рассказывали, что когда на штабной катерок упал снаряд и разбил кают-компанию, в радиорубке сидел спокойный радист и передавал свои группы шифра.

Когда по полуострову пронесся слух, что капитан Гранин собирает отряд «отчаянных» для десантов на финские

острова и шхеры, к Гранину побежал проситься в этот отряд все тот же радист.

На островах, где и без того все было для него ново и интересно, ему не терпелось изведать самое интересное, и он стал разведчиком: ходить по ночам на шлюпке через минные поля, под самым носом у финских наблюдателей на их острова — это занятие вполне соответствовало романтичной натуре Макатахина.

Его ранили в бою. Товарищи бережно отнесли его на катер и доставили на полуостров в госпиталь.

Через несколько дней Макатахин вернулся на Хорсен.

На пристани его встретил Борис Бархатов.

— Ты куда, орел?

— Туда же, куда и ты, — сердито ответил ему Макатахин, — воевать, — и, прихрамывая, пошел в землянку.

Рана открылась. Макатахина отправили обратно в госпиталь долечиваться.

Через день он снова выполз из катера на пристань острова Хорсен. Не вытерпел.

Его оставили в покое.

Жил он среди всех, как все. Иногда спорил, иногда пел песни, иногда тосковал. После его гибели все как-то душевно заговорили о нем и почувствовали, какой жил рядом хороший человек.

Я хотел разузнать о нем все. И вот среди многочисленных канцелярских документов в штабе острова я нашел четыре листочка, четыре деловых и строго секретных странички, которые говорят мне о нем больше, чем все рассказы его друзей.

На этих страничках из тетради твердым почерком было написано следующее:

Командиру десантного отряда, капитану-орденоносцу товарищу Гранину.

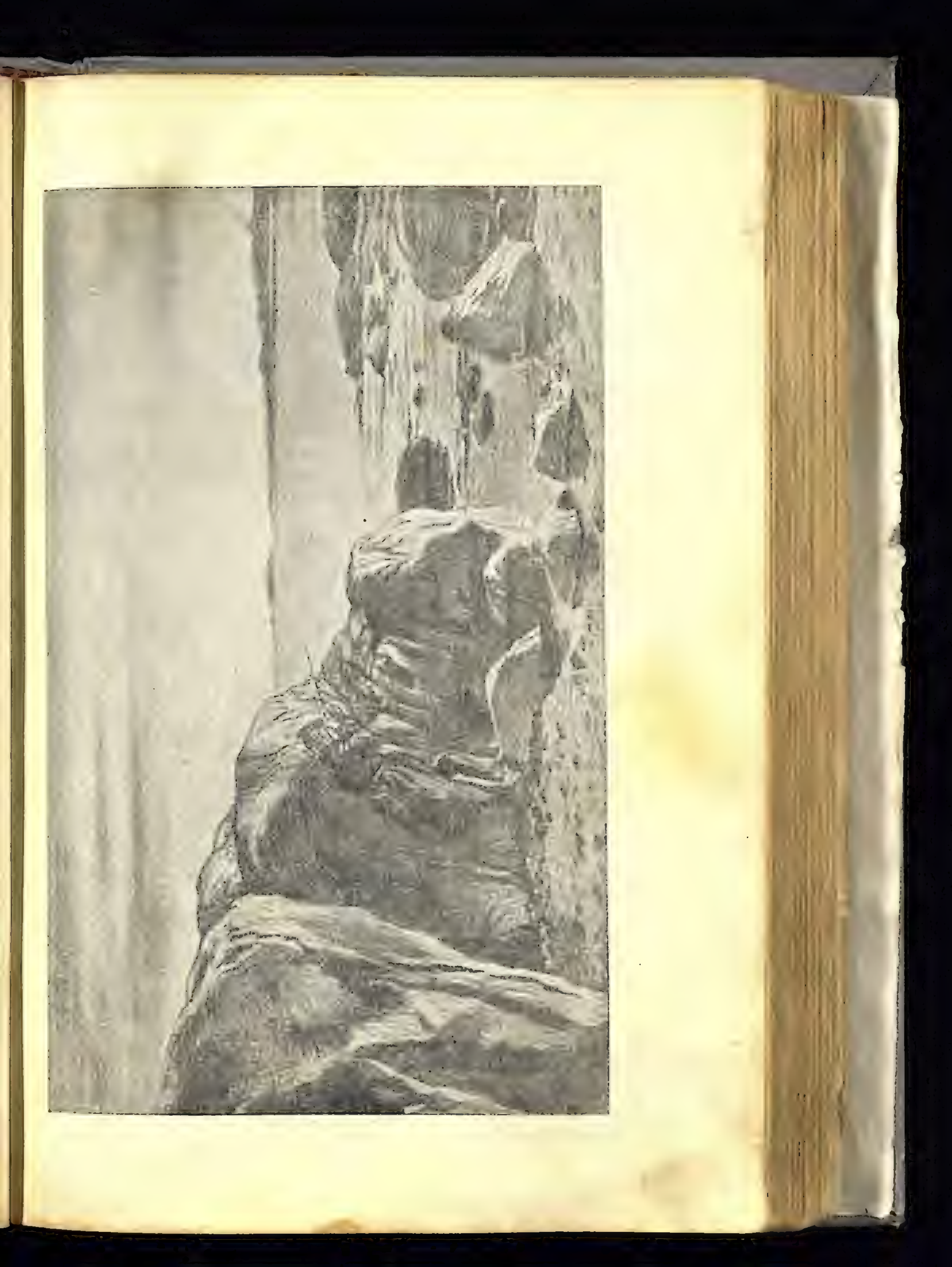
От старшего краснофлотца радиста Михаила Ивановича Макатахина, бойца вашего отряда, из бригады торпедных катеров. Члена ВКП(б) с января 1940 года.

Рапорт.

С целью еще более успешного проведения операций по занятию островов противника с наименьшим количеством бойцов и сокращением наших потерь, прошу вас рассмотреть мой рапорт.

Я предлагаю из одиннадцати коммунистов и комсомольцев организовать диверсионную группу.

Она явится авангардом отряда.



В эту группу подобрать добровольцев, которых у нас привыкли называть героями, но мы назовем их сейчас просто «головорезами», ибо они должны уметь с врагами расправляться по-вражески.

Эти бойцы должны хорошо владеть ножом, гранатой, огнестрельным оружием, быстро бегать по суше, ходить под водой, хорошо плавать, стрелять, грести, стойко переносить опасность, боль и самую смерть.

В задачу диверсионной группы будет входить следующее.

До занятия острова провести туда под водой телефонный кабель и установить телефон.

Очистить десанту путь от мин и проволочных заграждений и с тыла подавить пулеметные точки противника.

Обеспечив высадку десанта, отступать вместе с противником в его тыл.

При этом — уничтожать штабы, пулеметные точки, все виды связи, боеприпасы, взрывать орудия, сжигать постройки, захватывать документы, создавать в тылу у врага панику, если нужно — угонять катеры и по возможности отрезать отступление противника и подход подкреплений.

Командование этой группой прошу доверить мне.

Если среди нас найдутся единицы струсивших перед опасностью, не выполнивших приказаний, прошу разрешить мне расстреливать их собственноручно.

Окончание этой фразы трудно было разобрать. Время стерло несколько строк. Дальше следовал раздел, озаглавленный Макатахиным так: «Подбор бойцов».

Первое. Командир — радист-телефонист.

Второе. Разведчик, в скобках — кошачья ловкость, глаза и уши группы!

Третье. Два сапера с собачьим нюхом — проволоку и мины должны чувствовать в темноте!

Четвертое. Два моториста, хорошо знающие финские моторы на катерах.

Пятое. Рулевой, знающий острова и мины.

Шестое. Снайпер.

Седьмое. Корректировщик.

Восьмое. Артиллерист.

Девятое. Санитар.

Всего — одиннадцать человек.

Кроме того, все должны уметь стрелять из финского оружия.

Число. Месяц. Подпись — *Михаил Макатахин.*

Вот и все.

Он пришел с этим рапортом к скале в центре Хорсена, где находился капонир командного пункта.

Капитан Гранин ежедневно принимал прожектеров. То и дело к нему приходили краснофлотцы, предлагая сногсшибательные проекты — высадиться на несколько дней на эстонский берег и пошуметь в Таллине, пройти от Ханко до Хельсинки и обратно, — люди так жаждали большого дела, что готовы были, кажется, голыми руками увести из Або чуть ли не миноносец, если таковой еще остался в потрепанном финском флоте.

Когда Гранин увидел над рапортом Макатахина два слова — «строго секретно», он тяжело вздохнул и подумал: «Господи, еще один фантазер в моем отряде».

Он прочитал макатахинский проект и испытующе посмотрел на молодого синеглазого краснофлотца, так мужественно изложившего свой план и просившего разрешения «расстреливать струсивших перед опасностью, не выполнивших приказаний, а также пытающихся сдаться в плен — собственноручно».

Нет, это не фантазер.

Автор рапорта невозмутимо ожидал решения.

Ему поверили и разрешили готовиться.

Он стал готовиться, ожидая окончательного решения высшего командования.

Он никому не сказал ни слова, даже самым лучшим друзьям, уже им самим намеченным в спутники.

Но все на Хорсене видели, что Михаил Макатахин поглощен и взволнован какой-то тайной идеей.

А потом был очередной бой, бой за остров.

Рядовым бойцом Макатахин пошел в разведку.

По чужому острову, по незнакомым скалам и лощинкам он вел передовую группу, угадывая в темноте проволоку и мины, точно тот «сапер с собачьим нюхом» — из его рапорта.

Три раза ходил он к финнам в тыл, плыл, полз, ночью разведывая расположение боевых точек противника. Его разведка решала исход боя за остров.

В четвертый раз он ушел и не вернулся.

Его долго искали.

Искать можно было только ночью — этот остров находился на виду у финских снайперов и пулеметчиков.

Ночью моряки шарили по рубежам островов, у берегов

противника, но никак не могли найти Мишу Макатахина.

Только на четвертые сутки, заняв еще один кусок территории врага, наши товарищи нашли труп какого-то краснофлотца в окровавленной тельняшке.

Возле него лежало шестеро убитых финнов и автомат «Суоми». Такой автомат был и у Макатахина.

Но лицо краснофлотца было настолько изуродовано, что его так и не опознали бы, если бы не одна деталь.

В руке был зажат клочок бумаги, надорванный — видимо, краснофлотец хотел его перед смертью уничтожить.

Это был список, список одиннадцати бойцов.

Первой в нем стояла фамилия — Макатахин.

Остров Хорсен, близ полуострова Ханко.

ВЛАДИМИР РУДНЫЙ

★



Парашютный десант. Рис. худ. П. Парамонова

По дороге на Петсамо

Каким образом они появились в тылу, немцы так и не узнали. С моря? Но и в эту и в предыдущую ночь на Баренцовом море бушевал девятибалльный шторм. С воздуха? Но уже третьи сутки небо было закрыто сплошной снежной пеленой. По суше, через немецкие позиции? Но там всюду стояли патрули, и вот уже третью ночь не было слышно ни одного выстрела.

Словом, немцы не знали и не знают до сих пор, как появилась в их тылу рота пограничников, наделавшая в эту ночь такой шум от побережья и до Петсамской дороги. А раз этого до сих пор не знают немцы, не будем лучше говорить о том, как и где прошли пограничники. На то они и пограничники, чтобы везде пройти.

Так или иначе, сто пятьдесят пограничников и двадцать сапер к десяти часам вечера оказались в глубоком тылу немцев, в нескольких километрах от шоссе, ведущего из Петсамо на фронт. Проваливаясь в снег по пояс, передовые разведчики выбрались на скалу, с которой была видна дорога. Здесь, на голой скале, с трудом согревая окостеневшие пальцы, они неподвижно пролежали три часа. В непроглядной тьме разведчики должны были засечь расположение моста — конечной цели похода.

В этом им помогли сами немцы. В одном месте они притормаживали машины. Свет фар на секунду останавливался, потом машины двигались дальше, но острым взглядом уже можно было различить на секунду вырванные из темноты куски перил и мостового настила. Разведчики дали знать. К часу ночи весь отряд уже лежал рядом с разведкой, прижавшись к скале всего в километре от дороги.

Командир и комиссар разделили людей. Политрук Сенькин, лейтенант Егунов и сапер Лебедев — на мост. Лейтенант Якушев — к землянкам: там, у моста, должны быть землянки; лейтенант Сороколат — на дорогу, наперерез идущим к мо-

сту машинам. Остальные — сзади; после совершения диверсии они прикроют отход и примут на себя удар преследующего врага.

Политрук Сенькин, лейтенант Егунов и сапер Лебедев — все трое очень спокойные люди. Именно поэтому их и послали с группой, шедшей на мост. От их спокойствия зависело все. Они не имели права стрелять, прежде чем не дойдут до моста. А если они по дороге наткнутся на часовых, если встретят машины, увидят землянки? Ну, что ж, это их дело, они могут встретить и часовых, и машины, но первый выстрел должен быть в пятидесяти метрах от моста, не раньше, за это они отвечают головой.

Командовал Сенькин. Бесшумно отделив часть отряда, он оставил бойцов у входов в землянки — залечь и ждать выстрела, остальные пошли дальше. В двухстах метрах от моста, в стороне, стояли три домика. Еще часть отряда так же бесшумно отделилась и поползла к домикам. Остальные безостановочно двигались к мосту.

На подъемах и в расщелинах пограничники помогали саперам, тащившим на плечах тяжелые пакеты с драгоценным толом. До моста осталось пятьдесят метров. Уже были видны черные силуэты часовых, когда шедший впереди сержант Гудков в упор наткнулся на вырытые у самого моста землянки. Из-за пригорка выскочил немец. «Хальт!» Гудков пригнулся и выстрелил с колена, немец — тоже. Трассирующие пули прошли над головой Гудкова. Он встряхнул гранату и швырнул ее в немца. Потом, пробежав несколько шагов, швырнул еще две гранаты в открытую дверь землянки и рванулся дальше к мосту.

Ко второй землянке подскочил пограничник Евсеев. Он рванул на себя дверь. Землянка была полна людей. Евсеев хотел швырнуть гранату, но она зацепилась за пояс. Тогда он захлопнул дверь, прижал ее на секунду коленкой, отцепил гранату, и снова, открыв дверь, швырнул гранату туда, в кучу кричащих и беспорядочно стреляющих людей.

Не задерживаясь больше у землянки, Евсеев побежал к мосту, стреляя на бегу. Магазин опустел. Евсеев вынул его и хотел на бегу вставить новый, когда уже у самого моста ему навстречу выскочили двое часовых. Снова истерическое, испуганное «Хальт! Хальт!» — и выстрелы. Евсеев схватил пустой магазин и с криком «Гранаты!» — швырнул его в часовых. Немцы легли. Этой секунды было достаточно для того, чтобы вставить новый магазин. Евсеев скосил очередью поднявшихся часовых и бросился дальше к мосту.

При вспышках было видно, как через мост на ту сторону бежало еще двое часовых. Короткий хлопок выстрела, и один из них раскинул руки, боком через перила упал вниз в черную воду. Путь к мосту был открыт.

— Саперы, на мост! — скомандовал лейтенант Лебедев, и шестеро сапер под взвизгивание пуль вбежали на первый пролет. Со всех сторон беспорядочно стреляли. Сзади слышались взрывы гранат — там взрывали землянки. С того берега трассирующими пулями били немецкие автоматчики. Саперы, прижавшись к настилу моста, непослушными, обмороженными пальцами привязывали тол. Пограничники залегли у моста за камнями и огнем автоматов сбивали каждого показывающегося немца. Любой ценой они должны были удержать это место на пять минут. На пять длинных минут, в которые саперы должны привязать тол, поджечь запал и поднять в воздух хотя бы один пролет моста.

Сзади слышались частые взрывы — это Сороколат и Якушев громили землянки и жгли машины. Еще взрыв, еще, еще, но самого главного, близкого, оглушительного взрыва еще не было. И вдруг, даже прежде чем звук дошел до слуха, всех разом тряхнуло, ударило сильным порывом воздуха. Оглушительный грохот, короткая красная вспышка, и густой, черный, даже на фоне этого черного неба видный столб дыма.

— Взорван! — крикнул сапер, пригнувшись к самому уху политрука Сенькина. — Взорван!

Огрызаясь, пробивая себе путь гранатами, взрывая по пути оставшиеся землянки, стали отходить от моста. Справа на дороге часто стучали пулеметы и все еще слышались взрывы. Это второй и третий отряды продолжали вести бой.

Когда Якушев и Сороколат вылезли со своими отрядами на опушку леса, там, на полянке у дороги, стояла группа немцев. Одетые в темные шинели, они были хорошо видны на снегу. Пограничники ждали: оттуда, слева, где стоял мост, не было слышно ни звука. Немцы были рядом, до них почти можно было дотронуться рукой, но выдержка — прежде всего: сначала мост, а потом уже эти.

Наконец слева донесся выстрел. Это был тот самый первый выстрел, который с колена произвел сержант Гудков, обнаруженный немецким часовым. Услышав выстрел, немцы заметались на полянке, но было уже поздно. Сороколат и Якушев подняли своих пограничников.

Первые гранаты полетели в толпу немцев. Человек десять осталось на месте, остальные бросились врассыпную. Сзади раздался выстрел. Якушев оглянулся. Там, между дорогой и кустами, глубоко врытые в землю, стояли переносные жилые вагончики. Повернув свой взвод, Якушев бросился к вагончикам. Гранаты полетели в окна, в трубы. Отворотив на крышах доски, пограничники стреляли внутрь из автоматов. Кто-то не выдержал, крикнул: «Ура!» Оставшиеся землянки брались приступом, слышался только грохот взрывов и треск сорванных дверей.



Партизаны. Рис. с натуры худ. А. Лаптева



Рисунок с натуры худ. А. Лаптева

Расстреливали немцев всюду — в дверях и окнах, на белом снегу полянки, в кузовах и кабинах машин. Рвали машины гранатами, простреливали моторы бронебойными пулями. За всем этим грохотом и трескотней едва не прослушали взрывов, раздавшихся слева от моста. Взрывы были сигналом к началу отхода. Не прекращая огня, быстро стали отходить с дороги в глубь леса, во впадины и расщелины гор.

Теперь главная задача ложилась на пулеметчиков. Они залегли в камнях у дороги и прикрывали отход.

Последним уходил пулеметчик Тронин. Он бил из пулемета до тех пор, пока рядом с ним уже никого не осталось. Потом пошел вслед за своими. Вдруг откуда-то из ранее незамеченной землянки ударили сразу четыре автомата. Широко раскинув ноги, Тронин поудобнее лег у ствола низкорослой северной березки и открыл огонь. Но автоматчики не успокаивались. Над головой Тронина с березки срезало все ветки, они попадали ему на спину. Тронин решил притвориться убитым.

Он уткнулся в снег, на всякий случай подложив под бок гранату. Прошла минута, было тихо; тогда вдруг в сорока метрах открылась дверь землянки. Немцы выглянули, двое из них были хорошо видны при свете горевшей внутри лампы. Тронин дал длинную очередь. Оба немца упали, двое других захлопнули изнутри дверь и снова открыли огонь. Тогда Тронин по снегу отполз в сторону от пулемета и двинулся к землянке. Когда он добрался до землянки, немцы продолжали стрелять в том направлении, где остался пулемет. Забравшись на крышу, Тронин бросил внутрь землянки одну за другой три гранаты. Все сразу стихло.

Вернувшись и взвалив на плечо пулемет, Тронин пошел догонять своих. Всю ночь, карабкаясь по скалам, перебираясь через ущелья, пограничники двигались назад к сборному пункту. Шли, отстреливаясь, перерезая по дороге провода, мгновенно исчезали в снежном тумане.

Утром в ущелье под высокой скалой собрались все. Последним пришел Тронин. Двое погибли в бою у землянок. Двое, наспех завязав раны, стиснув зубы, сами дошли до сборного пункта. Все остальные были целы, усталые, замерзшие, готовые здесь же на месте стоя заснуть, но живые и здоровые. Сзади остались: взорванный мост, три разрушенных дома, девятнадцать землянок, около десятка уничтоженных машин, двести трупов солдат и офицеров Гитлера.

Командир Лихушин и комиссар Прохоров пересчитали своих бойцов. Через полчаса на скале никого не было. Пограничники исчезли так же внезапно, как и появились, одним только им известным путем.

К. СИМОНОВ

Мост

Прямой и узкий, как лезвие штыка, лег через реку железный мост. И на нем высоко, между водой и небом, через каждые двадцать — тридцать метров стоят наши часовые.

Вправо по берегу за камышами, — а где точно, знают только болотные кулики да длинноногие цапли, — спрятан прикрывающий мост батальон пехоты. На другом берегу, на горе, в кустарнике — артиллеристы-зенитчики.

По мосту к линиям боя беспрерывно движутся машины с войсками, оружием и боеприпасами. По мосту проходят и проезжают в город на рынок окрестные колхозники.

Внизу по реке снуют в челнах рыбаки, вылавливая оглушенную бомбами немецких «Хейнкелей» рыбу.

По песчаной косе маленький колесный трактор, зацепив веревкой за ногу, тянет, оставляя глубокий след, случайно убитого осколком вола.

Перед изъеденной, как оспой, осколками избой-караулкой со сдвинутой набекрень крышей возникает связной от пехотного батальона красноармеец Федор Ефимкин. Он пробрался напрямик, осокой и топью. Поэтому нижняя половина его тела почти до пояса мокрая и черная, гимнастерка же и пилотка на солнце выгорели и покрылись сухой светлосерой пылью. Рыжий ремень до того густо увешан ручными гранатами, что при быстрых поворотах Ефимкина они отходят и топорщатся во все стороны.

Он останавливается возле старшины Дворникова, который пытливо исследует дыры смятого, пробитого котелка, и, козырнув, спрашивает:

— Разрешите, товарищ старшина, обратиться по вопросу неофициальному? Котелок, который имеет все попадания от полутонной фугасной бомбы, вследствие сжатия образует трещины, а также различные дыры, и его можно выбросить через перила в реку. Но если вы, товарищ старшина, на

час-два одолжите мне вот ту плетеную корзинку, то, вот мое слово, пойду назад, принесу вам котелок новый, трофейный, крашенный во все голубое.

Старшина Дворников оборачивается:

— На что тебе корзина?

— Не могу сказать, товарищ старшина, военная тайна.

— Не дам корзины, — заявляет старшина. — Вы у нас мешок взяли и не вернули.

— Мешок, товарищ старшина, готов был к возврату. Но тут случился факт, что наши захватили в плен трех немцев, а в сумках у них был обнаружен грабленый материал: четыре колоды игральных карт, трусы для обоего пола, полотенца, кофты, какао и кружевные пододеяльники. Все означенное, кроме какао, было сложено в ваш мешок и отправлено как доказательство в штаб дивизии, откуда вполне можно мешок истребовать по закону.

— Ты мне зубы не заговаривай, — невольно улыбнувшись, сказал старшина. — Ты мне лучше скажи, зачем столько гранат на пояс навесил. Что у тебя тут — арсенал, цейхгауз?

— Ходил вчера в разведку, товарищ старшина, шесть бросил, двух даже нехватило. У меня еще пара круглых лимонов лежит в кармане. Хорошая это штука для ночной разведки. Огонь яркий, звук резкий; который немец и не помрет, так все равно от страха обалдеет. Дайте, товарищ старшина, корзину. Вот как нужно! Иначе срывается вся моя операция.

— Какая операция? — недоумевает старшина. — Ты, друг, что-то заболтался.

Старшина смотрит на Ефимкина.

Ох, и хитер, задорен! Но молодец этот парень. Всегда он мокрый или пыльный, промасленный, но глянешь на его прямые угловатые плечи, на его добродушную, лукавую улыбку, на то, как он стоит, как ловко скручивает тугую махорочную цыгарку, и сразу скажешь: это боевой парень.

— Возьми, — говорит старшина. — Да скажи вашему лейтенанту: что же, мол, нас бомбят, а вы, на самом деле, внизу себе рыбу промышляете, и попроси у него — пусть и на нашу долю пришлет на уху щурят или ершей.

— Вот еще! Из-за каких-то там ершей буду я лейтенанта беспокоить, — поспешно забирая корзинку, говорит Ефимкин. — Вас, наверное, сегодня опять бомбить будут, так я к вечеру за пропуском приду — целую корзину свежих лещей принесу. Высокий у вас пост, товарищ старшина, — со вздохом добавляет Ефимкин. — Мне что — у нас трава, канавы, земля, кустарники. А вы... стоите на глазах у всего света.

Ефимкин берет корзинку и, грязно-сизый снизу, пыль-

ный сверху, побрякивая своими нацепленными гранатами, идет через мост мимо ряда часовых, которые молча провожают его любопытными взглядами. Многих из них он знает уже по фамилиям. Вот Нестеренко, Курбатов. Молча, сощурив узкие глаза, стоит туркмен Бекетов. Этого человека вначале назначили было в разведку. Ночью в лесу он отстал, растерялся, запутался. На следующий раз то же самое. Уже решили было, что он трус. Командование хотело наложить дисциплинарное взыскание. Но комиссар быстро понял, в чем дело. Бекетов вырос и жил в бескрайных песках Туркмении. Леса он никогда не видел и ориентировался в нем плохо. А сейчас он гордо стоит на самом опасном посту. Тридцать метров над водой. На самой середине моста. На той самой точке, куда с воем и ревом вот уже три недели ожесточенно, но неудачно бьют бомбами фашистские самолеты.

Ефимкину нравится спокойное, невозмутимое лицо этого часового. Он хотел бы сказать ему что-нибудь приятное по-туркменски, но, кроме русского языка и нужных в разведке немецких слов: «хальт» (стой), «хэндэ хох» (руки вверх), «вафон хиплэгэн» (бросай оружие), Ефимкин не знает, и поэтому он, прищелкнув языком, подмигнув, хлопает одобрительно рука об руку и, оставив туркмена в полном недоумении, хватает на руки маленькую девчурку, сажает ее в корзину и мимо улыбающихся часовых, покачивая, несет ее до самого конца моста.

Там он отдает ребенка на руки матери, а сам, осторожно оглядываясь, лезет под крутой откос к болоту.

Старшине Дворникову, который наблюдает за Ефимкиным в бинокль, теперь ясна и военная тайна и вся операция Ефимкина. Утром снарядом разбило фургон со сливами. По дороге шли бойцы и подобрали, но часть слив осталась, и Ефимкин набирает в корзину, чтобы отнести их своим товарищам и командирам. Старшина оглядывается. Кругом ширь и покой. Правда, за холмами где-то идет война, гудят взрывы, но это далекая и неопасная для моста музыка.

Старшина еще раз смотрит на помятый, продырявленный котелок и решительно швыряет его через перила.

Но прежде чем котелок успевает пролететь и бухнуться в теплую сонную воду, раздается отрывистый, хватающий за сердце вой ручной сирены, и от конца к концу моста летит тревожный окрик: «Воздух!»

Стремительно мчатся прочь застигнутые на мосту машины, повозки, люди. Они прячутся под насыпь, в канавы, сворачивают на луга к стогам сена, ползут в ямы, скрываются в кустарнике.

Еще одна, две... три минуты! И вот он, как сверкающий клинок, острый, прямой, безмолвно зажат над водой, у земли в ладонях, грозный железный мост.



Партизан (отец). Рис. с натуры худ. Н. Жукова



Партизан (сын). Рис. с натуры худ. Н. Жукова

Честь и слава смелым, мужественным часовым всех военных дорог нашего великого советского края — и тем, что стоят в дремучих лесах, и тем, что на высоких горах, и тем, что в селениях, в больших городах, у ворот, на углах, на перекрестках, но ярче всех горит суровая слава часового, стоящего на том мосту, через который идут груженные патронами и снарядами поезда и шагают запыленные мужественные войска, направляясь к решительному бою.

Он стоит на узкой и длинной полоске железа, и над его головой открытое, ревущее гулом моторов и грозящее смертью небо. Под его ногами тридцать метров пустоты, а еще ниже блещут темные волны. В волнах ревут сброшенные с самолетов бомбы, по небу грохочут взрывы зениток, и с визгом, скрежетом и лязгом, ударяясь о туго натянутые металлические фермы, вкривь и вкось летят раскаленные осколки.

Два шага направо, два налево.

Вот и весь ход у часового.

Луга — пехота — молчат и напряженно наблюдают за боем.

Но гора — зенитчики — в гневе. Гора защищает мост всей мощью и силой своего огневого шквала.

Протяжно воют «Мессершмитты». Тяжело ревут бомбардировщики. Они бросаются на мост стаями. Их много: тридцать — сорок. Вот они один за другим ложатся на боевой курс. И кажется, что уже нет силы, которая помешает им броситься вниз и швырять бомбы на самый центр моста, туда, где, прислонившись спиной к железу и сдвинув на лоб тяжелую каску, молча стоит часовой Бекетов, но гора яростно вздымает к небу грозную завесу из огня и стали.

Один вражеский самолет покачнулся, подпрыгнул, зашатался и как-то тяжело пошел вниз, на луг, а там обрадованно его подхватила на свой станковый пулемет пехота.

И тотчас же соседний самолет, который стремительно ринулся на цель, поспешно бросает бомбы раньше, чем надо, выравнивается, ложится на крыло и уходит.

Бомбы летят, как каменный дождь, но они падают в воду, в песок, в болото, потому что строй самолетов разбит и разорван.

Несколько десятков ярко светящих «зажигалок» падает на настил моста, но, не дожидаясь пожарников, ударом тяжелого, окованного железом носка, прикладом винтовки часовые сшибают их с моста в воду.

Преследуемые подоспевшим «ястребком», самолеты противника беспорядочно отходят.

И вот, прежде чем связисты успеют наладить порванный воздушной волной полевой провод, прежде чем начальник охраны моста, лейтенант Меркулов, донесет по телефону

в штаб о результатах бомбежки, много-много людей, заслонив ладонью глаза от солнца, напряженно смотрят сейчас в сторону моста.

700 «самолето-налетов» сделал уже противник и больше пяти тысяч бомб сбросил за неделю в районе моста.

Проходят долгие, томительные минуты... пять, десять, и вдруг...

Сверху вниз, с крыш, из окон, с деревьев, заборов несутся радостные крики:

— Пошли, пошли!

— Наши тронулись!

Это обрадованные люди увидели, что тронулись и двинулись через мост наши машины.

— Значит, все в порядке!

К старшине Дворникову, который стоит возле группы красноармейцев, подходит связной Ефимкин. Он протягивает старшине новый железный котелок. Ставит на землю корзину со свежей, оглушенной немецкими бомбами, рыбой и говорит:

— Добрый вечер! Все целы?

Ему наперебой сообщают:

— Акимов ранен, Емельянов толкал бомбу, прожег сапог, обжег ногу.

Старшина берет корзину, ведет Ефимкина в помещение и получает у лейтенанта ночной пропуск.

Перед тем как спуститься под насыпь, оба они оборачиваются. Через железный, кажущийся сейчас ажурным, переплет моста светит луна.

Далеко на горизонте вспыхивает и медленно плывет по небу голубая ракета.

Налево из деревушки доносится хоровая песня. Да, песня. Да, здесь вскоре после огня и гула громко поют девчата.

Ефимкин удерживает старшину за рукав.

— Высокий у вас пост, товарищ старшина, — опять повторяет он. — Днем на двадцать километров вокруг видно, ночью — на десять, все слышно...

АРКАДИЙ ГАЙДАР



Переправа

На нашем участке фронта переправы стали местом самых жестоких боев.

Тишайшие заводи с белым садом кувшинок, берега, опушенные ивами, отмели, стеклянно мерцающие водой, прорезаны глубокими эскарпами.

Их нет больше, маленьких рек, они стали теперь водными рубежами.

Для танковой бригады нужно было соорудить переправу, одну настоящую, по которой тяжелые машины могли бы неожиданно ворваться в расположение врага, другую, ложную — чтобы отвлечь внимание и огневые силы противника от первой переправы.

Ложную переправу вызвались строить бойцы 2-го взвода Н-ского саперного батальона. Они должны были сколотить мишень для врага и оставаться на этой мишени до конца.

Зеленая Белоруссия славится своими столярами, плотниками, лесорубами.

Григорий Березко даже среди изысканных мастеров почитался великим искусником. Узор резных наличников, которые он надевал на хаты, могли повторить потом только кружевницы. Это про него говорили, что топором своим он владеет, как кобзарь смычком. И, словно в подтверждение этой поговорке, в минуты веселья Березко подносил лезвие топора к губам и дул на стальное полотнище, острое, как бритва, — и топор пел.

Но когда из тяжких бревен вязались перекрытия для блиндажей, Березко и в этом деле был первым мастером.

Березко любил свой труд, свое ремесло и был очень нетерпим к людям, не умеющим находить радость в своей работе. И поэтому не пользовались у него уважением Василий Нещеретный и Петро Неговора, молодые саперы, которые с охотой променяли бы весь свой шанцевый инструмент на лю-

бую винтовку и безмерно завидовали всем тем, кто в тесных схватках бьет фашиста и штыком и гранатой.

Штурмовые мосты обычно собираются незаметно на берегу. Закрепленный тросами настил разом надвигают на сваи или рамы, и мост готов.

Из боязни, чтоб противник не проворонил возводимую переправу, саперы начали свою работу с излишним шумом и треском.

Стоя по пояс в воде, они били бабой по сваям так, чтобы удары звучали как можно громче.

И враг не заставил себя ждать. Батарея открыла огонь по переправе. Пенистые столбы грязной воды поднялись вверх, вздыбленные фугасными взрывами.

Труд воодушевляет человека. Но работать для видимости — строить мост, которым никто никогда не воспользуется, сколачивать живую тень моста — тошно.

И стал подмечать Березко, что он дольше, чем нужно, задерживается на берегу, а его бойцы все неохотнее ступают на шаткий настил. Он увидел, как Неговора, пугливо присев при взрыве снаряда, обронил в воду свой топор, а Нещеретный тюкал, не глядя куда, топором и портил совсем хороший горбыль. А тут еще фашисты, пристрелявшись, стали бить по переправе, так что мокрые щепы разлетались, как перья. И вознегодовал Григорий Березко на себя, на ребят и на все на свете. Размахнувшись, он всадил изо всей силы топор в дерево и, вытянув руки по швам, заявил:

— Бойцы, смирно! — Потом медленно и раздельно произнес: — Здесь я командующий! Понятно?! Фальшивый мост отменяю! Будем строить настоящий! А если по нему ездить не будут — это неважно. Пускай для гордости стоит.

Будто нашли бойцы что-то очень дорогое, что считалось горько утерянным. Сразу словно переменились они после этих слов. И плечи у них стали шире, и лица посветлели, а то ведь сутулились, вжимали головы в плечи, и глаза были, как у мышей. И, забыв об опасности, о страхе смерти, они начали сноровисто и уверенно укладывать толстые бревна тесными рядами, вязали железными скрепами накрепко, и уже никто не кланялся снарядам.

Обхватив многопудовую бабу могучими ручищами, налившись с натуги до синевы, Березко сипло выкрикивал:

— А ну еще раз, чтоб знали про нас!

И свая с каждым ударом все глубже и глубже входила в грунт.

Когда снаряды, падая на переправу, пробивали бревна, разрывали стяжи, люди еще злее, еще азартнее воздвигали новые пролеты. Они вступили в единоборство с батареей врага. И видно, ярость огня не могла пересилить трудовой удали русского мастерового человека.

Фашисты сосредоточили на переправе весь свой огонь. Но они не могли преодолеть упорство людей, возводивших ее. И тогда к переправе была брошена группа фашистских автоматчиков.

Соорудив баррикаду из бревен, Григорий Березко вместе со своими бойцами защищал свой труд, свою переправу. И когда у них вышли все патроны, саперы бросились на врага с топорами в руках. Ведь плотнику сподручнее действовать его личным оружием.

В назначенное время наши танки пошли в атаку, но внезапно навстречу им поднялся ползущий по земле человек, Петро Неговора, и, подняв окровавленные руки свои, закричал:

— Товарищи, пожалуйте и на нашу переправу, она настоящая, на американских рамах, вам двумя эшелонами переправляться проворнее будет.

И часть танковой колонны, развернувшись, покатилась в сторону «фальшивой» переправы.

И когда тяжелые машины мчались по новому мосту, ни одна свая его не дрогнула, ни один настил не прогнулся.

Из щелей, из окопов к освобожденным селам стекались колхозники.

Над черной рекой, усыпанной звездами, стоял высокий, прочный новый мост. И люди, у кого немцы сожгли жилища, приходили на этот мост и любовались им. Многие пытались узнать имя мастера, чтобы потом пригласить его к себе — срубить новую пятистенную шатровую хату с кружевными наличниками, повторить которые могли только самые искусные рукодельницы шелковой вышивкой на белом полотне.

А в небе продолжала грохотать канонада, вспыхивали алые зарницы, и рычали танки.

ВАДИМ КОЖЕВНИКОВ



Охотники за танками

Еще по дороге к переднему краю обороны, в расположение второй роты, боец, назвавшийся в темноте Ракитиным, вызвал у сержанта Омельчука подозрение. Слишком необычное любопытство проявил Ракитин. Ночь была непроглядная. Идешь рядом с человеком, чувствуешь его локтем, а лица не видишь. Местность, по которой шли, была сама по себе неблагополучна: вдоль фронта болото на десять километров, до немцев рукой подать, а всего лишь две переправы. И вдруг неизвестный боец спрашивает:

— Есть ли через болото тропки, по которым к немцам пройти можно?

— А тебе зачем такие тропки? — строго сказал сержант Омельчук.

Кто-то в темноте поддержал сержанта:

— Ишь чего захотел, тропки к немцам! А в болото, на дно, не хочешь?

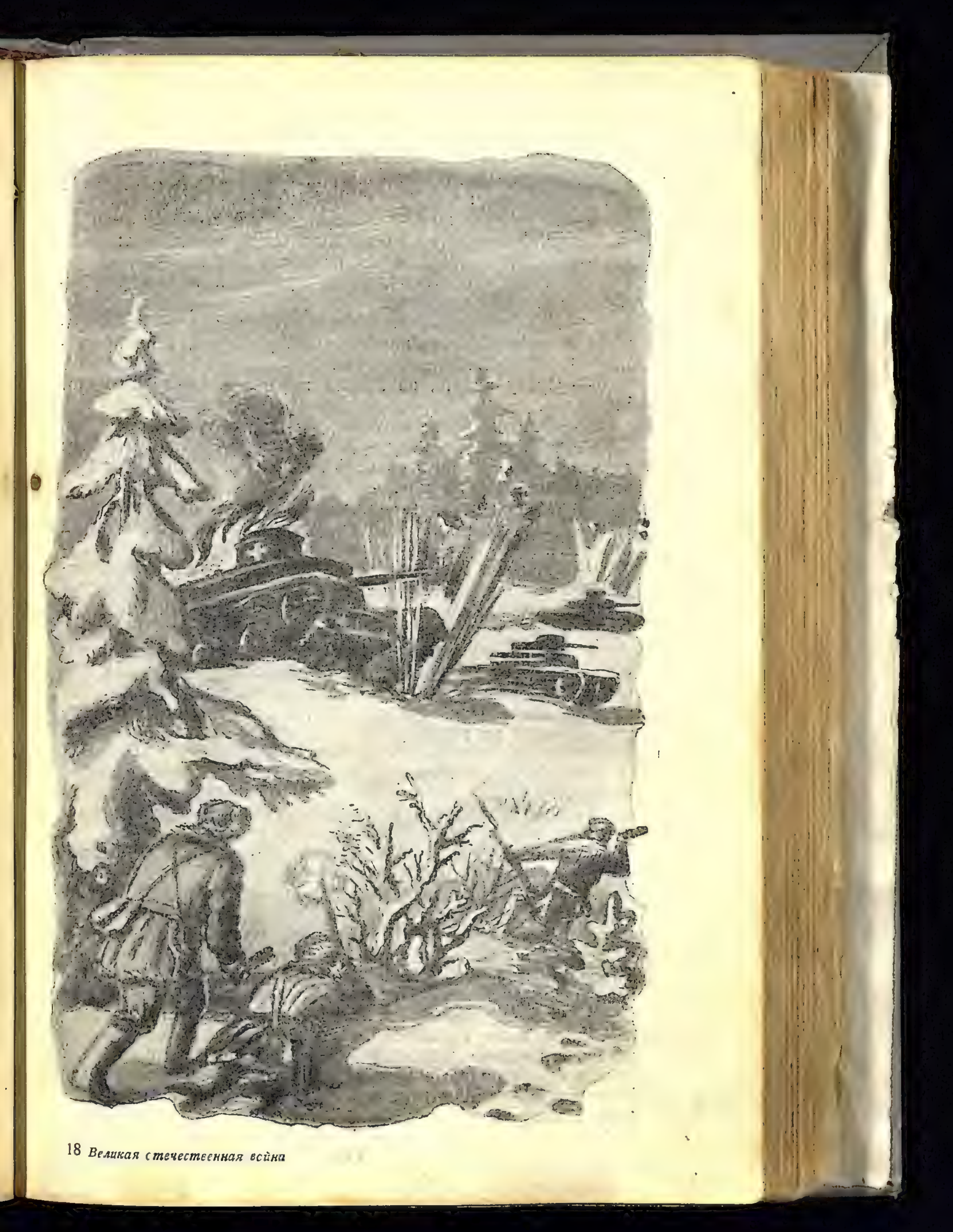
— Ты, брат, не туда оглобли повернул, — стал оправдываться спокойным голосом Ракитин. — Я думал, немцы к нам могут пробраться такими тропками. Ночь-то вон какая...

— Прекратить разговоры! — строго скомандовал Омельчук, и про себя он подумал, что Ракитин — человек подозрительный.

Новое пополнение прибыло с вечера. Сержант Омельчук был приемщиком от второй роты. В блиндаже полкового штаба он получил и прочел именной список, а людей принимал в темноте по счету. Дорогу он знал хорошо, на-ощупь, а переправа — гать из свеженарубленных тонких сосен — выводила к окопам второй роты.

Некоторое время шли молча. Слышен был стук подкованных сапог по бревенчатой переправе, словно кто-то неумело отбивал дробь на барабане. И вдруг в темноте опять раздался голос бойца, назвавшегося Ракитиным:

— Командир, а какая почва за болотом?



— Песок и глину смешай, вот такая и будет.

И вновь кто-то колко сказал, обращаясь к невидимому в ночи Ракитину:

— Хозяйство хочешь завести на той стороне?

Ракитин, точно не заметив колкости, продолжал:

— Что же можно сеять на такой почве?

— А ты что, пахать, сеять прибыл к нам в роту? — сердито спросил Омельчук.

— Я не пахарь,— спокойным голосом ответил Ракитин,— я по должности канцелярский работник, а по призванию — спортсмен. Тяжелоатлет.

— Сразу видать, не легкий ты человек,— заметил тот же голос.

Но Ракитин будто не слышал.

— Вот, скажем, лягу я спиной кверху, а любой из вас садись ко мне на шею со всей выкладкой. Встану, как будто ничего и нет на мне.

— О, да ты герой! — многозначительно сказал Омельчук.— А все-таки дай я понесу твою винтовку. Тяжела она тебе.

— Спасибо, командир, я и сам донесу,— ответил Ракитин и крепко стиснул рукой винтовку.

Он не видел, что идущий рядом Омельчук отстегнул кобур и пощупал, заряжен ли пистолет.

Пополнение распределили в темноте по взводам и велели рыть себе молча окопы. Сержант Омельчук на всякий случай доложил политруку о подозрительном бойце, назвавшемся Ракитиным. Политрук заглянул в именной список. Ракитин значился по порядку номеров четырнадцатым, рождения 1909 года, по имени и отчеству Александр Никифорович, уроженец города Москвы, беспартийный. Других сведений не было.

Собираясь уходить в свой блиндаж, Омельчук сказал политруку:

— Я спрошу новеньких, может, кто любит курочек жареных?

— Нет, нет, на курочек бери только обстрелянных,— приказал политрук.

Ракитин всю ночь не сомкнул глаз. Он сидел, полусогнувшись, в наскоро вырытом окопчике и прислушивался. То вдруг зальется немецкий пулемет, словно сторожевой пес на прохожего, и так же вдруг умолкнет. То неожиданно загремит орудийный выстрел и замрет вдали, как неясное эхо, то с воем пронесется мина и с неприятным треском разорвется где-то невидимо вблизи. Среди этих фронтовых шумов особенно загадочно и необъяснимо прозвучало для Ракитина кудахтанье кур, словно кто-то вспугнул их в темноте с насеста.

Лишь только забрезжил рассвет, Ракитин привстал, высунул голову и стал осматриваться. Впереди на серой песчаной высотке, как клочья волос на голом черепе, торчали редкие, чахлые кусты, вправо виднелся низкорослый, густой ельник, а с болота, как из глубокого подвала, несло плесенью и сыростью. Не успел он оглядеться, как над головой с визгом просвистела пуля, а следом за ней прозвучал приглушенный резкий голос:

— Эй, котелок убери, продырявят!

Ракитин послушно сунул голову в окоп и, полусогнувшись, прижался в углу. Вскоре он услыхал голоса соседей, они вели беседу через его голову: новеньких обычно размещали вперемежку с обстрелянными. Кто-то с завистью говорил простуженным, осипшим голосом:

— Вот Омельчуку лафа: он каждое утро немецких кур жарит.

— А ты бы сходил с ним на курочек, — отвечал чей-то насмешливый молодой голос.

— Так я не разведчик. Мое дело дегтяревская машинка, — засипел простуженный голос.

Ракитин, к своему удивлению, узнал из этой беседы, что немцы, в помощь часовым, ночью привязывают к кустам кур: часовой и задремать может, а если вспугнуть курицу, она закудахчет и часового разбудит.

— И как это все с рук сходит Омельчуку? — удивлялся боец с простуженным голосом. — Ведь каждую ночь ходит!

— Омельчук не то что немца, самого чорта обведет, — уверенно ответил молодой голос.

— Ну, немца или чорта это что, а вот как это куры его не пугаются?

— Для кур у него петушиное слово есть, — авторитетно объяснил молодой.

Вдруг Ракитин услышал, что кто-то осторожно ползет к его окопу. На голову ему посыпался песок, затем показалось чье-то лицо, давно небритое и, пожалуй, немытое.

— Здравствуйте, товарищ Ракитин. Я политрук Козлов.

Политрук лежал плашмя на животе, свесившись лицом в окоп.

— Как провели ночь? — спросил он участливо, словно гостеприимный и заботливый хозяин.

— Впечатлений много; не спал, товарищ политрук.

— Напрасно! Боец должен ночью спать, чтобы не терять свежести и бодрости духа.

— Свежесть у меня постоянная, могу хоть три ночи не спать.

— А смысл какой? — сказал политрук. — Другое дело, если фашисты не дают спать.

— Товарищ политрук, это вы и под огнем с каждым в отдельности знакомитесь?

— Для митинга здесь место не подходящее. Крыши нет, а крышка может быть, — пошутил политрук.

— Товарищ политрук, немцы сегодня будут наступать?

— Не всегда они наступают, часто мы их опережаем, — уклонился политрук от прямого ответа.

— Вот бы вскочить на немецкий танк, укрыться за башней и прокатиться к ним в тыл!

Политрук невольно усмехнулся и спросил:

— Что же вы будете делать в немецком тылу?

— Что делать? Да в тылу их больше уничтожить можно! Разрешите? А сидя в окопе...

— Тихо! — прервал его политрук, прислушался и продолжал: — Танки можно и отсюда уничтожать. Поучитесь у сержанта Омельчука, он большой мастер по этой части. Вы найдете его во втором взводе. — Лицо политрука на миг исчезло и вновь появилось над кромкой окопа. — Когда пойдете к Омельчуку, двигайтесь ползком и не поднимайте головы.

Пробираясь ползком во второй взвод, Ракитин узнал по пути, что Омельчука все знают, что он лучший разведчик, самый смелый охотник за немецкими танками, что до Красной Армии он был колхозным шофером. У маленького, простенького блиндажа с двумя бревенчатыми накатами Ракитин остановился и спросил:

— Сержант Омельчук здесь?

— А-а, Ракитин явился? — послышался из блиндажа, как из погреба, приглушенный голос. — Ну-ка, посвети сюда глазами.

Ракитин увидел при тусклом свете керосиновой коптилки, сделанной из консервной банки, бойца. Он сидел на глиняном полу и аппетитно терзал крепкими зубами вареную курицу.

— Вы разве меня знаете? — удивленно спросил Ракитин.

— Голос и песню я враз запоминаю, — ответил Омельчук. — Это я вас ночью привел. — Неожиданно он поднес куриную ножку к носу Ракитина и, усмехаясь, спросил: — Ну-ка, тяжелый атлет, понюхай, вкусно пахнет?

— Даже очень вкусно, — признался Ракитин и, не скрывая, проглотил набежавшие слюнки.

— Вот научишься ловить немецких кур, нажаришь и будешь кушать.

— А почему куры вас не пугаются? — спросил Ракитин, вспомнив беседу соседей по окопу.

— Разве своих пугаются? — И Омельчук закудахтал, подражая наседке с цыплятами.

— Здорово! Настоящая курица! — восхищенно заметил Ракитин.



Москва, Большой театр. Ноябрь 1941 г. Рис. с натуры худ. Соколова-Скаля.



Возвращаются на родные пепелища. Рис. с натуры худ. В. Хвостенко

— Боец Красной Армии все должен уметь, — авторитетно изрек Омельчук. — Прикажут соловьем залиться — и заливайся, — выплюнув косточку, он вытер губы. В блиндаже запел соловей. На длинных и высоких трелях Омельчук вдохновенно закрывал глаза, а на коротких — открывал, и, словно в такт, глаза играли, будто он и в самом деле слушал соловья.

— Я так не умею, — сказал Ракитин. — Вот гранату ручную метал на рекорд, на семьдесят шагов.

— На семьдесят, говоришь? Я никогда не подсчитывал. Мне бы в немцев попасть, а сколько шагов... На сколько надо, на столько и швыряю.

— Я к вам по делу, товарищ сержант, — сказал Ракитин. Он лежал плашмя на животе, свесившись лицом в блиндаж.

— Подъезжай, подъезжай,—ответил с усмешкой Омельчук. — Ты и ночью все о деле... Деловой, видать, человек.

— Меня к вам направил политрук Козлов.

— Тебе, значит, легче, одного уже объехал.

— Я хочу, чтобы вы рассказали мне, как вы бутылки мечете по танкам?

— Ах, это? Самое простое дело. — Омельчук на миг задумался и сказал: — Подползешь поближе к танку, бутылку с горючей в руку, замахнешься и — кинул. Танк вспыхнет, загорится, и ваших нет, поминай, как звали.

— Вы мне расскажите про самое технику, — допытывался Ракитин.

— А я про что? Разве про ярмарку в Балте?

— Ну, скажем, на сколько шагов вы подползаете?

— Вот чудак! Разве в такой момент шаги считают? Как лучше с руки, какой дух в тебе, так и запузыривай!

Едва успели раздать обед и бойцы хозвзвода надели на лямки опустевшие двухведерные термосы, фашисты повели сильный артиллерийский и минометный огонь. Старшина второй роты Голубев, человек хозяйственный и предусмотрительный, напутствовал возвращавшихся к кухне бойцов:

— Осторожно пробирайтесь, скрытно, ползком, а то термосы побьют.

Огневая подготовка длилась минут тридцать. Из-за серой песчаной высотки показались танки, поливая наши окопы из пушек и пулеметов. Наша артиллерия встретила их на пристрелянной дистанции меткими и точными ударами. Танки, шедшие ровным строем, кинулись врассыпную, беспорядочно стреляя, кто куда. Один из них, подбитый нашим снарядом, повернулся боком и заглох.

Появившаяся было из-за высоты немецкая пехота испуганно отступила и скрылась. Вслед за ней повернули и танки. Только три танка удачно укрылись в лощине между вы

сотой и нашими окопами, в мертвом пространстве, недосягаемом для огня нашей артиллерии.

Омельчук рывком выскочил из блиндажа, упал на живот и на мгновение замер. Лежа, он снял ранец, закинул за спину автомат, осторожно вложил в ранец бутылку с горючей жидкостью и тоже закинул его на спину. В каждую руку он взял еще по бутылке и пополз. Кисти рук с бутылками он держал на весу, а в землю упирался локтями. Руки при этом движении быстро уставали, и, чтобы дать им отдохнуть, Омельчук на мгновение вытягивал их по земле.

Из окопа в окоп зашелестели слова товарищей: «Омельчук пошел на танки». До слуха Ракитина шопот дошел сиплым, сдавленным звуком. Это соседи сообщали друг другу через голову Ракитина о том, что Омельчук пошел на охоту.

Мгновенно Ракитин выскочил из окопа и, пренебрегая пулеметным ливнем, быстро побежал, низко пригибаясь, вслед за Омельчуком.

Политрук Козлов, увидев бегущего во весь рост бойца, громко закричал:

— Кто побежал?

В ответ он услыхал голос командира первого взвода:

— Новенький побежал.

— Ложись! — закричал в пространство политрук. Он сразу догадался, что то был Ракитин.

Крик политрука едва донесся до слуха Ракитина. Он скорее угадал его, чем услышал. Пробежав еще несколько шагов, он упал на землю и пополз следом за Омельчуком.

Сержант, услыхав за собой движение, спросил, не оборачиваясь:

— Кто там за мной?

— Я, Ракитин.

— Тебе чего надо? — строго спросил Омельчук, все так же не оборачиваясь: он не сводил глаз с немецких танков.

— Хочу посмотреть, как вы бутылки кидаете. Технике поучиться.

— Выползай вперед, рядом со мной.

— Ничего, товарищ сержант, мне так удобнее.

— Выползай, говорят тебе! А то я и назад без промаха кидать могу.

— Ладно, ладно. — И когда Ракитин полз уже параллельно с Омельчуком, он с укором сказал ему: — Какой же вы недоверчивый, товарищ сержант.

— На войне доверься — без головы останешься. Она у меня одна. — И, помолчав, строго спросил: — Так ты поглядеть хочешь?

— Да, хочу поучиться у вас.

— Видишь, как я ползу?

— Вижу.

— Сумеешь так?
— Сейчас попробую.— Ракитин стал подражать Омельчуку.
— Так не выйдет. Автомат за спину закинь.
Ракитин послушно исполнил приказание.
— На вот, неси бутылки, только не разбей.
Пулеметный огонь усилился. Чем ближе к танкам, тем слышней становились звенящие выстрелы их пушек и свистящий полет снарядов. Шагов тридцать до танков осталось. Омельчук и Ракитин обошли их сзади.
— Хальт! — услышал вдруг Ракитин позади себя и тревожно обернулся.
Омельчук рассмеялся, довольный произведенным впечатлением.
— Небойсь! Я по-ихнему все нужные слова знаю. Вот когда тебе крикнут «хальт», ты не пугайся, а свободно отвечай по-ихнему: «Яволь». Сейчас «закурим»,— добавил Омельчук многозначительно.
Он взял в левую руку автомат, а в правую — бутылку и скомандовал:
— Тихо, за мной!
Когда они подползли к танку шагов на пятнадцать, Омельчук жестом скомандовал остановиться.
— Руки вперед протяни и осторожно прижимай бутылки к земле, — приказал он Ракитину.
Убедившись, что Ракитин в точности исполнил приказание, что движения его скованы, он вдруг приподнялся, вытянул вперед руку, прищурил левый глаз, нацеливаясь на выхлопную трубу, размахнулся и сильным броском швырнул бутылку.
Ракитин следил за каждым его движением. Он услышал звон разбитого стекла, он увидел, как мгновенно вспыхнул огонь и разлился синевато-желтым потоком по хвостовой части танка. Затем повалил густой дым, и сквозь него стали прорываться огненные языки. Танк горел, окутанный клубами зловонного чада.
— Двинулись дальше! — скомандовал Омельчук Ракитину.
Оба поползли. Они видели, как повернулась башня второго танка, и услышали, как затрещал пулемет. Свистели пули над ними, но Омельчук и Ракитин продолжали ползти к другому танку. Когда до машины врага осталось шагов двадцать пять, Ракитин вдруг приподнялся, встал на колени, протянул руку вперед и стал целиться, как это делал Омельчук.
— Отставить! — успел крикнуть Омельчук, но было уже поздно. Ракитин сильным броском швырнул бутылку и замер с вытянутой рукой.
— Ложись! — скомандовал Омельчук.

Ракитин ничего не слыхал — ни окрика Омельчука, ни свиста пуль. Он лег лишь тогда, когда услышал, как стекло со звоном ударилось в стальную броню, и увидел уже знакомое ему синевато-желтое пламя.

— Молодец! — похвалил Омельчук, не сводивший с него глаз.

Сквозь густой дым Омельчук и Ракитин увидели троих танкистов, выскакивавших из танка; у двоих в руках были автоматы. Они побежали в сторону от горящей машины. Омельчук открыл по ним огонь.

— Бей! — приказал он Ракитину.

Танкисты залегли и открыли ответный огонь. Третий танк повернул башню и стал бить из пушки и пулемета.

— Надо пробираться к своим, — сказал Омельчук.

— Подожжем и третий танк, — предложил Ракитин. — У меня еще бутылки есть.

— Дурак он, что ли? Да если он только нос покажет, его сейчас же накроет наша артиллерия. Брось бутылку!..

Ракитин со злостью бросил бутылку туда, где залегли немецкие танкисты.

— Перелет! — сказал Омельчук, увидев, что пламя показалось далеко позади лежавших танкистов.

— Никогда со злостью не кидай, думай! — добавил он наставительно. — А кидаешь ты здорово!

Омельчук и Ракитин отходили с боем, стреляя короткими очередями. Они ползли, как под проливным дождем, — немцы, не скупясь, стреляли длинными очередями. Вдруг Омельчук застонал и крикнул: «Хальт!»

Он выронил автомат и, подложив руки, уткнулся в них лицом.

— Что такое? — обеспокоенно спросил Ракитин и подполз к нему.

— Ударили гады... в правый бок... подожди, дыхнуть тяжело.

— У меня бинт есть, перевяжу.

Ракитин хотел уже достать бинт из противогаза, но Омельчук остановил его:

— Нет... уходить надо... прикончат. — Он сделал движение, чтобы ползти, но застонал и не смог двинуться с места.

— Ложись ко мне на спину, — предложил Ракитин, — я донесу. Помнишь, я еще ночью сказал...

Омельчук обхватил его руками за плечи, и Ракитин двинулся.

— Хальт! — удержал его Омельчук через несколько шагов.

— Что, тряско? — участливо спросил Ракитин.

— Нет, амортизаторы у тебя хорошие... Автомат мой... Ни за что не брошу.

— Я возьму.— Ракитин, неся на себе сержанта, повернул обратно и взял автомат.

До своих окопов надо было проползти под сильным огнем немецких танкистов еще шагов сто. Ракитин удачно прикрывался каждым бугорком или кустарником, стараясь двигаться так, чтобы не трясти Омельчука. Найдя бугорок покрупнее, он делал короткую передышку.

— Боюсь я за вас, — сказал Ракитин, — вы сверху, в вас еще попасть могут.

— А ты не бойся. Я чувствую... мое время еще не пришло. Смелей, смелей!..

Ракитин не ощущал усталости и охотно ускорил движение.

— Ты не обижайся на меня, — просил Омельчук. — Человека всегда надо проверить.

— Нет, я не обижаюсь. Вы мне нравитесь, товарищ сержант.

— Меня зовут Александр, а то еще короче — Шурка. Тебя как звать?

— Мы тезки с тобой. Я тоже Шурка. Вот донесу тебя, перевяжут, в госпиталь отвезут, подлечат — и домой на поправку.

— Домой рано еще... Я вместе со всеми... когда точку поставим. — Омельчук застонал.

— Ты помолчи... Тебе вредно. Немного осталось еще. Голову прижми к моему затылку, пули густо...

— Эх, жалко... не ходил ты со мной на кур... у меня еще полкурицы осталось... придешь, съешь.

Бойцы сняли со спины Ракитина раненого Омельчука и по приказанию политрука внесли его в блиндаж. Когда раненому накладывали повязку, он сказал политруку, показывая глазами на Ракитина:

— Моим заместителем останется... настоящий...

БОРИС ЛЕОНИДОВ

★

Презренье к смерти

Светлой памяти сержанта т. МИРОШНИЧЕНКО, погибшего смертью героя в борьбе с гитлеровскими бандами.

Три дня кипел тяжелый бой,
Жестокий бой с врагом.
Сливались с пушечной пальбой
Глухие взрывы бомб.

И минометов наших шквал
Ряды врагов косил.
Враг в этом месте наступал
Громадой свежих сил.

За рядом ряд, за рядом ряд,
Чрез ямы и бугры,
По трупам собственных солдат
Катился, как с горы.

Шоссе. Осенняя река.
И у моста — откос.
Был ясен замысел врага —
Прорваться через мост.

И шквалом огненным из тьмы
Разрушить наш рубеж...
На правый берег вышли мы,
Пред силой отступили мы,
Но силы наши те ж...

Мы укрепили высоту
На этом берегу.
Нет, не прорваться по мосту
Кровавому врагу!

Фашисты прут в строю густом
Оравой пьяных рот,
Но ждет их мина под мостом,
В реке их гибель ждет!

Бушует пьяный вражий стан,
Слышна чужая речь...
И ждет приказа наш сержант,
Чтоб к мине шнур поджечь.

Он за бугром, с землею слит,
Лежит, сомкнув уста.
Но... шнур осколком перебит
У самого моста.

И первых танков рык и стук
Раздался на юру.
Сержант решенье принял вдруг:
Ползет он по шнуру.

Чтоб тяжкий мост в реку упал,
Чтоб не пройти врагу —
Он спичкою зажег запал —
И рухнул мост в реку!

Был смысл решенья прям и прост:
Тот победит, кто смел!
Сержант
Взорвал себя и мост,
Но мост к победе — цел!

Она придет, она придет,
Ладонь подаст свою
И песню славы пропоет
Презревшим смерть в бою!

ИВАН МОЛЧАНОВ



Семь дней

Лейтенант Козлов занимал оборону у высоты Безымянной на окраине Ростова. В его подразделении осталось всего девять человек. Вот уже несколько часов, как Козлов потерял связь с соседями, но был приказ — держаться до последнего, и он держался. Уже начинало темнеть, когда вернулся сержант Мищенко, посланный в батальон для связи.

— Все отошли, — доложил он. — В штабе никого нет. Отошли за Дон.

Лейтенант, построив свой маленький отряд, огляделся по сторонам. Город спал. Отсюда, с высоты Безымянной, видны были улицы Ростова. Из крайних маленьких строений поднимались очень мирные и спокойные дымки. В центре города дома сливались в одну черную громаду, красиво и четко вырисовывавшуюся на золотом от заката небе.

Отряд спустился вниз к городу. На Буденновском не было ни одного человека. Пустынная улица казалась удивительно широкой. Дома глядели черными, пустыми окнами, но за стеклами угадывались люди, и, казалось, можно было даже расслышать дыхание их — тревожное и прерывистое.

Лейтенант, сержант Мищенко и Маркарьян шли в передовом охранении. Они пересекли улицу Энгельса и двигались вниз к Дону, когда впереди раздался звук четких солдатских шагов. Из-за поворота показался немецкий отряд. Прижимаясь к домам, товарищи отошли к своим, скрылись в переулке. Здания сходились здесь тесно, отбрасывая густую, почти черную тень.

Лейтенант остановился около большого серого здания с лепными карнизами и, помедлив секунду, поднялся на второй этаж.

На лестничной площадке было совершенно темно. На стук ответили не сразу. Потом послышался испуганный



У разрушенного очага. Рис. с натуры худ. В. Хвостенко



На родных пепелищах. Рис. с натуры худ. П. Малькова

шорох. После секундной паузы (кто-то, прислушиваясь, стоял за дверью) слабый, прерывающийся женский голос спросил:

— Кто это? Кто там?

— Командиры! — ответил Козлов. Слово это в занятом врагами городе прозвучало совсем по-новому, гордо и странно.

— Командиры Красной Армии, — еще раз повторил лейтенант.

Сразу загремела цепочка, дверь рывком отворилась, и лейтенант почувствовал, что его, обняв за плечи, втягивают внутрь.

— Свои! Ой, родненькие! А мы-то думали... Значит, свои!

Лейтенант и вслед за ним все остальные очутились в маленькой, тесной комнате. Хозяйка разворошила уголь в печи, и теплый красноватый свет залил помещение. Козлов посмотрел на товарищей. Они расположились на стульях, на полу, стояли, прислонившись к стене, мокрые от снега, с обросшими, хмурыми, исхудавшими лицами. Маркарьян сидел, закрыв глаза, уронив голову на ладони. Теплота волнами разливалась по комнате. От нее слабело тело, мягче становились лица. Мысли тонули в огромной усталости этих последних тяжелых окопных дней.

— Значит, свои? Значит, в городе наши? — тревожно спрашивала хозяйка.

Лейтенант резко тряхнул головой, отгоняя сон, и поднялся. Ему было очень тяжело найти слова, сказать то, что нужно было, этой родной и милой женщине.

— Так вот, — начал он, наконец, хмуро глядя на огонь. — Мы-то остались здесь, а город не наш. Понимаете, сдали город.

Козлов собрал всю свою волю и, подняв голову, посмотрел в осунувшееся, бесконечно усталое лицо хозяйки.

— Если скажете, мы, конечно, уйдем. С нами опасно. Мы ведь дешево жизнь не отдадим. Так что решайте. А то, может быть, сами уйдете к соседям?

Хозяйка, понурив голову, стояла около плиты. Потом, не глядя, она сделала несколько шагов вперед, точно слепая, нащупала лицо Козлова и очень легко, едва касаясь ладонями, погладила его.

— Чего ж, оставайтесь... У меня такой же в армии. Отдыхайте, отдыхайте, — повторяла она тихо.

Так начались семь этих длинных дней. Круглые сутки бойцы с винтовками стояли на часах у окон и дверей. Ночью, а иногда засветло, по-двое и трое, закутавшись поверх гимнастерок в плащ или шинель, выходили на улицу. На берегу Дона, на льду, рядом с убитыми находили вин-

товки, гранаты. Оружие собирали и несли к себе, чтобы оно не доставалось врагу.

Город страшно изменился за эти дни. Немногие прохожие шли, осторожно сгорбившись, не глядя по сторонам. Как-то ночью бойцы зашли на окраину и впереди увидели страшную тень. Это были повешенные. Четыре трупа висели на столбах. Лейтенант и бойцы подошли поближе и почетным караулом стали около погибших.

— Прощайте, товарищи!

Выглянула луна, стало вдруг видно далеко кругом — пустые улицы, замерзший Дон, залитый холодным серебряным светом, пустые дома, точно бесконечная вереница тюрем, между которыми ходят часовые.

Лейтенант вдруг почувствовал страшную тоску, — далеко ли свои? Удастся ли прорваться к ним?

Домой возвращались молча. Там было все спокойно.

Оружие было и свое, и собранное. Они не с пустыми руками могли вернуться в часть. Теперь надо было достать хоть немного продовольствия, — кто знает, сколько времени придется блуждать?

Ранним утром, закутавшись в добытый у хозяйки непромокаемый плащ, лейтенант пошел в разведку. Он бродил несколько часов, пока, наконец, не заметил среди маленьких строений полуразрушенное складское помещение. Лейтенант подошел к двери и стал открывать ее. Неожиданно сзади послышались быстрые мягкие шаги. Лейтенант обернулся и в двух шагах от себя увидел высокого человека с серым небритым лицом и тяжелым ящиком в руках. Несколько секунд они молча стояли друг против друга.

— Вредить? — даже не сказал, а выдохнул человек с серым лицом.

Лейтенант молчал.

— Партизан! Большевик! Я за тобой следил, — задыхаясь, говорил человек. И вдруг неожиданно, резким движением, занес ящик для удара.

Лейтенант отскочил в сторону, и ящик пронесся мимо, с тяжелым металлическим звоном ударившись о камень.

Лейтенант бросился на врага. Но тот, согнувшись по-заячьи, быстро побежал, петляя между строениями. Лейтенант преследовал его, не разбирая дороги, чувствуя только одно: надо догнать и убить эту погань. Пустырь кончился.

На повороте, у подъезда многоэтажного кирпичного здания, лейтенант догнал, наконец, и схватил человека с серым лицом. Они боролись молча, напрягая последние силы. Вокруг, немного поодаль, собиралась толпа. Люди стояли широким полукругом и молча, ничем не выражая своего отношения к борющимся, смотрели на происходящее. Лей-

тенант, собрав все силы, бросил врага на мостовую и выпрямился.

Из-за поворота прямо на него, совсем близко, четко отбивая шаг, двигался немецкий патруль.

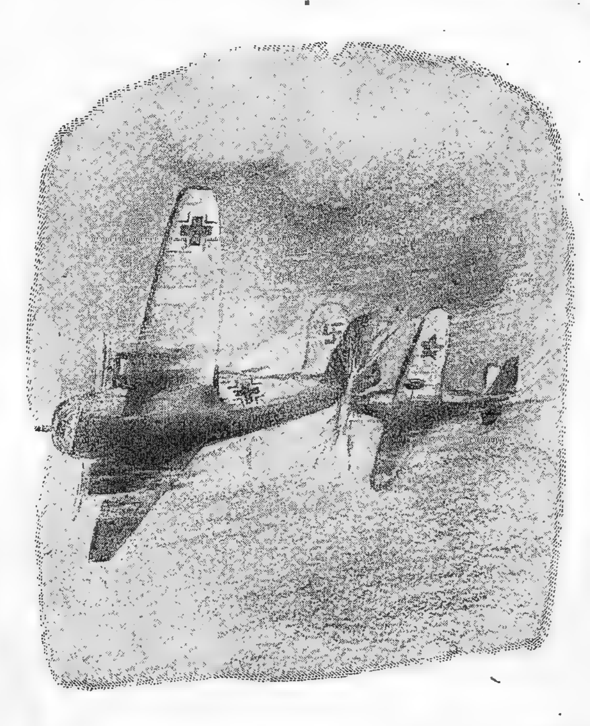
— Сюда! Сюда! — пронзительно кричал человек с серым лицом.

Уйти уже было нельзя. Тогда лейтенант повернулся к толпе и, взглянув в хмурые, очень усталые лица, молча отвернул ворот плаща. Два квадрата на петлице командирской гимнастерки вдруг ослепительно-ярко, гордо и смело сверкнули на солнце. И сразу изменились, наполнились теплом лица людей, стоявших кругом. Толпа мгновенно окружила лейтенанта, а человек, лежавший на земле, куда-то исчез. Точно сама собой в толпе образовалась узенькая тропка, и лейтенант быстро скрылся за углом.

Козлов шел домой широким, размашистым шагом, улыбаясь своим мыслям, забыв, что кругом немцы, уверенный, что пробьется к своим.

А наутро, когда отряд готовился к ночному походу, началось наступление советских войск. Гремела канонада, немцы бежали по улицам Ростова, бросая оружие, оставляя машины, орудия и танки. Наши войска входили в город. В полном боевом порядке, с оружием в руках маленький отряд Козлова с боем шел на соединение со своей частью.

А. ШАРОВ





В освобожденном Калинине. Рис. худ. Н. Жукова

Гвардейская гордость

Они познакомились здесь, в воронке от снаряда. Один — боец из первой роты, и фамилия его была Тимчук. Другой — из третьей роты, Степанов.

— Как же ты сюда попал, — спросил Тимчук, — когда твое место на правом фланге?

— А ты чего сюда вылез, когда ваши ребята позади цепью лежат?

Тимчук перевернулся на другой бок, степенно ответил:

— В порядке бойцовской инициативы. Понятно?

— Домишкой интересуешься, — подмигнул Степанов.

— До крайности. Четыре станковых. Сыпет и сыпет, терпения нет.

— Смекнул что-нибудь, — деловито осведомился Степанов, — или просто на-попа пошел?

— Пока так... а там видно будет.

— С одной гордостью, значит, на рожон прешь.

Тимчук не обиделся, а просто сказал:

— Если мысль есть, так ты не зарывайся, скажи.

Степанов поправил на поясе сумку с торчащими из-за него толстыми ручками противотанковых гранат и значительным шопотом сообщил:

— Вот спланировал до той канавы доползти, потом возле забора как-нибудь, а там и дом под рукой. Засуну в подвал две гранаты, и шуму конец.

— А они тебя приметят, да как шарахнут очередью!

— Зачем! Я аккуратно. Сапоги новыми портянками обмотал, чтобы не демаскировали.

— Лихо! Но только они в стереотрубу за местностью наблюдают, — упорствовал Тимчук.

— А ты чего все каркаешь? — разозлился Степанов. — Заметят, заметят, а сам напропалую прешь.

— Я не каркаю — рассуждаю, — спокойно заметил Тимчук. — Ты вот что, теперь меня слушай. Мы сейчас с тобой

разминемся: ты к своей канаве ступай, а я тут дальше выбоинку приметил. Залягу в ней и, как ты по-над забором ползти начнешь, буду из автомата на себя немцев внимание обращать.

— Да они же тебя с такой близи с первой очереди зарежут, — запротестовал Степанов.

Тимчук холодно и презрительно посмотрел в глаза Степанова и раздельно произнес:

— У них еще пули такой не сделано, чтобы меня тронула. Давай, действуй. А то ты только мастер разговоры разговаривать.

Степанов обиделся и ушел. Когда Степанов добрался до забора, он услышал сухие короткие очереди автомата Тимчука и ответный заливистый рев фашистских станковых пулеметов.

Пробравшись к кирпичному дому сельсовета, где засели немецкие пулеметчики, Степанов поднялся во весь рост и с разбега швырнул в окно две гранаты.

Силой взрыва Степанова бросило на землю, осколками битого кирпича повредило лицо.

Когда Степанов очнулся, на улицах села шел уже штыковой бой. Немецкие машины горели, выбрасывая высоко грязное горячее пламя.

Степанов поднялся и, вытерев окровавленное лицо снегом, прихрамывая, пошел разыскивать Тимчука, чтобы сказать ему спасибо.

Он нашел Тимчука в той же выбоине лежащим на животе с равнодушным лицом усталого человека.

— Ты чего тут разлегся? — спросил Степанов.

— А так, отдыхаю, — сказал Тимчук и, вяло поглядев в лицо Степанова, ядовито добавил:

— А ты, видать, лицом землю рыл, иди умойся.

Степанов заметил мокрые красные комья снега, валяющиеся вокруг Тимчука, и тревожно спросил:

— Ты что, ранен?

— Отдыхает человек, понятно? — слабым, но раздраженным голосом сказал Тимчук. — Нечего зря здесь околачиваться. Твоя рота где?

Степанов нагнулся, поднял с земли автомат и, надев его себе на шею, грубо сказал:

— Ох, и самолюбие у тебя, парень!

Подхватив подмышки Тимчука, он взвалил его к себе на спину и понес в санбат.

А Тимчук всю дорогу бранился, пытаясь вырваться из рук Степанова, но подконец ослабел и перестал разговаривать.

Сдав раненого, Степанов нашел политрука первой роты и сказал ему:

— Товарищ политрук, ваш боец Тимчук геройским подвигом собственноручно подавил огневые точки противника, скрытые на подступах села. Это дало возможность нашей третьей роте зайти во фланг немцам и подвергнуть их уничтожению.

— Спасибо, товарищ боец, — сказал политрук.

Степанов напомнил:

— Так не забудьте.

Повернувшись на каблуках, прихрамывая, он пошел к западной окраине села, где бойцы его роты, окружив немцев, уничтожали их.

ВАДИМ КОЖЕВНИКОВ





Рис. с натуры худ. Н. Жукова

Прощание сына

Враг идет. Прощай, родная!
Будь жива-здорова.
Мне ль томиться, оставаясь
Под родимым кровом?

Для того ли поливала
Ты землицу по́том,
Чтоб она теперь стонала
Под фашистским гнетом?

Для того ли ты про волю
Надо мной певала,
Чтобы к немцу наша доля
Под сапог попала?

Лучше пасть на ратном поле,
Лечь свободным в яму,
Чем пойти к врагам в неволю
Нам с тобою, мама!

Я иду спасать свободу,
Биться с гадом буду,
Что несет с собой народу
Кровь и смерть повсюду.

Будем живы — будем рады
Счастью молодому,
А пока не сломим гада, —
Не бывать мне дома!

КОНДРАТ КРАПИВА
С белорусского перевел Дм. Кедрин

Мы возвращаемся!

1. ТОВАРИЩ

Вслед за врагом пять дней за пядью пядь
Мы по пятам на запад шли опять.

На пятый день под яростным огнем
Упал товарищ, к западу лицом.

Как шел вперед, как умер на бегу,
Так и упал и замер на снегу.

Так широко он руки разбросал,
Как будто разом всю страну обнял.

Казалось, он, отдавший жизнь в бою,
И мертвый землю не отдаст свою.

Мать будет плакать много горьких дней,
Победа сына не воротит ей.

Но сыну было, пусть узнает мать,
Лицом на запад легче умирать.

2. ДОРОГА

Дорога стала не такой,
Какой видал ее в июле,
Как будто сильною рукой
Мы вспять ее перевернули.

Попрежнему багров закат
И черны уголья пожарищ.

Попрежнему пожары хат
Нам освещают путь, товарищ.

Еще все так же путь жесток,
Но беженцы уже не плачут, —
На запад, а не на восток
Возы со скарбом их маячат.

Мы им в тылу, среди невзгод,
Уже пристанища не ищем,
Они идут вперед, вперед,
Вперед, к родимым пепелищам.

У них в ногах клубится прах
Испепеленного селенья,
Но вместо слез горит в глазах
Одна сухая горечь мщенья.

Крестьянами окружены,
Два немца пойманы у дома,
В дрожащих пальцах — зажжены
Колючие пучки соломы.

Их молча ставят у плетня.
За кровь, пожарища и раны
Им платят вспышками огня
Из партизанского нагана.

Они лежат в чужом снегу,
С машиной, брошенною рядом.
И женщины в лицо врагу
Плюют, окинув гневным взглядом.

Но бой еще зовет, зовет,
Еще пройти осталось много.
И армия идет вперед
По пламенеющим дорогам.

Идет по скользким глыбам льда,
Сквозь снег, сквозь гари черный запах.
Но не устанет никогда
Тот, кто вперед пошел на запад!



Возвращение в родные места. Рис. с натуры худ. Н. Жукова

3. ВОСПОМИНАНИЕ.

Сейчас, когда по выжженным селеньям
Опять на запад армия пошла,
Я вижу вновь июньские сраженья,
Еще не отомщенные дела.

Майор привез мальчишку на лафете.
Погибла мать. Сын не простился с ней.
За десять лет, на том и этом свете,
Ему зачтутся эти десять дней.

Его везли из крепости, из Бреста,
Был исцарапан пулями лафет.
Отцу казалось, что надежней места
Отныне в мире для ребенка нет.

Майор был ранен, и разбита пушка.
Привязанный к щиту, чтоб не упал,
Прижав к груди заснувшую игрушку,
Седой мальчишка на лафете спал.

Мы шли ему навстречу из России,
Проснувшись, он махал войскам рукой...
Ты говоришь, что есть еще другие,
Что я там был и мне пора домой...

Ты это горе знаешь понаслышке,
А нам оно оборвало сердца —
Кто раз увидел этого мальчишку,
Домой притти не сможет до конца.

Я должен видеть теми же глазами,
Которыми я плакал там, в пыли,
Как тот мальчишка возвратится с нами
И поцелует горсть своей земли.

За все, чем мы с тобою дорожили,
Призвал нас к бою воинский закон,
Мой дом теперь не там, где прежде жили,
А там, где отнят у мальчишки он.

КОНСТАНТИН СИМОНОВ

Из боевого дневника ополченца

Напряженной военной жизнью жил в эти дни Ростов. С каждым днем все отчетливей слышался гул артиллерийской канонады. Окна домов дрожали от грохота зениток. Пронзительно сигналя, мчались автомашины. Тяжелые танки двигались к западным окраинам города, и все чаще по улицам шли молчаливые, суровые отряды красноармейцев. В течение нескольких дней глубокие противотанковые траншеи опоясали город. На улицах Ростова женщины, дети и старики с хозяйственной деловитостью возводили баррикады.

В помощь Красной Армии на заводах и фабриках формировались отряды ополченцев.

Ранним утром я пришел в кабинет председателя завкома Ростсельмаша. В коридорах и комнатах завкома толпились рабочие. У стола, где производилась запись в отряды народных ополченцев, я простоял несколько минут. Сосредоточенны и торжественны были лица людей, спокойная решимость отражалась во взглядах. Вопросы и ответы были четки и лаконичны:

— Слесарь Иван Соколов...

— Военная специальность?

— Пулеметчик.

— Инженер Кузьмин?

— Артиллерист.

— Бухгалтер Краснов?

— Снайпер.

Спокойно, словно в рабочую смену, шли ростовчане на фронт.

Разрозненные подразделения ополченцев были объединены в полк под командованием капитана Варфоломеева и батальонного комиссара Штахновского.

Этому новому рабочему полку доверили оборону окраин города от Сельмаша до балки Черепахиной. С песней вы-

ступили отряды к боевым рубежам. В изрезанной оврагами степи ополченцы заняли позиции, готовясь к бою. Как показали события ближайших дней, именно здесь враг рассчитывал нанести решительный удар.

Прорвав линию нашей обороны на дальних подступах к городу, колонна танков группы Клейста двинулась на позиции рабочего полка.

...Все яростней, все ближе трескотня пулеметов. Непрерывно грохочут танковые пушки. Снаряды рвутся у нашей траншеи.

Отчетливо видны цепи автоматчиков, торопливо движущихся вслед за танками.

Я внимательно всматриваюсь в лица товарищей. Вот командир роты Дудников.

Он даже весел как будто. Внимательно рассматривая в бинокль приближающихся фашистов, он улыбается бойцам.

— Итак, ребята, первое отделение концерта началось!

Взяв трубку телефона, он доложил комбату:

— Приближается шестьдесят автоматчиков.

Командир батальона, инженер Кавэнергомонтажа Репин, выслушав донесение, приказал:

— Подпустите ближе и уничтожьте!

— Есть уничтожить! — кратко ответил Дудников.

Мне вспомнилась недавняя беседа с Дудниковым. Это было до войны. Технолог комбината был уверен, что к военной службе он не пригоден. «Выправки не имею», — с грустью говорил он. Теперь это был опытный, обстрелянный воин.

Вот он поднимается во весь рост, стремительно взбегает на вал траншеи и резко взмахивает рукой. Граната рвется прямо под гусеницами передового танка. Вражеская машина тотчас же остановилась, уткнувшись в канаву. Впереди своей роты Дудников идет в контратаку. Мы ни на шаг не отстаем от него. С таким командиром мы уверены в победе.

В это время Репину доложили: «На правом фланге появилось десять танков и сто двадцать автоматчиков». Положение осложнялось. Завязались уличные бои. Из чердаков, из окон на фашистские танки и автоматчиков полетели бутылки с горючим и гранаты. Вспыхнул один, второй, третий танк. Все заметнее редели группы фашистов.

Немецкое командование бросило на позиции ополченцев свежие подкрепления. Силы были неравные. Пользуясь преимуществом в танках и огневых средствах, фашисты обошли батальон Репина. Бойцы ждали решения своего командира. И инженер, командир народного батальона, принял смелое решение:

— Вперед! За родину, за Сталина! — крикнул он и первый пошел в атаку с автоматом наперевес.

Репин повел роту на прорыв. Фашисты не ждали такой дерзости. Беспорядочно отстреливаясь, они начали отступать. Почти без потерь вывел Репин своих бойцов из окружения и занял новый оборонительный рубеж.

Полк помог частям Красной Армии отойти в соответствии с планом обороны и укрепиться на новом рубеже. Все попытки фашистов отрезать пути отхода обозов также были сорваны.

Со стороны Батайска крупная группа вражеских автоматчиков двигалась по реке Темерник, чтобы захватить мост через Дон. Капитан Варфоломеев своевременно разгадал маневр врага. Он приказал командиру Скачкову преградить путь фашистам.

Небольшая группа смельчаков успешно выполнила эту задачу. Она уничтожила несколько десятков фашистских солдат и остальных отбросила от переправы.

* * *

Город горел. Темное небо освещали отблески багрового зарева. Среди промерзших камышей к Дону, стараясь не шуметь, пробирались группы ополченцев. Слышался приглушенный шопот:

— Немцы жгут...

— Чувствуют, гады, свою гибель...

Одною из групп руководил инженер Сергей Гриднев. Он не отрывал жадного взора от пожарища. Сердце ныло. В городе остались его родные, друзья.

В кровь расцарапывая лицо и руки, он полз к берегу Дона. Группе Гриднева было дано ответственное задание — скрытно пробраться в станицу Верхне-Гниловскую, захватить набережные строения, помочь Красной Армии форсировать Дон. Молча, только слыша биение своих сердец, следовали за своим командиром бойцы.

Вот и Дон, родной, любимый Дон! Сердце забилось чаще. Здесь ползти легче. Но тонкая корка льда зловеще трещит. Кое-где показалась вода. Немцы не спят...

Вдруг несколько ослепительных ракет прорезывают ночное небо. Тотчас начинается беспорядочный обстрел Дона. Гриднев приказывает:

— Переждем. Пусть потешатся! — Голос его необычно глух.

Бойцы замерли. Когда немцы прекратили стрельбу, ополченцы снова двинулись вперед. Все ближе, ближе родной город. Проходит еще несколько томительных минут. Затем, подобно мощной волне, бойцы выбрасываются на берег. С дружным криком «ура» они устремляются к огневым точкам врага, вклиниваясь в его оборону.

Ценой любых потерь фашистское командование пыталось удержать Верхне-Гниловскую — этот исключительно выгодный в стратегическом отношении населенный пункт.

Но отделение Гриднева уже успело укрепиться во дворе одного из домов. Только шесть бойцов осталось в отделении... Они могли бы отойти за Дон.

— Нас мало, фашистов много. Решайте сами, что делать, — сказал бойцам Гриднев.

— Умрем, но город не оставим, — ответили бойцы.

Стойко отбивала отважная шестерка атаки врага.

В бою выработалась и новая тактика. Гриднев умело замаскировал своих снайперов. Он научил их стрелять, не высовывая наружу полуавтоматов. Фашисты так и не могли установить, где расположены бойцы, уничтожающие их огневые точки.

Гридневцы не отошли. Сутки они удерживали выгодную позицию и помогли частям Красной Армии переправиться через Дон. Особенно отличились в этом бою мужеством и храбростью товарищи Гуторович, Слепышков, Аксельбант.

Ополченцы наступали на Верхне-Гниловскую. Пытаясь сдержать этот натиск, противник открыл усиленный минометный огонь. Было ясно, что без уничтожения вражеских минометов поселком овладеть невозможно.

Командование полка создало специальные группы охотников за минометами. Бойцы Головин, Лагода, Деревянко первыми подкрались к минометным расчетам врага и забросали их гранатами.

Работники Доно-Кубанского пароходства Кравченко, младший политрук Гольберг с бойцами Рыбиным, Капрановым и Воропаевым выдвинулись вперед и групповым ружейным огнем уничтожили пулеметный расчет врага. Они захватили пулемет и открыли из него огонь по отступающим немцам.

Фашистский автоматчик, засевший на чердаке одного дома, долго не прекращал стрельбы. Командир отделения ополченцев Муравьев получил задание уничтожить фашиста. Он скрытно подобрался к дому и забросал его гранатами. Автоматчик тотчас умолк.

Подразделение ополченцев потеряло связь. Братья Илларион и Александр Глоза под обстрелом на открытой местности сумели быстро восстановить связь.

Командир взвода Павел Попов с группой бойцов уничтожил фашистского офицера, захватил противотанковый пулемет и автомат.

В решающий момент боя немецким автоматчикам удалось приостановить продвижение нашей цепи. Бойцы залегли. Требовались решительные действия. Политрук Полтавцев, поднявшись во весь рост, с гранатами в руках бросился на фашистов. Легкий ветерок подхватил и разбросал пышную шевелюру Полтавцева. Гибкий, стройный, он бежал навстречу свинцовой волне, летевшей из автоматов.

Ничто не могло остановить бойцов. Они бросились вперед за своим политруком. И враг не выдержал. Спешно, в беспорядке, бросая вооружение, он отходил. Полтавцев погиб смертью героя. У трупа товарища ополченцы поклялись отомстить за его смерть, и они выполнили свою клятву.

В этих беглых боевых записях о людях, которых я хорошо знаю по работе в Ростсельмаше, с которыми часто встречался и дружил, нельзя не упомянуть о нашей санитарке Ире Толстопятовой. Кто мог бы подумать, что эта молоденькая, всегда веселая девушка проявит себя как человек, не ведающий страха?

Под жестоким минометным и пулеметным огнем врага Ира вынесла с поля боя восемь раненых бойцов.

Случилось так, что командир подразделения Яковлев, будучи тяжело ранен, остался в окружении.

Ира еще имела время вернуться в свое подразделение. Но она не оставила командира. Она перенесла его в сарай, уложила на солому и начала отстреливаться из винтовки. Фашисты открыли по сараю огонь из минометов. Стены сарая рушились, осколки поминутно дырявили крышу. Ира перенесла раненого в погреб и укрыла мешками. Она перевязала ему раны, напоила водой.

Ночью раненый несколько раз настаивал:

— Уходи, Ира, мне все равно...

Девушка не уступала ему. Она твердо стояла на своем:

— Нет, Витя, одного тебя я не оставлю.

На рассвете неожиданно послышался знакомый голос:

— Ира, ты жива?

Это были свои. Отбив немецкую атаку, они пришли выручать товарищей.

...Бой кончился. Над Верхне-Гниловской взвилось советское знамя. Дружинницу Иру Толстопятову срочно вызвали в штаб. С тревогой приближалась она к дому штаба: «Неужели отчислят по малолетству?»

Встретили ее в штабе радостно. Полковой врач, как равной, пожал ей руку и, улыбаясь, сказал:

— Здравствуй, наша штатная дружинница!

В бою Толстопятова заслужила звание бесстрашного воина. Командиры, политработники поздравляли ее с зачислением в штат.

Ростовский полк народного ополчения блестяще выдержал первое боевое крещение. В боях за освобождение Ростова его бойцы проявили высокое мужество, хладнокровие и отвагу. Рабочие, инженеры, служащие, еще вчера занимавшиеся мирным трудом, показали примеры доблести и героизма.

Сейчас наш полк готовится к новым боям.

Я. КРИВЕНОК

Огнем сердца

Фронт жил напряженной боевой жизнью. Все было в движении, в грохоте.

Бои шли ночью на новых, еще не закрепленных, рубежах. Туда устремлялись войска. По улицам селения, только что отбитого у немцев и освещенного пожарами, бесконечно шагали колонны стрелков в стальных касках, грохотали орудия и повозки, подтягивались транспорты со снарядами.

Лязгая железными подошвами тракторов, вошел в селение на мерных скоростях длинный караван тяжелых гаубиц. Артиллеристы, накинув на головы капюшоны плащ-палаток, сосредоточенно шагали возле своих орудий, словно пахари.

— Какой части? — спрашивали у них бойцы.

Те отвечали кратко:

— Асатурова.

Асатуровцев любили.

Знал их и враг. Ежедневно немцы разыскивали с воздуха асатуровские батареи. Целые эскадрильи самолетов вылетали на бомбежку их, обрушивая с неба сотни тонн металла, но асатуровские батареи продолжали жить.

Огонь их был невыносим.

Майор Асатуров, чуть сутулый, бронзовый кавказец, с орлиным носом и черными сверкающими глазами, любил шутить по этому поводу:

— Тяжелая у нас рука на немцев, если бьем — встать не могут...

Майор двигался с командирами дивизионов далеко впереди своих гаубиц; он выбирал огневые позиции, намечал командные пункты. Все это требовалось делать быстро: бой ожесточался; немцы создавали твердую оборону, зарывались в землю, и нужно было выжечь их из складок советской земли, как тифозных вшей.

Командный пункт капитана Мокрого был намечен. Диви-

зиону Мокрого предстояло сокрушить линию обороны немцев на главном участке. Место наблюдательного пункта было очень опасным, и Асатуров предупредил Мокрого:

— Тебе будет горячо, милый.

Скоро первый гул орудий Мокрого начал сотрясать воздух и землю. Капитан лежал на своем наблюдательном пункте и оттуда указывал цели, корректировал огонь. Там же застал его и рассвет. Мокрый пытливо осмотрелся и остался доволен. Место наблюдательного пункта ему нравилось. Это был «укромный уголок» между двух огней — впереди нашего переднего края и недалеко от немецкого края обороны. Отсюда было видно все, что происходило на рубежах обеих сторон.

Чтобы сорвать планы немцев, Мокрому нужен был именно такой наблюдательный пункт. Он отвечал духу части и манере их огня.

Мокрый — плечистый, сдержанный человек — сказал в трубку телефона:

— Здесь тепло, просмотр подходящий, товарищ майор.

Тот приказал:

— Держи... Не обнаруживайся... Посерьезнее лежи, милый, всем животом.

Майор долго смотрел в перископ, напряженно изучая цели и падение снарядов на секторе Мокрого. Наблюдательный пункт командира полка, как орлиное гнездо, господствовал над окружающей местностью и тоже был впереди пехоты. Секторы огня дивизионов открывались отсюда полностью.

Майор, безотрывно глядевший в перископ и дававший через телефонистов отрывистую команду, чем-то напоминал сталеплавильщика у мартенов. На рубеже противника в секторе Мокрого происходило действительно нечто похожее на плавку: огненный ураган бушевал, кипели взрывы, к небу поднимался дым. Казалось, плавилась сама земля.

Так продолжалось полтора часа.

Девятка бомбардировщиков прилетела на очередную бомбежку асатуровских батарей и, как прежде, сбросила груз свой «напусто».

— Как у тебя дела, милый? — послышался в телефонной трубке низкий грудной голос майора.

— Горячо, но терпеть можно, — ответил Мокрый.

Наблюдательный пункт обстреливался из минометов и пулеметов. Становилось все труднее. Нащупав огневую точку, Мокрый давил ее двумя-тремя снарядами и методично, как дятел, продолжал долбить главные цели. Телефонист, связные и сам капитан были черны от пота и земли. Шинели их были изодраны.

Но уже дрогнул противник, уже поднялась советская пехота в атаку. Наступила святая минута, когда впереди пехоты должен покатиться огневой вал.

— Огневой вал! — бросил Мокрый в трубку и впился глазами в рубеж противника.

И казалось, вспыхнула земля, — огневой вал покатился, расчищая путь наступающей пехоте. Это был самый страшный и вместе с тем самый упоительный момент артиллерийского искусства. Мокрый забыл обо всем. Он лишь слышал гул своих орудий, хорошо улавливая его в общем громе сражения, отдавая сухие цифровые команды батареям.

— Товарищ капитан! — закричал связной и умолк.

Бризантный снаряд с воем упал возле, подпрыгнул, как мяч, и разорвался в воздухе. Огонь словно лизнул сердце. Мокрый схватил фляжку, прильнул к ней запекшимися губами и с досадой швырнул ее прочь — фляжка была давно уже прострелена, и вода из нее вытекла.

— Проверить связь! — прохрипел Мокрый.

В трубке телефона слышалась команда майора соседнему дивизиону:

— Мокрому помочь!.. Залпами!..

И затем настойчиво загудел зуммер. Майор прижал трубку к уху, замер. Его губы прошептали тихо:

— Мокрый... голубчик...

С батареи Будко — лучшей батареи дивизиона Мокрого — передали, что за бризантным обстрелом более сорока немцев с трех сторон прорвались и наступают на наблюдательный пункт Мокрого, что сам командир батареи Будко побежал к Мокрому.

Залитый кровью, капитан лежал у телефона и продолжал направлять огневой вал. Немцы наседали. Они уже замыкали кольцо, когда командир батареи Будко свалился в щель прямо к Мокрому.

— Переноси огонь в глубину, — встретил командира батареи Мокрый, — наша пехота ворвалась в блиндажи.

И он выронил трубку...

— Будем вылезать отсюда, — сказал Будко и вытер пот со лба.

— Да, теперь этот НП не нужен, — слабо отозвался Мокрый.

Будко ничего не ответил. Замкнув круг, немцы подползали все ближе и ближе.

— Шестьдесят метров... пятьдесят метров, — отсчитывал связной.

Бледный от напряжения лежал майор Асатуров у края своего наблюдательного пункта. Вдруг он вскрикнул радостно, увлеченно:

— Молодцы! Молодцы, ребята!

Наблюдательный пункт Мокрого был охвачен огнем. Снаряды ложились вокруг него строгим кольцом. Дым и

пыль от взрывов скрывали все, что происходило внутри этого огненного колодца.

Били с батареи Будко.

Оттуда передавали, что командир батареи Будко вызвал огонь на себя и сам дает отсчеты, что снаряды ложатся в 30 метрах от наблюдательного пункта прямо по немцам.

Держа на руках Мокрого, Будко выжидал удобный момент. Связные сбились вокруг него в кучу.

— Сматывай, — наконец сказал Будко телефонисту. И, согнувшись, прижав к своей груди капитана, он побежал сквозь дым.

Связи больше не было. Майор Асатуров отполз от обрыва и, забыв об опасности, во весь рост зашагал с пункта.

Артиллеристы ждали, когда выйдет кто-нибудь из блиндажа. Там слышался медлительный густой голос Будко и почти девичий, веселый голос телефониста с наблюдательного пункта.

Дверь скрипнула, и вышел майор.

— Жив Мокрый, — сказал он, — жив и будет жить.

И все, словно сговорившись, зашагали к орудию № 1. Возле орудия стоял молодой парень, наводчик Василий Лебер. Майор молча смотрел на него своими чудесными сверкающими глазами и мягко улыбался.

— Вот, милый, — наконец промолвил Асатуров, — нету у меня слов, чтоб оценить, как превосходно ты бил. Спасибо, милый.

Василий Лебер положил руку на грудь, ответил:

— Огнем сердца бил, товарищ майор.

В. ВЕЛИЧКО

★

В наступлении

1. КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ БОЙЦА СИМУКОВА

Боец Симуков с двумя товарищами пробрался к вражескому ДЗОТу, уничтожил всю его команду. Вооружившись трофейным станковым пулеметом, бойцы открыли огонь по немецкой пехоте. Их окружили фашистские автоматчики. Один боец был убит, другой ранен. Симуков вел огонь, пока были боеприпасы, а потом несколько фашистов заколол штыком. Боец вырвался из вражеского кольца и вынес своего раненого товарища.

Я разыскал этого человека, совершившего подвиг, чтобы написать о нем в газету.

Мы встретились в лесу, белом, словно каждое дерево было сделано из матового стекла. Высушенный стужей воздух был голубым, чистым.

Симуков сидел на снегу. Перед ним была разложена плащ-палатка. А на плащ-палатке лежали золотой грудой патроны, которые он тщательно осматривал, прежде чем заложить в круглые кассеты автомата.

Симуков радушно предложил мне сесть на плащ-палатку и сказал:

— Очень во-время вы, товарищ корреспондент, пришли, а то я сам было собирался заметку в газету писать и все боялся, как бы коряво не получилось.

Потом, вынув кисет, он предложил:

— Вы закуривайте, а я расскажу. Записывать не надо. Если у вас память человеческая есть, тогда все запомните.

Село тут недалеко было от Боровска. В нем немцы. Село это подступом к городу служило. Приготовились немцы к обороне хорошо. На восточной окраине села перед открытой поляной устроили засаду: два миномета, четырнадцать станковых и много ручных пулеметов. Немцев мы решили в клещи взять. Одна группа пошла с запада, лесом, а другая с востока, через переправу. Переползли мы по льду

так ловко, что немцы нас не заметили. Но заметили нас наши русские люди. И вот, глядим, бежит по косогору мальчишечка. Бежит, руками машет, а по нему немцы уже из автоматов бьют. Скатился он к нам с крутого берега прямо на спине. Поднялся сердитый, красный такой. Вытряхивает снег из валенок и спрашивает:

– Кто у вас здесь командир?

— Ну, я командир, — представился ему капитан Иванов.

Паренек насупился и, гневно так блестя глазами, говорит:

— Так куда же вы прете? Не видите, что у немцев там засада? Теперь я вас поведу, как надо.

Командир задумался, потом тревожно спросил:

— Слушай, мальчик, может, тебя подослал кто?

— Меня мать послала, вот кто! — гордо сказал мальчик.

И провел нас этот мальчик лощиной, вывел на другую окраину села, балочкой; задворками по деревне пробрались мы в тыл немецкой засаде, и уничтожили мы немцев, не очень шумя, — штыками.

Симуков задумался и, подняв голову, сказал:

— Теперь вы мне, товарищ корреспондент, скажите: где еще есть на свете такие матери, которые могут так свою землю любить, как наши русские женщины? Ведь она сына на смерть посылала. Ради нас, бойцов. Вот ведь дело-то в чем.

Потом он озабоченно сказал:

— Фамилию и имя паренька уж вы запишите — Андрианов Иван. Наше командование его к ордену представило. Вот ведь какие интересные люди живут в нашей стране!

2. УЖИН НА РАССВЕТЕ

Рассказ

К вечеру немцы были выбиты из села. Первая рота ворвалась с западной окраины, вторая — с юго-восточной, третья находилась в засаде. Но остатки немецкого отряда бросились не к большаку, как рассчитывал командир роты, а, прорвав цепи, ушли по целине.

Командир батальона вошел в первую попавшуюся избу, разложил на столе карту и сел за стол, злой, нахмуренный, не снимая шапки.

Хозяйка, пожилая, высохшая женщина, с каким-то молитвенным восхищением смотрела на озабоченное, с грубыми, резкими морщинами лицо командира и все никак не решалась сказать, что петух, которого она целый месяц прятала от немцев в подполье, уже зажарен и не пора ли его подавать.

И когда командир, перекладывая листы карты, уронил карандаш, женщина поспешно опустилась на колени и, ползая согнувшись в поисках карандаша, жарко, обрадованно зашептала:

— Голубчики вы наши, спасители!

Командир, смутившись, сказал:

— Зачем это вы, гражданочка, я и сам мог...

— Милый ты мой, — запричитала женщина, — да ведь радость-то какая! — И, став вдруг смелой, она сняла со стола карту и, вытащив из печи противень с жареным петухом, все с той же поспешной жадностью проговорила: — Кушайте, товарищ командир, поправляйтесь, чтоб извергов, палачей наших...

Командир поморщился так, словно ему не петуха предлагали, а жареную собаку, и, пробормотав что-то невнятное, вышел из хаты на улицу.

Приказав связному вызвать командира третьей роты Савчука, комбат сел на заснеженную скамью и стал жадно курить.

Ночь была чистая, морозная, и снег сверкал так, словно фосфорился.

Немного погодя пришел командир третьей роты Савчук. Коренастый, широкоплечий, в своем белом покоробившемся масккомбинезоне с капюшоном он походил на водолаза. Но лицо у него было явно встревоженное.

Комбат встал и сказал глухо:

— Люди нас тут курятиной угощают, почести воздают. А мы что же? Упустили немцев.

— Так ведь штук восемьдесят уничтожили, — сказал Савчук и развел плечами, отчего весь его масккомбинезон затрещал.

— А остальные ушли?

— Догонять надо, — неуверенно произнес Савчук.

— А как догонять, об этом подумали?

Савчук задумался, потом вдруг взволнованно сказал:

— Товарищ командир, пришло.

— Что пришло?

— Мысль пришла! — И Савчук, торопясь и захлебываясь, стал излагать свой план: — Нужно в санбате собачьи упряжки напрокат попросить — раненых все равно нет. Усадим на сани пулеметчиков и автоматчиков — и в дорогу.

Комбат испытующе посмотрел в глаза Савчука.

— Будьте уверены, — сказал Савчук бодро, — полный расчет будет.

Комбат вернулся в хату.

До рассвета просидел командир, склонившись над картой возле чадящей коптилки, и жевал черные сухари.

И когда на улице раздался собачий лай и тонкий визг полозьев, комбат вскочил и бросился к выходу.

В хату вошел Савчук. Лицо его было багрово-сизого цвета. Брови, ресницы покрыты белым мхом инея, но глаза блестели весельем.

Стягивая через голову хрустящий маскхомбинезон, Савчук говорил:

— Подмели вчистую. Прямо на ходу. С нашей стороны потерь нет. Двух собак убили, гады. Ну, уж это на мою шею — в санбате отчитываться.

Комбат, усадив Савчука к столу, взял ухват, вытащил из печки жареного петуха и, торжественно ставя его на стол, сказал:

— Теперь у нас совесть чистая. А то что получалось?

— Это верно, — согласился Савчук, наливая себе в стакан, — некрасиво получалось. — И потом, глядя на жареного петуха, задумчиво произнес: — А гордая, видать, птица была.

— Ну, будем здоровы, — сказал комбат и первый раз улыбнулся.

И сразу стало видно, что это еще совсем молодой человек с застенчивым лицом, а вовсе не тот человек, каким мы его видели все время, — с грубыми морщинами на щеках и ледяными, невозмутимыми глазами.

ВАДИМ КОЖЕВНИКОВ



Красноармейцу

Я видел девочку убитую.
Цветы стояли у стола.
С глазами, навсегда закрытыми,
Казалось, девочка спала.

И сон ее, казалось, тонок,
И вся она напряжена,
Как будто что-то ждал ребенок...
Спроси, чего ждала она?

Она ждала, товарищ, вести,
Тобою вырванной в бою, —
О страшной, беспощадной мести
За смерть невинную свою!

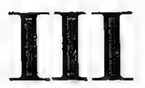
ИОСИФ УТКИН





„Продвигаясь вглубь нашей страны, немецкая армия отдаляется от своего немецкого тыла, вынуждена орудовать во враждебной среде, вынуждена создавать новый тыл в чужой стране, разрушаемый к тому же нашими партизанами, что в корне дезорганизует снабжение немецкой армии, заставляет ее бояться своего тыла и убивает в ней веру в прочность своего положения“.

И. СТАЛИН.







Клятва

Враг вошел в мой дом и разбил
И развеял в пыли дорог
Все, что я растил и любил,
Как зеницу ока, берег.

За тяжелый топор отца
Я во имя любви берусь.
Быть безжалостным до конца
Я клянусь тебе, Беларусь!

Невидимкою, ночь и день,
По горячим следам врага
Неотступно ползу, как тень,
Сквозь трущобы, через луга.

Я пойду по его следам,
Пулей встречу из-за плетня,
Я покоя ему не дам,
Сердце ужасом леденя.

И воздаст ему кровь за кровь
Мой не знающий меры гнев
За разрушенный отчий кров,
За потоптанный мой посев...

За взращенные мной сады,
За короткий сыновий век
И за каждый глоток воды
Из моих белорусских рек.

А. СУРКОВ

Белорусским партизанам

Партизаны, партизаны,
Белорусские сыны!
Бейте ворогов поганых,
Режьте свору окаянных,
Свору черных псов войны.

На руинах, на погосте,
На кровавых их следах
Пусть скликает ворон в гости
Воронов — считать их кости,
Править тризну на костях.

Пусть у Гитлера-урода
Сердце вороны клюют.
Пусть узнает месть народа
Вурдалакова порода.
Партизан, будь в мести лют!

Матерей лишал он зренья,
Резал старцев и детей.
Встал кошмаром-привиденьем
И закрыл кровавой тенью
День наш ясный от людей.

* * *

Партизаны, партизаны,
Белорусские сыны!
Бейте ворогов поганых,

Режьте свору окаянных,
Свору черных псов войны.

Вас зову я на победу,
Пусть вам светят счастьем дни,
Сбейте спесь у людоедов,
Ваших пуль в лесу отведав,
Потеряют спесь они.

Слышу плач детей в неволе,
Стоны дедов и отцов.
И кровавый колос в поле
На ветру шумит: «Доколе
Мне глядеть на этих псов!»

За сестер, за братьев милых,
За сожженный хлеб и кров
Рвите из проклятых жилы,
В пущах ройте им могилы.
— Смерть за смерть и кровь за кровь!

* * *

Партизаны, партизаны,
Белорусские сыны!
Бейте ворогов поганых,
Режьте свору окаянных,
Свору черных псов войны.

Вам опора и подмога —
Белорусский наш народ.
Не страшна бойцу тревога,
Партизанская дорога
Вас к свободе приведет.

Мир глядит на вашу схватку,
Видит Сталин, как стеной
Встали мы за правду-матку,
Презирая страх-оглядку,
Уважая край родной.

Мы от нечисти очистим
Землю, воды, небеса.

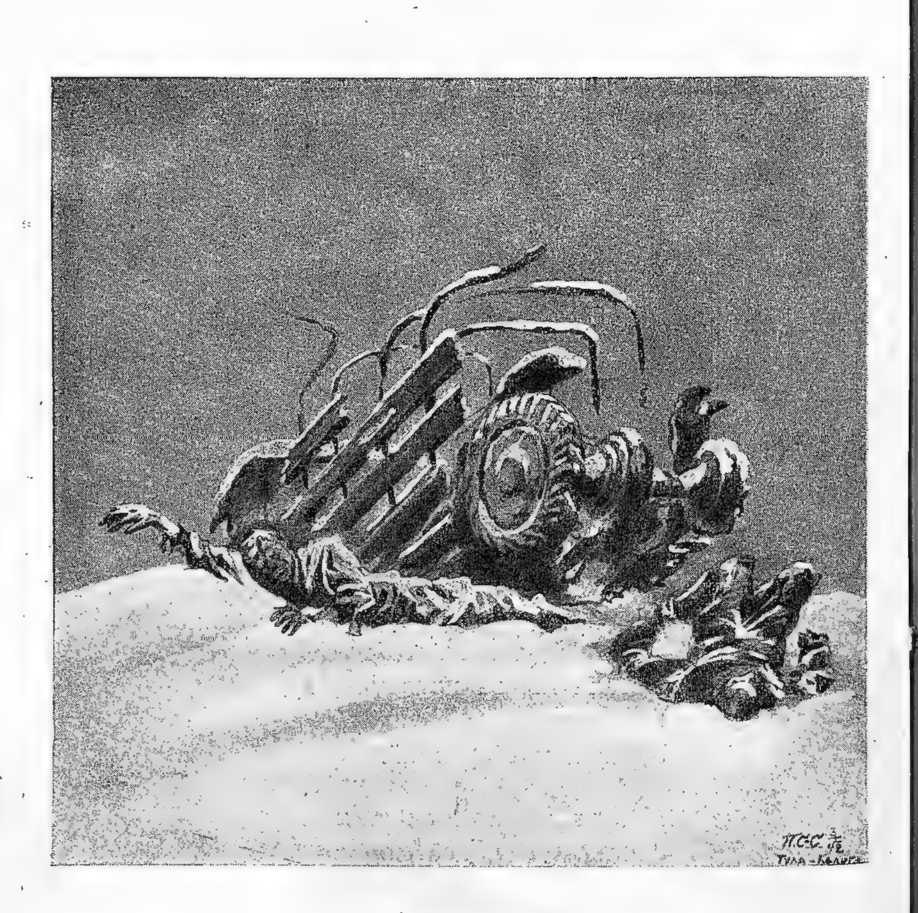
Не увидеть псам-фашистам,
Как цветут под небом чистым
Наши нивы и леса.

Партизаны, партизаны,
Белорусские сыны!
Бейте ворогов поганых,
Режьте свору окаянных,
Свору черных псов войны.

ЯНКА КУПАЛА

С белорусского перевел Мих. Голодный





В хате

— Бабка! Бабка!

Анисья подняла глаза. Из-за плетня ее звала Наталка.

— Чего?

— Можно зайти к вам на минутку?

— Чего ж нет? Заходи, если надо, — ворчливо сказала Анисья.

— Бабка!

— Чего тебе?

— Бабка, немцы идут.

Анисья пожала плечами. Она слышала это уже несколько дней. Они шли. Ну и что же? И немцы, небось, дадут спокойно помереть такой старой рухляди, как она. Идут так идут... Ей-то, старухе, что...

— Бабка, мы все уходим в лес, и тятя, и я, и все, все!

— Ну и идите... А я тут погреюсь на солнышке...

— Бабка, у нас в саду два красноармейца.

— Кто?

— У нас в саду, в той будке, что за сливами, два красноармейца.

— Ну так что? Понравился тебе который, что ли?

Наталка вздохнула. Она присела на корточки и, глядя в бледные, подернутые бельмом глаза, громко, выразительно говорила:

— Бабка, красноармейцы раненые. Их нельзя взять с собой. Они лежат, их нельзя шевелить. Понимаете?

— Понимаю... На солнышко бы их...

— Бабка, они тяжело раненные, понимаете? Мы все уходим в лес. А немцы вот-вот подойдут... Бабка, красноармейцам надо воды подать, походить за ними, понимаете?

— Чего ж тут не понять?

— А сможете ли вы?

— Почему не смочь?

Наталка погладила морщинистую, дрожащую руку.

— Ну, так будьте здоровы, бабка... Я так думаю, что скоро мы обратно в деревню... А теперь пока что побегу.

И замелькали босые ноги. Анисья покачала головой:

— Вот коза... Ну, старая, поглядим, где там эти двое...

Она тяжело приподнялась. Труднее всего было встать. Но, раз распрямившись, больные ноги шли уже сами.

Она обошла кругом и вошла в соседский сад. На соломе лежали двое раненых. Старуха присела на корточки и рассматривала их.

Один из раненых очнулся от лихорадочного забытья, поднял перевязанную голову.

— Кто здесь?

— Тише, тише! Бабка Анисья пришла... Ты лежи, лежи спокойно...

— Воды...

— Воды... Принесу и воды, голубок, а как же, всего принесу.

Она сама не знала, откуда взялись у нее силы. Рвущая боль в ногах прекратилась. Анисья не помнила о ней. Она начерпала воды из колодца, налила в кувшин и снова отправилась в сад, под сливы.

— Пей, пей, голубок...

Она поставила кувшин около раненых и засеменила к себе. Тут она снова уселась на пороге и сразу задремала, утомленная хлопотами. Ее разбудила вечерняя прохлада. Она с усилием засеменила к раненым и снова вернулась к себе.

— Вот и день прошел...

Утром во двор вошли трое. Слышны были жесткие звуки чужой речи. Бабка Анисья не испугалась. Что ей немцы? Ей, может, несколько дней осталось до смерти, до той смерти, что все не приходила.

Пришельцы покричали, покричали и ушли. Анисья думала, что на том и конец. Но не успела она подняться с порога, как их привалило полный двор.

— Твоя хата?

Она заслонила рукой глаза от солнца. Кто-то говорил по-украински, — знакомые слова, но выговор жесткий и хриплый. Ей не хотелось разговаривать.

Но офицер напирал:

— Говори, твоя хата?

— Моя... А что?

— Открывай избу.

— Да ведь открыта, — удивилась Анисья.

— Открывай, когда тебе говорят, — крикнул переводчик.

Медленно, постанывая, тяжело опираясь на палку, она поднялась и вошла в избу. Офицеры за ней.

— Ты одна в хате? — спросили старуху.

— Одна... Уже десять годов как одна...

Ее оставили в покое. Они расселись на лавке, на кровати и громко разговаривали о чем-то. Она подождала минутку и двинулась к двери. Чья-то тяжелая рука упала на ее плечо и дернула ее назад. Она поняла, что ее задерживают в избе. Полковник долго разговаривал с переводчиком.

— А вы присматривайте. Слепая, старая, а чорт ее знает, что там в сущности. Оглянуться не успеете, как она наведет на вас кого-нибудь.

Когда переводчик ей объяснил, что она должна сидеть дома, несколько раз покладисто кивнула головой. Ей-то что? Дома так дома.

Она взобралась на печку и задремала. В избе громко разговаривали, раскладывали по столу карты, ссорились, свистели, топали подкованными сапогами. Это ей не мешало. Она дремала.

Но к вечеру ее охватило беспокойство. Там, в притаившейся под сливами будке, наверно уже не хватило воды в кувшине. Хлопцы ждут и не могут дождаться бабки Анисьи. Они ведь ничего не знают. Подумают, забыла старуха, поленилась притти.

Она совсем очнулась от дремоты и внимательно осмотрелась в избе. Их было тут полно, они толпились у дверей, ходили по сеням, у входа стоял часовой. Выйти незаметно нечего было и думать. Она, кряхтя, слезла с печки.

— Ты куда?

Переводчик вырос, словно из-под земли. Она сердито оттолкнула палкой его руку.

— Смотрите, какой... По своей нужде иду. Понятно?

Он отступил, но, выйдя, она заметила, что он идет за ней по пятам. Она пожала плечами.

Вот еще, старой бабы испугались немцы. Ну, стерегите, стерегите.

Она вернулась в избу на печку. Но беспокойство за тех, за тех двух, угнетало ее все сильнее.

Она долго вертелась на своей подстилке и тяжко вздыхала. Когда пришел сон, ей снились те двое. Ох, как громко кричали те двое! Так громко, что Анисья проснулась. И сразу почувствовала: что-то неладно. Она взглянула с печки, и ей показалось, что ей все еще снится.

Офицеры сидели за столом на табуретах, на кровати. А перед ними стояли, поддерживаемые солдатами, те двое, из будки под сливами. Бабке Анисье показалось, что с ее глаз вдруг спало бельмо, нараставшее на них годами. Она увидела то, чего не видела за всю свою долгую жизнь.

За столом, по самой середине, сидел полковник. Переводчик стоял у стола, около раненых. Полковник бросал вопрос, и переводчик быстро, жестко, хриплым голосом повторял его.

— Какой части?

Анисья даже здесь, на своей печке, слышала тяжкое дыхание раненых. Они хватали запекшимися губами воздух, тяжко дышали. Они шатались, и руки немецких солдат грубо и крепко поддерживали их.

— Какой части?

Они не отвечали. Полковник сердито грохнул кулаком по столу.

— Скажите им, что я не поцеремонюсь, понятно?

Анисья слышала жестокую угрозу в его голосе. Она чувствовала, как колотится ее сердце. Оно билось, билось так сильно, как не билось долгие годы, и старуха подумала, что, пожалуй, там у стола слышен грохот, разрывающий ее грудь. Но никто не смотрел на печку. Все глаза были устремлены на тех двоих, что пошатывались перед столом, поддерживаемые грубыми солдатскими руками.

— Какой части?

Раненный в голову перевел дыхание. Бабка Анисья ожидала, вся дрожа.

— Не скажу.

— А ну, Ганс, помоги ему. У него слова не пролазят сквозь зубы, ты помоги ему.

Солдат замахнулся и ударил кулаком по лицу. Голова в грязной, пропитанной кровью повязке бессильно качнулась назад. Но раненый, напрягая волю, выпрямился опять.

— Где армия?

— Не знаю.

— Где люди из деревни?

— Не знаю... Я никого не видел, — хрипел раненый.

Полковник гневно сжал лежащие перед ним бумаги.

— Ганс, он не видел... Понимаешь, он не видел... Ну-ка, помоги ему видеть. Понимаешь, помоги ему так, чтобы он увидел.

Раненый упал на землю. Анисья приподнялась. Нет, этого не может быть, старые глаза ее обманывают! Солдат вытащил штык. Двое сели на лежащего. Осторожным, почти нежным движением солдат воткнул штык в левый глаз. Раздался нечеловеческий, придушенный крик и тотчас умолк.

— Прикончить! — сказал полковник. — Следующий! Спрашивайте.

Анисья торопливо спрятала голову под одеяло. Она затыкала пальцами уши, чтобы не слышать. Со стоном проклинала свою жизнь, которая тянулась девяносто один год, чтобы дойти до этой ночи. Она проклинала свои глаза: они не ослепли во-время, не заросли до конца бельмом, они увидели. Проклинала свои уши. Они не оглохли во-время, они могли это слышать.

Сквозь одеяло до старых ушей доносились стоны и отчаянный монотонный, все один и тот же крик:

— Не знаю! Не скажу!

И, наконец, тишина. Но она долго не решалась выглянуть из-под одеяла. Наконец высунула голову. Те, повидимому, собирались спать, расстегивали пояса, снимали сапоги. Закрыли окна деревянными ставнями. Задвинули засов у дверей. Перед домом расположились лагерем солдаты, за дверьми ходил часовой, но офицеры, видно, никому и ничему не доверяли. Полковник сам осмотрел засов у дверей, попробовал его. Проверил ставни. И сам подошел к печке посмотреть, спит ли там старуха.

Анисья поспешно закрыла глаза, стараясь дышать ровно, спокойно.

Лампа погасла. Анисья чувствовала, как у нее деревянеют руки и ноги, как становятся тяжелей свинца.

Она ждала. Время тянулось медленно, страшно медленно. В черном мраке избы секунды расплывались в вечности. Время остановилось. Руки и ноги Анисьи окоченели, пот ледяными каплями покрывал лоб и спину — все равно она должна это сделать!

Кто-то уже храпел. Анисья бесшумно приподнялась на печке. Ей показалось, что ее видно в темноте, что слышно каждое ее движение. Но те спали. Со всех сторон неслись сопенье и храп. Они лежали вповалку на постланной на полу соломе. Полковник спал на кровати. Она спустила с печки одну ногу. Ждала. Никто не шевельнулся. Другую ногу — ничего. Тихонько, осторожно она слезла с печки. Только не разбудило бы их ее сердце, бьющееся, словно набат. Но нет, они спали. Спали глубоким, крепким, тяжелым сном усталых людей. Анисья, шаря руками в темноте, подошла к дверям. Сдерживая дыхание, еще раз повернула ключ и вынула его из замка. Глубже воткнула затычки в ставни. Сколько сил в ее дрожащих, опухших руках! Дверь была заперта крепко. Крепко заперты были окна. Никто не помешает спать, никто не проникнет в хату, никто не нарушит отдыха господ офицеров.

Она переждала. Пошарила под лавкой. Да, бутылка была на своем месте. Полная бутылка. Как раз недавно Наташа принесла из лавки и поставила туда полную бутылку.

Анисья вытащила пробку. Бесшумно наклонилась над кроватью и медленно, осторожно налила керосину на солому, там, где лежали полковничьи ноги. Отступила на шаг и медленно, осторожно полила керосином там, где лежали на полу офицеры. И на пороге, и всюду.

Дерево было сухо, сухи были доски, ведь сколько лет стояла уже хата! Дерево было сухо, как солома. Да, верно, солома... Она заботливо окропила и подстилку.

Дрожащими пальцами она поискала на шестке спички. А как же? Лежат на своем месте...

Накинув на голову одеяло, она потерла под ним спичкой о коробок. Вспышка, показалось ей, прозвучала громче выстрела. Но в избе все было тихо. Мирно храпели, спали тяжким сном утомленные люди. Она поднесла горящую спичку к самому полу и не могла уже подняться. Быстрый огонек пополз по соломе, скользнул, как змея, между соломинками, разлился всюду, как вода.

Анисья, не отрываясь, глядела на огонь. Она не почувствовала, как загоралась ее намокшая в керосине юбка.

Когда с криком вскочил первый из спящих, изба горела пожирающим, быстрым, несущимся вверх огнем. Кто-то отчаянно ломился в дверь.

Бабка Анисья поднялась, но тут же упала ничком, упала лицом в пламя. Успела вспомнить, что двери и окна заперты, заперты крепко и никому не удастся их открыть...

ВАНДА ВАСИЛЕВСКАЯ

★



Партизан «Дед»

На дорогах Украины
оккупантам жизни нет —
Между гитлеровских клиньев
партизанит Дед.

Кто он Дед?
Во что одет?
Раздражает немцев — Дед.

Он невидим, он неведом,
где его отряд?
Где пройдет — горячим следом
танки Гитлера горят!

Это — дедова походка,
он смеется над врагом.
Телефонная проводка
перерезана кругом.

Недоступен немцам Дед,
где он есть?
Во что одет?

Путь его подобен чуду!
Спрашиваешь — где?
Штаб его у речки Всюду,
у села Везде.

Если встретишь вражий поезд,
 выжженный дотла, —
Это грозной схватки повесть,
 дедовы дела.

Ищут немцы дедов след,
не дается в руки Дед!

Где тропа, да где дорога —
 тайный разговор,
там у Деда — внуков много,
 парни на подбор!

Где кусты и где руины,
 спрятан внук и дед,
Это — нашей Украины
 Гитлеру ответ!

Автомат в руке у внука,
 две гранаты на боку,
Это — дедова наука:
 — Не давать дышать врагу!

Близок день, близка победа!
 Так — у дальнего мостка —
пожимает руку Деда
 Красная Москва!

СЕМЕН КИРСАНОВ

★

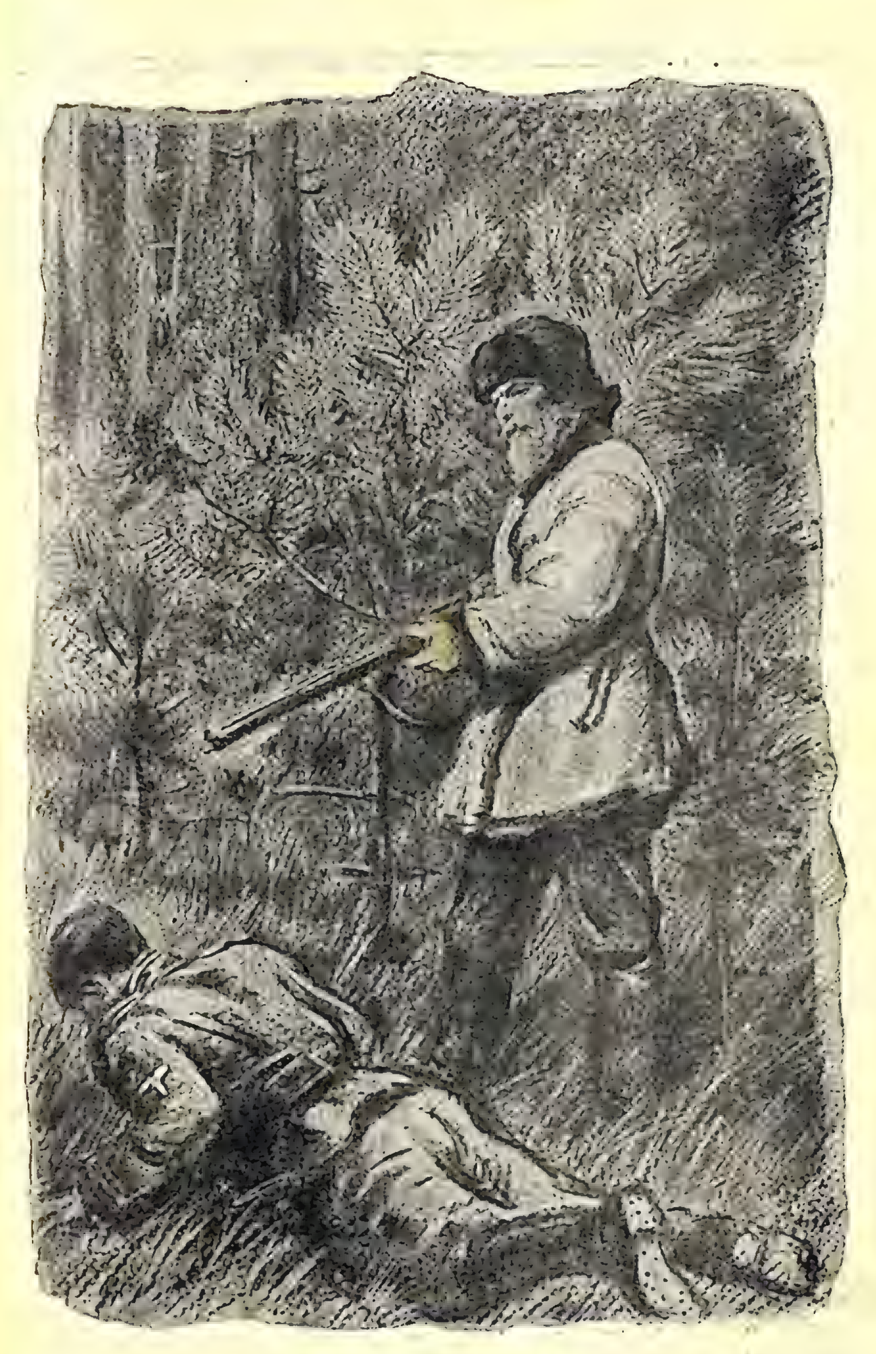


Рис. худ. Л. Голованова

Фетис Зябликов

Их было двенадцать, и сидели они в холодном колхозном амбаре под огромным висячим замком. Было слышно, как снег скрипит под тяжелыми башмаками часового.

— Видать, крепко забирает мороз, — сказал Фетис, нарушив молчание, тяготившее всех.

А молчали потому, что все думали об одном и том же. Утром их спросили:

— Кто из вас коммунисты?

Они промолчали.

— Ну, что ж, подумайте, — сказал офицер, выразительно кладя руку на кобуру парабеллума.

Коммунистов в деревне было двое: председатель колхоза Заботкин и парторг Вавилыч. Заботкин был казнен немцами утром на площади, на глазах всех колхозников.

Заботкин был человеком могучего сложения — лошадь поднимал; подлезет под нее, крякнет и поднимет на крутых своих плечах, а лошадь только ногами в воздухе перебирает. Накануне Заботкин вывихнул ногу, вытаскивая грузовик из грязи, и не мог уйти вместе со всеми в леса.

Его привязали за ноги к одному танку, а руки прикрутили к другому и погнали танки в разные стороны. Заботкин успел только крикнуть:

— Прощайте, братцы!

И все запомнили на всю жизнь глаза его — большие, черные, бездонные и такие строгие, что Фетис подумал: этот человек спросит с тебя даже мертвый. И каждому казалось, что Заботкин смотрит именно на него — вот так бывает, когда смотришь на портрет: глаза направлены прямо на тебя, пойдешь влево — и глаза за тобой идут неотступно влево. И Фетис решил, что Заботкин смотрит именно на него, смотрит строго, укоризненно, как бы говоря: «Эх, Фетис, Фетис! Если бы ты во-время подал мне доску под колеса

грузовика, а не чесал в затылке, то я ногу не вывихнул бы, в плен к немцам не попал бы и не терпел бы сейчас страшных мук...»

И, припомнив все это, Фетис сказал вслух:

— Доску-то... Доску надо бы...

Все одиннадцать посмотрели на Фетиса с недоумением. А парторг Вавилыч переложил свои костыли. Встретив угрюмый взгляд парторга, Фетис подумал: «И этот на меня злобится». Вавилыч и в самом деле смотрел на него неодобрительно, хмуря свои длинные черные брови, и Фетис потупился, думая: «И что за сила у этого калеки?! Посмотреть — в чем только душа держится, а как глянет на тебя — конец, сдавайся!»

Вавилыч обезножил два года назад. Везли весной семена с элеватора, а дорога уже испортилась, в лощинах напирала вода. Лошади провалились под лед, а мешки с драгоценными семенами какой-то редкой пшеницы потонули. Вот тогда Вавилыч прыгнул в ледяную воду и давай вытаскивать мешки. За ним полезли и другие, только Фетис оставался на берегу...

С тех пор Вавилыч ходит на костылях, но в глазах его появилась вот эта непререкаемая сила, и Фетису боязно глядеть в эти глаза.

Вавилыч сидел, сгорбившись, и напряженно думал. Он не сомневался, что немцы казнят и его, и вот теперь было важно установить: что же хорошего сделал он на земле — член коммунистической партии? Какие слова на прощанье скажут ему в душе своей вот эти одиннадцать человек? Найдется ли среди них такой, который укажет на него врагу?

И он мысленно стал проверять всех, кто был с ним в амбаре. Он хорошо узнал их за пятнадцать лет и видел, что лежит на сердце у каждого, — вот так видны мелкие камешки на дне светлого озера в полуденный час.

Маленький, высохший дед Данила зябко потирал руками босые ноги — немцы сняли с него валенки. Ноги у старика были тоненькие, волосатые, с узлами лиловых вен. Сын его, Тимоша, командовал на фронте батареей. Ни одного слова не выжмут немцы из человека, сын которого защищает родину.

Умрет, но стойко выдержит все муки и бригадир-полевод Максим Савельевич. Когда Вавилыч вербовал его в партию, он сказал:

— Не достоин... У коммуниста должна быть душа какая? Чтоб в нее все человечество влезло... Я уж лучше насчет урожая хлопотать буду.

Он очень обрадовался, когда услышал, что есть такие — непартийные большевики.

— Вот это про меня сказано!

Рядом с ним сидит Иван Турлычкин — существо безличное, полчеловека, но он — кум Максима Савельевича и пойдет за ним в огонь и в воду.

Вот так — одного за другим — перебрал Вавилыч десять человек и никого из них не мог заподозрить в подлости, на которую рассчитывал враг. Оставался последний — Фетис Зябликов.

Лохматый, угрюмый этот человек был всегда недоволен всеми и всем. Какое бы дело ни затевалось в колхозе, он мрачно говорил:

— Опять карман выворачивай!

Когда Вавилыч приходил к нему в дом, с трудом волоча свои ноги, Фетис встречал его неприветливо:

— На аэропланты просить пришел! Или на негров?

Колхозный парторг в речах своих любил говорить: «Вот так живем мы. Теперь посмотрим на негров...» А Фетис, бывало, ему непременно крикнет: «Нам на них смотреть нечего!» — и пойдет к дверям. Тогда Вавилыч приходил к нему в дом, читал ему лекции о государстве, об обязанностях гражданина, и в конце концов Фетис подписывался на заем, причем тут же вынимал из кармана засаленный кожаный кошелек и долго пересчитывал бумажки, поплевывая на пальцы.

— Ты, Фетис, как свиль березовая, — сказал ему как-то Вавилыч, выйдя из терпения.

Свиль — это нарост на березе, все слои в нем перекручены, перевиты между собой, как нити в запутанном клубке, и такой он крепкий, что ни пилой его не возьмешь, ни топором.

«Так и не обтесал его за пятнадцать лет», — с горечью подумал Вавилыч, разглядывая Фетиса.

А Фетис подсаживался то к одному, то к другому и что-то нашептывал, низко надвинув на глаза баранью шапку. Вот он прильнул к уху Максима Савельевича, а тот мотает головой, отмахивается от него руками.

— Уйди! — сурово сказал он. — Ишь чего придумал...

Это слышали все. «Уговаривает выдать меня», — подумал Вавилыч и, приготовившись к неизбежному, так сказал самому себе: «Ну, что же, Вавилыч, держи ответ за все, что сделал ты в этой деревне за пятнадцать лет».

А сделано было немало. Построили светлый скотный двор, сделали пристройку к школе под квартиры учителей. Вырыли пруд и обсадили его ветлами. Правда, ветлы обломаны, — никак не приучишь женщин к культуре. Идут встречать коров, и каждая сломает по прутику... Что еще? Горбатый мост через речку навели... А сколько нужно было усилий, чтобы уговорить всех строить этот мост!

Вавилыч еще раз оглядел сидящих в амбаре и вдруг

припомнил, что все эти люди были до него совсем не такими. Пятнадцать лет назад Максим Савельевич побил деда Данилу за то, что тот поднял его яблоко, переброшенное ветром через забор на огород Данилы, а на другой год дед Данила убил курицу Максима Савельевича, перелетевшую к нему в огород. А потом эти же люди сообща возводили горбатый мост и упрекали того, кто не напоил во-время колхозную лошадь. Теперь все они — члены богатой, дружной семьи. И Вавилыч почувствовал радость, что все это — дело его рук, его сердца, что все это построено в душах людских ценой его собственного здоровья, что он с честью выполнил долг коммуниста...

И, опершись на костыли, поскрипывая ими, он подошел к двери, чтобы в узкую щель в последний раз окинуть взором дорогой ему мир.

Фетис сидел возле двери и, увидев, что Вавилыч направляется в его сторону, съежился и отпрянул в угол. Здесь было темно. Отсюда он следил за парторгом, и на лице его было удивление, как тогда, когда Вавилыч первым прыгнул в ледяную воду, а он стоял на берегу, не понимая, как это можно лезть в реку и, стоя по грудь среди льдин, вытаскивать мешки с зерном, которое принадлежит не тебе одному.

Вавилыч смотрел в щель, и лицо его было освещено каким-то внутренним светом; он улыбнулся, как улыбаются своему крохотному детенышу.

И когда Вавилыч отошел, Фетису страстно захотелось узнать, что такое видел парторг в узкую щель. Он припал к ней одним глазом и замер.

Над завеянной снегом крышей его дома поднималась верхушка березы. И крыша, и опушенная инеем береза, и конец высокого колодезного журавля были озарены золотисто-розовым светом. Это были лучи солнца, идущего на закат. Все это Фетис видел ежедневно, все было так же неизменно и неподвижно и в то же время все было ново, неузнаваемо. Снег на крыше искрился и переливался цветными огоньками. Он то вспыхивал, и тогда крышу охватывало оранжевое пламя, то тускнел и тогда становился лиловым и вороньи следы-дорожки чернели, как вышивка на полотенце. Опущенные книзу длинные ветви березы висели, как золотые кисти, и вся она была точно красавица, накинувшая на плечи пуховую белую шаль... Вот так выходила на улицу Таня по праздникам, и все парни вились возле нее, вздыхая, гадая: кому достанется дочь Фетиса? Нет теперь Тани, нет ничего... Немцы увезли ее неизвестно куда.

И только теперь, глядя в щель, Фетис понял, что было у него все, что нужно для человеческого счастья. И он все смотрел и смотрел, не отрываясь от щели, тяжело дыша, словно поднимал большой груз.

Он почувствовал вдруг чей-то взгляд на себе, обернулся и встретился с глазами Вавилыча, и были они такие же огромные, черные, суровые, как у Заботкина в последний миг его жизни.

Визжал снег под башмаками немецкого часового, а Фетис все смотрел на щель и думал: «Мне бы в нее раньше глянуть... Вот недогадка...»

Потом он подошел к Вавилычу и, трогая его непривычными к ласке руками, проговорил:

— Озяб, небось... Ну, ничего... Это ничего... На вот,— он протянул ему свои рукавицы.

Загремел замок. Немец закричал, открывая дверь, и сделал знак, чтобы все вышли.

Их поставили в ряд против школы. Все они смотрели на новую пристройку к школе, и каждый узнавал бревно, которое он обтесывал своим топором.

По ступенькам крыльца спустился офицер. Это был пожилой человек с холодными серыми глазами, с презрительной складкой губ.

— Коммунисты, виходить! — сказал он, закуривая папиросу.

Двенадцать человек стояли неподвижно, молча, а Фетис, отыскав глазами березу, смотрел на бугрстый черный нарост на ее стволе, похожий издали на грачиное гнездо.

«Свиль... Ну и что ж? Свиль березовый крепче дуба»,— торопливо думал он, шевеля губами. И в этот момент до слуха его вновь донесся нетерпеливый крик:

— Коммунисты, виходить!

Фетис шагнул вперед и, глядя в холодные серые глаза, громко ответил:

— Есть такие!

Офицер вынул из кармана записную книжку.

— Фамилий?

Фетис широко открыл рот, втянул в себя морозный воздух и натужно, с хрипотой крикнул:

— Фетис Зябликов! Я!

Его окружили солдаты и отвели к стене школы. Он стоял, вытянувшись, сделавшись выше, плечистей, красивей. Стоял и смотрел на березу, где чернел нарост, похожий на грачиное гнездо.

В радостном изумлении глядели на него одиннадцать человек. А Максим Савельевич тихо сказал:

— Достоин.

В. ИЛЬЕНКОВ



Партизанская песня

Дым клубится над селом.
Враг спалил родимый дом.
До свиданья, тополь мой!
В путь-дорогу, конь гнедой!

И молчит зеленый лес.
Синева родных небес
Открывается глазам
Украинских партизан.

Жарко дышат тополя.
Кровью полита земля,
Кровью жен и матерей,
Сыновей и дочерей.

В партизанском сердце есть
Слово — честь и слово — месть.
Встретишь гада — смаху бей,
Смерть в лесу найдет злодей.

Врешь, погибнешь, не уйдешь,
Черной кровью изойдешь.
Ты не жди пощады, враг,
Упадешь лицом в овраг.

Не получит Гретхен в срок
Ни сапожек, ни чулок.
Будешь знать, как воевать —
Воровать и убивать!

Не видать людей в селе.
Партизан сидит в седле.
Мы вернемся к вам, поля,
К вам, родные тополя!

СЕМЕН ОЛЕНДЕР

Водяной

В позапрошлом году колхозники вырыли пруд. Плотину обсадили березами. На две тысячи рублей купили мальков. И в пруду развелись увесистые зеркальные карпы.

Данилу назначили сторожем пруда. И его прозвали «водяным».

Данила полол водоросли, чистил русла студеных ключей, впадающих в водоем, подкармливал рыбу отрубями.

В первый же год колхоз получил дохода с пруда одиннадцать тысяч рублей.

Данилу премировали патефоном. Данила зазнался и запретил женщинам в пруду полоскать белье.

Целые дни в любую погоду Данила ковырялся в пруду, полуголый, облепленный тиной и водорослями.

Лунными вечерами он разгонял гуляющих парней с гармошкой возле пруда.

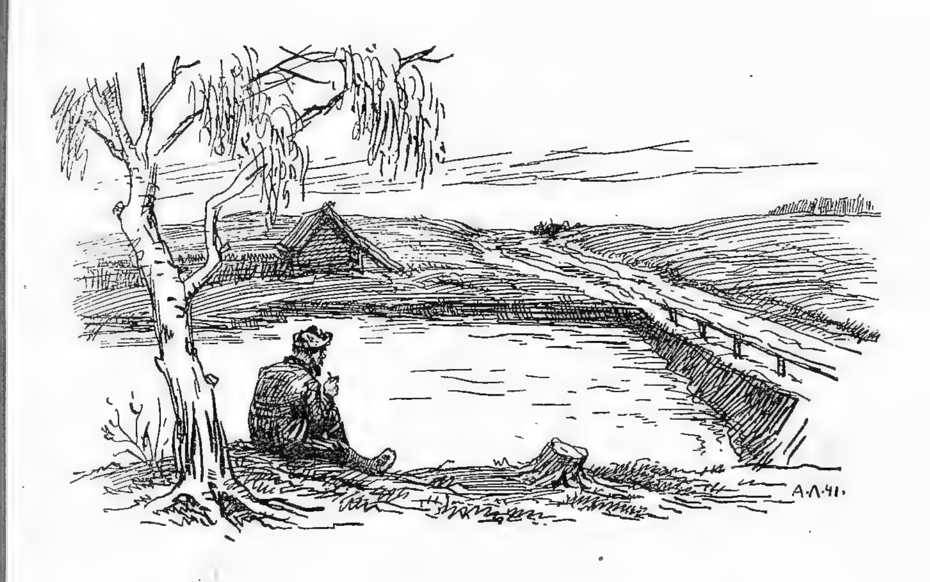
— Рыбе покой нужен, — кричал Данила, — карп, он, как свинья, нервный. А вы тут шумите.

И вот сказали: близко немцы.

Колхозники погрузили все свое добро на подводы. Длинные вереницы телег потянулись по расквашенной осенней слякотью земле.

Председатель зашел к Даниле. Данила лежал на печи и стонал: его мучил ревматизм. Председатель не смог уговорить его уехать. А когда председатель ушел, Данила поднялся с печи и проковылял по осиротевшему колхозу, поднялся на дамбу и сел там у кривой березы. Долго и печально курил, глядя на сверкающую небом воду.

Немецкий отряд расположился в колхозе. Данилу допросили и после не трогали. Посылали рыть картошку, таскать в хаты солому для спанья солдатам. И побили всего только два раза. Один раз за то, что не снял во-время шапку перед офицером, другой раз за то, что одел по-



лушубок, а когда его спрашивали, есть ли у него теплые вещи, сказал, что нет.

Как-то в колхоз пришла танковая колонна. Танки поставили за прудом в балке и замаскировали.

Данила сверху, с дамбы, наблюдал, как расстанавливали тяжелые машины, и его морщинистое, старое лицо оставалось равнодушным.

Вечером он пришел в хату, где стоял офицер, и, сняв шапку, низко поклонившись, сказал:

— Если ваше благородие желает рыбки, то я могу представить.

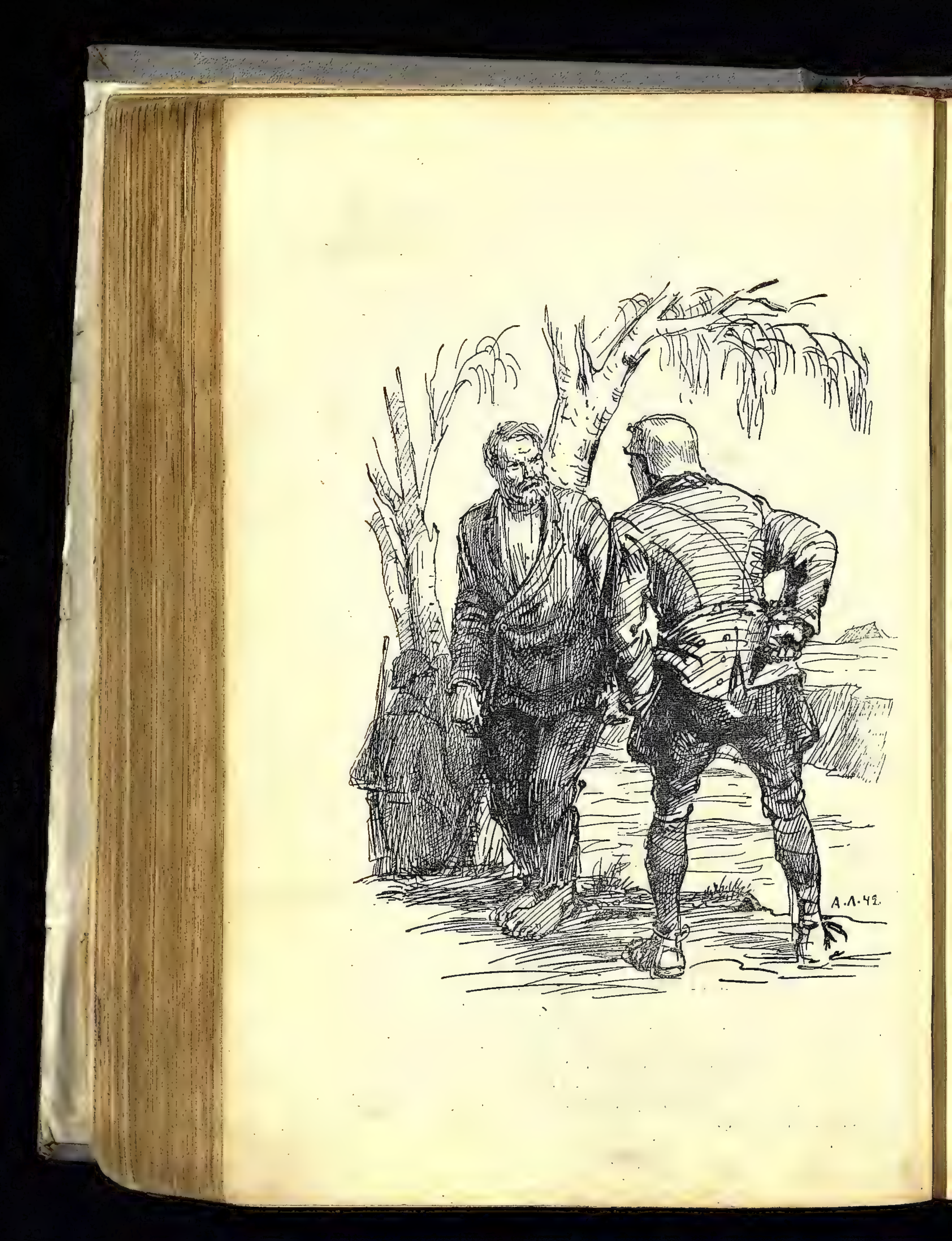
Офицер сказал: «Карашо».

Ночь была темная. Данила пришел на дамбу со снастью, завернутой в холстину. Отдохнув, он спустился по другую сторону дамбы с лопатой в руках и, поплевав на ладони, принялся подрывать насыпь.

На рассвете из балки послышались крики немецких танкистов, выстрелы. И когда на помощь им сбежались караульные, волоча пулеметы, балка была полна темной водой; на поверхности ее плавали немецкие танкисты, взывая о помощи.

Данилу нашли на дамбе, на берегу пустого, теперь безводного пруда. Он сидел обессиленный возле кривой березы и курил. Лопата лежала рядом с ним.

Офицер приказал расстрелять Данилу. Данилу поставили спиной к березе. Глядя пристально в глаза офицеру, Данила серьезно спросил:



— А как же насчет рыбки, ваше благородие? Я же ее на ваш аппетит наготовил, — и кивнул головой в сторону пруда, где в жидкой тине билась, издыхая, тяжелая рыба.

Офицер неторопливо выстрелил и промахнулся.

Данила вытер о плечо кровь с рассеченной пулей щеки, ясно улыбнувшись, посоветовал:

— Чего торопитесь? Может, меня лучше повесить. Я бы так тебя обязательно повесил, чтобы ты ногами землю шкреб, чтобы ты...

Данилу сбросили вниз с дамбы. Он лежал в тине лицом вниз, и возле его широко раскинутых рук, как золотые скользкие слитки, трепетали засыпающие зеркальные карпы. А наверху, на дамбе, стояла наша русская березка с кривыми ветвями, голая, безлистная, но с жилистым и гибким стволом, таким крепким, что его не в силах сломить ни вьюга, ни буран, ни стужа.

ВАДИМ КОЖЕВНИКОВ

★



Молодой партизан

Суровый час для нас теперь настал,
И старое сказанье я припомнил...
Давным-давно мой прадед в руки брал
Тяжелый кол, скрываясь в пуще темной.

И властно голос мщения звучал,
Когда, засевши в зарослях зеленых,
Он наповал укладывал сплеча
Прославленных солдат Наполеона.

В моих руках не кол, а пулемет
И прадеда наследие — отвага.
Она со мной теперь в поход идет,
Озарена непобедимым стягом.

Величье дел минувших не забыть —
Оно звездой становится моею.
По-партизански правнук будет бить,
Как прадед, наповал врагов-злодеев.

ПИМЕН ПАНЧЕНКА

Перевел с белорусского Ц. Солодарь

★

Смерть Николая Большакова

Партизанский полк Савченко пятьдесят дней подряд, без отдыха, дрался в немецких тылах. Когда действовать всем отрядом бывало неудобно, на «охоту» выходили небольшими группами или даже поодиночке. И ни один день из пятидесяти не пропал даром.

Однажды отправились вчетвером — Николай Большаков, Василий Глухов, Иван Гринько и Василий Костенко, все ленинградцы.

Ночью прошли от стоянки отряда километров тридцать, устали. Хотелось спать.

— Почин сделаем, тогда отдохнем, — сказал Костенко.

И залегли у дороги.

— Место рыбное, — посмеялся Глухов, — обязательно улов будет.

Только перекинулись двумя-тремя фразами, левофланговый Гринько шепчет:

— Конная разведка!

Оглядывая мелколесье по краям дороги, первым медленно ехал офицер. За ним пятеро.

Граната врезалась в третьего. Кони взвились на дыбы, сбросили всадников. Трое немцев убиты были сразу, но офицер с двумя уцелевшими пытались отстреливаться. Костенко бросил вторую гранату и сразу закончил дело.

Быстро ушли в лес, выбрали место посуше, легли.

— Имеем право теперь и поспать, — посмеивались партизаны.

Но не пришлось. Дневальный Большаков скоро всех разбудил:

— Слышен крик по-немецки! С дороги!

И тотчас же раздалась частая, нервная стрельба, будто там кого-то преследовали или от кого-то отбивались. Даже жутко стало.

— Да это ж немцы лес заговаривают, чтоб он их не трогал, — сообразил Глухов.

И правда, немцы, постреляв, быстро затихли, а потом всю ночь было спокойно.

Утром, едва тронулись по проселку, вившемуся вдоль лесной опушки, сзади показался отряд велосипедистов человек в сто пятьдесят.

— Ложись! — и Костенко пополз с группою в неубранную рожь, но навстречу двигалась вторая партия велосипедистов человек в пятьдесят. Прятаться было поздно. Велосипедисты спешились и огнем автоматов прижали четверых партизан к земле.

Под пулями отползли те в ложбину, успев шепнуть друг другу:

— В плен не сдаваться. Пойдем на пробой!

— Точно!

Минут десять шла борьба четырех партизан против двухсот немцев.

Первым погиб Глухов.

Старый член партии был убит в ту самую секунду, как выстрелил сам. Казалось, жизнь его вырвалась вместе с пулей и повалила немца.

И сейчас же следом крепко ранило Большакова.

Костенко и Гринько подхватили его под руки и ползком потащили в сторону, но уходить было некуда, немцы замкнули огневой круг и осторожно, как охотники, сужали его. Что могли сделать двое, обремененные раненым товарищем, против двухсот?

Круг сужался. Огонь немцев становился прицельнее.

Костенко и Гринько, оставив Большакова, бросились вдвоем на пробой.

Чудеса делает иной раз храбрость: при виде двух партизан, идущих в штыки, немцы подались назад. Партизаны вернулись за Большаковым и понесли его на руках.

Но немцы снова нажали, и вторично оставили партизаны товарища, чтобы повторить атаку.

— Не бойтесь вы за меня, уходите! — кричал Большаков. — Я выдержу!

В третий раз пошли на пробой Гринько и Костенко. Силы их иссякали, и в рукопашной немцы отбили у них Большакова.

Чудом вырвавшись из рук немцев, двое скрылись в лесу.

Ночью увидели они зарево пожара над той деревней, куда поволокли Большакова, и долго недоумевали, что бы оно могло означать.

— Может, мстят за нас колхозникам?

— Или, может, колхозники, наоборот, подожгли избу с немцами? — спрашивали они друг друга.

Утром они осторожно вышли из лесу, пробрались в село и тут узнали все, что произошло за ночь.

Немцы приволокли Большакова в деревню еще живым и стали допрашивать окровавленного, теряющего сознание человека, согнав из домов колхозников, чтобы они видели, как сию вот минуту русский партизан будет бесстыдно выдавать своих.

Но Большаков молчал.

Тогда какой-то ретивый палач стал ковырять штыком рану Большакова. Колхозники ахнули. Послышался плач.

Партизан простонал, но не ответил ни на один вопрос.

И тогда, ломая ему зубы и раня лицо, ножом раскрыли ему рот.

— Говори, русская свинья! Говори, сволошь! — кричали немцы, не видя средств победить эту железную волю, которая еще держалась в израненном, измученном теле.

Большаков выплюнул кровь изо рта, но не сказал ни слова.

Он приоткрыл глаза, оглядел издевающихся над ним палачей и, вздохнув, снова закрыл глаза, приготовившись вытерпеть все, что будут творить над ним.

Он был еще жив и в полном сознании.

Не бесчувственное тело пытали немцы, а живую и крепкую душу.

— Говори, рус!

И когда стало им ясно, что ни звука не произнесет этот истекающий кровью бесстрашный русский большевик, они решили казнить его огнем.

— Эйн момент! Сволошь! Будешь заговаривать, как мой голубчик!

С криками и свистом, глумясь над героем, поволокли они Большакова к ближайшему сараю, привязали его к двери и подожгли строение. Колхозники сняли шапки, женщины закрыли руками лица.

Он молчал.

Ночь была дождливая, дерево мокро, сарай горел всю ночь.

П. ПАВЛЕНКО,
Б. ИЗАКОВ

★

Партизан Бумажков

Свой отряд среди лесов
Вел товарищ Бумажков.
Гнев народа — грозный шквал —
Партизанить их послал.

Край родимый, отчий кров
Защищают от врагов
Сто четыре храбреца.
Каждый верен до конца.

Бумажковцам не страшна
Партизанская война.
Командир их впереди,
Гнев пылает в их груди.

Вот вдали и гром и гуд:
Вражьи танки там идут.
Взяв дорогу под прицел,
Вдоль кустов отряд засел.

Ближе, ближе гул и рев.
Вот и свора лютых псов.
Головной выходит танк
Из-за темного куста.

Обойдя своих бойцов,
Тихо молвил Бумажков:
— Бейте гада прямо в лоб!
Загоняйте гада в гроб! —

И от залпа дрогнул шлях.
Получил гостинцы враг.
— Ты за хлебом прешь, наглец?
Получай и жри свинец.

— Наш забрать ты хочешь сад?
Так отведай вкус гранат!
— Крови жаждешь, волчий сын?
На — бутылку, пей бензин!

Партизаны — напролом
Били пулей и штыком.
И меж соснами в пыли
Двадцать танков полегли.

Враг нам смерть и гибель нес,
Но погиб проклятый пес.
И опять среди лесов
Водит хлопцев Бумажков.

ПЕТРУСЬ БРОВКА
Перевел с белорусского С. Левман

★

Патриот

В ожидании наступления противника батарея заняла позицию на окраине Семеновки. В селе было тихо, его, повидимому, оставили еще накануне, и белые хаты, утопающие в зелени, стояли молчаливо и грустно. Когда пушки были готовы к бою, к командиру подошел пожилой колхозник с длинными казацкими усами и ворчливо сказал:

— Далеко смотришь, товарищ, да мало видишь. Хотите Семеновку отдать?

Лейтенант опустил бинокль и, увидев колхозника, охочего к поучениям, холодно ответил:

— На войне все возможно, товарищ. Цыплят по осени считают.

— Побей их гром! Вы еще не знаете, что это за звери. А только скажу вам, что прорваться немцу вот так, напрямик — раз плюнуть. Прет очертя голову. А его вон туда нужно направить, — и указал на овраги за селом.

Командир батареи снисходительно улыбнулся.

— Может, ты им прикажешь?

Колхозник посмотрел на лейтенанта тяжелым взглядом и с укоризной сказал:

— Человек все сможет, когда захочет. Ты, товарищ командир, сперва выслушай, обмозгуй, а потом смешками занимайся.

Молодой лейтенант глядел старику в лицо и уже другим тоном спросил:

— Хотите что-нибудь интересное сказать?

— На то и ноги трудил. Пойдем в тень!

В кряжистой фигуре и в открытом прямом взгляде было что-то властное, чему нельзя было противиться, и командир послушно последовал за колхозником.

— Так вот, — начал старик, — я думаю, к пушкам хитрость еще нужна.

Хотя их никто не подслушивал, колхозник, опасливо

оглянувшись, отвел лейтенанта к старому покосившемуся плетню и торопливым шопотом изложил ему свой план.

— Но кто это может сделать? — после некоторого молчания спросил взволнованно лейтенант.

— Найдутся люди. Знаю такого и в Семеновке, давно у него руки чешутся. Да что там говорить — каждый из нас согласится. Чего бояться? Жизнь будет короче — зато память об ней длиннее...

— В таком случае, надо поторапливаться, немцы могут начать атаку, не ожидая вечера.

— Им это село знакомо, спешить не будут. Вон там, у овражков, партизанский отряд Садовского, — ох и отчаянный был парубок, — целую роту их в восемнадцатом уложил. Стукнет одного и приговаривает: «Оце тоби за хлиб», стукнет другого — «Оце тоби за сало!» Не боялся смерти никак. Она его боялась! Вот какие наши семеновские.

Лейтенант крепко пожал большую шершавую руку колхозника.

— Я сейчас обо всем доложу в штаб — риск, знаете...

— А Садовский взял их на крест: крестился да божился, — сказал колхозник, хитро сощурив глаза. — Оно, конечно, противно мух гонять со лба, а только немец верит божбе.

* * *

На пороге крайней хаты, подперев рукой щеку, стояла молодица и грустно смотрела на вспыхивающий зарницами горизонт.

— Ганна, — остановился перед нею колхозник, — если я немного замешкаюсь, ты не серчай. Пусть тогда соберутся люди нашего передового колхоза имени Ленина, скинут шапки и скажут: «Как жил наш председатель, так и умер». Плакать не надо. Жизнь теперь серьезная.

Взяв в руку сучковатую палку, он вышел со двора и, пыля по дороге тяжелыми сапогами, пошел прямо на запад, откуда доносился гром канонады.

* * *

По другую сторону села на многие километры расстилался заболоченный луг, окаймленный промоинами и оврагами. Местность была непроходимая не только для танков, но и для пехоты и служила хорошим прикрытием левого фланга. Лейтенант поискал признаки, описанные колхозником, и даже его наметанный глаз только с большим трудом обнаружил следы дороги. Скрытая кустами, она проходила между кочек и трясин и по косогору выходила к селу.

Если противник не воспользовался еще этими удобными

подступами, то, вероятно, только потому, что в занятом селе не нашлось изменников, а на карте такие дороги не значатся. Прикрываясь кустами и перелеском, который по откосам спускался к самому лугу, противник мог свободно выйти в тыл красным. Чувство благодарности к колхознику затеплилось в груди лейтенанта.

Когда пушки уже успели занять свои места и, вытянув длинные шеи, напряженно выглядывали из-за кустов, вдали ясно послышался знакомый скрежет гусениц. Он нарастал и ширился в направлении правого фланга. Холодный пот выступил на лбу лейтенанта: ему показалось, что он стал жертвой ловкого обмана. Но, вспомнив открытый, честный взгляд колхозника, командир успокоился. В это время скрежет гусениц оборвался, хотя глухой рокот моторов продолжал нарастать. Было ясно, что машины сошли на луг. Лейтенант припал к биноклю.

Колонна состояла из двенадцати танков и десяти грузовиков с пехотой. Передний танк шел среди трясины с такой уверенностью, как будто водитель ездил здесь каждый день. На момент у командира вдруг радостно забилось сердце и тут же сжалось от боли: передний танк взбирался уже на гору.

Лейтенант наметил рубеж, на котором должен был встретить переднюю машину огнем, но она вдруг изменила направление и стала уходить в сторону. Он уже поднял руку для сигнала и в это время услышал, — может быть, ему только показалось, — властный голос, кричащий из танка:

— Стреляй, чортов сын! В меня стреляй!

Поднятая рука медленно начала опускаться, но в следующий же момент резко разрезала воздух, и снаряд вгрызся в хвост танка. Оглушительный взрыв разворотил машину, и огневой столб взвился над ней. Остальные пушки расстреливали задние танки, не имевшие возможности ни свернуть с дороги, ни продвинуться вперед.

Когда отзвучал последний выстрел, командир батареи со всех ног бросился к переднему танку. Бойцы успели уже вытащить из пламени немцев, на которых дымилась одежда. Лица немецких солдат были черны от сажи. Но и под сажей можно было различить на одном лице остатки казацких усов. А на широких плечах этого человека тлел серый пиджак, надетый поверх вышитой украинской рубахи. Лейтенант брызнул холодной водой в лицо этого человека, осмоленные веки вздрогнули, и из-под них выглянули суровые, но спокойные глаза.

— Вы живы, папаша?—упав на колени, радостно вскрикнул лейтенант.

Тот, к кому обратился лейтенант, удивленно обвел глазами красноармейцев и слабым голосом сказал:

— Партизана Садовского не только немец, смерть боится. Говори, что с танками?

— Вот ведут экипаж последнего танка, а пехота рассеяна. Смотрите, товарищ Садовский, это ваша победа!

По губам колхозника пробежала еле заметная улыбка. Его глаза снова закрылись, но широкая грудь вздымалась высоко и вольно.

ПЕТРО ПАНЧ

★



На могиле Зои Космодемьянской. Фото С. Струнникова

Осенней полночью

В сырую ночь пришли в село
Фашисты на ночлег.
И стражу офицер фон Шмидт
Поставил на селе.
Но в грудь ему закрался страх,
Уснуть не может он:
Кругом то тени, то туман,
То ветер, словно партизан,
Крадется у окон.

Чтобы светлей казалась ночь
Среди чужой земли,
Своим бандитам Шмидт велел
Деревню подпалить.
Потом, развлечься пожелав,
Еще приказ он дал:
«Согнать на улицу девчат!
И чтоб скрипач всю ночь подряд
«Лявониху» играл!»

Толпа сошлась. Она молчит.
Пожар обнял село...
Молчанье грозное с огнем,
Казалось, все росло.
Когда ж колючий круг штыков
Замкнула смерть и шквал
Огня забушевал вокруг, —
Сто голосов запели вдруг
«Интернационал!»

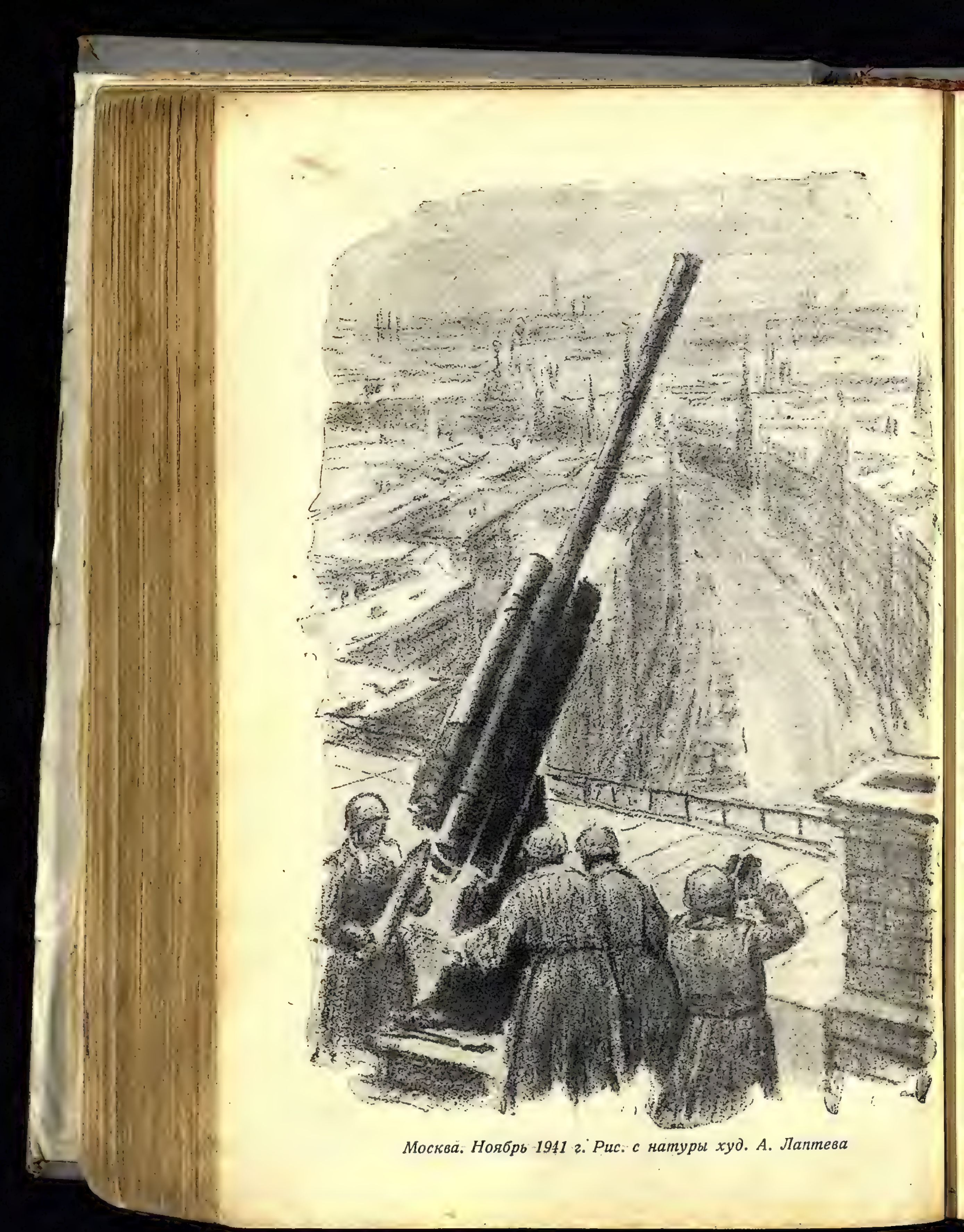
«Стрелять!» — свирепо крикнул Шмидт
И обмер: вдруг из-за
Пылающих кострами хат
Раздался дружный залп.
Фашисты бросились бежать,
Но всюду взрывы, дым!..
От меткой пули и клинка,
От партизанского штыка
Теперь не скрыться им!

Пал Шмидт и весь его отряд.
Пускай запомнит враг:
Из тех, кто жжет наш дом и сад,
Любой погибнет так.
Он не останется живой,
От мести не уйдет:
Под ветра погребальный вой
Его зима сухой листвой
И снегом занесет!

МАКСИМ ТАНК

Перевел с белорусского Дм. Кедрин





Москва. Ноябрь 1941 г. Рис. с натуры худ. А. Лаптева



„Оборона Ленинграда и Москвы, где наши дивизии истребили недавно десятка три кадровых дивизий немцев, показывает, что в огне отечественной войны куются и уже выковались новые советские бойцы и командиры, летчики, артиллеристы, минометчики, танкисты, пехотинцы, моряки, которые завтра превратятся в грозу для немецкой армии“.

И. СТАЛИН.

IV



Москве

Москва! Сердце нашей страны!
Владычица мыслей, Москва!
Не раз у кремлевской стены
Склонялась моя голова,
Не раз на пороге весны,
Когда зеленела трава,
По праву певца-старшины
К тебе обращал я, Москва,
И голос хвалебной струны,
И полные ласки слова.

Шуршит, опадая, листва,
Снежинки снуют над Кремлем,
Природа ясна и трезва,
А ты, трудовая Москва,
Сшибаешься с пьяным зверьем...
Врагу не видать торжества!
Набьешь ты свинцовым огнем
Живот ему тощий, Москва!
О, полная мощи Москва!
Будь с немцами жестче, Москва!
Дави их и ночью, и днем,
Руби их, как рощи, Москва!
Твой враг беспощаден, Москва!
Он ловок и жаден, Москва!
Немало он ссадин, Москва,
Оставил на теле твоем.
Раздавишь ты гадин, Москва!

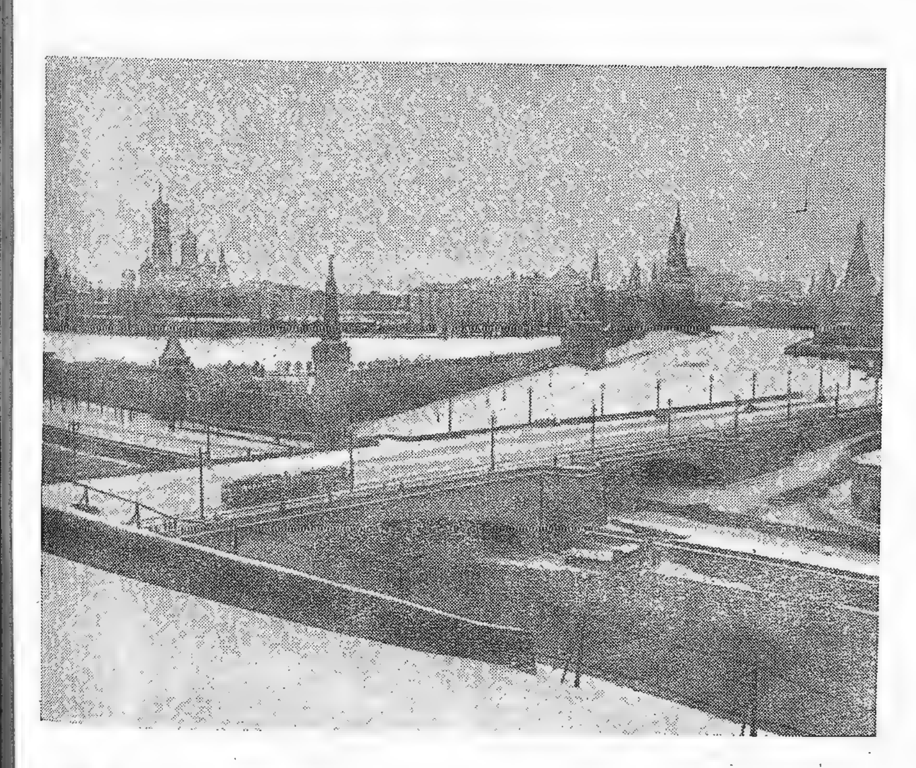
Твой каждый овраг и подъем
Фашистов схоронит живьем!
Мне птицы стрекочут — «Москва».
Мне горы грохочут — «Москва»...
Твой подвиг под Млечным путем
Мне звезды пророчат, Москва...

Друзья! Не во сне — наяву
Разбойники рвутся в Москву!
В опасности наша Москва!
Помочь ей, немедля помочь
Врагов измолоть, истолочь,
Откинуть их скопища прочь,
Пожертвовать всем для Москвы,
Народы, обязаны вы!
В Сибири, в Крыму, на Неве
Страна помогает Москве.
Наш Риддер, Чимкент и Балхаш,
Арал и его острова,
Бурильщик и угольщик наш
Тебе помогают, Москва.
Полки казахстанских сынов
Участвуют в смертном бою
За тысячи светлых домов,
За душу, столица, твою.
Мне ветер, мне поле — родня
С пеленок в седле я живу.
Чуть свет я сажусь на коня,
Поводья, как юноша, рву
И мчусь, стременами звеня,
И всех, узнающих меня,
Москве на подмогу зову.
В Москве еще рано, светло,
Несметно проезжих число,
А здесь уже шепчет мне ночь:
«Покинь, престарелый, седло!
Ты должен и песней помочь».
И вот, заодно с темнотой,
На запад я взором плыву,
Где теплится день золотой...

Колени к сырому жнитву
Джамбул преклоняет седой;
Мигает звезда в синеве,
Сверкает в речном рукаве;
Я струнную рву тетиву,
Я взором пугаю сову
И песню творю о Москве —
Москве. Для Москвы. За Москву.

ДЖАМБУЛ
Перевел с казахского М. Тарловский





Автоматчик Павел Бирюков

1

Какое чудесное было то утро! Багровое солнце медленно вставало над горизонтом. Снег розовел и искрился под его лучами. Крапива-ветер обжигал лица, раскачивал звонкие ветви берез и сосен.

Вслед за комбатом и группой автоматчиков из блиндажа вышел П. А. Бирюков. Он прищурил от солнца серые свои глаза, на лицо его, открытое и уже немолодое, легла улыбка, блеснули зубы, — с правой стороны нехватало двух зубов: они были выбиты пулей еще в гражданскую войну. Улыбаясь и вскидывая свой автомат «ППШ» на плечо, Павел Бирюков отвернулся в сторону и широко распахнул глаза.

У дома Красной Армии Нарофоминского городка были немцы. Их было сотни полторы. На углу фашисты устанавливали пулеметы. До них было рукой подать, вот они — за деревьями, на площадке.

— Товарищ комбат, немцы! — шепнул Бирюков.

— Где?

— Да вот они!

Бирюков ткнул в сторону немцев стволом автомата и метнулся в кусты, к огромной сосне. Он крикнул лейтенанту Мосьпану, командиру взвода автоматчиков:

— Товарищ командир, давайте скорее, вон их сколько!

Десятка два немцев обернулись на крик Бирюкова, вскидывая свои автоматы и винтовки. В этот миг Бирюков, стоя за сосной и чуть пригнувшись, дал по ним, на уровне груди и сердца, длинную очередь. Рядом прогремела очередь лейтенанта Мосьпана. Бирюков, ясно увидев, как от его очереди рухнули на снег три немца, бросился к другой тройке, которая уже установила пулемет. Мелькнули перекошенные от ужаса лица врагов. Один немец пытался открыть огонь. Бирюков изо всей силы ударил его прикладом по плечу, и тот, коротко взвыв, упал, завертелся на месте. Другой и

третий не успели подняться: пули ударили им в грудь, и они легли трупами на подмосковной земле, на скрипучем утреннем снегу.

Только сейчас Бирюков оглянулся. Лейтенант Мосьпан и автоматчики Терехов, Минеев и Ермоленко расстреливали немцев с этой короткой и смертельной дистанции. Уцелевшие немцы, вопя и бросаясь зигзагами из стороны в сторону, мчались к домикам в лесу. Комбат взмахнул рукой. Граната разорвалась чуть впереди бегущих. Сквозь дым Бирюков увидел, как падали немцы. В ушах свербило от пронзительного воя врагов.

— Бейте! Без промаха бейте, товарищи! — ликуя, прокричал Бирюков. И встретился взглядом с тем, кого ударил по плечу. Тот раскрыл было рот.

— Молчи!

Бирюков схватил немца за ремень, оттащил в сторонку, в овражек, связал ему руки ремнем. Потом деловито подобрал и забросил к блиндажу немецкий автомат.

Немцы уже скрылись в окопчиках у домиков. Оттуда свистели пули.

«Тут дела надолго!» — подумал Бирюков и, согнувшись, пробежал за угол ДКА, чтобы захватить еще диски для своего автомата.

Начальник разведки дивизии встретил его дружеской улыбкой:

— Молодец, товарищ Бирюков. Лихо действовал. Теперь надо добивать врага, вышибить его оттуда, от домиков. Бери бойцов, действуй!

Десять красноармейцев и автоматчиков тотчас окружили Бирюкова.

— Будем действовать решительно и смело, товарищи! Не отставать! Друг друга выручать! — торжественно и строго сказал Бирюков, оглядывая соратников.

— Не подкачаем!

— Давай, давай!

— Командуй!

Из-за угла дома выбежал лейтенант Мосьпан. Бирюков просиял:

— Есть кому командовать. Командир цел-целехонек.

Он деловито рассовал по карманам и навесил на себя сумку с патронами, три целых диска, восемь гранат. Лейтенант Мосьпан, получив задачу от подполковника, спросил Бирюкова — как он думал действовать.

— Я бы пошел тремя группами: в лоб и в обход справа и слева.

— Правильное решение. И я так думал! — сказал лейтенант.

— Давайте! Быстро! — приказал начальник разведки. Би-

рюкову хотелось узнать у него, как же это получилось, что немцы пробрались в наш тыл, где была наша разведка, где было боевое охранение. Но со стороны фронта усилился артиллерийский и минометный огонь врага по нашему переднему краю; там, в окопах, были три наши роты, а немцы у домиков были в тылу у этих рот.

«Вот как! Потом придется разобраться!» — подумал Бирюков.

Через мгновенье три группы уже двинулись вперед, к домикам. Слева шли два автоматчика и три красноармейца, в центре — лейтенант Мосьпан с автоматчиком и четырьмя бойцами. Бирюков с тремя красноармейцами пошел справа, лесом по овражку. Они отошли с полсотни метров. В воздухе стоял сплошной вой снарядов и мин, гремели разрывы. Трещали, падали с туманом ветви сосен и берез. Впереди и слева взахлёб лаяли пулеметы и автоматы. Сбоку рявкнула мина, взвыли осколки. Бирюков оглянулся на стон. Красноармеец обхватил левой рукой правое плечо, разбитое осколком, окровавленное. Синими глазами он посмотрел на Бирюкова и тихо, побледнев, опустился на снег.

— Отведите его назад! — приказал Бирюков и в этот миг увидел: на той стороне овражка здоровенный немец устанавливает на бугорке ручной пулемет. Волна страшной ярости ударила в голову Бирюкова.

— Ах, фашистская нечисть!

Он старательно прицелился, опершись о ствол березы, и с чувством облегченья расстрелял немецкого пулеметчика. Ему очень ясно было видно, как тот скрючился и на снегу зарделись алые брызги.

Скользя и спотыкаясь, Бирюков скатился в овражек, поднялся на бугорок и вернулся к бойцам с пулеметом. Он отдал его бойцу:

— Давайте, идите в ДКА.

Бойцы ушли назад. Бирюков проводил их взглядом, в то же время не упуская из виду ничего вокруг. Лицо его пылало. Ему было нестерпимо жарко. Он бросил в рот горстку снега.

«Покурить бы!» — подумал он. И пошел по склону овражка — осторожно, скользя от дерева к дереву. Впереди между деревьев мелькнуло что-то зеленое. Бирюков мгновенно залег в небольшой ровик, изготовился к бою.

«Вот как хорошо выходит!» — вдруг удивился он и как будто со стороны увидел себя в ровике на снегу и тех двух немцев, которые шли прямо на него с черными автоматами наготове. И когда они подошли шагов на двадцать, Бирюков перерезал их короткими очередями — одного и другого.

— Туда вам и дорога!

Потом он быстро пробежал с полсотни шагов вперед.

Домики теперь уже были слева, и окопчики, в которых засели немцы, были слева. Теперь надо было смотреть еще зорче. Вон между стволов пробежал немец — к военному городку. Неужели заняли военный городок? Вот бы прочесать их там из автомата.

Над ухом Бирюкова пронзительно свистнули пули. Холодная тошнота страха вдруг обдала его. Мгновенно крутнувшись, Бирюков увидел немецкого офицера в очках, стрелявшего в него, и в этот же миг его безотказный «ППШ» уже ударил жаркой горстью пуль в живот фашиста. Тот с криком упал. Бирюков перебежал на десяток шагов дальше, встав за сосной. Впереди был бугор. Вот сейчас надо выброситься туда и ударить по немцам уже с тыла. Тут он услышал, как чей-то голос окрикнул его: «Бирюков, не ходи!» Вокруг никого не было. У Бирюкова перехватило дыхание. И тут же он взял себя в руки.

— Да что же я — струсил, что ли? Броском на этот бугорок, большевик Бирюков.

Пригнувшись, он метнулся на бугорок и — застыл. Там между деревьев и кустов стояла группа немцев. Тут же были окопчики. Передний немец поднял винтовку. Рыжий, щетинистый, он смотрел, не мигая, белесыми глазами.

— Рус, сдавайсь!

Стиснув зубы, Бирюков взмахнул своим автоматом и застрочил, застрочил, застрочил. На снегу сразу возник завал трупов и раненых. В глазах Бирюкова нестерпимо ярко мелькали пятна крови на измятом снегу. Живые немцы с воплями попрыгали в окопчики и скрылись. Заскочив за ствол дерева, Бирюков упал на колени и стал метать в окопчики гранаты — одну за другой, припадая и залегая перед каждым взрывом. Когда же из окопчиков высовывались головы, он вскидывал автомат и посылал меткие очереди.

Оглянувшись, Бирюков увидел подбегавших бойцов 7-й роты. Он вскочил, потрясая автоматом:

— Я здесь! Сюда, товарищи!

Через мгновенье в окопчики полетели десятки гранат, черными дымными клубами встала земля...

2

К Дому Красной Армии стащили трофеи — восемь пулеметов, минометы, винтовки, пистолеты. Привели пятнадцать пленных. Из окопчиков Бирюков привел одного пленного. И со всех ног бросился в овражек. Связанный немец лежал там же, где его оставил Бирюков. В глазах его был ужас, на лице — жалкая косая улыбка.

— Ты пока не бойся, чортова голова. Гут, гут! А Гит-

леру будет вот! — и Бирюков показал руками, как будет сломано Гитлеру горло.

Товарищи окружили его, и от них он узнал, что лейтенант Мосьпан, раненный в грудь навылет, скончался. Это он кричал, предупреждая Бирюкова — за мгновенье до смертельной раны... Автоматчик Ермоленко ранен в голову. У Бирюкова дрогнули губы, он опустил голову и тотчас же вскинул ее гордо.

Он слышал грохот орудий, треск винтовок и пулеметов. Великий бой за Москву, за родину, за разгром врага продолжался. На душе Бирюкова было светло, спокойно. И в мыслях была стройная ясность. Он слушал шумные одобрения товарищей. Перед умственным взором—удивительно сразу!—стояли все картины, все подробности сегодняшнего боя. Да, он, П. А. Бирюков, автоматчик 1-й Московской гвардейской дивизии, член ВКП(б), московской организации, доброволец гражданской и отечественной войны, вел себя в этом бою достойно. Его охватил прилив сил, ликующий подъем. Как здорово побили сегодня немцев! И он, автоматчик Бирюков, отлично уничтожал немецких захватчиков. Но ведь и все боевые друзья, смелые соратники, тоже отлично истребляли врага. Да ведь это значит, что начался новый этап борьбы. Начался разгром фашистских полчищ — беспощадные и грозные удары по врагу!

ВЛ. СТАВСКИЙ





Московские студентки на рытье околов. Подмосковье. Ноябрь 1941 г. Фото С. Струнникова

Киров с нами

I

Домов затемненных громады
В зловещем подобии сна,
В железных ночах Ленинграда
Осадной поры тишина.
Но тишь разрывается боем,
Сирены зовут на посты,
И бомбы свистят над Невою,
Огнем обжигая мосты.
Под грохот полночных снарядов,
В полночный воздушный налет,
В железных ночах Ленинграда
По городу Киров идет.
В шинели армейской походной,
Как будто полков впереди,
Идет он тем шагом свободным,
Каким он в сраженьи ходил.
Звезда на фуражке алеет,
Горит его взор огневой,
Идет, ленинградцев жалея,
Гордясь их красой боевой.

II

Стоит часовой над водою,
Моряк Ленинград сторожит,
И это лицо молодое
О многом ему говорит.
И он вспоминает матросов
Каспийских своих кораблей,

Что дрались на волжских откосах,
Среди астраханских полей.
И в этом юнце крепкожилом
Такая ж пригожая стать,
Такая ж геройская сила,
Такой же огонь неспроста.
Прожектор из сумрака вырыл
Его бескозырку в огне,
Названье победное: «Киров»
Грозой заблистало на ней...

III

Разбиты дома и ограды,
Зияет разрушенный свод,
В железных ночах Ленинграда
По городу Киров идет.
Боец, справедливый и грозный,
По городу тихо идет,
Час поздний, глухой и морозный...
Суровый, как крепость, завод.
Здесь нет перерывов в работе,
Здесь отдых забыли и сон,
Здесь люди в великой заботе,
Лишь в капельках пота висок.
Пусть красное пламя снаряда
Не раз полыхало в цехах,
Работай на совесть, как надо,
Гони и усталость, и страх.
Мгновенная оторопь свяжет
Людей, но выходит старик,
Послушай, что дед этот скажет,
Его неподкупен язык.
— Пусть наши супы — водяные,
Пусть хлеб на вес золота стал,
Мы будем стоять, как стальные,
Потом мы успеем устать.
Враг силой не мог нас осилить —
Нас голодом хочет он взять,
Отнять Ленинград у России,
В полон ленинградцев забрать.

Такого вовеки не будет
На невском святом берегу,
Рабочие русские люди
Умрут, не сдадутся врагу.
Мы выкуем фронту обновы,
Мы вражье кольцо разорвем.
Недаром завод наш суровый
Мы кировским гордо зовем.

IV

В железных ночах Ленинграда
По городу Киров идет,
И сердце прегордое радо,
Что так непреклонен народ,
Что крепки советские люди
На страже родимой земли...
Все ближе удары орудий,
И рядом разрывы легли.
И бомбы ударили рядом,
Дом падает, дымом обвит,
И девушка вместе с отрядом
Бесстрашно на помощь спешит.
Пусть рушатся стены и балки,
Кирпич мимо уха свистит,
Здесь собственной жизни не жалко,
Чтоб жизнь тех зарытых спасти.
Вот юность — гроза и отрада,
Такую ничто не берет.
В железных ночах Ленинграда
По городу Киров идет...

V

Глашатай советского века
Трибуном и воином был,
На снежных предгорьях Казбека,
Во мраке подпольной борьбы.
Он помнит кровавые, злые
В огне астраханские дни,
И ночи степные, кривые,
Как сабли, сверкали они.



Рис, худ. Ф. Константинова

Так сердцем железным и нежным
Осилил он много дорог,
Сражений, просторов безбрежных,
Опасностей, горя, тревог.
Но всей большевистской душою
Любил он громады громад.
Любовью последней большою —
Большой трудовой Ленинград.
...Но черные дни набежали,
Ударили свистом свинца.
Здесь люди его провожали
Как друга, вождя и отца.
И Киров остался меж ними,
Сражаясь, в работе спеша,
Лишь вспомнят могучее имя,
И мужеством крепнет душа.

VI

На улицах рвы, баррикады,
Окопы у самых ворот.
В железных ночах Ленинграда
Он за город тихо идет.
И видит: взлетают ракеты,
Пожаров ночная заря,
Там вражьи таятся пикеты,
Немецких зверей лагеря.
Там глухо стучат автоматы,
Там вспышки, как всплески ножа,
Там, тускло мерцая, как латы,
Подбитые танки лежат.
Враг к городу рвется со злобой,
Давай ему дом и уют,
Набей пирогами утробу,
Отдай ему дочку свою.
Оружьем обвешен и страшен,
В награбленных женских мехах,
Он рвется с затоптанных пашен
К огням на твоих очагах.
Но путь преградить супостату
Идет наш народ боевой,

Выходит, сжимая гранату,
Старик на сраженье с ордой.
И танки с оснеженной пашни
Уходят тяжелые в бой.
«За родину» — надпись на башне,
И «Киров» — на башне другой.

VII

И в ярости злой канонады
Немецкую гробить орду
В железных ночах Ленинграда
На бой ленинградцы идут.
И красное знамя над ними
Как знамя победы встает.
И Кирова грозное имя
Полки ленинградцев ведет!

НИК. ТИХОНОВ



О 28 павших героях

Когда в бою умирают гвардейцы, крылатая слава слетает с воинского знамени и незримо становится в почетный и бессменный караул у изголовья погибших. Далеко по советской земле разнеслась весть о подвиге двадцати восьми гвардейцев-панфиловцев, сложивших свои головы на поле брани. Мы еще не знали всех подробностей их гибели, еще не были названы имена героев, тела их еще покоились на земле, захваченной врагом, но уже обходила фронты молва о сказочной доблести двадцати восьми советских богатырей.

Только теперь нам удалось восстановить полную картину гибели горстки храбрецов-гвардейцев.

Это было 16 ноября. Панцырные колонны врага находились на Волоколамском шоссе. Они рассчитывали, не останавливая заведенных моторов, ворваться в Москву. 316-я стрелковая дивизия, ныне 8-я гвардейская краснознаменная имени генерала Панфилова, преградила им дорогу. Товарищ Сталин отдал приказ — задержать немцев во что бы то ни стало. И на пути гитлеровцев выросла непреодолимая стена советской обороны.

Полк Капрова занимал оборону на линии: высота 251 — деревня Петелино — разъезд Дубосеково. На левом фланге, седлая железную дорогу, находилось подразделение сержанта Добробабина. В тот день разведка донесла, что немцы готовятся к новому наступлению. В населенных пунктах Красиково, Жданово, Муромцево они сконцентрировали свыше 80 танков, два полка пехоты, 6 минометных и четыре артиллерийских батареи, сильные группы автоматчиков и мотоциклистов. Грянул бой.

Теперь мы знаем, что, прежде чем двадцать восемь героев, притаившихся в окопчике у самого разъезда, отразили мощную танковую атаку, они выдержали многочасовую схватку с вражескими автоматчиками. Используя скрытые подступы на левом фланге обороны полка, туда устремилась рота фашистов. Они не думали встретить серьезное

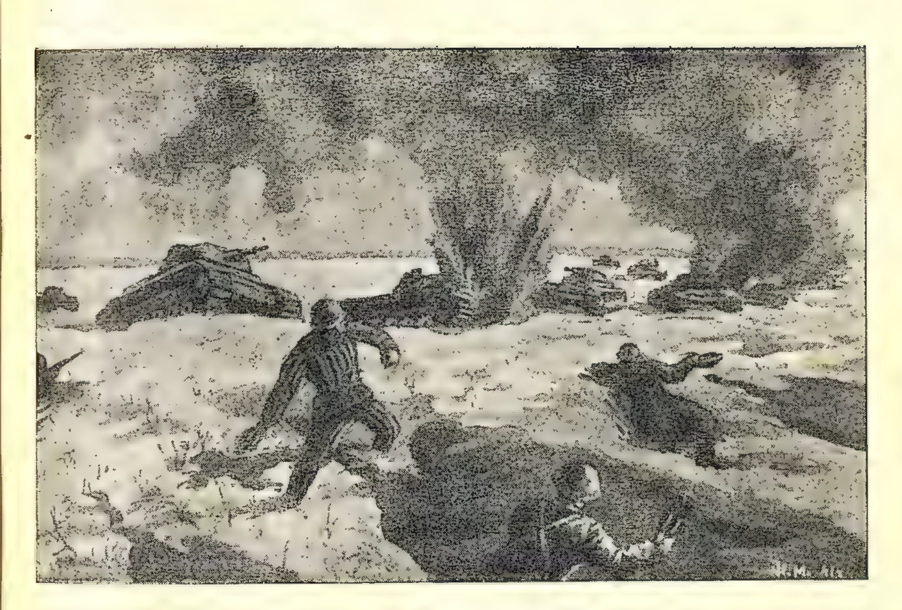


Рис. худ. А. Македонского

сопротивление. Бойцы безмолвно следили за приближающимися автоматчиками. Сержант Добробабин точно распределил цели. Немцы шли, как на прогулку, во весь рост. От окопа их отделяло уже 150 метров. Вокруг царила странная, неестественная тишина. Сержант заложил два пальца в рот, и внезапно раздался русский, молодецкий посвист. Это было так неожиданно, что на какое-то мгновенье автоматчики остановились. Затрещали наши ручные пулеметы и винтовочные залпы. Меткий огонь сразу опустошил ряды фашистов.

Атака автоматчиков отбита. Более семидесяти вражеских трупов валяются недалеко от окопа. Лица уставших бойцов задымлены порохом, люди счастливы, что достойно померялись силами с врагом, но не знают они еще своей судьбы, не ведают, что главное — впереди.

Танки! Двадцать бронированных чудовищ движутся к рубежу, обороняемому двадцатью восемью гвардейцами. Бойцы переглянулись. Предстоял слишком неравный бой. Вдруг они услыхали знакомый голос:

— Здорово, герои!

К окопу добрался политрук роты Клочков. Только теперь мы узнали его настоящую фамилию. Страна прославила его под именем Диева. Так назвал его однажды красноармеец украинец Бондаренко. Он говорил: «Наш политрук постоянно дие» — по-украински значит — действует. Никто не знал, когда Клочков спит. Он был всегда в движении. Деятельного и неутомимого, его любили бойцы, как старшего брата, как родного отца. Меткое слово Бондаренко облетело не только роту, но и полк. Клочковым политрук значился лишь в документах. Даже командир полка звал его Диевым.

В тот день Клочков первый заметил направление движения танковой колонны и поспешил в окоп.

— Ну, что, друзья?—сказал политрук бойцам.—Двадцать танков. Меньше чем по одному на брата. Это не так много!

Люди улыбнулись.

Добираясь к окопу, Клочков понимал, что ждет его и товарищей. Но сейчас он шутил и, ловя на себе одобрительные взгляды красноармейцев, думал: «Выдержим до конца». Вот все они были перед ним — люди, с которыми ему предстояло разделить и смерть и славу.

...Пусть армия и страна узнают, наконец, их гордые имена. В окопе были: Клочков Василий Георгиевич, Добробабин Иван Евстафьевич, Шепетков Иван Алексеевич, Крючков Абрам Иванович, Митин Гавриил Степанович, Касаев Аликбай, Петренко Григорий Алексеевич, Есибулатов Нарсутбай, Калейников Дмитрий Митрофанович, Натаров Иван Моисеевич, Шемякин Григорий Михайлович, Дутов Петр Данилович, Митченко Николай, Шапоков Душанкул,

Конкин Григорий Ефимович, Шадрин Иван Демидович, Москаленко Николай, Емцов Петр Кузьмич, Кужебергенов Даниил Александрович, Тимофеев Дмитрий Фомич, Трофимов Николай Игнатьевич, Бондаренко Яков Александрович, Васильев Ларион Романович, Болтов Николай, Безродный Григорий, Сенгирбаев Мустафа, Максимов Николай, Ананьев Николай.

Был еще и двадцать девятый. Он оказался трусом и предателем. Он один потянул руки вверх, когда из прорвавшегося к самому окопу танка фашистский ефрейтор закричал: «Сдавайсь!» Он стоял жалкий, дрожащий, отвратительный в своей рабьей трусости. Перед кем падаешь на колени, тварь? Немедленно прогремел залп. Несколько гвардейцев одновременно, не сговариваясь, без команды выстрелили в изменника. Это сама родина покарала отступника.

Бой длился более четырех часов, и бронированный кулак фашистов не мог прорваться через рубеж, обороняемый гвардейцами. Из противотанковых ружей храбрецы подбивали вражеские машины, зажигали их бутылками с горючим. Уже четырнадцать танков недвижно застыли на поле боя. Но уже убит сержант Добробабин, убит боец Шемякин, истекает кровью Петренко, лежа на соломе, покрывающей дно окопа, мертвы Конкин, Шадрин, Тимофеев и Трофимов. В этот миг в сумеречной дымке показался второй эшелон танков. Среди них — несколько тяжелых. Тридцать новых машин насчитал Клочков. Сомнений не было — они шли к железнодорожному разъезду, к окопу смельчаков. Ты немного ошибся, славный политрук Диев! Ты говорил, что танков придется меньше чем по одному на брата. Их уже больше чем по два на бойца. Родина, матерь-отчизна, дай новые силы своим сыновьям, пускай не дрогнут они в этот тяжелый час!

Воспаленными от напряжения глазами Клочков посмотрел на товарищей.

— Тридцать танков, друзья, — сказал он бойцам, — придется всем нам умереть, наверно. Велика Россия, а отступать некуда. Позади Москва.

Танки двигались к окопу. Раненый Бондаренко, пригнувшись к Клочкову, обнял его невредимой рукой и сказал: «Давай поцелуемся, Диев». И все они, те, кто был в окопе, перецеловались, вскинули ружья и приготовили гранаты. Танки все ближе и ближе. Вот они уже у самого окопа. Им навстречу поднимаются бесстрашные.

Тридцать минут идет бой, и нет уже боеприпасов у смельчаков. Один за другим они выходят из строя. Гибнет Москаленко под гусеницами танка, царапая пальцами его стальные плиты. Прямо под дуло вражеского пулемета идет, скрестив на груди руки, Кужебергенов и падает замертво. Подбито и горит около десятка танков. Клочков, сжимая последнюю связку гранат, бежит к тяжелой маши-

не, только что подмявшей под себя Безродного. Политрук успевает перебить гусеницу чудовища и, пронзенный пулями, опускается на землю.

Убит Клочков. Нет, он еще дышит. Рядом с ним, окровавленным и умирающим, голова к голове, лежит раненый Натаров. Мимо них с лязгом и грохотом движутся танки врага, а Клочков шепчет своему товарищу: «Помираем, брат... Когда-нибудь вспомнят нас... Если жив будешь, скажи нашим...»

Он не кончил фразы и застыл. Так умер Клочков, чья жизнь была отдана мужественному деянию на поле брани.

Все это рассказал Натаров, лежавший уже на смертном одре. Его разыскали недавно в госпитале. Ползком он добрался в ту ночь до леса, бродил, изнемогая от потери крови, несколько дней, пока не наткнулся на группу наших разведчиков. Умер Натаров — последний из павших двадцати восьми героев-панфиловцев. Он передал нам, живущим, их завещание. Смысл этого завещания был понят народом еще в ту пору, когда мы не знали всего, что произошло у разъезда Дубосеково. Нам известно, что хотел сказать Клочков в тот миг, когда неумолимая смерть витала над ним. Сам народ продолжил мысли умиравшего и сказал себе от имени героев: «Мы принесли свои жизни на алтарь отечества. Не проливайте слез у наших бездыханных тел. Стиснув зубы, будьте стойки! Мы знали, во имя чего идем на смерть, мы выполнили свой воинский долг, мы преградили путь врагу, идите в бой с фашистами и помните: победа или смерть! Другого выбора у вас нет, как не было его и у нас. Мы погибли, но мы победили».

Это завещание живет в сердцах воинов Красной Армии. Солнце победы все ярче и ярче горит на их знаменах. Враг отступает. Его преследуют кровные братья героев-панфиловцев, истребляют без жалости, мстят без милосердия.

Стояло тихое, морозное утро, наверно, такое же, как и в день 16 ноября. Наши части вновь овладели Дубосековым, и мы ехали к месту легендарного сражения двадцати восьми гвардейцев. Последнюю ночь бушевала метель, и мы шли теперь по снежной целине. Впереди осторожно двигались саперы с миноискателями.

— Здесь, — сказал капитан Гундилович.

Вокруг расстилалась ровная белая пелена. Слева, за небольшой рощицей, протянулась линия железной дороги. Справа стояли одинокие ели. Ничто не напоминало о разыгравшихся здесь событиях.

Мы заработали лопатами. Минута, другая, третья, и постепенно из-под снега стало возникать поле битвы. Вот по-

казался кусок бруствера окопа. Вот обнажен угол блиндажа. Вот лопата соприкоснулась с чем-то металлическим, и появилась каска, а следом за ней кинжал. Мы роем дальше и почти с головой уходим в землю — это вторично на том же месте врастает в землю окоп полного профиля. Комья снега стали желто-красными. В хрусталиках льда, как в сосудах с драгоценной жидкостью, заалела кровь. Она теперь повсюду, эта священная кровь погибших, — на нижних бревнах блиндажа, на открытом противогазе, на вытащенной плащ-палатке, на снегу вокруг.

Показалось тело. Сначала ноги, потом туловище. Военком дивизии полковой комиссар Егоров, полковник Капров, начальник политотдела дивизии Галушко и капитан Гундилович бережно поднимают на руки труп героя. У него размозжена голова. Нельзя узнать, кто это — Крючков, со строгим спокойным лицом, Есибулатов или, быть может, веселый сержант Добробабин. Это не Клочков. Нам стало известно, что местные жители, хорошо знавшие кипучего политрука, тайком от немцев разыскали его труп и схоронили за сторожкой путевого обходчика. Мы опустили мертвеца на землю. Карманы его шинели, гимнастерки и брюк вывернуты. В них нет ни одного документа. Унесли немцы, прихватив с собой и ушанку и сапоги убитого. Рядом с ним в окопе мы нашли лишь записную книжку. Она была еще чистой и хранила лишь номер винтовки — 21 789. Запомним его. Эта винтовка стреляла без промаха.

Все смотрели на свежий могильный холмик. Возле него выстроился взвод молодых гвардейцев-панфиловцев. Им не раз рассказывали раньше историю подвига двадцати восьми, и теперь они сами увидели одного из них.

В безмолвии и скорби застыли люди. Все обнажили головы, и я увидел седины старого воина—полковника Капрова, стоявшего впереди своих новых птенцов-гвардейцев, которых он сделает орлами в бою. Начальник политотдела дивизии Галушко взволнованно произнес надгробное слово: «Мы помним ваше завещание, герои. Мы слышим ваши предсмертные голоса. Мы сделаем все, чтобы быть достойными вашей доблести и чести».

Прогремел троекратный торжественный салют. Как бы могучим эхом, ему отозвался гром наших пушек. За спиной находились огневые позиции артиллерии, а впереди в нескольких километрах кипел бой. И такими живыми стали в нашем сознании погибшие панфиловцы, что казалось, будто пройдет еще мгновенье и, блистая славой, они восстанут из могилы, чтобы устремиться туда, где идут в наступленье наши полки. Вечная память в сознании живущих и есть бессмертие павших.

А. КРИВИЦКИЙ

Родному городу

Здесь Пожарский гремел, здесь командовал
боем Кутузов.
Ты, как древняя сказка, бессмертен,
прекрасен и стар.
От тебя отступали несчастные орды татар,
французов.
Мы тебя окружим бронированной грозною
силой
И любою ценой в беспощадном бою
сбережем, —
Чтобы подступы к городу стали для
немца могилой
И рубеж под Москвою — последним его
рубежом.
Ты не сдашься фашистам. Вовеки веков
сохранится
И гранит над рекой, у чугунного моста
литье.
Это больше, чем город, — это нового мира
столица,
Это — свет, это — жизнь, это — сердце твое
и мое.

МИХ. МАТУСОВСКИЙ



Мы можем победить! Должны! И победим!

Юноши и девушки Ленинграда, вся молодежь великого краснознаменного города! Вникните, друзья, всем сердцем, всей мыслью в происходящие события. Ваши деды в 1905 году и ваши отцы в 1917—1920 годах, воистину не щадя себя, добыли для народа, для вас, молодого поколения, все права, все возможности свободного и культурного развития. Вы не знали мук голода и безработицы. Вы не знали национального гнета и оскорблений. Все двери в стране были раскрыты для вас, все школы и вузы, все заводы, театры, кино, музеи — все для вас. Это и есть советская власть, это и есть завоевания, добытые кровью, трудами дедов и отцов ваших. Никто не смел в нашей стране остановить юношу и девушку и сказать им: «Хальт, стой, назад, тебе сюда нельзя, запрещено: ты не той расы, ты годен только на черную работу, работу раба». Мы все одной, равной, советской, гордой породы. Революция открыла нам все сокровища культуры. Она сделала нас хозяевами нашей земли, хозяевами нашей судьбы. Кто из вас не ходил по просторам родины, не любовался могучими ее равнинами, лесами и горами! Товарищи, дорогие юноши и девушки, ведь все это ваше, кровное. Все омыто кровью поколений — и старина, и новостройки...

Здесь каждый камень был положен хозяйски-тщательно, заботливо. И мы жили большой, ладной и дружной семьей — здоровой, веселой, трудолюбивой, пытливой. Жизнь цвела... И ты, родная молодежь, вы, сыновья и дочери наши, шли в эту жизнь широким молодым шагом, и ветер овевал ваши хорошие лица...

Против этой жизни, против этого строя, против вас, молодых, выступил фашизм.

Вдумывался ли ты, товарищ, юноша и девушка, в самый смысл, в существо фашистской угрозы?

Фашизм плюет тебе в лицо и в душу. Он называет тебя «насекомым»... Фашизм хочет отнять у тебя все твои социальные, культурные, исторические и даже семейные права. Девушку он хочет забрать в дома терпимости, в офицерские прислуги.

Ты вдумайся дальше, товарищ! Фашистская «программа» означает массовое истребление людей. Юношей фашисты «стерилизуют», им запрещается любовь и брак, их отрывают от семей, от близких, отсылают на принудительные работы, на химические заводы и шахты, где в год-два сгорают легкие. Занумерованные, с желтыми повязками на руках, работают по 14—16 часов пленные юноши Польши, Голландии, Франции. Для них нет отдыха. Их библиотеки сожжены. Любимые их поэты уничтожены. Музеи разворованы. Дома искалечены. Подруги уведены и опозорены.

Фашизм хочет сломать твою судьбу, растоптать твою душу, твою культуру, твои традиции, твою любовь, твою дружбу, ленинградская молодежь!

Фашизм хочет сделать из людей перенумерованных скотов, лишенных чести, прав, достоинства.

Он хочет крикнуть тебе, ленинградец: «А, ты из города Ленина — Петербурга! Это который первым делал революции? Так иди на каторгу».

Ты был душой с Павлом Корчагиным, с Маяковским... Ты был с Чапаевым, товарищ, ты был с Максимом, ты был душой, помыслами с моряками из Кронштадта, ты был восторженным и чистым другом депутата Балтики, старым профессором, бойцом за гуманизм. Твоя душа, товарищ, отзывалась на все лучшее в мире, на все лучшее в истории нашего народа, нашей культуры. Ты любишь глубочайше, органически Пушкина, ты ценишь Льва Толстого, Чехова, Горького, Репина, Серова, ты наизусть помнишь музыку Чайковского, Мусоргского, Бородина. Это — великое наше, русское, советское, народное богатство... Все это хотят сжечь, оплевать и растоптать фашисты. Из портретов Пушкина они сейчас делают мишени. Петербургскую мировую бесценную старину они хотят, — да, ты видишь это сейчас сам, — превратить в кучи щебня...

Товарищ, речь идет о существовании нашего народа, о самом основном: быть нам или не быть.

Оставь, если они у тебя есть, мелкие соображения о своей персоне, о личном. Вопрос ведь не о личном... Да и тот, кто глупо и наивно может сейчас думать о личном («уберечься бы»), жестоко просчитается. Народ ему не простит никогда, и враг его не пощадит.

Будьте мужественны, молодые ленинградцы и ленинградки! Будьте достойны высоких героев, которые умели

биться за родину, честь и правду, умели итти в огонь, на муки и испытания.

История не дает иных путей. Она ставит перед нами вопрос ясно, круто: прими великие бои и испытания, выдержи их, покажи свою стойкость, умение.

Если ты хочешь видеть мир свободным, солнечным, если ты хочешь видеть народ независимым, целым, если ты хочешь видеть дело родины, дело Октября, дело СССР сохраненным, развитым далее, если ты хочешь видеть Ленинград целым, цветущим, — иди, товарищ, на борьбу!

Сегодня гремит артиллерийская канонада над родным городом. Стоять в сторонке или выжидать никто не имеет права, не может!

Молодой ленинградец, красноармеец, моряк, летчик, рабочий, девушка! Ученики старших классов! Студенты! К вам обращаются с моря и из окопов моряки Краснознаменного Балтийского флота:

— Мы верим тебе, молодежь!

Для тебя было сделано за 24 года советской власти все, что можно. Тебе было дано все, открыто все. И сейчас, когда идет смертный бой, ты, молодежь, должна показать, чего ты достойна.

Балтийский флот дерется денно и нощно плечом к плечу с Красной Армией, ополчением и партизанами. Моряки-кронштадтцы сделают все, что они способны сделать, а вы не первый день знаете моряков... Мы призываем сотни тысяч юношей, девушек, комсомольцев и беспартийных: еще, еще новые усилия в борьбе! Идите на бой немедля, усиливайте труд на заводах, делайте все для победы. Друзья! Судьба наша в наших руках. Сумеем же ею распорядиться. Победа дается упорным, мужественным, твердым.

Уступать — ни на дюйм мы не уступим!

Упорства и мужества в нас достаточно!

Так вперед же, товарищи, вперед, юность! Вперед, ленинградцы! Вспомним о том, чье имя носит великий город, — о неустрашимом Ленине, и ринемся вперед всеми силами. Мы можем победить! Должны! И победим!

В. ВИШНЕВСКИЙ

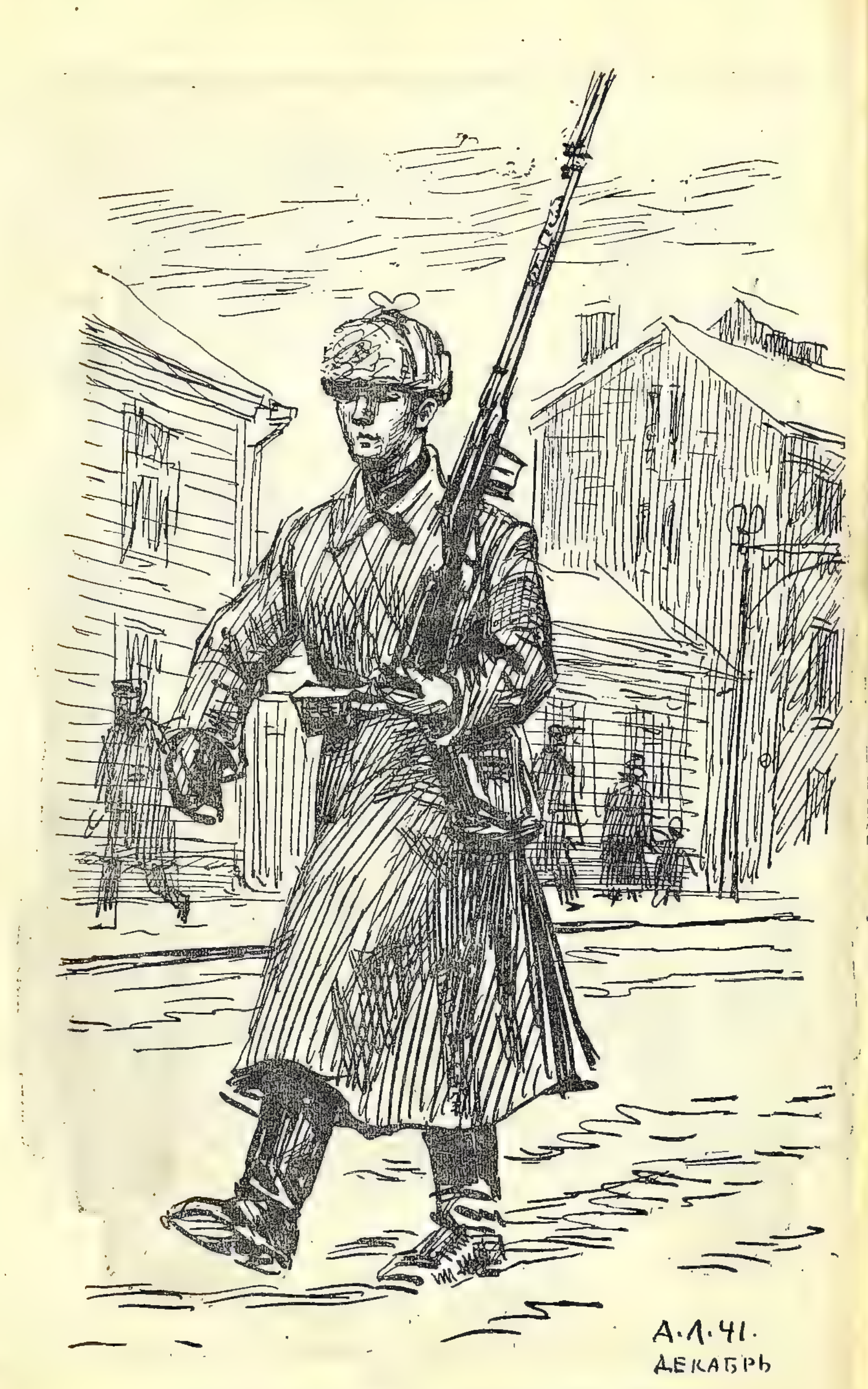




Москва. Ноябрь 1941 г. Рис. с натуры худ. А. Лаптева



Москва. Ноябрь 1941 г. Проверка документов. Рис. с натуры худ. А. Лаптева



Москва. Патруль. Рис. с натуры худ. А. Лаптева

Клятва

Здесь я жил и трудился,
Здесь родился и рос.
Я с тобою сроднился,
Город, милый до слез.

Здесь весною я встретил
Ту, что стала женой,
И, торжественно светел,
Ты мерцал предо мной.

Все прошел города я,
Но к тебе, Ленинград,
Где бы ни был, всегда я
Возвращался назад.

Нынче ты опоясан
Цепью взводов и рот.
Каждый сын твой обязан
Гнать врага от ворот.

И в одном из отрядов —
Твой боец рядовой —
Я под градом снарядов
Лягу в цепь за Невой.

Я клянусь — не ворвется
Враг в траншею мою.
А погибнуть придется —
Так погибну в бою,

Чтоб глядели с любовью
Через тысячу лет
На окрашенный кровью
Комсомольский билет.

В. ЛИВШИЦ



Декабрь 1941 г. Подмосковье. Рис. худ. Ф. Константинова

Генерал Панфилов и его гвардейцы

1

Отсюда до Москвы оставалось лишь сто двадцать километров. С запада отходили, отбивая яростный натиск врага, усталые части. Обескровленные шестидневными боями, наши части не могли остановить противника сами. Немецко-фашистские дивизии прорывались к Можайску. Но командование немцев обращало внимание и на этот участок. Здесь проходили асфальтированное шоссе и железная дорога на Москву; здесь была густая сеть шоссейных и хороших грунтовых дорог рокадного типа. Сюда немцы бросили три пехотных дивизии, одну мотодивизию и одну танковую дивизию. Кроме того, у немцев действовала здесь многочисленная авиация.

В противовес наше командование перебросило сюда 316-ю стрелковую дивизию, свежую, еще не бывшую в боях. К 14 октября дивизия заняла свой боевой участок.

Прежде чем встали части, генерал Панфилов проскочил на автомобиле по переднему краю всего участка дивизии.

Он был во много раз больше уставной нормы. Местность была тоже в пользу противника: ни одной серьезной водной или естественной преграды, много проходимых для танков мест. Но у немцев — дивизия танков, а у него, Панфилова, ни одного танка...

Наконец на левом фланге боевого участка обрывалась можайская линия укреплений. Дальше укрепления лишь предполагалось вести, но к приходу дивизии здесь были лишь разметки, а сама работа не начиналась.

Но и там, где были укрепления, не все было хорошо. В одном месте оборонительная линия обходила и оставляла впереди себя высоту, с которой местность просматривалась вокруг километров на десять — двенадцать.

С юго-запада, со стороны Можайска, доносился глухой

гул артиллерийской стрельбы. С запада по дорогам и тропам шли группами и в одиночку бойцы и командиры. Не у всех было оружие. Генерал изредка останавливал машину.

— Из окружения?

— Точно, товарищ генерал-майор.

Панфилов расспрашивал, внимательно слушал, запоминал. В душе у него шквалом вздымалась ярость... Внешне он был совершенно спокоен.

К ночи накануне поднялась внезапная метель. До зари бушевал ветер, лепил косой снегопад. И теперь в природе творилось неслыханное. Из-под снежных охапок, пригнувших ветви, виднелась могучая зелень дубов, горело золото берез, пламенели резные листья калины.

Генерал смотрел вокруг, глубоко вдыхал морозный терпкий воздух, на душе становилось легче и яснее.

Он вернулся на свой командный пункт с полным и трезвым представлением о всей сложности и ответственности участка дивизии. Он заслушал доклады начальника штаба, разведчика, артиллериста, инженера и связиста дивизии не раздеваясь. Потом, сбросив шинель, он стал ходить по избе. Два ордена Красного Знамени горели у него на груди. Невысокого роста, подтянутый, он двигался легко, словно скользя. Никак нельзя было дать ему его сорока восьми лет. Только широкое серебро седины в коротко подстриженных волосах напоминало о возрасте, о многом пережитом. Но карие глаза его были удивительно свежи и молоды. На смуглом, чуть скуластом лице трепетно жило выражение уверенности, силы. И в часто возникавшей усмешке, когда под черными усиками вдруг блестели зубы, — в этой усмешке бывалого, видавшего всякие виды солдата, — светились природный глубокий ум, проницательность и веселое лукавство.

— Комиссар, слышишь? — обратился Панфилов к комиссару дивизии Егорову. — Вот бы на наше место парочку немецких генералов, как бы они тут выкручивались!

Дивизия прибыла из тыла еще в августе, находилась в резерве ставки и, не теряя ни одного часа в прифронтовой обстановке, училась, училась, училась.

— Воюя, учись воевать! — говорил Панфилов и лично проводил в частях учебные стрельбы.

— А сложное дело, Иван Васильевич, — вдруг признался комиссар. — Я впервые на войне, а у тебя опыт той империалистической войны, потом гражданской! Двадцать шесть лет воюешь!

— В империалистическую и гражданскую войны проще было... — генерал умолк на мгновение, усмехнулся.

— А здесь думать надо. Как бороться против танков, — у нас их нет? Сложное дело! — И он вновь усмехнулся. —



Герой Советского Союза генерал-майор Панфилов.
Рис. худ. П. Парамонова

Небывалая сложность! И немцы висят на флангах! Давай принимать решение.

Они оба склонились над развернутой картой.

— Противник силой трех пехотных, одной мото- и одной танковой дивизии готовит прорыв и захват Волоколамска!

Перед умственным взором Панфилова зеленые пятна на карте поднимались лесами, рощами и перелесками, коричневые диагонали, сходясь в пучки, виделись ему как овраги и обрывы, крутые склоны. Карта ожила.

— Решающие направления — шоссе Ржев—Волоколамск, дорога Болычево — Осташево — Рюховское — Волоколамск. Противник будет рвать здесь танками. С улучшением погоды бросит авиацию.

Генерал выпрямился. Глаза его были прищурены, в уголках собрались лучики морщин.

— Дивизия занимает оборону на широком фронте. Задача: задержать, измотать противника. Отхода без приказа не будет. Оборону мыслю себе только как подвижную, активную. Фланги закрыть. На этих двух направлениях создать противотанковые узлы. Обязательно с глубиной. Особо важно: создать и держать в руке сильный резерв, заградительный отряд. В любое время он может понадобиться! А все подразделения закопать в землю. Дай приказ всем комиссарам! Пока непогода — надо воспользоваться!

Решение принято. Генерал Панфилов продиктовал начальнику штаба приказ. Делегаты связи из частей тут же записали приказ и умчались.

Генерал вызывал к себе командиров, говорил с ними по телефону, требовал донесений, посылал для проверки штабных командиров.

Он хорошо знал свою дивизию, личный состав. Киргизы и казахи, русские и украинцы — жители степей, — они были советскими патриотами, они были надежными воинами. И он был уверен в каждом полку, в каждом батальоне.

Но все же это была пехота. В памяти генерала всплывали бои в те две войны. Унтер-офицер, а потом фельдфебель царской армии, он участвовал в боях против немцев на Юго-западном фронте. В гражданскую войну он командовал взводом, потом батальоном в славной дивизии Василия Ивановича Чапаева.

Он испытал кровопролитные атаки и контратаки, бесчисленное множество артиллерийских налетов.

Но здесь — танки, авиация. У него срывался невольный вздох:

— Трудно сейчас воевать пехоте!

Он представлял самого себя командиром роты, батальона. Вновь и вновь, изучая карту, он решал задачи на оборону за командиров взвода, роты, батальона.

И прямо от этого переходил к новым решениям. Так, он приказал начальнику штаба немедленно изучить рубежи обороны с тылу боевого участка. И на изумленный взгляд его коротко ответил:

— Сейчас мы будем сидеть на своем участке до конца. Но надо все предвидеть! Трудно сейчас воевать пехоте.

Каждый час генерал справлялся у начальника артиллерии дивизии, как движутся на позицию три подчиненных ему противотанковых полка и поддерживающий дивизию артиллерийский пушечный полк.

От инженера дивизии он требовал немедленного создания заграждений, минных полей, окопов — и тоже не только по фронту, но и в глубину.

Каждый час генерал вызывал разведчика.

Над округой — ночь, метельная, буревая. Залепленные снегом, щурясь и утираясь, непрерывной чередой приходили к генералу люди. Было не до сна. Генерал готовил отпор врагу, готовил дивизию к бою.

Батальон старшего лейтенанта товарища Райкина в районе совхоза Болычево и деревни Федосьино закрывал левый фланг дивизии.

Старший лейтенант Райкин произвел тщательную рекогносцировку вместе с командиром приданного ему артиллерийского дивизиона.

Четвертая и пятая стрелковые роты и минометная рота заняли позиции вокруг деревни Федосьино.

Шестая рота старшего лейтенанта Лихачева с приданным пулеметным взводом, двумя орудиями ПТО и двумя 76-миллиметровыми пушками заняла совхоз Болычево, километра два южнее.

Старший лейтенант Маслов выслал боевое охранение за полтора километра вперед, к деревне Красная Горка.

Бойцы роты отрыли окопы полного профиля. Артиллеристы выкатили орудия на огневые позиции и тщательно замаскировали их.

14 октября боевое охранение заметило приближающуюся разведку немцев — мотоциклы, грузовики с пехотой.

Получив донесение, командир роты Маслов бросился туда и подоспел в разгар боя. Немецкая разведка была отброшена.

— Ну, теперь не зевать! — спокойно и грозно сказал Маслов.

К вечеру перед деревней появилось двадцать танков и больше роты пехоты. Обстреляв пехоту, нанеся потери и прижав ее к земле, боевое охранение отошло в ротный узел обороны.

15 и 16 октября были ожесточенные бои за совхоз Болычево.

Десять немецких танков пошли прямо на совхоз. Командиры орудий Михайлов и Перетятькин пристально следили за танками со своей высоты, на которой были их огневые позиции.

На пути врага был мост через речку. Около моста, замаскировавшись бурьяном в яме еще по темному рано утром, сидел истребитель танков Кирилл Кривенко. На краю ямы он аккуратно разложил гранаты, зажигательные бутылки.

Танки с грохотом и лязгом прошли по мосту. Кривенко дождался, когда последний танк поровнялся с ним, и бросил гранату. Взрывом сорвало гусеницу, и танк, развернувшись поперек дороги, остановился. Кривенко метнул бутылку, — танк охватило грозное пламя. Из переднего люка один за другим выскочили фашисты. Кривенко метнул в открытый люк гранату. Взрывы снарядов разнесли танк.

Танки остановились в замешательстве, однако они продолжали вести по нашим позициям огонь из пушек и пулеметов.

Командиры Михайлов и Перетятькин метким огнем расстреляли два танка. Когда они загорелись, остальные танки немедленно повернули назад.

— Вернутся, шакалы! — сказал Михайлов. — Быть в полной боевой!

Кривенко вернулся к своим, его встретили радостно, шумными одобрениями. Через полчаса в атаку пошли сорок немецких танков.

Командир артдивизиона огонь всех своих орудий сосредоточил на танках врага. Артиллеристы расстреливали танки прямой наводкой. Тут и там на поле полыхали зажженные снарядами стальные черепахи.

В первый же день артиллеристы разбили и сожгли семнадцать фашистских танков.

Наводчики Обухов и Терехов уничтожили каждый по три танка. Обухов после гибели расчета продолжал стрелять один. Он стрелял до последнего снаряда, потом взорвал орудие и отошел, забрав панораму.

Утром 17 октября рота Маслова была окружена. Глубоко и тщательно зарытые в землю, герои отбивали все попытки врага. Они отбивались еще 18 и 19 октября, в окопах за совхозом. Ночью они видели в совхозе костры, до них доносился скрежет гусениц, рев моторов, пьяные вопли. Днем — опять отбивались.

Боеприпасы и продовольствие вышли. Осталось только по пять патронов и всего четыре гранаты. Эти гранаты Маслов сберег, чтобы оставшиеся в живых могли взорвать себя.

19 октября Маслов и с ним тринадцать красноармейцев пробились с оружием в руках к своим.

Окружив Болычево 17 октября, немцы атаковали Федосьино и наши позиции вокруг.

Генерал Панфилов приказал перебросить из резерва восьмую роту на левый фланг батальона. Рота подоспела во-время. Она успела занять оборону за противотанковым рвом. Проходы были немедленно заминированы.

Местность за рвом была открытая. Немецкие танки напоролись здесь на огонь и мины. Десять танков погибло. Остальные ушли назад.

Отбиты были атаки и на позиции вокруг Федосьина.

Заместитель политрука Добренко, связист, после восстановления связи с ротой пришел на командный пункт командира батальона Райкина.

— Товарищ старший лейтенант! За речкой по кустам танк идет. Прямо на мост! — доложил комбату связной.

Добренко вспыхнул:

— Товарищ старший лейтенант, разрешите выйти навстречу. Прошу дать противотанковые гранаты!

— Хорошо, идите!

Замполитрука Добренко и связисты Козлов и Зайцев, захватив гранаты, двинулись к танку. Тот стоял в кустах перед мостом. Немцы заметили связистов и обстреляли их из пулеметов.

Юркнув в кусты, ползком по-пластунски связисты зашли в тыл танку. Тут они увидели другие танки и немедленно вернулись в батальон, доложили командиру.

Немецкие танки больше не ходили в лобовую атаку.

В батальон Райкина вместе с восьмой ротой прибыл начальник штаба полка капитан Манаенков. Расположив восьмую роту, он обошел позиции батальона, подбадривая бойцов, давая указания командирам.

Промозглое, сырое было утро 18 октября. На земле лежал и таял снег, было пасмурно и угрюмо небо.

Немцы с утра пошли в наступление. Сто танков, восемьдесят грузовиков с пехотой...

Ревели наши орудия, разрывы снарядов и мин сливались в сплошные раскаты.

Генерал Панфилов пристально следил за своим левым флангом. В штабе командиры уже подсказывали ему, что надо выбросить резерв — заградительный отряд. Но генерал выжидал. У противника была сильная группировка и на другом шоссе, и там были танки. И там противник нажимал. Здесь батальон, закрывавший левый фланг, стойко держался, нанося немцам огромные потери. Бросить сюда резерв. А дальше?.. Но когда в это утро он получил донесение о наступлении ста танков, он немедленно выбросил свой резерв на левый фланг, двинул в Осташово подошедший противотанковый полк, а другой полк оставил у себя — в

Спас-Рюховском. Создавались два мощных противотанковых узла, два эшелона. Третий узел также срочно создавался в Рюховском.

Генерал Панфилов железной рукой проводил в жизнь свои решения. Он также требовал подробных донесений о боевых действиях, о подвигах бойцов и командиров.

Начальнику политотдела дивизии он говорил:

— Слыхал, как Кривенко танк сжег? Как артиллеристы действуют! Подробно узнай и популяризируй! Чтобы в дивизии все про них знали! Поднимай дух! Дух этим поднимай!

Немцы бросили на позиции восьмой роты сорок танков. Они охватили фланги. Предатель, какой-то неразоблаченный в свое время кулак, проникший в строительный батальон и сбежавший к фашистам, показал немцам минированные проходы и пути обхода позиций роты. Десять фашистских танков прорвались прямо к окопам.

Под гусеницами стали гибнуть отважные бойцы, забрасывавшие танки гранатами и зажигательными бутылками.

Красноармеец Левкобылов из своего глубокого окопа видел, как погиб его товарищ под танком. И ярость охватила его. Смуглое лицо его, прекрасные черные глаза пламенели.

Казах из Алма-Аты, колхозник и коммунист, он учился до призыва в армию. В части он был ротным агитатором и редактором «Боевого листка». Невысокий, худенький, он был неутомим, поспевал всюду, и его все любили за веселый и отзывчивый характер.

Левкобылов поднялся над окопом. Ливень пулеметного огня бушевал над ним.

— Товарищи, нас убивают! Сидеть бесполезно. Бойцы, всех призываю следовать за мной!

Он выскочил из окопа, и голос его прорезал грохот боя:

— За родину! За Сталина!

Пригнувшись, он пробежал с десяток шагов и, метнув гранату, прильнул к земле. Взрывом подбило башенку немецкого танка, люк открылся, выглянул немец, выпучив оловянные глаза.

Левкобылов подбежал к танку вплотную, взмахнул рукой. Немец исчез в люке. Граната влетела в танк следом. Танк качнуло от взрыва. Левкобылов замахнулся зажигательной бутылкой. В этот миг в его грудь ударила целая очередь из немецкого автомата. Левкобылов уронил бутылку на танк и упал. Гусеница последним судорожным движением раздавила его.

На поле пылали немецкие танки. Но их было много, и они продолжали атаковать позиции батальона.

На правом фланге батальона занимал огневые позиции

взвод станковых пулеметов. Командир взвода лейтенант Какулия выбрал эти позиции, чтобы отсюда вести фланговый огонь по пехоте противника, которая шла вслед за танками.

Какулия безмолвно пропустил танки. Потом расстрелял и уничтожил немецких солдат.

Второй эшелон немецких танков обнаружил пулеметные точки Какулия. Немцы дали шквал огня из пушек и минометов. Расчеты всех пулеметов Какулия были выбиты. Осталось три красноармейца с одним пулеметом. Какулия лег за пулемет и сам стал стрелять. Он стрелял до последнего патрона. Он погиб от взрыва немецкой мины. Его навеки застывшая рука сжимала ручку станкового пулемета.

Поле впереди пулеметных окопов было усеяно немецкими трупами.

Над полем боя появился немецкий корректировщик «Хеншель-126».

— Принесло тебя, горбач проклятый! — с ненавистью сказал Манаенков.

Низко, так что виднелась черная голова фашистского летчика, покачивая уродливыми вывернутыми крыльями, «горбач» кружил как раз над наблюдательным пунктом командира батальона. И немцы открыли по НП ураганный огонь из минометов. Связь была скоро перебита.

— Будем отходить на командный пункт, в Федосьино! — решил капитан.

Перебежками, ползком они пробрались в деревню.

Минометный огонь задержал их у крайнего дома. Когда они двинулись дальше и пробежали несколько домов, слева на них ринулись три фашистских танка, справа затрещали немецкие автоматчики.

Райкин схватился рукой за правый бок, пронизанный пулей. Рука, тоже простреленная, в этот миг опустилась. Связной не дал ему упасть и оттащил во двор.

Капитан Манаенков, отскочив к забору, одну за другой бросил две гранаты. Без промаха. Грянули разрывы, и у двух немецких танков были сбиты гусеницы.

По капитану затрещали очереди автоматчиков уже сзади. Упав на землю, капитан расстрелял набегавших на него немецких автоматчиков из своего ППД. Вскочив, он забежал в сарай.

Сломав забор, прямо в дверь сарая уперся третий танк, стал стрелять из пушки.

Вспыхнуло сено. Словно порох, занялся весь сарай.

— Не погибать же мне в сарае! — гневно крикнул Манаенков. Стреляя из автомата, проклиная врага крепким русским словом, он выбежал из сарая и упал, убитый многими десятками пуль.

Связист Харламов, видевший все это из ямы, в которой

он укрылся при атаке танков, улучив минуту, схватил телефонный аппарат и забрался в старый, засыпанный золой колодец. Телефон работал. Харламов вызвал штаб полка.

— Товарищ комиссар, штаб батальона погиб. Командиры выбыли из строя. Как мне быть?

— А где вы?

— В колодце.

— Сидите и докладывайте.

Связист Харламов остался в колодце. Он видел, как под огнем врага, потрясенные потерей командиров, красноармейцы стали отходить в лес, в сторону деревни Игнатково. И доложил об этом.

Он видел, как в ту же сторону прошли немецкие танки, как немецкие солдаты полезли грабить колхозные дома.

Лицо его вдруг стало белым: в стороне Игнаткова грохотал яростный огонь пушек и пулеметов.

— И туда ворвались! — горестно прошептал Харламов. И ошибся!..

В той стороне происходило вот что.

В поле перед Игнатковым отходившие красноармейцы были остановлены. Их встретили член военного совета армии дивизионный комиссар Лобачев и начальник артиллерии генерал-майор Казаков.

Они проскочили на автомобиле впереди резерва генерала Панфилова.

— Куда это вы, товарищи?

— Танки прорвались! Там танки.

— А бутылки? А гранаты? Куда же отходить! И так уж Москва рядом! А ну, командиры, политработники, бегом сюда. Остальные — на месте — стой!

Лобачев и Казаков указали командирам позиции у Игнаткова и положили бойцов в оборону, заставив зарыться в землю. От Осташова тем временем подошел и развернулся резерв Панфилова. Когда немецкие танки атаковали позицию у Игнаткова, их встретил меткий огонь орудий. Прорвавшиеся танки были сожжены бутылками.

Уцелевшие танки в панике ушли назад. Эта атака немцам не удалась.

Семнадцать суток в непрерывных боях отражала дивизия генерал-майора Панфилова отчаянный натиск врага. Немцы оголтело бросались в атаки, неся страшные потери. Одних танков — сожженными и разбитыми — фашисты потеряли 153. Шестая танковая дивизия была заменена второй.

За эти семнадцать суток дивизия Панфилова отошла всего на 25—26 километров.

Генерал-майор Панфилов спал по два, по три часа в сутки. Он бывал в частях, неизменно спокойный, с своей живой, лукавой усмешкой. И там, где он появлялся, веселее

и увереннее становились люди. Он знал и с горячей жадностью узнавал о подвигах героев, и сам рассказывал о них, и требовал представления к наградам достойных.

— Надо признавать настоящее боевое дело! Надо поднимать дух признанием заслуг! — учил он командиров и политработников. — Я старый солдат. Я все это на своей шкуре испытал!

При отходе наших частей из Игнаткова немцы сожгли там два дома, в которых находились раненые красноармейцы. Лицо генерала, когда ему донесли об этом злодействе врага, стало чугунно-мрачным.

— Довести до каждого бойца! — сказал он, и все, замолкнув, глянули на него, — такое горе и такая ненависть слышались в глухом, сдавленном голосе.

Беседуя с красноармейцами, он, старый солдат, чапаевец, сразу находил путь к сердцам, и перед ним легко раскрывались души бойцов.

— Война не на жизнь, а на смерть, — это товарищ Сталин сказал! Теперь в бою каждый красноармеец должен понимать и помнить: враг хочет меня убить, истребить. Одно спасенье: самому врага убить! Тогда и живой будешь, и победишь! А что надо делать? Война дело хитрое. Тут не моргай. И лба даром не подставляй! Действуй смекалисто и смело. Робкого, труса не то что враг — вошь одолеет! А нам, орлам, да фашистов не бить?

Его слова, выражения подхватывались бойцами, они подбадривали и учили. И бойцы любили своего комдива, и верили в него, и дрались героически.

— Дорогие товарищи, слыхали, что сказал наш генерал? Он сказал: будем и дальше так немцев бить, будем драться, чтобы вся страна радовалась.

— Будем! — дружно отозвались бойцы.

Вскоре на взвод стали наступать две немецкие группы, по сто солдат в каждой.

Взвод отбивал немцев огнем.

Пулеметчик Оспанов был убит. Его место занял помощник наводчика. Но пулемет отказал.

Командир взвода Ширматов передал командование взводом старшему сержанту Клещеву и сам лег за пулемет — на левом фланге, против группы в сто немцев. Немцы приближались. Взвод лежал молча. Ширматов подпустил фашистов на сотню метров и открыл ураганный огонь. Полсотни немцев легли бездыханными трупами. Остальные разбежались.

Другая группа немцев обошла взвод справа. Немцы во весь рост подошли совсем близко. Старший сержант Клещев решил контратаковать врага. Во главе своих двух отделений — двадцать пять красноармейцев всего! — Клещев бросился на врага. И немцы в паническом ужасе разбежались.

В это время против Ширматова снова накопились враги и перешли в наступление с фланга. Клещев и туда поспел, и там контратаковал и разгромил фашистскую банду.

На поле боя немцы оставили здесь 173 трупа!

Генерал Панфилов немедленно объявил героям благодарность, приказал представить к правительственной награде.

Вникая в подробности боевой жизни, генерал Панфилов ни на минуту не упускал из рук управления всей дивизией в целом.

Он глубоко продумывал опыт, весь ход боевых действий. Ему было ясно, что, не прикройся он слева батальоном Райкина, дивизия могла бы сильно пострадать. Не создай он резерва — заградительного отряда, который на двое суток задержал немцев, — враг мог бы прорваться в глубину расположения дивизии.

Поэтому, выбросив резерв, он создал снова хотя и меньший, но стойкий резерв, отрывая по роте, по взводу всюду, где только ему виделась возможность.

И когда танки врага 25 октября просочились в обход к командному пункту дивизии, они наткнулись на организованный отпор, ничего сделать не могли и отошли, оставив горящими несколько машин.

Генерал Панфилов также ясно понимал, что в этой обстановке совершенно обязательна серьезная глубина обороны. Созданные им три противотанковых узла и задержали немцев и нанесли им серьезные удары.

Только в бою у Спас-Рюховского противотанковый полк майора Ефременко расстрелял и сжег 59 фашистских танков.

Этот бой с особенной силой показал всю роль, все значение артиллерии. Пехоте было трудно противостоять атаке больше чем сотни немецких танков. Подразделения батальона командира Решетникова стали отходить через огневые позиции противотанкового полка.

Командующий армией генерал-лейтенант Рокоссовский, приехавший сюда, на опаснейший и ответственный участок, приказал майору Ефременко подчинить себе пехоту, использовать ее как прикрытие — по десяти человек к каждому орудию.

Генерал-майор Панфилов был в восторге. Приказ Рокоссовского, правда, опрокидывал уставное положение о взаимоотношениях пехотного и артиллерийского начальников, но как же он был верен, жизнен и уместен! По существу вся оборона дивизии в решающей мере держалась на артиллерии.

Генерал Панфилов смело подчинял стрелковые подразделения, роты командирам батарей, возлагая на них ответственность за участки и ставя задачи им.

Но всю артиллерию дивизии и приданную ей генерал крепко-накрепко держал в своих руках.

Позже, когда сорвалось, выдохлось октябрьское наступление немцев на Москву и фашистские дивизии остановились, генерал Панфилов продолжал изматывать живые силы и уничтожать технику врага.

Он сам создавал артиллерийские и минометные группы. Внезапные шквалы огня обрушивались на скопления фашистов. Вопли смертельного ужаса были слышны за целые километры. Он сам обучал и отправлял в ночные поиски разведчиков.

Разведка доносила, что немцы опять готовят наступление на Москву. Они сосредоточили против дивизии Панфилова свыше восьмидесяти танков, артиллерию и минометы, многочисленных автоматчиков и пехоту.

Генерал Панфилов знал, что бои опять будут очень тяжелыми. Он, опираясь уже на опыт, обеспечил свои фланги, построил эшелонированные в глубину узлы противотанковой обороны, создал резерв.

Утром 16 ноября немцы начали наступление. На левом фланге, у разъезда Дубосеково, взвод сержанта Добробабина отбил атаку немецких автоматчиков, расстреляв прямо перед окопами более семидесяти фашистов.

Вскоре на позиции взвода напали двадцать танков. Герои встретили вражеские машины огнем из противотанковых ружей. Один танк прорвался к окопу. Фашисты закричали:

— Сдавайсь!

Нашелся подлый трус и предатель. Дрожащий, позеленевший, он поднялся, протянул вверх руки. Грянул залп. Без команды, по безмолвному и страстному приказу сердца, несколько товарищей расстреляли подлеца.

Немецкие танки открыли злобный огонь. Двадцать восемь героев, великие в своем мужестве и патриотизме, расстреливали танки из ружей. В прорвавшиеся к окопам — летели зажигательные бутылки.

Один за другим вспыхивали танки, останавливались подбитые. Четыре часа длился бой. Четырнадцать танков было сожжено и подбито.

Но и богатыри погибали, выходили из строя. Убиты сержант Иван Добробабин, бойцы Григорий Шемякин, Григорий Конкин, Дмитрий Тимофеев, Николай Трофимов. Умирал, истекая кровью, боец Григорий Петренко.

Политрук Клочков, прозванный бойцом-украинцем Диевым, — «вiн весь день и всю нiчь дiе i дiе» (т. е. действует), — политрук Клочков принял команду. Он ободрял товарищей.

Кончался серый ноябрьский день. Немцы бросили в атаку второй эшелон, усиленный тяжелыми танками.

— Тридцать танков, друзья!—сказал политрук Клочков.— Придется всем нам умереть, наверно. Велика Россия, а отступать некуда. Позади Москва.

Танки приближались. Богатыри поцеловали друг друга, приготовили ружья, гранаты. Они отбивались бесстрашно и мужественно. Они зажгли и подбили еще около десятка танков.

Советские богатыри, они погибли в бою, с оружием в руках.

Шепетков Иван, Крючков Абрам, Митин Гавриил, Касаев Аликбай, Есибулатов Нарсутбай, Калейников Дмитрий, Дутов Петр, Митченко Николай, Шапоков Душанкул, Шадрин Иван, Москаленко Николай, Емцов Петр, Кужеберкенов Даниил, Бондаренко Яков, Васильев Ларион, Болотов Николай, Безродный Григорий, Сенгирбаев Мустафа, Максимов Николай и Ананьев Николай.

Политрук Клочков, умирая, шептал раненому Натарову Ивану: «Помираем, брат... Когда-нибудь вспомнят об нас... Если жив будешь, скажи нашим...»

И Натаров рассказал обо всем перед своей смертью в госпитале, куда его доставили наши разведчики.

Советские патриоты, сильные любовью к родине и Сталину, сильные дружбой нерушимой и боевой, — они пали смертью храбрых, и смерть их зовет, поднимает миллионы на борьбу.

И вот в дивизии было получено сообщение:

«В многочисленных боях за нашу советскую родину против гитлеровских орд фашистской Германии 100-ая, 127-ая, 153-ая, 161-ая, 107-ая, 120-ая, 64-ая и 316-ая стрелковые дивизии, 1 Московская мотострелковая дивизия показали образцы мужества, отваги, дисциплины и организованности. В трудных условиях борьбы эти дивизии неоднократно наносили жестокие поражения немецко-фашистским войскам, обращали их в бегство, наводили на них ужас.

За боевые подвиги, за организованность, дисциплину и примерный порядок указанные дивизии в соответствии с постановлением Президиума Верховного Совета СССР переименованы Ставкой Верховного Главнокомандования в гвардейские дивизии, а именно:

...316-я стрелковая дивизия — в 8-ю гвардейскую стрелковую дивизию. Командир дивизии генерал-майор Панфилов И. В.»

Весть о приказе облетела всю дивизию. С новой силой уничтожали врага гвардейцы.

Генерал-майор Панфилов был глубоко взволнован. Комиссару Егорову он торжественно сказал, глянув на него заблестевшими карими глазами:

— Ну, комиссар, у нас с тобой долгов перед родиной,

перед партией прибавилось! Не прошло недели, как нас орденами Красного Знамени наградили. И вот мы уже и гвардейцы. Теперь надо отрабатывать!

— Надо отрабатывать! — так же торжественно сказал комиссар, и они крепко обнялись.

— Товарищи гвардейцы! — обратился генерал к вошедшим командирам и счастливо рассмеялся: — Гвардейцы!

За окном раздался взрыв, встал грязно-серый столб земли и снега.

— Что там такое? Узнайте.

Снова один за другим ахнули взрывы. Дом закачался, задребезжали, разлетаясь, стекла во всех окнах.

— С праздником поздравляет! — усмехнулся генерал и сразу стал строгим.

— Товарищи командиры! Всех в оборону!

Он надел свой белый полушубок и вышел из дома. По улице к окопам пробежали штабные командиры, делегаты связи из частей, саперы, интенданты.

Немцы вели огонь с опушки леса, меньше чем в километре от деревни Гусенево.

— Товарищ начальник штаба, расстрелять врага артогнем! Поставьте задачу лично!

— Есть, товарищ генерал!

Метрах в десяти от генерала Панфилова грохнула мина. Взвыли осколки. Генерал качнулся, схватился рукой за грудь. На смуглом лице его проступали бледность и настороженное внимание.

Товарищи подхватили генерала. По белому полушубку на груди расплывалось кровавое пятно.

— Умираю!..— вымолвил генерал вздохнув: — За родину!

Смертельными залпами по фашистским извергам, глубокой скорбью и пламенной клятвой отомстить и биться за родину до победы проводила дивизия своего командира.

Сорвано, отбито наступление гитлеровских банд на Москву. Героические части разбили врага и гонят его на запад.

Дерется на фронте вся гвардейская дивизия. И память о генерале Панфилове и его гвардейцах вечно будет жить в народе.

ВЛ. СТАВСКИЙ

★

Дороги

Чуть горит зари полоска узкая,
Золотая, тихая струя.
Ой, ты, мать-земля, равнина русская,
Дорогая родина моя!

Ты притихла. Сумерки вечерние...
Ты с тревогой смотришь на закат...
Не твои ли древние губернии
На закате заревом горят?

В серебре деревья, как хрустальные,
Но тревожен зимний их узор.
И бегут, бегут дороги дальние
В голубой, встревоженный простор.

В лютый холод и в мокропогодицу,
Через гати, рытвины и рвы —
Все твои пути-дороги сходятся
У застав красавицы-Москвы.

Чья душа с тоскою не оглянется:
По земле, взрывая ночь и тьму,
Вражья рать по тем дорогам тянется
К золотому сердцу твоему.

Но пройти ей роком не положено;
Есть у нас прапрадедов закон:
Высотой ли, темной ли изложиной
Будет враг навязчивый казнен.

Под мостами — спрятанные молнии,
Под асфальтом — тысячи смертей...
Все пути-дороги переполнены
Пепелящей яростью твоей.

Никому не взять твои сокровища.
Ты на бой сынов благослови —
На дорогах черные чудовища
Захлебнутся в собственной крови!

Не для них сады у нас насажены,
Меряные лентою версты.
Не для них дороги наши лажены,
Не для них построены мосты!

Догорай, заря, полоска узкая,
По земле ползет пожара дым...
Мы тебя, земля, равнина русская,
Никогда врагам не отдадим!

ИВАН МОЛЧАНОВ



Город в броне

Какой веселый гомон бывал в Ленинграде перед октябрьскими праздниками в мирные времена! Как светились его выпуклые, длинные, круглые огни, как играли их отсветы в каналах и в широкой Неве, сколько народу толпилось перед витринами магазинов! Детвора заполняла его скверы и парки. Далеко за полночь проносились шумные трамваи, сияли окна, люди возвращались из театров и из гостей, встречаясь с ночной сменой идущих на заводы. Молодежь смеялась так заразительно, что самый суровый прохожий начинал невольно улыбаться. Нет! Ленинград не был холодным городом! Это выдумали от зависти к его большим площадям и широким улицам, к его просторам и к его непрерывной деловой энергии.

Он был бесконечным. Трамвай шел по городу часами, и город не кончался. Заставы его, — прежние окраины, — никто бы из людей десятого года не узнал в сороковом. Так они выросли, сами стали городом, зажили богато и представительно.

Если смотреть на Ленинград с высот пулковских холмов весенним вечером, то по всему горизонту лежал как бы огненный пояс. Золотая полоса огней с каждым годом все больше продвигалась к югу, все ширилась и росла.

Теперь мы узнали, каков Ленинград во мраке затемнения. Узнали, какой вид имеют улицы ночью без огней и без людей. Как не нужна и прямо враждебна луна над городом. Как надо жить, стиснув зубы от великой ненависти к врагу, отказаться от всех мелочей жизни, забыть беспечную суету и взять в руки оружие.

Страна наша стала вооруженным лагерем, Ленинград — ее передовой пост. На посту часовые не спят. И Ленинград стоит, как закованный в броню часовой, и зорко всматривается в туманную ночь, в которой притаился враг, беспощадный, настойчивый, кровожадный.

По Неве в тумане проходят корабли. Глухо звучат шаги ночного дозора. Улицы стали напоминать совсем другие времена. Голос времен, как эхо, живет в пространствах ночи.

Броневик Ильича у Ленинградского вокзала в свете бледного прожектора и бронзовый Киров на Новой площади врезаются в самое сердце. И проспект имени Газа говорит о непреклонном комиссаре, улица Ракова — о человеке, прошедшем жизнь, состоявшую из смертельных опасностей, во имя победы народа; проспект Огородникова — о железном путиловском рабочем, беспощадно разившем врагов народа.

Площадь Жертв революции, молчаливая и пустынная, напоминает о великом долге каждого ленинградца быть на боевом посту в городе, где рождалась революция, бороться за свободу, честь, счастье, за будущее, как боролись они, павшие с оружием в руках, и не бояться отдать, если нужно, жизнь за то, чтобы этот русский город был всегда русским, свободным, советским городом.

По улицам проходят обозы и пушки, проходят войска. С мужчинами рядом шагают женщины — сестры, жены. Так они пройдут до самого фронта. Фронт недалеко. И тут же под вой взрывов им скажут: довольно, вернитесь. Они ответят: мы остаемся, и останутся дружинницами. Будут выносить раненых и следить, чтобы их оружие было при них.

Все те же кони на Аничковом мосту. Мимо идут ленинградцы толпой, полной боевых забот. Город живет по-боевому. У бани женщины заинтересовались группой бородатых, серьезных людей с загорелыми, обветренными лицами.

— Откуда такие бородачи в наше время, да еще целая куча?

— Подождите, через часок все будем молодыми, — говорят, посмеиваясь, бородачи. Это партизаны пришли помыться, попариться, побриться, отдохнуть в городе.

Вот женщины, много женщин, склонились над шитьем. Почему такие серьезные у них лица, как будто они не шьют, а участвуют в сражении? Они приготовляют теплое белье, теплые вещи для бойцов. Все время открывается дверь, и новые, и новые приносят узлы, чемоданы, пакеты с теплыми вещами, которые надо просмотреть, переделать, перешить. Зима на дворе. Наши бойцы ходят в теплой, чистой одежде, в фуфайках, перешитых добрыми руками. Не у всех этих женщин родные на фронте, но у них нет деления на «моего» и «твоего». Все фронтовые стали родными, все стали близкими.

На заводах делают оружие, танки, снаряды, заводы работают для фронта. Со скрежетом разрывается в цехе снаряд. Мгновение замешательства. Раздается тихий, но твердый голос руководителя:

— Товарищи, спокойствие! Фронт ждет нашей помощи!

Люди снова становятся к станкам. Аварийная команда начинает исправлять повреждения.

А на фронте мастера огня засекают вспышки вражеских орудий, бьющих по городу. Ненавистью пылают сердца артиллеристов. Залп, еще залп, — конец разбойничьей батарее.

Летят в сторону колеса орудий, головы и руки немецких бандитов, думавших внести замешательство в работу завода.

Пробирается разведка. В ней все ленинградцы. Им знакома каждая дорога в этих местах. Люди сжимают оружие, как самое дорогое. Мстить, мстить врагу за все. За то, что сгорели пригородные чудные уголки, за то, что убиты родные, истерзаны дети и женщины, за то, что в Пушкине на улице виселицы, и бомбы разбили большую залу Екатерининского дворца, за то, что бронзового позолоченного Самсона, украшение петергофских фонтанов, немцы распилили на части и увезли, за все страдания людей, за все поруганные памятники нашей родной старины, за ночные выстрелы по мирному населению, — за все.

Тяжелые наши орудия бьют с фортов. И летят немецкие штабы и танки, батареи и автоколонны. Скоро немецких трупов будет столько, что некогда будет их закапывать.

Люди на фронте — герои. Но в городе, питающем фронт, — тоже герои. Героическое неотделимо от жизни нашего города сегодня. Высоко в небе, где так не нужна луна, все залившая своим равнодушным светом, скрываются немецкие стервятники. Они бросают бомбы. Бомбы падают в канавы, взметывая воду выше домов. Бомбы ломают деревья, убивают старую ленинградскую слониху в зоопарке, падают на дома. Дома рушатся. Бойца аварийной команды вызывают на место попадания. Он видит, что завалило щель, где укрывались жильцы дома. Он работает безустали, осторожно и умело. Один живой ребенок извлечен из-под груд мусора и земли, второй, третий, четвертый, пятого он передает молча товарищам, и те чувствуют, что руки его ослабели.

— Заработался, устал?

Нет, на его руках лежит его одиннадцатилетняя дочь. Ее убили звери, умеющие летать. Начальник команды предлагает ему отдохнуть, прямо сказать, — уйти, остаться со своим горем. Единственная дочь. Он говорит: нет, он не уйдет! Он будет работать. Его дочь умерла, но есть там, под землей, другие живые дети, их надо спасти, их можно спасти, и их спасают.

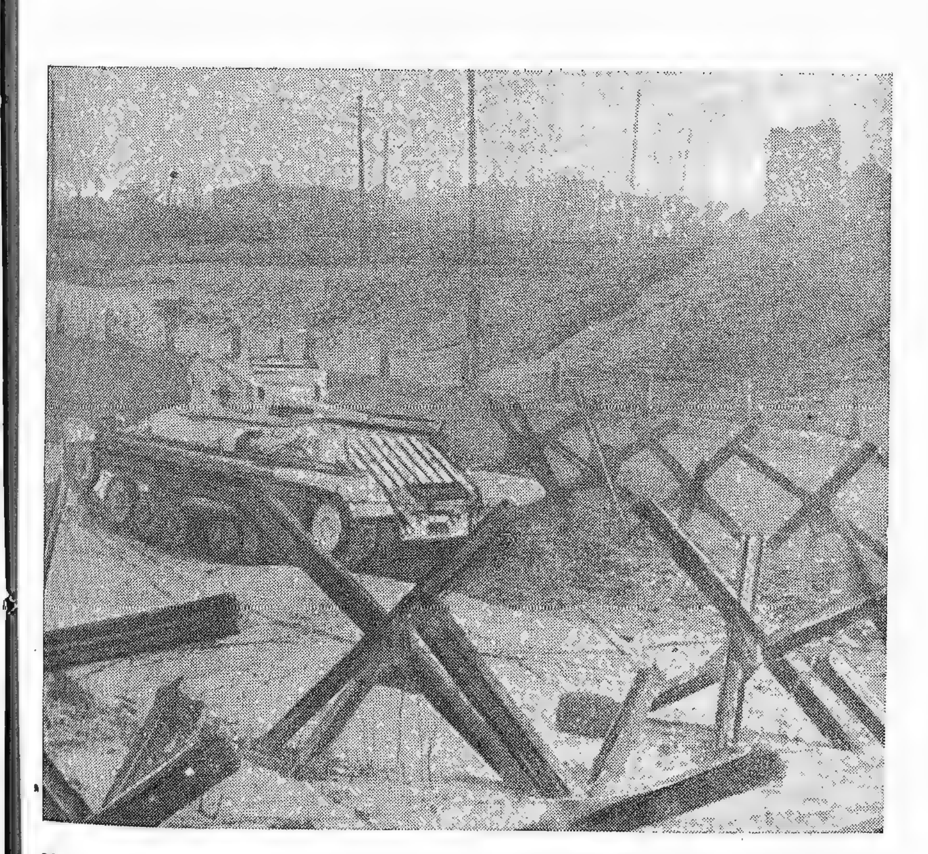
Людей такого города нельзя сделать рабами. На родину нашу пало страшное, не выразимое простыми словами бедствие. Нам много предстоит тяжелого. Надо пройти через все. Ничто не страшно человеку, стоящему за правду. Мы стоим за правду. В наш человеческий город пропустить зве-

рей нельзя, мы их не пропустим! Их будут истреблять безжалостно, беспощадно. С ними нет другого разговора, как разговор пулей и снарядом, танком и минометом. Так пусть будет больше орудий, пуль, танков и минометов!

Вот почему по улицам маршируют штатские люди с винтовками на плече. Они стали бойцами все до единого. Вот почему праздник мы празднуем за боевой работой. То, что добыто народной кровью и потом, не отдадим врагу. Это все надо защищать до последнего вздоха. Вот почему Ленинград темен и суров. К нему подкрался враг с ножом, чтобы перерезать горло спящему. Но он застал Ленинград бодрствующим. Горе врагу! Уже наступил поворот в его страшной судьбе: она стала еще страшнее.

Н. ТИХОНОВ

★



Идут красноармейские колонны

Идут красноармейские колонны,
Суров и грозен их походный строй,
За Ленинград, наш город непреклонный,
За Ленинград, любимый город свой.

Идут они. Кругом земля родная,
Сентябрьский отблеск солнца на штыках
Идут они и, может быть, не знают,
Что каждый шаг останется в веках!

Отчизна вкруг, ее холмы и скаты,
Поля, поля, небес поблекший шелк.
Идут они, и словно бы с плаката
Правофланговый на землю сошел.

Мгновенье, стой!
Он рушит все преграды,
Идет на танк со связкою гранат...
За ним сады и парки Ленинграда,
За ним в одном порыве Ленинград!

АЛЕКСАНДР ПРОКОФЬЕВ



Победа

От орудийного расчета младшего лейтенанта Новоселова осталось только двое: сам командир орудийного расчета Иван Новоселов и боец Павел Ничипуренко, который в расчете шел под номером вторым, то есть подносил снаряды. И оба были ранены. У Новоселова осколок снаряда вошел в кость повыше колена, другой осколок серьезно поранил грудь, но руки были целы, и он мог стрелять.

Снаряды кончались, и во что бы то ни стало нужно было добраться к своим и добыть боеприпасы. Иван Новоселов знал, что своим огнем он должен отвлечь внимание противника от соседней высоты 135, где в этот момент красноармейцы батареи оборудовали новую огневую точку. А снаряды кончались.

Нужно только пересечь лесок — там боеприпасы. Но пока в зарядном ящике оставался хотя бы один снаряд, младший лейтенант Новоселов не мог отойти от своего орудия.

Единственная надежда была на номер второй, но боец был тяжело ранен, — руку у него начисто оторвало разрывом мины, будто костоправ, понаторелый в таких делах, выдернул ее вон из ключицы. Раненый лежал у сосны. От боли и большой потери крови он не мог пошевелиться. Еще час назад, когда Иван Новоселов, превозмогая огненную боль в бедре, подполз к раненому и, сняв ремень от винтовки, тугим жгутом стянул ему артерию возле предплечья, он понял, что номер второй уже не жилец на этом свете.

Командир Новоселов и этот раненый красноармеец оба работали на одном заводе и даже жили по соседству. Еще этой весной они ходили вместе на Москву-реку загорать. Раненого звали Павел или, попросту, Паша.

«Здоровый был парень, рост какой! — подумал Новоселов. — Ничто его не брало. Что же случилось? Он лежит без движения. Кусочек стали — пустяковый осколок, и жизнь

человека пропала! А какая это была жизнь! Дай бог каждому! Полная, радостная. И девушки его любили. И на лыжах бегал. И в науках первый...»

Новоселов посмотрел в просвет между тонкими ветвями орешника, на которых кое-где еще сохранился бурый лист, и увидал, или даже не увидал, а скорей почувствовал, на той стороне реки какое-то движение.

— Зашевелились, ироды, а где снаряды?.. Вот они, только два.

Эти снаряды были особенно дороги Новоселову, потому что они последние, и он решил стрелять только наверняка, видя врага в лицо.

«Один за друга, — подумал Новоселов, — другой за себя. Ну, а дальше что?»

Эта мысль была такой мучительной, что Новоселову трудно было оставаться с ней один-на-один, и он обернулся к раненому.

— Друг, — сказал Новоселов, — друг, встань! Ну ведь тебе только лесок пересечь. Ты только пошевелись, а там доползешь! Стрелять ты не можешь, с рукой у тебя... а донесение доставь: мол, так и так, требуются снаряды.

Но боец лежал без движения, и тело у него было вытянуто, как у мертвого.

— Пашенька, — продолжал Новоселов, — послушай, встань! Рано нам с тобой умирать. Сначала перебьем этих гадов, а потом ты сам увидишь, как жить захочется!

Новоселов раздвинул кусты и увидал, как на той стороне реки движутся немецкие танки. Тупомордые, они ползли по холодному прибрежному песку, перебирая гусеницами.

«Подпущу ближе, — подумал Новоселов, — тогда выстрелю».

— Пашенька, — уговаривал Новоселов, — ведь мы же с тобой бойцы. Ну, ранили тебя, товарищ, а ты все-таки встань. Покажи этой погани! Разве не кипит у тебя сердце! Что ты лежишь, как мертвец?

И то, что это возможно, что это могло случиться, так поразило Новоселова, что он ухом прильнул к груди Павла. А вдруг он и правда умер?

Сердце Павла билось так слабо, будто это не сердце, а старый маятник. Новоселов услышал, как в груди под ребрами этот маятник раскачивается на тонкой-тонкой ниточке, как один сердечный удар на цыпочках подходит к другому, и нельзя было различить, где кончается один удар и начинается другой. Но все-таки сердце Павла было живо.

— Я слышу тебя, слышу, — горячо зашептал Новоселов в самое ухо Павла. — А теперь ты меня послушай: встань, превозмоги боль.

Сквозь сетку ветвей орешника Новоселов видел, как

вражеские танки ползут к реке. Хриплый гул их моторов подавлял сейчас все шумы дня. А Павел лежал без движения, и только жилка билась у него на виске.

...Лежал Павел и видел Москву. Он шел по Чистым прудам, и один тонкий золотой лист упал ему на рукав. И он старался итти осторожно, чтобы его не уронить. На мелкой ряби пруда качалась только одна лодка — была уже осень, и все лодки ушли в ремонт. И он вскочил в эту лодку и так сильно оттолкнулся веслом, что хрустнуло в плече.

Павел застонал и дернул безруким плечом, а Новоселов потуже стянул жгут на нем. Кровь только чуть сочилась из раны, будто она уже вся вытекла и ее совсем не осталось, а застывшая земля вокруг Павла стала теплой и липкой. И чтобы застлать опавшим листом эту сырую от крови землю, чтобы Павлу лучше было лежать, Новоселов так низко склонился над ним, что увидал светлый отроческий пушок у него на щеке.

«Вставай!» — слышал раненый будто с того конца поля голос командира. Но встать не мог.

Павел видел нежное московское небо и колонны, такие легкие, будто они совсем не имеют веса. Творение великого русского зодчего. Это было здание библиотеки Ленина. Здесь он готовился к экзамену, когда был в школе, и позднее, когда уже был студентом в институте. Однажды, провалившись на экзамене, он чуть не плакал от досады.

Новоселову показалось, что скулы у Павла дрогнули, и он сказал:

— Павлуша, поднимись! Ну, встань!

Из-за кустов орешника Новоселов видел, как вражеские танки построились в походную колонну и первый вошел в реку. Он уже двинулся, разгребая воду, оставляя за собой пенистый след. Новоселов подполз к орудию. Снаряд ударил по гусенице. Танк повернулся всем корпусом и стал поперек серой остановившейся воды.

...А Павел видел маленький дворик под Москвой в поселке Сокол, плетень, весь заросший колючими кустами малины, и девичье лицо, и косы мягкие, как льняная кудель, и румяные девичьи губы, круглые, чуть припухшие, как после сна. И он слышал: «Вставай!» — но никак не мог оторваться от своего сладостного виденья.

Слева приближался урчащий звук. Новоселов услыхал его не ухом, а нутром. Будто из самой утробы земли. Это разорвалась бомба.

«Все пропало, — подумал Новоселов, — все пропало, не встанет! Если б найти слово, какое-то нужное слово. Ведь есть оно такое вещее, что даже мертвого поднимает».

Снаряд ударил в пригорок, и горячая сухая волна прошла так близко, что над кустами орешника задрожал воздух.

— Ты только посмотри, что делается, — зашептал Новоселов. — Они прут на нас, а стрелять нечем! За могилу матери, Паша! Чтобы немецкие сапоги не топтали траву на ее могиле. Встань!

А Павел видел подмосковные поля. Они тянулись до тонкой розовой линии горизонта. По полям шла мелкая золотая рябь — это под ветром играла пшеница. Потом Павел увидел колос, который вырос до самого солнца, и усики этого колоса были родные братья солнечных лучей, а колос был полон зерна.

И это пшеничное поле, и девушку, которую Павел целовал в малиннике, и библиотека Ленина — все это слилось в одно целое, такое большое и прекрасное, и оно через край переполнило грудь Павла и пролилось слезами. Благодатные, они лились по щекам Павла, по заострившемуся подбородку. И лицо его становилось яснее, спокойней, точно слезы смывали всю боль, всю усталость, которые накопились в человеке.

«Есть же на свете это вещее слово! Оно, как живая вода», — думал Новоселов. Он засунул руку под спину Павла, чтобы приподнять его. Где оно, это заветное слово? И вдруг оно само слетело с губ Новоселова, как сказочная жар-птица.

Самое ясное, самое великое слово!

Павел повернулся на бок, потом встал на колени, уперся одной, уцелевшей, рукой в землю и поднялся. Поднялся Павел...

Новоселов торопливо засунул ему в сапог сложенный вчетверо листок папиросной бумаги, которую берег на цыгарки.

— Павлуша, — прошептал Новоселов, — ползи.

Но Павел не слышал. Он шел, выпрямившись во весь свой большой рост, шел, даже не стараясь укрыться от вражеских пуль, и они свистели и вились вокруг, но ни одна не коснулась его. Он шел, пошатываясь сплевывая сквозь зубы кровавую слюну, и от этого на застывшей земле словно зацветали алые цветы. Он шел по лесной тропинке, и голый лес вздымался перед ним буграми, и голый лес качался перед ним, будто и правда Павел был пьяный.

— Не дойдет, — шептал Новоселов, глядя на Павла. Как больной конь, шагал Павел, качаясь на развинченных ногах.— Не дойдет,— шептал Новоселов.

Павел шел. Он шел по лесной тропинке и ни о чем не думал. Его ноги сами подымались и опускались. Это был уже не он, и тот, кто был уже не он, все-таки шел. Он даже не думал, дойдет или нет до того края леса. Он просто шел. Над его головой переплетались черные ветви. Последний лист опустился на его пилотку. На его пути вдруг вырос креп-



Рис. худ. П. Соколова-Скаля.

кий белый гриб. Он наступил на него своим огромным, словно надетым на чужую ногу, сапогом.

Он даже не заметил, как лес кончился, как к нему подошли два красноармейца, и только когда они подхватили его, он понял, что дошел. Тогда он наклонился и, сплевывая сквозь зубы липкую слюну, вынул из-за голенища сложенное вчетверо донесение. В нем было только три слова: «Давайте снаряды. Новоселов».

Разогнуться Павел уже не мог. Он уткнулся лицом в землю, и осенняя трава, порыжевшая от дождей, приласкала его. Павлу хотелось вспомнить то слово, последнее, что сказал Новоселов. Оно было здесь, но Павел не мог его вспомнить. Он слышал, как журчал рядом ручеек. Оно было там, это слово, как звон камешков в ручейке, но Павел не находил его. Он слышал, как ветер шуршал в вершинах деревьев, оно было там, как шопот, но Павел не мог его разобрать. Он уже совсем отчаялся, потому что остался один уголок, где он еще не искал. С последней надеждой Павел заглянул в свое сердце и увидел, как на дне его, будто самоцвет на дне реки, сияет это желанное слово. Сердце Паши стало таким трепетным и горячим, что он прижал его ладонью. А заветное слово все ширилось, все разгоралось, оно пылало в сердце Паши, как рубиновая звезда.

Родина!

Так умер боец орудийного расчета Павел Ничипуренко. Но он дошел. И это была его победа, потому что на другой стороне леса младший лейтенант Новоселов в эту минуту доставленными снарядами расстреливал вражеские танки, которые рвались к Можайскому шоссе.

А. ГОРОБОВА





Партизанка. Рис. с натуры худ. П. Малькова



Рытье оборонительных сооружений.. Подмосковье, декабрь 1941 г. Рис. с натуры худ. А. Лаптева

Декабрь

1

Подошла война к Подмосковью.
Ночь в накале зарев долга.
Будто русской жертвенной кровью
До земли намокли снега.

По дорогам гремят тачанки,
Эскадроны проходят вскачь.
Ждут сигнала атаки танки
Возле стен подмосковных дач.

Стук подков на морозе четче,
В пар укутан блиндажный лаз.
Молодой москвич-пулеметчик
С темной рощи не сводит глаз.

Будто руки окаменели,
Будто вкопан он в грунт во рву...
Этот парень в серой шинели
Не пропустит врага в Москву.

2

Как долга эта зимняя ночь!
Ждать урочного часа невмочь.
Тает в облаке трепетный свет
Осторожных немецких ракет.

Грянет залп — и опять тишина.
А стрелкам в эту ночь не до сна.

Примыкая к винтовкам штыки,
Ждут сигнала атаки стрелки.

Хрустнул снег. Покачнулся плетень,
Промелькнула разведчика тень.
Над седой от мороза травой,
Стиснув зубы, стоит часовой.

3

Шуршит по крышам снеговая крупка.
На Спасской башне полночь бьют часы.
Знакомая негаснущая трубка,
Чуть тронутые проседью усы.

Он наш корабль к победам вел сквозь годы,
Для нашей славы временем храним.
И в эту ночь над картой все народы
В седом Кремле склонились вместе с ним.

По карте фронт узорной вязью вьется.
И он, нацелясь в черные кружки,
Привычным, точным жестом полководца
Отодвигает к западу флажки.

Он встал над фронтом, над Москвой, над нами,
Он руку к западу простер свою.
— Пусть осенит вас ленинское знамя,
Сыны мои, в решительном бою!

4

Вот и дни атаки наступили.
Вот и дрогнул гитлеровский сброд.
В белом облаке морозной пыли
Танк несется с грохотом вперед.

Танк рычит на резком развороте,
И из люка танка, в гром и грай,
Башенный стрелок кричит пехоте:
— Нажимай, родная, нажимай!

5

В густом дыму пожаров даль седая.
Широк великой битвы разворот.
Колонны танков, с флангов наседая,
Неудержимо движутся вперед.

Саперы ищут под хрустящим снегом
Чужих сапер коварные следы.
Из белой рощи конница набегом
Врубается в орущие ряды.

И пехотинцы в грохоте орудий
Идут, не наклоняя головы.
Запомни их, товарищ. Эти люди
Фашистов отогнали от Москвы.

6

Декабрь по дорогам гонит пургу.
Немецкий мертвец лежит на снегу.
Русская мать с потемневшим лицом
Склонилась над мертвецом.

Глухо сказала, платок теребя:
— Нечем мне, парень, оплакать тебя.
Высохла слез моих горьких река.
Ты заколол моего старика.
Сын у меня единственный был —
Ты его, волчье отродье, убил.

7

Исковерканы взрывом пути полустанка.
Снег расчерчен следами бесчисленных лыж.
На разбитую башню немецкого танка
По обугленным ребрам взобрался малыш.
Зябко ежась и брови сдвигая упрямо,
Показал на чужих мертвецов у двора:
— Это их за папаню, Серегу и маму
Наши дяди-танкисты побили вчера.

Вот бомбами разметанная гать,
Подбитых танков черная стена.
От этой гати покатилась вспять
Немецкая железная волна.

Здесь вмяты в снеговую целину
Стальные каски, плоские штыки.
Отсюда, в первый раз за всю войну,
Вперед, на запад, хлынули полки.

Мы в песнях для потомства сбережем
Названья тех сгоревших деревень,
Где за последним, горьким рубежом
Кончалась ночь и начинался день.

АЛЕКСЕЙ СУРКОВ





„Наша армия действует в своей родной среде, пользуется непрерывной поддержкой своего тыла, имеет обеспеченное снабжение людьми, боеприпасами, продовольствием и прочно верит в свой тыл".

И. СТАЛИН.

„Если советский строй так легко выдержал испытание и еще больше укрепил свой тыл, то это значит, что советский строй является теперь наиболее прочным строем".

И. СТАЛИН.







Нас не одолеешь!

Каждый воин Красной Армии в кровопролитных боях, среди тысячи смертей, хочет знать, как в эти дни живет его родной край, как живут и что делают его близкие.

За колоннами цифр, говорящих об увеличении добычи, о восходящих графиках превышения норм и о досрочном выполнении планов, хочется увидеть всю живую картину нашего тыла, — грандиозную трудовую битву, которую народы Советского Союза дают фашистской Германии.

Мы даем битву в защиту нашей правды. Наша правда — это устроение обильной и широкой нашей родины, где труд есть источник всего доброго, что задумано доброй мыслью человека. Родина наша должна стать необозримым счастьем для молодости, светлым покоем для старости.

Гитлер спустил с цепей всех двуногих чудовищ на тотальную войну против нас как нации, стремясь «вырвать с корнем наши жизненные перспективы», чтобы труд наш стал зубовным скрежетом и солнце нам показалось черным, как пепел, и на тысячу лет...

Не больше и не меньше, — тысячу лет власти фашизма над миром обещал Гитлер своим зверюгам — Михелям и Гансам и послал их на тотальную войну: убивайте, жгите, топчите, истребляйте массово, на фронте и в тылу, не глядя на возраст и пол. Города и села отдаю вам в добычу.

А впрочем, до мозговой рвоты нам опротивели все высказывания Гитлера, его цитаты и мысли вслух, — все пошлое вранье для рабских немецко-фашистских мозгов. Если немцы идут умирать в наши болота, леса и степные овраги затем, чтобы их жен и дочерей, в целях улучшения расы, таскали на случные пункты к широкомордым гитлеровским охранникам и затем еще, чтобы обер-фюрер и все вице-фюреры, фельдмаршалы и так называемый класс господ переводили кругленькие капиталы в Аргентину, — тем хуже для них. Гитлер сказал, что не дрогнет сердцем, обрекая на смерть

три миллиона Михелей и Гансов для завоевания России. Нам и подавно не дрогнуть. Мы этот счет, кажется, уже догнали и увеличим.

Навстречу тотальной войне встала сила народной войны. Навстречу развязанному зверю в немецком народе встала собранная, воодушевленная любовью к родине и правде, нравственная сила советского народа. Навстречу террористической организации рабского и принудительного труда встала организация труда свободно отданного, — безгранично могучего всенародного труда.

Много школьников работало на полях. Дети 102-й школы, вернувшись в город к началу занятий, на митинге постановили отдать все деньги, заработанные на уборке урожая, на постройку танка, который должен быть назван «Пионер», и обратились ко всем шестистам тысячам школьников области с предложением внести на это дело по два рубля. Тотчас в 102-ю школу полетели письма с приложением двух рублевых бумажек, со стихами и пылкими обращениями к тем бойцам, которые сядут на танк «Пионер» и отомстят зверям-фашистам за всех замученных детей. В некоторых школах дети собрались в артели и после занятий и по воскресным дням шли — кто на рыбокоптильный завод, кто собирать утильсырье, кто в заречье за шиповником-витамином, кто в леса по грибы... Заработанные деньги вносили на танк. Выяснилось, что детских денег собрано на целый танковый взвод. Дети вынесли постановление, чтобы танковый взвод «Пионер» передать самым героическим и беспощадным экипажам.

Вот я сижу на высоком и крутом берегу Волги, с обрыва широко видно заволжье — заливные луга, где от бесчисленных стогов легли длинные предвечерние тени. За синеватой грядой горизонта, куда весной уходит разлив Волги, — край дремучих лесов, — огромный простор, озаренный мягким светом. Человек впитывает здесь в душу свою эту ширь, эту силу земли, эту необъятность, и прелесть, и волю. Здесь ум бродит по видениям шумного и богатого прошлого и мечтает о безграничных возможностях будущего. Здесь у людей — красивые лица, веселые, смелые, дерзкие глаза и широкие плечи.

По лениво текущей Волге бегут пассажирские пароходы и ползут буксиры с караванами барж, — это все нефть, хлеб, лес. Караваны идут день и ночь. Раньше их заливистые гудки веселили сердца людей, сейчас — тишина: война.

Край — это целое государство с тысячью заводов и фабрик, со знаменитыми своим кустарным производством селами, с необозримыми лесами и рыбными реками.

Прежде здесь нехватало своего хлеба, — за последние годы постепенным углублением тракторной запашки значи-

тельно повышены колхозные урожаи. Теперь здесь сеют пшеницу. Стали запахивать лесные поляны и пустоши. В нынешнем году урожай богатый, в особенности озимая пшеница, местами — стопудовая на круг.

Здесь своя сталь, свои химические производства. Здесь делают пароходы, баржи, землечерпалки, вагоны, паровые машины и дизеля, автомобили и грузовики, хирургические инструменты и всякую обиходную мелочь, художественную и бытовую утварь. В дремучих лесах кустари гонят деготь, терпентин, древесный спирт. Здесь делают все, вплоть до лыж и саней. Сейчас все заводы, фабрики и кустарные мастерские перестроились на оборону.

Вот один из мощнейших заводов края. Ему много лет. Рабочие здесь потомственные, живут поколениями. В прежние времена, как рассказывают старики, рабочие ютились по двадцать человек в домишке об одну комнату, — спали вповалку, кто на чердаке, кто под печкой. Что такое постель — и не знали. Здесь была грязь, топь по колено, нищета, потогонная, заклятая жизнь. А сейчас вы едете по асфальтированному проспекту, по сторонам — цветники, шумящие тополя и домовито устроенные деревянные особнячки рабочих со своим хозяйством и огородами.

Здесь, в старом гнезде, живут по традиции и сильны своей традицией, — тремя поколениями рабочих в заводских цехах, передачей опыта от дедов к внукам и ревностью к своему заводу.

В начале июля заводу даны были правительством новые задания и поставлены тесные сроки. Для выполнения этих заданий нужно было изучить и освоить новую технологию производства, обучить новые кадры рабочих, — из них процентов тридцать пять женщин, приливающих взамен тех, кто пошел на войну.

Мы проходим по цехам — от старых, тесных, узких, полутемных, до новых, где в одном конце уже идет работа, а в другом конце еще заканчивается стройка.

Слышу — кто-то кого-то ругает, не громко, но уверенно. Вижу низенького в фартуке старика-печника, и перед ним на груде кирпичей, с кирпичами и инструментами для обтески в руках, три подростка.

— Это я с сынками разговариваю, нотацию им даю, — объясняет мне старый печник и посмеивается, и мальчики глядят на меня лукаво.

Народ здесь веселый, смышленый и злой до работы. Им только раз поглядеть, — поймут. В мартеновском цеху старшему сталевару не дадите на вид и двадцати лет, ему — подумаете вы — самое место быть форвардом в боевой футбольной команде: небольшого роста, крепенький, рыжеватый, с отчаянно задорным лицом... Ошиблись. Товарищ

Косухин льет на мартенах такие крепкие мячи, что в фашистских воротах и сейчас жарко, и будет еще жарче.

Косухин рассказывает, что до войны варили здесь простую сталь; когда пришло задание варить сталь специальную — стало страшно: справимся ли? Приехал инженер и заложил шихту специальной стали. Косухин, присматриваясь, двое суток не выходил из цеха, пил воду со льдом. И ничего — освоил, вторую плавку уже варил самостоятельно.

Выработка сталеваров на всем его участке — 130 процентов нормы, но говорит он об этом, пожав плечом: можно работать лучше, если устранить такие-то и такие-то задержки и неувязки. На заводе поднято движение за общее повышение выработки до 200 процентов; шефство над движением взяли комсомольцы, — с одной стороны, они сами добиваются этих норм и превышения их, с другой — ставят в цехах комсомольские «посты», которые устраняют затяжки, рационализируют работу, продвигают вперед для обработки ударные детали и следят за графиком...

Вот что рассказывает о специальном заказе товарищ Кудрин, старший мастер фасонного стального литья, сорок пять лет работающий на заводе:

«Начали мы с разработки технологического процесса этих новых и сложных деталей... Конечно, позаимствовались опытом других заводов, это было необходимо для скорейшего освоения. И вот, когда своими силами разработали эту технологию, нам был спущен заказ на изготовление моделей... Начали модель готовить, по нескольку раз ходили в производственный отдел и в модельный цех, советовались и спорили. Собирали рабочих и прорабатывали с ними технологию моделей. Призывали обратить особенное внимание на качество. После всего этого выбрали самую большую и сложную деталь и начали ее отливку. Пришлось нам работать день и ночь, не выходя из цеха. Отлили — вышло удачно, и мы составили график. Дальнейшей задачей было — перестроить все бригады формовщиков так, чтобы каждому работа была дана по квалификации. Это подняло у нас качество работы и укоротило сроки отливок.

Случаев задержки, невыполнения распоряжений, отказа от сверхурочных у нас до сих пор не было. Завод наш и, в частности, наш коллектив фасонного литья желает работать день и ночь и давать машин больше и давать скорее, потому что мы все болеем душой, хотим бить врага... Гитлера мы разобьем, — наше дело правое... Завод с честью выполнил задание, в три раза сократив сроки».

Переходим из цеха в цех. Рослые парни-сталевары, с очками на кепках, с мокрыми от пота лицами, прикрываясь рукавом, поднимают заслонку, и в бушующее, крутящееся пламя печи вдвигается и там переворачивается огромный со-

вок с флюсом... Другие трехсаженными кочергами ворочают в печи, и почему-то вспоминаешь Гитлера, который, говорят, суеверен и ужасно боится, что черти на том свете за все его художества будут вот так же поворачивать кочергами в адском пламени.

Один из сталеваров вытаскивает ковшиком пробу, льет ее на чугунный пол и глядит на фонтан мелко-ослепительных искр. Грохочет мостовой кран, поднося к одной из печей десятитонный ковш-бадью... Струя стали, толщиною в бревно и белая, как солнце, льется и льется в него, будто не в силах его наполнить. Но ковш уже плывет над серой, ископанной землей литейной. Приземистый мастер останавливает его и, подняв руку, помахивает крановщику, чтобы тот точнее установил выпускное отверстие ковша над изложницей. К огненному столбику начавшей литься стали подходит молоденькая девушка с измерительным прибором.

Вот бесконечные ряды токарных станков. Тишина, сосредоточенность, выгадывание всех движений; льется мыльная вода, вьется стальная стружка. Десятки тысяч предметов переходят со станка на станок до последней операции, где электромагниты ищут в стали изъяны.

Большинство работающих на станках, до 60 процентов, — женщины. Это домохозяйки, жены и сестры ушедших на фронт рабочих. Одна из них, товарищ Чахонина, рассказывает:

«Я домохозяйка. В райсовете я изъявила желание работать на заводе. Меня направили сюда. В отделе найма спрашивают — в каком цеху хочу работать? Я отвечаю: в котором почище. Назначили в этот цех. В первый день обучали,— простояла у станка четыре часа, и мне показалось нетрудно. На другой день я попросила работать самостоятельно. Работаю, — ко мне никто не подходит, а наблюдают со стороны. Вечером подошел мастер и сказал, что дело пойдет. Через три дня я уже вышла самостоятельно в смену. Правда, норму я боялась набирать, думала, что не справлюсь, сделаю брак. Но потом решилась и стала набирать норму. Когда мы перешли на новое производство, я уже оказалась на доске почета. У меня дома трое ребят, но, приходя на завод, я все забываю. Недавно ко мне подходит мастер: «Сколько ты сделала?» Я отвечаю: «Сто семь». — «Маловато», — отвечает... Но теперь, конечно, мне отремонтировали станок, и я стала давать норму, сто сорок процентов... Работаю с настроением...»

Вот цех, где режут и кроят сталь, как сукно ножницами. Рабочие, лежа на стальных плитах, ведут по меловой черте горелкой на колесиках, откуда бьет синеватая игла пламени. Рядом — цех электросварки... В полутьме — ослепительные огоньки вольтовых дуг, и люди в больших плоских

масках, приникнув к сложным очертаниям стальных деталей, как будто неподвижно рассматривают эти шипящие фиолетовые пламена, проникающие в самые недра металла, сплавляя молекулы.

Отдельные детали свариваются друг с другом, и вот уже весь остов стального чудовища висит, точно распятый на огромном колесе, и там внутри копошатся, шипя фиолетовыми огнями, люди в плоских масках.

Тысячи и тысячи рабочих, мужчин, женщин и подростков, осваивая новые заказы для разгрома фашизма, преодолевая трудности, подходят к делу с умом и сметкой, не щадя сил своих, — дают великую битву вооруженному насилию всей фашистской системы. Без громких слов, просто и буднично, отдавая всего себя, они упорно, всеобщим трудом воздвигают несокрушимую мощь советского государства.

Я взглянул только в один уголок края. Но здесь же — и неподалеку и подальше — дымят и грохочут новые гигантские заводы.

Но это только один край, только один из уголков советской тяжелой промышленности!

Хотелось бы окинуть взором всю необъятную силу народного труда, все наши заводы и шахты, и промыслы, откуда с каждым днем все обильнее течет и течет боевое снаряжение для Красной Армии.

— Бойцы и командиры Красной Армии из одного с нами теста, — говорит слесарь-бригадир и изобретатель товарищ Токарев, пятьдесят три года работающий на заводе. — Эта война ужасная, конечно, но Красную Армию немцу не одолеть... Нас не одолеешь!..

АЛЕКСЕЙ ТОЛСТОЙ



На Дону

На станичную площадь спешат призванные в Красную Армию и провожающие. Впереди меня бегут, взявшись за руки, двое ребят в возрасте 7—10 лет. Родители их обгоняют меня. Он — дюжий парень, по виду тракторист, в аккуратно заштопанном синем комбинезоне, в чисто выстиранной рубашке. Она — молодая, смуглая женщина. Губы ее строго поджаты, глаза заплаканы. Равняясь со мной, она тихо, только мужу, говорит:

— Вот и опять эти немцы лезут на нас. Не дали они нам с тобой мирно пожить... Ты же, Федя, гляди там, не давай им спуску!

Медвежковатый Федя на ходу вытирает черным промасленным платком потеющие ладони, снисходительно, покровительственно улыбается, басит:

— Всю ночь ты меня учила и все тебе мало. Хватит! Без тебя ученый и свое дело знаю. Ты вот лучше, как приедешь домой, скажи бригадиру вашему, что если они будут такие копны класть, какие мы видали дорогой, возле Гнилого лога, так мы с него шкуру спустим. Так ему и скажи! Понятно?

Женщина пытается еще что-то сказать, но муж досадливо отмахивается от нее, совсем низким, рокочущим баском говорит:

— Да хватит же тебе, уймись, ради бога! Вот придем на площадь, там все одно лучше тебя скажут!

На станичной площади возле трибуны — строгие ряды мобилизованных. Кругом — огромная толпа провожающих. На трибуне высокий, с могучей грудью, казак Земляков Яков.

— Я — бывший батареец, красный партизан. Прошел всю гражданскую войну. Я вырастил сына. Он теперь, как и я, артиллерист, в рядах Красной Армии. Сражался с белофиннами, был ранен, теперь сражается с немецкими фашистами. Я, как отличный артиллерист-наводчик, не мог вы-

нести предательства фашистов и подал в военкомат заявление, чтобы зачислили меня добровольцем в ряды Красной Армии, в одну часть с сыном, чтобы нам вместе громить фашистскую сволочь, так же, как двадцать лет назад громили мы сволочь белогвардейскую! Я хочу итти в бой коммунистом и прошу партийную организацию принять меня в кандидаты партии.

Землякова сменяет молодой казак Выпряжкин Роман. Он говорит:

— Финские белогвардейцы убили моего брата. Я прошу зачислить меня добровольцем в ряды Красной Армии и послать на финский фронт, чтобы заступить место брата и беспощадно отомстить за его смерть!

Старый рабочий Правденко говорит:

— У меня два сына в Красной Армии. Один — в авиации, другой — в пехоте. Мой отцовский наказ им: бить врага беспощадно, до полного уничтожения, и в воздухе и на земле. А если понадобится им подспорье, то и я, старик, возьму винтовку в руки и тряхну стариной!

Доцветающая озимая пшеница — густая, сочно-зеленая, высокая — стоит стеной, как молодой камыш. Рожь — выше человеческого роста. Сизые литые колосья тяжело клонятся, покачиваются под ветром.

Сторонясь от встречной машины, всадник сворачивает в рожь и тотчас исчезает: не видно лошади, не видно белой рубашки, только околыш казачьей фуражки краснеет над зеленым разливом, словно головка цветущего татарника.

Останавливаем машину. Всадник выезжает на дорогу и, указывая на рожь, говорит:

— Вот она какая раскрасавица уродилась, а тут этот германец, язви его в душу! Зря он лезет... Ох, зря! Вторые сутки не был дома, угостите закурить, — из курева выбился, — и расскажите, что слышно с фронта.

Мы рассказываем содержание последних сводок. Разглаживая тронутые сединой белесые усы, он говорит:

— Молодежь наша, и то, гляди, как лихо сражается, а что будет, когда покличут на фронт нас — бывалых, какие три войны сломали? Рубить будем до самых узелков, какие им, сукиным сынам, повитухи завязывали! Я же говорю, что зря они лезут!

Казак спешивается, садится на корточки и закуривает, поворачиваясь на ветер спиной, не выпуская из рук повода.

— Как у вас в хуторе? Что поговаривают пожилые казаки насчет войны? — спрашиваем мы.

— Есть одна мысля: управиться с сенокосом и по-хорошему убрать хлеб. Но, ежели понадобимся Красной Армии скорее, — готовы хоть зараз. Бабы и без нас управятся. Вам же известно, что мы из них загодя и трактористов и комбай-

неров понаделали. — Казак лукаво подмигивает, смеется: — Советская власть, она тоже не дремает, ей некогда дремать. Тут, конешно, в степи жить затишнее, но ить казаки сроду затишку не искали и ухоронов не хотели. А в этой войне пойдем охотой. Великая в народе злость против этого Гитлера. Что ему, тошно жить без войны? И куда он лезет?

Некоторое время наш собеседник молча курит, искоса посматривая на мирно пасущегося коня, потом раздумчиво говорит:

— Прослыхал я в воскресенье про речь товарища Молотова, и все во мне повернулось. Ночью никак не могу уснуть, все думаю: в прошлом году черепашка нас одолевала, сейчас Гитлер приступает, все какое-то народу неудовольствие. И опять же думаю: что это есть за Гитлер, за такая вредная насекомая, что он на всех насыкается и всем покою не дает? А потом вспомнил за германскую войну, а мне довелось на ней до конца послужить, вспомнил про то, как немцев рубили... Восьмерых вот этой рукой пришлось уложить, и всё в атаках. — Казак смущенно улыбается, вполголоса говорит: — Теперь об этом можно вслух сказать, раньше-то все стеснялся... Двух георгиев и три медали заслужил. Не зря же мне их вешали? То-то и оно! И вот лежу ночью, о прошлой войне вспоминаю, и пришло на ум: когда-то давно в газетке читал, что Гитлер будто тоже на войне германской был. И такая горькая досада меня за сердце взяла, что я ажник привстал на кровати и вслух говорю: «Что же он мне тогда из этих восьмерых под руку не попался?! Раз махнуть — и свернулся бы надвое!» А жена спросонок спрашивает: «Ты об ком это горюешь?» — «Об Гитлере, — говорю ей, — будь он трижды проклят! Спи, Настасья, не твоего это ума дело».

Казак тушит в пальцах окурок и, уже садясь в седло, роняет:

— Ну, да он, вражина, своего дождется! — И, помолчав, натягивая поводья, строго обращается ко мне: — Доведется тебе, Александрыч, быть в Москве, передай через близких людей товарищу Сталину, что донские казаки всех возрастов к службе готовы. Ну, прощайте. Поспешаю на травокосный участок гражданкам-бабам подсоблять!

Через минуту всадник скрывается, и только легкие, плывущие по ветру комочки пыли, сорванные лошадиными копытами с суглинистого склона балки, отмечают его путь.

Вечером на крыльце Моховского сельсовета собралась группа колхозников. Немолодой, со впалыми щеками, колхозник Кузнецов говорит спокойно, его натруженные огромные руки лежат на коленях.

— ...Раненый попал я к ним в плен. Чуть поправился, — послали на работу. Запрягали нас по восемь человек

в плуг. Пахали немецкую землю. Потом отправились на шахты. Норма — восемь тонн угля погрузить, а грузили от силы две. Не выполнишь — бьют. Становят лицом к стене и бьют в затылок так, чтобы лицом стукался об стену. Потом сажали в клетку из колючей проволоки. Клетка низкая, сидеть можно только на корточках. Два часа просидишь, а после этого тебя оттуда кочергой выгребают, сам не выползешь... — Кузнецов оглядывает слушателей тихими глазами, все так же спокойно продолжает: — Поглядите на меня: я сейчас худой и хворый, а вешу 70 килограммов, а у них в плену за все два с половиной года больше 40 килограммов я не важил. Вот к чему они меня произвели!

Считанные секунды молчания — и все тот же спокойный голос колхозника Кузнецова: — Два моих сына сейчас сражаются с немецкими фашистами. Я тоже думаю, что пришла пора пойти поквитаться. Но только извините, граждане, я их брать в плен не буду. Не могу.—Стоит глубокая настороженная тишина. Кузнецов, не поднимая глаз, смотрит на свои коричневые вздрагивающие руки, сбавив голос, говорит: — Я, конечно, извиняюсь, граждане, но здоровье сни мое все до дна выпили... И, ежели придется воевать, солдатов ихних я, может быть, и буду брать в плен, а офицеров не могу. Не могу — и все! Самое страшное я перенес там от ихних господ офицеров. Так что тут уж извиняйте... — И встает, большой, худой, с неожиданно посветлевшими и помолодевшими в ненависти глазами.

В колхозе хутора Ващаевского на второй день войны в поле вышли все от мала до велика. Вышли даже те, кто по старости давным-давно были освобождены от работы. На расчистке гумна неподалеку от хутора работали исключительно старики и старухи. Древний, позеленевший от старости дед очищал траву лопатой, сидя, широко расставив трясущиеся ноги.

— Что же это ты, дедушка, работаешь сидя?

— Спину сгинать трудно, кормилец, а сидя мне способней. — Но когда одна из работавших там же старух сказала: «Шел бы домой, дед, без тебя тут управимся», — старик, подняв на нее младенчески бесцветные глаза, строго ответил: — У меня три внука на войне с германцем бьются, и я им должен хоть чем-нибудь пособлять. А ты молода меня учить. Доживешь до моих лет, тогда и учи. Так-то!

Два чувства живут в сердцах донского казачества: любовь к родине, к великому Сталину и ненависть к фашистским захватчикам.

Великое горе тому, кто разбудил эту ненависть и холодную ярость народного гнева!

М. ШОЛОХОВ

По тылам

— Вы беженцы? — спросил я.
— Не беженцы, а временно отступившие, — ответили мне с достоинством.

Из разговора.

НЕВЫДУМАННЫЕ РАССКАЗЫ

Первый

Стада, стада коров, овец, коз тянутся к нашему городку из прифронтовой полосы... Тысячи животных, изнуренных долгой дорогой, едва передвигают ноги; иные отстают, падают; тогда их укладывают на телеги, везут дальше.

Над тихой рекой, куда ни кинь глаз, — кочевья; под телегами изнуренные люди — пастухи, доярки, тут же — больные овцы, освежеванные туши, шкуры.

С запада холодный ветер, с запада дыхание войны, кровавая вечерняя заря... А по ночам в тумане линия пылающих костров, — люди жгут хворост, пытаются согреться; стиснув зубы, смотрят в огонь. Враг согнал их с родимых мест, спалил их хаты, ограбил, надругался над немощными и стариками, оставшимися дома.

— Мы идем месяц и четыре дня, — говорит мне доярка. Ей лет сорок пять, у нее черные острые глаза, видевшие смерть, голос ее звучит резко, она кипит негодованьем. — Мы должны доставить колхозный скот до места, чтобы он пришел весь, как один, без урону, а наш скот далеко ходить непривычный, у него ноги слабые, он идет тихо, а если на него сверху пулеметом — это как? Это как назвать, я вас спрашиваю? Овцы, они, известно, от страха в кучу собьются, дрожат, а их с неба свинцом хлещет подлец этот!

Зачем он это делает? Самому не жрать и другим жизни не дать...

Мы уходили из деревни, фронт от нас в пятидесяти километрах; оглянулись — деревня наша горит, подожгли, сволочи, бомбами... Горит деревня, а он уже тут — из пуле-

мета. Мы полегли по канавам, коровы по лесу разбежались, а овец почти что всех скосил... Какие овцы были! Одна к одной, сама ходила! Вы подумайте только... Я ведь все понимаю — наше горе, конечно, разве поставишь рядом с материнским горем, когда сына убьют или дочь изнасильничают, — сравнения нет. Только ведь у самой слабой девчонки голос есть, чтобы злодея проклясть, силы достанет плюнуть ему в его проклятую рожу, ногтями глаза выцарапать, а ведь у этих-то бессловесных овец и того нет — стоят, дрожат, падают... Ведь это же живое наше дело губят! Мы же их растили, выпаивали, гордость в них свою клали, мы же от них не пользу себе добыть хотели, а восхищение жизни всем людям, а он их пулеметом! Ведь это же он сам, подлец, свое последнее убил! Надежды ему больше нет, будь он проклят навеки! Будь он проклят!

Она повернулась к закату, лицо ее осветили вишневые осенние лучи, в глазах горела крутая, немеркнущая ненависть, худой женский кулак сжался крепко, она потрясла им в сторону — туда, где остался враг; платок съехал с морщинистого лба, открыл седеющие волосы, и только сейчас я увидел, что женщина эта невелика ростом, очень худа и несгибаема духом.

Я записал подлинные ее слова, я долго думал над ее фразой: «Мы же от них не пользу себе добыть хотели, а восхищение жизни всем людям», — и мне казалось, что более прекрасных слов еще никто не говорил, что в них-то и заключено все новое, что пришло на землю с Октябрем, что в них-то и заключена наша победа, потому что народ, трудящийся *«для восхищения жизни всем людям»*, — великий и непобедимый народ, и труд его не пропадет даром, а тому, кто посягнул на него, — нет надежды и нет жизни среди людей.

Второй

По главной улице нашего городка, по которой, бывало, проходили всего лишь два раза в день автобусы, везущие почту и пассажиров от одного областного города к другому, нынче непрерывной чередой идут, едут, скапливаются в плотные заторы гурты скота, косяки лошадей, грузовики с военным снаряжением, подводы с колхозным урожаем для Заготзерна, вереницы телег с беженцами. У телег этих непривычный для местного жителя вид; в Западной Белоруссии их называют балагулами; над каждой такой телегой с высокими бортами сооружено некое подобие шалаша из фанеры или лозняковой плетенки, и под этим шалашом ютится семья беженцев — старухи, старики, матери с грудными ре-

бятами. Правит лошадью в большинстве какой-нибудь мальчонка-подросток, черный от дорожной пыли и устали. У открытого края шалаша, обращенного к лошади, обычно звенит, брякает подвешенное ведро; тюки с домашним скарбом перевязаны веревками и расползаются при каждом толчке; тощая лошадь тяжело поводит боками, и в такт звяку ведра хлопает ее большая селезенка...

Местные жители собираются вокруг этих телег, разглядывают приезжих, с пугливым и сочувствующим любопытством слушают их трагическую повесть. Долгие недели едут беженцы из разоренных, поруганных врагом мест. И недаром так хмуро-сосредоточенны лица слушателей. Они хорошо понимают, чего стоит своими собственными руками разорить родное гнездо... «Это все равно, что вырвать из груди сердце и бросить его на дорогу собакам», — говорит старуха-слушательница с лопатой на плече. Резким движением она сбрасывает с плеча лопату и ударяет ею о землю.

Все эти беженцы ушли добровольно. Никто их не гнал, никто их не эвакуировал. Они ушли, потому что не хотели оставаться в руках у фашистов и не имеют сил бороться с ними. Их мужья, братья, сыновья, внуки, бездетные сестры разбрелись по лесам — партизанить.

— Злодеям ничего не достанется в наших домах, — говорит старик, почесывая реденькую сивую бороденку, — а много было, только разве увезешь все на таком коняге? Куда там!

Молчание. Долгое, сосредоточенное. Слушатели видят перед собою свой собственный дом, свое хозяйство, трудовое колхозное добро. Они переводят глаза на тяжело дышащего, с запавшими боками коня. Нет, на этом не увезешь. Пот прошибает при этой мысли, что надо из всего нажитого выбрать и увезти только эти четыре-пять узлов с барахлом и провиантом. А остальное? Что с остальным?

Этот вопрос на всех лицах. И на всех лицах тяжкая, но непоколебимая уверенность в ожидаемом ответе.

— А что же, — как бы даже извиняясь и еще ожесточеннее теребя свою бороденку, говорит старик, — пришло такое дело, что своими руками поломали, потопили, пожгли...

Теперь старик не смотрит на слушателей, он начинает старательно и суетливо возиться со шлеей, залезает почему-то под брюхо лошади, щупает и растирает ей впалые бока.

Молчание еще более долгое, напряженное. Никто не пошевелится, не изменит выражение лица, глаза внимательно следят за тем, что делает старик, а губы сжаты плотно — и у старухи с лопатой, и у женщины с ребенком на руках, и у парнишки на облучке, и у двух колхозников, только что сдавших в Заготзерно артельный хлеб. Все знают, что значит собственными руками поломать, потопить, сжечь плоды

трудов долгих лет... Это почти то же, что самому нарочно отрезать себе руку. Но *так надо было* сделать, если ты *уважаешь* свой труд. Объяснить это никто не сумел бы, но я убежден, что все так думали.

Наконец один из колхозников, привезших хлеб в Заготзерно, сказал, не глядя на старика, ни на кого не глядя и вовсе не желая кого-нибудь утешить, потому что голос его звучал по-деловому просто и уверенно:

— Вот управимся — наживем.

И, тяжело ступая, пошел к своей подводе.

Старик высунул голову из-под брюха коняги и долго смотрел вслед ушедшему белесыми влажными глазами. Слушатели медленно расходились по своим делам.

Утешать было некому и *некого*.

Третий

В таком вот фургоне, балагуле, телеге с лубяным верхом, я увидел ее, кормящую ребенка. Она сидела на узле с вещами, поджав ноги, у края лубяной будки; вожжи лежали у ее колен; лошадь, завернув в сторону оглобли, щипала пыльные стебли сорняка у обочины улицы.

Ребенок, завернутый в теплый платок, блаженно сосал грудь, лица его я не видел — только его розовые губы и нежную, с голубоватыми жилками, напруженную грудь матери. Резкая черта загара под шеей особенно подчеркивала белизну и нежность груди и ту трогательную, невинную, материнскую беззастенчивость, с какой эта молодая мать в центре города, на виду у всех кормила свое дитя.

Шея и лицо женщины не только были темны от загара, но попросту грязны и покрыты той сетью мелких трещинок-морщинок, какие обычно покрывают долго немытое, обветренное и поколотое пылью тело человека, многие дни проведшего в изнурительном пути. Но, несмотря на эту запыленность, на эти, не по летам, морщинки, а может быть, именно благодаря им, лицо матери показалось мне так прекрасно, что я невольно залюбовался им. На голове ее не было платка, густые каштановые волосы вились у высокого лба, волной прикрывали уши и падали на затылок тяжелым, плотно скатанным узлом. Глаза смотрели куда-то вперед, без видимой цели; они были очень глубоки и черны; такую сияющую черноту глаз приметил я только у киевлянок, — она кажется светлой, как светел бывает ночной Днепр, — но те глаза, что я видел сейчас перед собою, светились еще каким-то особым светом, и только много позже я понял, что свет этот был от невыплаканных слез. Да, у этой матери глаза были сухи, но полны слез — и когда она смот-

рела в неясную даль, и когда взглянула на меня, и когда заговорила.

Если бы она заплакала, если бы хоть на одно мгновенье слезы поползли по ее худым щекам, если бы губы разомкнулись безвольно и задрожал голос, мне стало бы легче, и я многое из того, что она рассказала, приписал бы женской слабости, понятному страху перед невообразимостью надвинувшихся на нее событий. Но губы женщины не оставляла жесткая горькая складка, какая появляется только у человека, преодолевшего страх...

И телега с лубяной будкой, и лошадь, и вещи, натруженные в телегу, и даже узел, на котором сидит женщина, не принадлежат ей и не вывезены из ее села, из ее колхоза. У нее ничего не осталось. Она и ребенок.

Шестьдесят два километра она шла пешком, скрываясь в ярах и кустарниках, питалась ягодами и сырыми грибами, пока не добрела до красноармейской части. Красноармейцы довезли ее до одной из маленьких прифронтовых станций. Там ее подобрал обоз беженцев. И вот она с добрыми людьми едет дальше, в глубь страны, будет работать в каком-нибудь далеком от родных мест колхозе. Муж ее — красноармеец, она получает пособие. Ей выдают хлеб...

Но то, что осталось позади, не изгладится, не сотрется, не уйдет из памяти...

Она рассказывает свою историю, очевидно, не мне первому. Она повторяет ее каждому, потому что не может отделаться, не может скинуть долой со своих плеч.

И каждый раз память подсказывает ей новые подробности.

Их колхоз над Днепром — небольшой, но крепкий и дружный колхоз, и она сама тоже из небольшой, но дружной семьи. И она была очень веселой девушкой, и работала не хуже других, а кто даже говорит, что лучше многих, и пела песни, и гуляла с девчатами и парубками в лунные ночи понад Днепром, и каталась в лодке, и очень любила кино, и любила водить парней за нос. И, может, оттого, что она была такая веселая и озорная, с нею и стряслось лихо.

Но только все-таки нет, не с нею одной случилось лихо, и не в том дело, что теперь она в одном платье, с ребенком на руках осталась в мире и болеет душою за мужа, а в том, что простить себе не может, как она не знала человека, с которым прожила бок о бок столько лет...

— Кто же этот человек? — спросил я.

— А то ж моя свекровь, мать моего мужа, Федосья Ивановна...

Она не любила Федосью Ивановну и тогда, когда только познакомилась с ее сыном, с Мишей, и когда вышла за него замуж. Она не любила Федосью Ивановну и уверена

была, что Федосья Ивановна тоже ее не любит, потому что противится ее браку с сыном, и подсмеивается над ее неуменьем вести хозяйство, и хвалится, что ей никогда не догнать свою свекровь в работе... У Федосьи Ивановны был очень острый язык, она не полезет в карман за словом, чтобы ответить человеку, и за это ее многие не любили и считали гордой. А когда за ударную работу Федосью Ивановну премировали новой хатой, просторной, в две комнаты с кухней, тогда совсем от ее гордости не стало житья. Она постлала половичок в сенях и сама смотрела, чтобы каждый, кто входит, вытирал ноги об этот половичок, и вставала до свету, чтобы смести пыль с каждой вещи, а все вещи были дареные от колхозников, и говорила всем, что надо заслужить такой подарок, и не всякий может заслужить, и еще больше загоняла на работе всех девчат в своем звене, чтобы они оправдали себя перед обществом и не срамили бы ее — своего бригадира.

Она всем не давала покою, даже председателю выговаривала, что то не так, а это надо вот так!.. Прямо беда была с нею! И сколько раз моя рассказчица жаловалась на свекровь мужу и говорила, что старуха заедает молодую жизнь, не дает свободно вздохнуть. Муж, конечно, не хотел обидеть жену и не смел перечить матери, — или он лучше других видел, что это за человек Федосья Ивановна!

— Уж когда к кому-нибудь несправедливы, то уж до конца несправедливы, — выдохнула от всего сердца рассказчица.

Ребенок заснул, мать отняла его от груди и медленно стала баюкать, глаза ее все так же были светлы и глядели в неясную даль перед собою.

— Он у меня родился этой весной, в мае месяце, — раскачиваясь, продолжала женщина, — а двадцать второго июня муж ушел на фронт...

Она бежала следом за мужем и плакала, потому что любила мужа и ей страшно было остаться одной с ребенком, а свекровь взяла ее за плечо и увела к себе и сказала, что она не смеет разрывать сердца мужа, когда он идет на такое святое дело, и у самой глаза были сухие и гневные, так что даже страшно было на них взглянуть. И тут вся обида и горе подкатили к сердцу, и молодая мать стала кричать в лицо свекрови, что у нее нет и никогда не было сердца, а только одна гордость, и что она никого не жалеет и всех загоняла на работе, а теперь не пожалела родного сына, и что пусть она не думает, что если ее премировали, так она всех лучше! И пусть не радуется на свой дом и не дрожит над ним, потому что когда люди идут на смерть, то тогда наплевать на самый красивый дом, пусть он пропадет пропадом!

Она сама не помнит, какие еще она злые слова наговорила свекрови, а та все молчала, и только когда услышала про дом, то сразу как крикнет: «Замолчи, пустая голова! Замолчи! Какое ты слово посмела сказать, чтобы дом этот пропал пропадом! Да он же народом воздвигнут! Он же каждым бревнышком труд наш прославил! Труд! Дурья твоя голова! А ты плевать на него вздумала! Не видели бы тебя мои глаза после этого! Только потому, что ты молодая мать и жена бойца, не гоню я тебя отсюдова вон! Но богом прошу, не говори больше ни слова! Не хочу я слышать в такую строгую минуту глупые слова!»

— И пошла от меня из дому и не возвращалась допоздна. Так мы с ней после и не разговаривали. Очень я была на нее обижена и перебралась от нее с ребенком под крышу, там на чердаке светелка такая была устроена с крылечком, в ней старуха осенью яблоки сушила, и от них очень хороший дух шел...

Осталось в ту пору в колхозе четыре старых мужика и тридцать семь баб с ребятами. Всех рабочих рук! А урожай огромный, прямо даже страшно глядеть, как это со всем управиться! День и ночь с поля не уходили. И жнут, и скирдуют, и молотят... И тут в самую страду прискакивает человек из района и велит все, что обмолочено, скорее в соседний район везти, скот выводить пастухам и дояркам на большую дорогу, а что не убрано, то сжечь и свое добро поховать по тайным местам, а самим быть готовыми к эвакуации...

Что тут пошло, и сказать простыми словами нельзя.

А у молодой матери от перепуга молоко пропало, и ребенок заболел и плачет, а свекровь объявляет всем, что ей итти некуда и дома своего она никому не оставит.

— Тут уж все стали на нее кричать и стыдить ее за несознательность, но она стояла на своем и внука мне не отдала, — заперла от меня. «Иди, — говорит, — куда хочешь, сын красного бойца в своем доме останется, никто его не посмеет тронуть, а бабушка прокормит».

Матери пришлось подчиниться. Колхозницы уехали, два мужика подались в лес партизанить, и только один дом остался обитаемым. В нем жили свекровь с невесткой и сын бойца. Все трое молчали: взрослые — потому что были насмерть обижены друг на друга, младенец — потому что еще не знал слов.

И вот в одну августовскую ночь молодая мать, покормив сына, слышит из своей светелки под крышей на дворе шум. Будто гудят машины, такие, какая была у агронома, выигрышная — мотоцикл. Гудят, фукают, стреляют на колхозной площади, а потом раздается стук в запертые наглухо пустые хаты, треск ломаемых досок, глухие голоса... Голоса

все ближе, и вот уже стучат в ворота дома свекрови... Немцы!

У молодой женщины ослабели ноги, отнялись руки, — ни бежать, ни пошевелиться не может, едва доползла до сына, схватила его и затаилась в углу.

Стукнул засов, твердый голос свекрови спросил: «Кто там?» Ей что-то ответили. Слышно было, как свекровь прошла по двору, отомкнула ворота; двор наполнился хрустом, говором мужских голосов, и их покрыл все такой же твердый голос свекрови: «Чего же вы на меня револьверами тыкаетесь? Я одна во всем колхозе осталась, на меня и одной пули хватит, говорите, что надо?» Что ей отвечали и какой дальше пошел разговор, молодая женщина не разобрала. Жестокая дрожь и звон в ушах от все возраставшего страха притупили ее внимание. Она только поняла, что фашисты уже вошли в дом, и свекровь приказывала им обтереть о половичок ноги, а потом стучала в печке ухватом — видно, развела огонь, и непрошенные гости двигали стульями и уже громко говорили и смеялись, и кто-то из них кричал: «Водка!» — и свекровь ответила, что когда вскипит борщ, то найдется и водка...

Тут лютая спазма ненависти сдавила горло молодой женщины. Вот она еще оказалась какая подлая, эта постылая свекровь! Мать любимого мужа, бабка невинного внука, премированная бригадирша, советская колхозница!.. У, подлая! Только бы дом остался цел! Только бы свое добро спасти! А еще смела ругаться, а еще смела других учить! Водкой будет угощать злодеев? Той самой, припасенной от свадьбы на первый зубок внука, водкой! Той самой, что муж привез из города вместе с подарком жене — пуховой шалью и мясорубкой для котлет! Никогда! Не бывать этому! И вот уже в ногах появилась упругость, в руках — сила. Молодая женщина вскакивает, она бежит к двери, она открывает ее и видит перед собою свекровь. Нет, она не видит ее, потому что на чердаке темно, но признает тотчас привычным чутьем, ненавистью, какой теперь кипит к ней ее сердце. Свекровь стоит, нагнувшись над сундуком-скрыней, в котором хранит свои припасы.

Ощупью она шарит в глубине скрыни, звякает чем-то и вытаскивает оттуда литровую бутылку. Но тут молодая женщина хватает ее за руку и, задыхаясь, шепчет ей глухим шопотом: «Не дам, подлая! Уйди! Убью!» И тут голос у нее сорвался до крика, а свекровь берет ее своей сильной рукой за локоть и шепчет: «Дура, не кричи! Услышат! Найдут тебя! Куда ты!»

Но молодая женщина вырывается и свободной рукой хватает бутылку, и рука свекрови с бутылкой трясется, и

из бутылки хлещет водка, но она пахнет тошно и едко керосином...

Толкая свою невестку назад в дверь светелки, свекровь шепчет ей, как ребенку, дурному и оголтелому:

— Ты что шумишь? Ох, голова глупая, чего хочешь? Сейчас сюда придут, бери сына в руки, кутай его в пуховый платок, вот он лежит у тебя под ногами, и лезь скорее на крышу, там у края стремянка стоит, бежи отсюда, пока они не слышат, бежи, бога ради, скорее, не копайся, несчастье ты мое глупое!..

И молодая женщина уже не противилась, она вылезла в окно с ребенком на руках, и только уже сползши на край крыши, обернулась и спросила: «А как же вы, мамо?» Первый раз так назвала свекровь, и та махнула ей рукой, и ничего не ответила, и закрыла окошечко.

Только за огородами, из канавы, присев и успокаивая проснувшегося сына, молодая женщина оглянулась на дом свекрови, и там в окнах был свет, — только в одном доме среди черных, мертвых домов был свет, и тени колебались в окнах, и доносились оттуда голоса...

И молодая мать пошла дальше... А ночь была холодная, сырая, темная, и в лесу хрустел валежник, пахло погребом и казалось, что так навеки будет темно и сыро...

Она все шла и шла, но когда рассвело, то оказалось, что она стоит на опушке леса, недалеко от того места, от которого начала свой путь. Всю ночь она проплутала в лесу, крутилась вокруг одного и того же места. Тогда ужас охватил ее. Она вспомнила все, что случилось вчера, вспомнила свекровь и бутылку с керосином в ее руках, только сейчас поняла, зачем свекровь достала керосин вместо водки, и в ужасе закричала. Что-то случилось очень страшное в эту ночь, да, да, что-то случилось, она даже припомнила, что видела порою вспышки зарева над верхушками сосен, что-то непоправимое произошло...

Только через несколько дней после этого молодая женщина поняла причину своего ужаса: это было сознание того, что она непоправимо оклеветала и покинула Федосью Ивановну, мать.

Мать!

«Вот откуда эти невыплаканные слезы в сухих глазах», — подумал я.

Молодая женщина рассказала все последующее скороговоркой, точно искала за своими словами, за сухой передачей событий нечто иное, более для себя важное...

Она кинулась назад в деревню. Она не таилась теперь ни от кого. У нее не было страха встретить врага, она, может быть, даже хотела этой встречи, ей нужно было отплатить за свою боль. Но никто не попался ей на ее сумасшед-

шем пути. Она пробежала деревенской улицей, она металась несколько раз по ней, все не находя дома свекрови и никак не понимая, что дома уже нет, что он сгорел. Дымящиеся стены, черные балки, белая в черных подпалинах печь — вот все, что осталось от дома. Только когда молодая женщина увидела кинутые наземь пять мотоциклеток, она поняла: дом сожгла Федосья Ивановна, и в нем сгорели все пять фашистов, и сама Федосья Ивановна обрекла себя на смерть.

— Мамо! Мамо! — кричала, обезумев, невестка.—Мамо, прости меня! Мамо! Откликнись! Мамо!.

Но мамо откликнуться не могла, одни лишь обугленные кости да пепел лежали у белой задымленной, страшно глядящей в небо печи.

— Только я по ней не плакала, нет, вы не думайте. Может, у меня такое сухое сердце, только я по ней не плакала, совсем так, как она сама, когда провожала своего сына, а моего мужа. Я теперь это понимаю.

ЮРИЙ СЛЕЗКИН

★

Мать

Все забрали — хлеб, муку и сало,
Все углы обшарили в дому
У старухи. Слова не сказала:
Людям говорят, а тут кому?
И маячит тенью одинокой
Под своими окнами она.
Велика война, сыны далеко
И народ в лесах — кругом война.
В огороде вытоптаны гряды,
Яблоки оборваны с листвой.
Все видала строгим, скрытным взглядом
И седой кивала головой.
Молча обходила их сторонкой,
Берегла не скарб свой, не жилье,—
Одного боялась — за девчонку,—
Только б не приметили ее.
Берегла, из рукава кормила,
А когда увидела — идут,
Обняла: «Беги — покуда силы,
Родненькая, лучше пусть убьют».
И сама, как птица-мать, навстречу,—
Отвести врага на малый срок.
И схватил один ее за плечи,
А другой сорвал с нее платок.
Но какой огонь еще был спрятан
В этой слабой, высохшей груди!
Усмехнулась, глядя на солдата:

«Со старухой справился? Веди!»
Повели, поволокли на муки,
За любовь и честь держать ответ.
Заломили ей, связали руки —
Руки, что трудились столько лет,
Что варили пищу, рожь косили,
Что соткали версты полотна,
Что сынов-богатырей взрастили,—
Далеко сыны. Кругом война...
Били — не убили. Как собаку,
Бросили. Очнулась от росы.
«Вот и ладно. Можно хоть поплакать,
Чтобы слез не увидали псы...»
Под родимым небом деревенским,
Что роилось звездами над ней,
Стала плакать на-голос, по-женски,
Вспоминать далеких сыновей.
Велика война, сыны далеко,
Не услышат, что тут шепчет мать.
«Ленушка, Ленок мой синеокий,
Хоть бы ты успела убежать».
И забылась мать в мечтах о детях,
На сырой земле теряя кровь,
И очнулась рано на рассвете,—
Русские в село вступали вновь.
Подобрали ловко, аккуратно
Старую, измученную мать.
Не своя, но было всем приятно
Матерью старуху называть.
И она,— хоть никого не знала,
Кто воды ей подал, кто помог,—
Каждого от сердца называла
Ласково и радостно:
«Сынок...»

А. ТВАРДОВСКИЙ



В казачьих колхозах

На бескрайных донских полях уборка хлебов в разгаре. Грохочут гусеничные трактора, над сцепами комбайнов синий дымок мешается с белесой ржаной пылью, стрекочут лобогрейки, подминая крыльями высокую густую рожь. Казалось бы, мирная картина, но нет, на всем лежит строгая печать войны: по-иному, стремительно и напряженно, работают люди и машины, на станичных площадях у коновязей ржут пригнанные из табунов золотисто-рыжие донские кони, загорелые молодые всадники в выцветших кавалерийских фуражках едут на призывные пункты, и, разогнув спины, женщины-сноповязальщицы долго машут им руками, кричат: «Счастливо возвернуться, казаки! Бейте гадов до смерти! Буденному низкий поклон с Дону!»

По степным дорогам тянутся к пунктам Заготзерна подводы с хлебом нового урожая, и, величественно колыхаясь, движутся огромные арбы с зеленым, как лук, не видавшим дождей, превосходным сеном. Красной Армии все нужно. И все для армии делается. И все помыслы там, на фронте. И одно желание у всех в сердцах: поскорее переломить хребет проклятой фашистской гадюке!

Пожилой колхозник-казак разминает в ладонях пшеничный колос, улыбаясь, говорит:

— Не то что Англия и другие умные народы в союзе с нами, сама природа за нас и против Гитлера. Поглядите, какие в нонешнем году хлеба, прямо как в сказке: уродилось жито — в оглоблю, картошка — в колесо. Яровой пшенице, подсолнуху, просу нужен был дождь, и как раз перед уборкой, как по заказу, пролили дожди. Теперь на яровое и на прочую живность не нарадуешься! Все нам идет на подмогу!

На соседнем участке колхоза «Большевистский путь» работает комбайн комбайнера Зеленкова Петра. Первый же убранный гектар ржи дал 28 центнеров бункерного веса, и

это при сравнительно малой влажности зерна и ничтожном проценте сорности. Местами урожай достигает 30—35 центнеров с гектара.

Комбайн Зеленкова разгружается на ходу, и приходится долго ждать остановки. Во время короткого отдыха Зеленков, заглянув в бункер, спускается по лестнице на щетинистую стерню, отходит в сторону покурить.

— Придется итти на фронт, — смену приготовил? — спрашиваю его.

— Обязательно.

— Кто же?

— Жена.

— По-настоящему сможет заменить?

Смуглый от солнца и пыли Зеленков улыбается. Молодая женщина, работающая на комбайне штурвальным, свешивается через перильца, говорит:

— Я — жена Зеленкова. Временно работаю штурвальным, а в прошлом году работала комбайнером и заработала больше, чем муж.

Слова жены Зеленкову явно не по душе, и он овладевает разговором:

— На худой конец она, конечно, заменить может, — неохотно говорит он, — но у нас другая думка: вместе итти на фронт.

Но Марина Зеленкова, видно, из таких, которые оставляют за собой последнее слово. Перебивая мужа, она говорит:

— Детей у нас нет, воевать вполне можно. А танк я сумею повести не хуже мужа, будьте спокойные!

Зеленков спешит на комбайн. Ему некогда тратить время на разговоры. Из общего массива ржи по колхозу в 540 гектаров 417 уже успели скосить лобогрейками. И Зеленков торопится наверстать упущенное.

В подавляющем большинстве колхозов Ростовской области в этом году целиком использованы простейшие уборочные машины. Не ожидая, когда хлеб подойдет для уборки комбайнами, приступили к покосу лобогрейками, сэкономив тем самым огромное количество горючего и ускорив процесс уборочных работ. Характерно в этом отношении высказывание одного из колхозников колхоза «Сталинец»: «Как начались колхозы, так и перестали мы тяжело работать. Избавила нас советская власть от ядреного труда. А теперь молодые ребята, каким на лобогрейках приходится работать, к вечеру жалуются: спину не разогнешь, мол. Все это баловство одно. Трактора за нас пахали, комбайны косили и молотили, все это хорошо по мирному времени, а раз уж германец полез на драку, так тут на спину оглядываться нечего. Работать надо так, чтобы суставчики похрустывали,

а горючее всеми средствами надо беречь и в Красную Армию отсылать. Там оно нужнее, и там его так произведут в дело, что у этих фашистов суставы и хрустеть будут и наизнанку выворачиваться». И, словно перекликаясь со стариком «Сталинца», колхозник Солдатов Василий, из колхоза имени 26 бакинских комиссаров, вдвое перевыполнив норму на скирдовании, спустившись со скирда и выжимая мокрую от пота рубаху, сказал: «Враг у нас жестокий и упорный, поэтому и мы работаем жестоко и упорно. А норма, что ж... Норму надо тут перевыполнять, а вот пойдем на фронт, там уж будем бить врагов без нормы».

Во всех колхозах, в которых мне пришлось побывать, отличная трудовая дисциплина, высокое сознание гражданского долга. В поле работают и дети, и старики, работают и те, у кого в прошлом году было минимальное количество трудодней, причем все без исключения работают с огромным подъемом, не щадя сил. Бригадир 3-й бригады колхоза «Большевистский путь» Целиков Василий, выслушав сдержанную похвалу одного из работников района, ответил:

— Не можем мы работать плохо. Я так считаю, что мы пока трудом защищаем родину, а придет нужда — будем защищать оружием. Да и как мы можем работать плохо, если почти в каждом дворе есть боец Красной Армии? Вот, к примеру, у меня два сына и оба на фронте. Алексей — артиллерист, Николай — танкист, а я хоть и старик, но записался в народное ополчение. В прошлую войну на германском фронте получил я сквозную рану в живот. Много эта немецкая пуля у меня здоровья отобрала, но работать еще могу. С немцами есть у меня свои счеты... Пока сыны мои их сводят, а будет требоваться, и я стану рядом с сынами. — И, узнав о том, что я буду писать для «Красной звезды», с живостью добавил: — Пропишите через «Красную звезду» моим ребятам и всем бойцам, какие на фронте, что тыл не подкачает! Пущай они там не дают спуску этим фашистам, пущай вгоняют их в гроб, чтоб наша земля стала им темной могилой!

В правлении колхоза «Путь к социализму» работает один немолодой счетовод. Председатель — в поле. В хуторе — ни души. Весь народ в бригадах, на покосе, на расчистке токов, на отгрузке хлеба. На минуту оторвавшись от бумаг, счетовод говорит:

— Сын у меня на Западном фронте. Три года был на действительной службе, командир орудия. Бывало, пишу ему: сообщи, каким ты орудием командуешь? Отвечает: жив, здоров, поклон родным, а насчет орудия вам, папаша, и спрашивать нечего, вас это не касается. — Счетовод улыбается и с довольным видом говорит: — Значит, службу знает. Мне тоже в гражданскую войну пришлось все фронты

пройти. И на севере воевал, и басмачей бил, и кого только не приходилось поколачивать. А сейчас состою в народном ополчении. — Помолчав, он говорит: — У нас в хуторе в ополчении человек около сотни. Удивительная все-таки война сейчас. Народу молодого черт-те сколько по домам. Выстроится наша сотня, и между пожилыми много таких ребят, что на них впору пушки возить. Жеребцы, а не ребята! Пишутся добровольцами, а их что-то пока не зовут. Значит, сила у нас громадная. Даже думать приятно об этом.

Вторая бригада этого колхоза работает на покосе лобогрейками. В каждую лобогрейку запряжено по две пары волов, крылья лобогреек подняты доотказа, но сбрасывать с полка трудно, так высока и густа рожь. Женщины-погонычи усердно погоняют волов, молодые дюжие казаки, работающие скидальщиками, не успевают вытирать заливающий глаза пот. На остановке подхожу к ним, спрашиваю, почему гоняют волов чуть ли не на рысях. Один из скидальщиков говорит:

— Быки у нас в работу втянутые, им ничего не сделается, а скидывать на быстром ходу легче, да и с уборкой поспешаем, пока дома, а то пойдем на фронт, и бабам будет тяжеловато управляться с таким хлебом. — И тотчас следует вопрос: — Когда же нас возьмут в армию? Моих одногодков взяли, а меня почему-то оставили. Мне даже обидно за это. Что я хуже других, что ли?

Фамилия колхозника Покусаев. Он — сын местного кузнеца, здоровый, грудастый парень, в Красной Армии служил артиллеристом. Из разговора с остальными выясняется: один в недавнем прошлом — танкист, другой — артиллерист, служил в гаубичной батарее, третий — зенитчик, четвертый — кавалерист одной из наших прославленных дивизий. Все как на подбор: молодые, сильные, здоровые. И так понятно это желание — итти и разить одуревшего от крови и дешевых успехов врага. Это — желание молодых казаков Дона, вчерашних и завтрашних бойцов великой Красной Армии. Это — желание тех, чьи предки на протяжении веков кровью своей поливали границы родины, отстаивая ее от многочисленных врагов.

И наряду с этим вспоминаются мне слова 83-летнего старика Евлантьева Исая Марковича, охраняющего сейчас колхозное гумно. Темная июльская ночь. Падучие звезды на черном небе. И тихий старческий голос:

— Дед мой с Наполеоном воевал и мне, мальчонке, бывало, рассказывал. Перед тем, как войной на нас иттить, собрал Наполеон ясным днем в чистом поле своих мюратов и генералов и говорит: «Думаю Россию покорять, что вы на это скажете, господа генералы?» А те в один голос: «Никак невозможно, ваше императорское величество, дер-

жава дюже серьезная, не покорим». Наполеон на небо указывает, спрашивает: «Видите вы в небе звезду?» — «Нет, — говорят, — не видим, днем их невозможно узрить». — «А я, — говорит, — вижу. Она нам победу предсказывает». И с тем тронул на нас свое войско. В широкие ворота вошел, а выходил через узкие, насилушки проскочил. И провожали его наши до самой парижской столицы. Думаю своим стариковским умом, что такая же глупая звезда и этому германскому начальнику привиделась, и как к выходу его наладят, — узкие ему будут ворота сделаны, ох, узкие! Проскочит, нет ли? Дай бог, чтобы не проскочил! Чтобы другим отныне и довеку неповадно было!

М. ШОЛОХОВ



Невеста

(Рассказ)

Конечно, в дни, когда в палате дежурила Люба, все мы были в отличном настроении. Ласковая и живая, она влетала в палату утром в мягких своих тапочках — неслышный, но видимый солнечный луч. Мороз еще пылал на ее щеках ярким холодным пламенем, смешливые, почти детские глаза блестели оживлением, и безногий майор с крайней койки неизменно возглашал:

— Девичьи щеки ярче роз!.. Любочка, выходит, дальше надо жить?

— Обязательно! — отвечала она, дуя на замерзшие пальцы. Заложив руки за спину, она прижималась к черной большой печке — белая, тоненькая фигурка, деловитая серьезность которой была по-детски уютна и трогательна. Грея руки, она со скоростью тысячи слов в минуту болтала обо всем — об утренней сводке, о происшествиях с сырыми дровами, о том, что варится к обеду на кухне, о вчерашнем кино, — и стоны утихали, и лица, сведенные судорогой боли, прояснялись, и надоевший, скучный больничный воздух палаты свежел, и легчало горе, и улыбались мысли.

Потом она прикладывала тоненькие пальцы к шее, проверяя, согрелись ли они, прямой носик ее озабоченно морщился, она оглядывала палату быстрым взором хозяйки, соображающей, с чего начинать, — и рабочий день палатной сестры начинался.

Мы все любили ее, а может быть, — все были влюблены. Но ревности вход в нашу палату был воспрещен. И если в свободную минуту Люба присаживалась к комулибо из нас пошептаться по душам или поиграть в подкидного дурака, все знали, что именно у него сегодня тяжело на сердце, тяжелее, чем у других.

В этот день я был по праву первым кандидатом на дурака. Ночь я не спал, нервничая по причинам, не относящимся к рассказу, и утром смог солгать ей лишь улыбкой, а не

глазами, отвечая на приветствие. Удивительно, как эта юная женщина, почти девочка, чувствовала в чужой душе неладное.

Однако игра не вышла. Нынче детские ее губы порой опускались в горькой взрослой складке, веселые глаза были печальны, и мне вдруг показалось, что ей много-много лет. Карты бесполезно остались лежать, темнея на белом одеяле десяткой пик, символом горя, и мы разговорились негромко и откровенно.

Ее муж, капитан-танкист, воин большой смелости, уже награжденный орденом, пропал без вести. Долгий месяц эта женщина влетала к нам смеющимся солнечным лучом, а между тем душа в ней ныла, и сердце сжималось, и по ночам она плакала в общежитии, стараясь не разбудить подруг.

Вчера она отпросилась из госпиталя и нашла давнего друга мужа, большого танкового начальника. Он взял ее руку в свои и сказал:

— Люба, обманывать не буду. Павел остался в окружении. Прорвались все, он не вернулся. — Он не дал ей заплакать и сжал руку. — Спокойнее, Люба. Он может вернуться. Понимаешь — надо ждать. Конечно, это большое искусство — ждать. Я обещаю тебе сказать, когда ждать будет больше не нужно.

Я смотрел на нее и искал в себе той силы, которая была в этой женщине. Я забыл о себе перед этим горем, но слов — тех слов утешения и надежды, которые с такой великой щедростью она шептала всем нам, — я не мог найти в корявой, неловкой и себялюбивой мужской своей душе.

Застонал майор на крайней койке. Люба вскочила и легким видением скользнула к нему. И вновь глаза ее стали прежними, и скорбь — своя скорбь — отступила перед чужой. И никто в палате не заметил, какое горе несут ее тонкие, почти детские плечи.

Вскоре меня перевели в другой госпиталь. Через две недели я снова вернулся в знакомую палату. Многих я уже не застал, появились новые раненые, и рядом с собой я увидел неподвижную огромную куклу из бинтов.

Это был танкист, которому обожгло грудь и лицо. Все, что на человеческом лице может гореть, у него сгорело: волосы, брови, ресницы, сама кожа. В белой марле жутко и зловеще чернели выпуклые темные стекла огромных очков. Очки не пропускали никакого света, они лишь предохраняли уцелевшие чудом обнаженные глазные яблоки от прикосновения бинта.

Пониже, хитро и искусно, было оставлено отверстие для рта. Отсюда невидимо исходила человеческая речь — живая, страстная речь, единственный проводник мыслей и чувств, непонятных для других без нее. Танкист боролся с медленной

и долгой своей болью. Он хотел жить, он терпеливо выносил мучительные перевязки.

Оказалось, он любил говорить. В темном и одиноком своем мире он жаждал общения с другими. Глухо и странно вылетали слова из недвижного клубка марли, и, приучившись понимать эти раненые, подбитые, хромающие слова, я слушал повесть доблести, ненависти и победы, слушал мечты и надежды, признания и исповедь — то, что может рассказывать другому двадцатидвухлетний человек, бегущий от призрака одиночества. К ночи мы подружились той внезапной и крепкой дружбой, которая приходит или в бою или в болезни.

Под утро я проснулся, когда было еще темно. Тяжело дышала палата, порою стон прорезал это тревожное дыхание сильных мужских тел, поломанных боем. И по тому, что на этот стон не двинулась неслышная легкая белая тень, я понял, что дежурит не Люба. Вероятно, дежурила Феня, некрасивая и немолодая женщина, которая быстро уставала и ночью всегда засыпала на стуле у печки. Я встал, чтобы выйти покурить, и, услышав меня, танкист попросил пить (это звучало у него странно — как «шюить»). Боясь, что я сделаю ему больно, я хотел разбудить сестру.

— Не надо, — сказал он, — лучше сам...

Я осторожно налил в отверстие бинтов несколько глотков из леечки и, конечно, облил марлю. Смутившись, я извинился.

— Ничего, — сказал он и засмеялся, обозначая смех тихими перерывами дыхания. — Это только она умеет... будто сам пьешь...

— Кто она?

— Невеста.

Мы снова разговорились, и я услышал необыкновенную повесть любви.

Он говорил о женщине, которой не видел и не мог видеть, называя ее старым русским ласкательным словом «моя душенька». Так он назвал ее в первый же день, учуяв в ней особенную ласку и душевность, и так продолжал звать теперь, потому что сожженные его губы не позволяли ему выговорить ее имя.

«Ну, конечно, Люба», — подумал я. Это имя и в самом деле могло у него звучать нелепо: Люфа, Люа, Люша...

Он говорил о ней с глубокой нежностью, гордостью и — странно сказать — страстью. Мечтая вслух, он угадывал ее лицо, глаза, улыбку, и я поразился этому провидению любви, угадывающему образ. Понизив голос, он признался, что знает ее волосы, пушистые, легкие волосы, выбившиеся из-под косынки, — однажды он тронул эту прядь, пытаясь слепыми пальцами помочь ей найти упавший за столик футляр термо-

метра. Он говорил о ее руках — нежных, сильных, бережных руках, — которые он часами держал в своих, рассказывая ей о себе, о своем детстве, о военной мечте, о боях, о взрыве танка, о своем одиночестве и о страшной жизни урода, какая его ждет.

Он пересказал мне все ее утешения, все нежные слова надежды, всю веру ее в то, что он будет видеть, и мне показалось, что я слышу голос Любы. Совсем шопотом он сказал мне, что завтра — решающий день: профессор обещал снять ему очки, и, возможно, он начнет видеть. Он не говорил об этом «душеньке», — а вдруг он видеть не будет? Пусть она не мучается. Не выйдет — не выйдет, он и так знает ее лицо. Оно прекрасно, нежно, он видит ее глаза и в них — любовь. И еще: она уговорила его на сложную операцию, которая вернет ему брови, ресницы, свежую розовую кожу. Он знает, какой болью он купит себе это новое лицо, но он пойдет на это, чтобы быть достойным своей невесты.

Да, невесты. Он с гордостью повторил это слово. Муж ее погиб на фронте, совсем недавно, она одинока, как и он, и несчастна более, чем он: он потерял только лицо, а она — любимого человека. За долгие ночи этих двух недель они все узнали друг о друге, и любовь пришла в эту палату, где витала смерть, и жизнь, приведенная любовью, помогла ему переломить себя: ведь он хотел застрелиться, — ну, куда жить такому? Теперь другое: он живет мечтой о будущем, он борется за жизнь, за здоровье, за силу, за счастье, за возможность отомстить врагу за себя и других.

— Она сказала: мне все равно, что будет с твоим лицом. Я тебя люблю, а не лицо, понимаешь...

И он заплакал. Я понял это потому, что грудь его, наполненная счастьем, сотрясалась и дыхание стало прерывистым.

Не мешая ему, я тихо прилег на свою койку, думая о Любе. Странная ее судьба поразила меня. Была ли это и впрямь любовь — трудно выразимая любовь высокой женской души, или нежная жалость, которая порой так похожа на любовь? Или, может быть, разделенное горе, ужас потери, найденный призрак утраченного: танкист, герой, воин... Я дожидался утра, смены сестер, чтобы в одном взгляде Любы прочесть разгадку, — в таких глазах все читалось легко. С этими мыслями я задремал.

Проснулся я поздно. По знакомым признакам палатного дня я понял, что сестры уже сменились, но Любы в палате не было. Я подошел к танкисту и спросил, как он себя чувствует.

— Чудесно, — ответил он. — Душенька пошла узнать о перевязке. Слушай, только ни слова ей о профессоре. Неужели сегодня увижу?

По голосу его я понял, что он улыбается.

— Она ведь красавица, ты же ее знаешь?

— Красавица, верно, — ответил я.

Он снова заговорил о том, как сегодня ее впервые увидит. Вдруг он замолчал и притих, слушая шаги — легкие шаги в тапочках, и было странно, что сквозь бинты, укутывавшие голову, он различил их. Или это был слух любви?

— Она, — сказал он с глубокой нежностью. — Душенька моя...

Я обернулся. Но это подошла Феня, очевидно, задержавшаяся после дежурства. Я хотел сказать ему, что он ошибся, но Феня подсела к нему.

— Родненький мой, Коленька, — сказала она ласково. — Набирайся сил... перевязка...

Он судорожно протянул руку, и она тотчас взяла эту руку воина, видевшего смерть и вздрогнувшего от предчувствия боли. Видно, перевязки были нестерпимы. Она покрыла его руку другой рукой, и большое, значительное молчание встало над ними. Она тихонько гладила его руку, и в глазах ее, устремленных на черные очки, теплым медленным течением плыла любовь.

Я смотрел на лицо Фени — простое, незапоминающееся лицо, которое мы видели ежедневно и скользили по нему равнодушным взглядом. Удивительная перемена в нем поразила меня. Немолодое, усталое, одухотворенное силой любви, оно было прекрасно — лицо русской женщины и матери, исполненное веры и грустной нежности. Потом в глазах ее набежали слезы, она тихонько отвела голову, чтобы слезы не капнули на его руку. Почуяв, он насторожился.

— Душенька моя дорогая, что ты?

И — поразительная вещь — Феня заговорила оживленно и весело, ласково ободряя его, а слезы лились по ее лицу безостановочно и быстро, и глубокая скорбь исказила рот, из которого вылетали шуточные, веселые слова. Потом глаза ее перешли на дверь, и безнадежная молчаливая мука отразилась в них. Я обернулся. В дверь вкатывали носилки.

Танкиста положили на них, и она пошла рядом, держа его руку. Я провожал их. У дверей перевязочной она осталась, и силы ей изменили. Она прислонилась к косяку и дала волю слезам. Я взял ее за руку. Феня подняла на меня глаза.

— Иван Савельич сказал... Иван Савельич сказал...

Она не могла говорить.

— Я знаю, — ответил я. — Ну, что ж раньше времени волноваться. Конечно, он будет видеть.

Она замотала головой, как от боли.

Вот и увидит меня... Куда я ему такая... Что он обо мне выдумал... Красавица, красавица... Какая я красавица... Пу-

стите меня, — вдруг почти крикнула она и прильнула ухом к двери перевязочной.

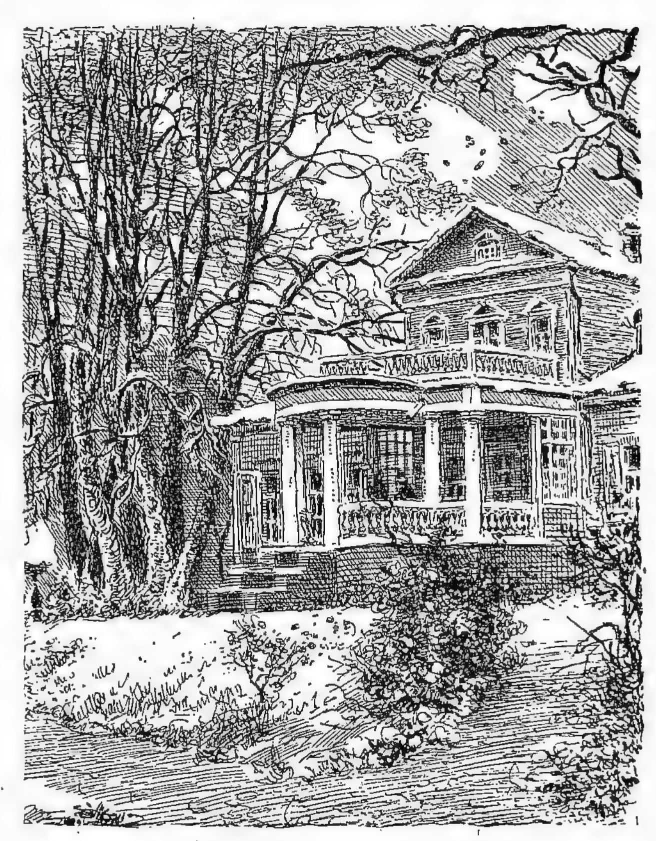
Там я услышал веселый голос Ивана Савельевича:

— Хватит, хватит на первый раз, еще недельку в темноте проведете!

Феня побледнела страшной бледностью отчаяния и быстро пошла по коридору.

Больше ее в госпитале никто не видел. Потом узнали, что она уехала на родину — высокая женская душа, которая предпочла уйти, чтобы оставить в человеке, возвращенном ею к жизни, прекрасную мечту о душеньке, о красавице, о молодой женщине, полюбившей его самого, а не его лицо, — чем открыть ему правду, уничтожающую эту мечту, помощь жизни.

ЛЕОНИД СОБОЛЕВ



Госпиталь в Подмосковье. Рис. худ. П. Парамонова

Кровь

Товарищ, я тебя не знаю,
Но в этот незабвенный час
Одна любовь и боль святая
Пускай навеки свяжут нас.

Под общим солнцем, общим небом
Росли и крепли мы с тобой,
Вскормленные советским хлебом,
Родной вспоенные водой.

Года над нами прошумели —
И вот мы дожили до дня,
Когда, стянув ремни шинели,
Ты вышел защищать меня, —

Мой мир, мой дом, мою работу,
Мои надежды и мечты;
Моим врагам платить по счету,
Разгневанный, поднялся ты.

Я неусыпным сердцем знала
Судьбу достойную твою.
Я стон твой тяжкий услыхала,
Когда ты ранен был в бою.

Свалился ты, изнемогая,
Вокруг тебя гудела ночь.
А я пути к тебе не знаю
И не могу тебе помочь.

Но, вдохновленная любовью,
Высоким мужеством твоим,
Я поделюсь с тобою кровью,
Моим богатством молодым.

Пускай в твои вольются жилы,
Чтоб делу нашему служить,
Мои стремленья, думы, силы,
Мое желанье жить и жить.

И вместе с возвращеньем к жизни
Я передать тебе смогу
Всю преданность мою отчизне,
Всю ненависть мою к врагу...

Вернешься ты на поле чести,
Пойдешь героем в новый бой,
И будем мы сражаться вместе,
Ведь кровь моя пойдет с тобой.

МАРГАРИТА АЛИГЕР

★

Учительница из Жашкова

Это обыкновенная история. История учительницы из Жашкова, что на Украине. Вспомнилась мне эта короткая, волнующая повесть, когда я рассматривал маршрутную карту германского офицера Ганса Баха. Броневик Ганса Баха был захвачен воентехником автобата Франтовым. Личность Ганса Баха не заслуживала бы упоминания, если бы не своеобразный дневник, который вел фашистский офицер. Дневник был заполнен лаконичными записями о «девчонках». «Девчонки» были разные — из Голландии, Франции, Югославии. Каждая имела свое имя. Что касается русских девушек, о которых упоминал Ганс Бах, то все они именовались «Анюшками». Маршрутная карта германского офицера — это карта грабежей, убийств и насилий. Он грабил в Белой Церкви, в Борисове... И в Жашкове он побывал.

В Жашков германские фашисты вошли в полдень. Сперва появились мотоциклисты — наглые, хлыщеватые молодчики. Они вихрем пронеслись по главной улице местечка и так же быстро исчезли в другом ее конце. Повидимому, в их задачу входило «произвести впечатление» на население. Затем гитлеровцы рысью обежали улицы и переулки притихшего в тревоге городка. Для храбрости фашисты здорово нализались и хриплыми голосами сзывали население на площадь. Увидев перед собой стариков, старух и детей, германский обер-лейтенант рассвирепел.

Лающим голосом он огласил приказ германского командования:

«Двери квартир держать открытыми.

Квартиры с закрытыми дверями объявляются большевистскими, с их хозяевами будет соответствующим образом поступлено».

Офицер зачитал приказ и коротко сказал:

— Все! Можете расходиться.

И, не теряя времени, — приближались сумерки, — герман-

ские офицеры и солдаты приступили к проверке приказа. Мародеры разбились на группы и стали обходить улицу за улицей, переулок за переулком. Ни одного дома они не оставили без внимания.

Двери квартир оставались открытыми, и это придавало грабителям смелость. Как только их руки дотрагивались до вещей, на лицах грабителей появлялось выражение заботы: как бы чего не упустить. Они грабили с чисто немецкой аккуратностью: забирали все, вплоть до дверных ручек и кисейных занавесок. В одной из квартир они сложили рюкзаки с награбленным добром в детскую коляску. Толкал коляску багроволицый, дородный немец. Он вел на привязи тощую, прихрамывающую козу. В узких воротах стояла худая старушка с морщинистым лицом. Опустив бессильно руки, она сухим, полным гнева и ненависти взглядом смотрела на грабителя. Он толкал коляску прямо на старуху, заставив посторониться. Громким шопотом старуха сказала:

— И как вас только земля держит!..

Дородный немец остановился, поправил в коляске развалившиеся вещи, затем шагнул назад и молча, наотмашь ударил старуху по лицу. Она качнулась и, глухо вскрикнув, рухнула наземь. Немец вернулся к коляске, толкнул ее и сердито дернул за веревку козу.

В соседнем дворе орудовал сам обер-лейтенант с двумя солдатами. Громко стуча сапогами, фашисты взошли на крылечко зеленого флигеля. Двери были распахнуты. Обер-лейтенант усмехнулся: чорт возьми, приказ есть приказ. Хозяйка квартиры — учительница из Жашкова — стояла у окна. Стиснув руки, чтобы не закричать, учительница смотрела поверх занавесок на хмурое осеннее небо. Обер-лейтенант сделал попытку заговорить. Но женщина молчала. Сперва обер-лейтенант рассердился, но вскоре его внимание было отвлечено другим. Солдаты распахнули дверцы коричневого шкафа и распотрошили его дочиста. Обер-лейтенант присел на стул.

Наклонившись вперед, сухими, длинными руками он перебирал сложенные у ног вещи — платья, жакетку, одеяло, наволочки, белье... Голубенькую полинявшую рваную косынку он отшвырнул в сторону, но потом подумал и ногой придвинул ее к общей куче. Пакет, перевязанный розовой лентой, заставил его насторожиться. Он рванул ленту, и на пол посыпались письма. Обер-лейтенант резко, словно выстрелил:

— Чьи?

Учительница, полуобернувшись, ответила:

— Это письма моих школьников. Я учила их...

И снова отвернулась к окну. Она услышала, а еще вернее, почувствовала, как грязные сапоги топтали пожелтевшие листки. Это были письма учеников, ее славных ребятишек, которых она учила, воспитывала... И было страшно подумать,

что вместе с этим наглым обер-лейтенантом в твой город, в твой дом, в твою жизнь ворвалось грязное, подлое и бесчеловечное. Унижение, рабство, которое вчера еще могло казаться дурным сном, сегодня было реальной действительностью.

Учительница облегченно вздохнула, услышав за спиной удаляющийся топот сапог. В дверях стоял обер-лейтенант. Цепким выжидательным взглядом он окинул учительницу, словно оценивая ее, как товар. Гаденько улыбнувшись, офицер сказал:

— Ауф видерзеен...

И добавил:

— Вечером я приду... За... коровой.

И он действительно пришел. Солдаты увели со двора корову, а обер-лейтенант снова появился на пороге зеленого флигеля. Было темно, учительница сидела на табурете посредине разоренной комнаты. Она не шевелилась. У нее было такое ощущение, словно ее оплевали, вываляли в грязи, истоптали душу. В руках и на коленях у нее лежали письма ребят. В этих письмах была вся ее жизнь — трудная и прекрасная жизнь районной учительницы. Многие из ребят сражались — под Москвой, в Донбассе, под Ленинградом... Хотелось крикнуть во весь голос, так, чтобы услышали ее в Жашкове, во всей стране, во всем мире, чтобы голос дошел до ее учеников: «Вот какие они, — германские фашисты! Бейте их без пощады, жгите и уничтожайте, как сорную траву!»

...Обер-лейтенант карманным фонариком осветил лицо учительницы. Он протянул руку и, коротко, хрипло засмеявшись, сказал:

— Будем веселиться, Анюшка!

Ему было все равно, как ее зовут. Всех русских девушек он называл «Анюшками». Ему, германскому офицеру, дозволено делать все, что угодно. Учительница в ужасе отшатнулась, вскочила, забилась в угол: «Вот какие они!» Обер-лейтенант отхлебнул из фляжки глоток рома и протянул фляжку учительнице. Но, видя, что учительница плачет, он что-то сердито проворчал и, придвинув стол к кровати, стал медленно, спокойно раздеваться. Отстегнул пояс с пистолетом. Вынул пистолет из кобуры и положил на край стола. Посвистывая, он принялся снимать сапоги. Один он успел снять, второй ему снять не удалось.

Фонарик, прислоненный к кувшину, освещал согнутую фигуру фашиста, его голову, разделенную надвое аккуратным пробором. Учительница молча шагнула вперед. Выстрелом из пистолета, схваченного со стола, учительница размозжила немцу голову. Он наклонился вперед, затем, перегнувшись, медленно сполз на пол.

Учительница из Жашкова никогда не считала себя ни-

храброй, ни смелой. Она была обыкновенной женщиной. Беспартийной советской женщиной. Выстрел в фашистского офицера не был только актом самообороны. Это была месть, — месть за себя, за своих ребят, чьи письма были истоптаны, месть за поруганных советских женщин, над которыми издевались германские насильники... Она очень волновалась. И все-таки она нашла в себе силы собрать письма школьников. Она ничего не взяла с собою из вещей. Только письма она захватила! И пистолет. И фонарик. Выйдя, учительница обернулась. Луна осветила зеленый флигель. Двери были плотно закрыты. Она стянула на шее вязаный платок и ушла в ночь.

Б. ГАЛИН



Голос матерей

На лоб спадают чуть седеющие пряди,
И резче стали в эти дни морщины,
Но сколько ласки в материнском взгляде,
Когда ты тихо говоришь о сыне!

Недолги были сборы фронтовые.
В повестке все, как в сводке, лаконично,
Но в этот час глаза его живые
Смеялись и лучились необычно.

Пришли друзья, и матери казалось,
Что это не разлука, не прощанье,
Не потому ль, что девушка сказала
С улыбкой сыну, нежно: «До свиданья!»

Всегда с родными тяжела разлука.
И ты слезу украдкою смахнула.
Прижала к сердцу голову, на руки —
На руки сына с гордостью взглянула.

Они у сына будто золотые.
Недаром был он первым на заводе.
И жар труда геройский не остынет
В боях с врагами, в маршевом походе.

Война идет, сурова и жестока,
Над мирным домом пламя полыхает...
Бывают письма, чьи простые строки
Сильнее солнца душу согревают.

И вот сейчас ты над письмом склонилась,
Как никогда, взволнованна и строга.
А губы шепчут тихо: это было —
Бои, походы и пути-дороги...

Сын мой, ты голос сердца слышишь?
Я знаю, слышишь, это я, родная.
Ты, как отец когда-то, редко пишешь,
Но мы тебя всечасно вспоминаем.

Еще не знали мы такого года,
Так пусть врагу он годом смерти будет
За то, что вынесли сыны народа,
Что матери вовеки не забудут.

Пережитое нам еще дороже,
Когда по праву жизни, по наследству
Вы на отцов, любимые, похожи
Не только обликом — всей кровью сердца.

И что быть может радостней на свете
Для нас, познавших горе и морщины,
Чем сыновья-гвардейцы, наши дети,
В боях с врагом созревшие мужчины!

Когда грохочут пушки и снаряды,
К земле седые сосны пригибают, —
Бей бешеного зверя без пощады,
Как сорную траву испепеляя!

Дави его, кроши из миномета,
Руби с плеча кавалерийской шашкой.
Сшибай на землю в щебень самолеты
За родину единственную нашу.

Сын мой, ты голос материнский слышишь?
Ты должен слышать, это я, родная.
Не я одна, тебе отчизна пишет,
На подвиги, на бой благословляя!

Летят на фронт далекий, будто птицы,
Святой любовью матерей согреты,
Простые письма. В них сердец частицы,
Тепло неугасимого привета!

АЛЕКСАНДР ВОЗНЯК

Варежки

Рассказ

I

Кузьминична вязала шерстяные белые варежки, часто поглядывая на ходики. Было уже три часа ночи, а к шести утра нужно было отправить Митю в тяжелый путь.

Маленькая керосиновая лампочка освещала сухие проворные руки Кузьминичны и блестящие мелькающие спицы, нанизывающие петлю за петлей. Клубок голубой шерсти тихо шевелился на коленях, как котенок.

Гладко причесанные волосы у висков были седые до белизны. Плотно сжаты тонкие, красиво очерченные губы. Когда Кузьминична поглядывала на часы, в ее глазах — больших и добрых — появлялась тревога: стрелки бежали сегодня необычайно быстро, так быстро, что Кузьминична подумала: ходики испортились. Но петух во дворе тоже прокричал в третий раз за ночь, а уж петух не ошибется...

И проворные пальцы засуетились, забегали. Нельзя же Митю отправить без варежек. За окном посвистывал злой октябрьский ветер, раскачивал рябину, и она стучала по стеклу голой продрогшей веткой, а Кузьминичне казалось, что это стучит колхозный конюх Демид, чтобы сказать, что лошади для Мити готовы...

Из затемненного угла доносилось ровное, спокойное дыхание сына. И не было ничего дороже, как слушать это дыхание — звук жизни, ею рожденной, согретой, убереженной от множества болезней. И Кузьминична думала с тоской, что стрелка часов сделает всего три круга, и наступит то, что неотвратимо надвигается на нее, жестокое, неумолимое — сын уедет туда, куда ушли многие и не вернулись.

Все это совершилось неожиданно и потому воспринималось Кузьминичной как несчастье, как наказание, которого она не заслужила.

Еще вчера вечером она была счастлива: Митя приехал из Москвы, веселый, возбужденный, какой-то особенно кра-

сивый, и Кузьминична вдруг увидела, что перед ней не мальчик, а взрослый человек, что в душе сына что-то произошло большое, праздничное.

«Полюбил, верно», — подумала она, лаская сына; ее рука легла на мягкие волнистые волосы каштанового цвета. А сын стоял высокий, по-отцовски сутулый, смотрел на нее и говорил грубоватым своим мужским голосом:

— Ну вот, мамуська... Хорошая ты...

Он стеснялся выражать вслух обычными словами то, что переполняло его сердце, и умолк, прижавшись к материнской груди, а Кузьминична порывисто обняла сына, ощущая запах его волос и табака. И то, что сын начал курить, не сердило ее, хотя она не выносила табачного дыма.

Да, это был мужчина, хотя Мите не исполнилось и восемнадцати лет. Он учился в институте истории, философии и литературы. Кузьминична не понимала толком, чему там обучают, но испытывала гордость, надписывая конверт: студенту философского факультета.

Для нее, прожившей всю жизнь в деревне, вдали от больших дорог и городов, эти слова звучали таинственно и недоступно, но возвышенно, и, произнося их про себя, Кузьминична всегда умилялась. И Митя, понимая, что матери трудно войти в его сложный мир, старался говорить с ней просто, как с ребенком.

— Мамуська, философия — это такая наука. Она открывает человеку, для чего он живет на земле...

— Каждый человек, Митенька, живет для своей радости. Я вот для тебя живу, мой ласковый...

— Это, мамусенька, тоже философия, но, как тебе сказать... неправильная. Ведь если каждый только для своей радости будет жить, то кто же будет добывать радость для всех? А жить нужно для всего народа, для родины, для всего человечества...

Отсюда для Кузьминичны начиналось непостижимое. Оказывается, и у нее, малограмотной старухи, есть своя философия, а она жила и в простоте своего сердца не знала об этом. А теперь выходит, что и жила-то она не так, как надо...

Кузьминична смотрела в окно и видела свой привычный милый мир, в котором все было понятно и близко.

Под окном красовалась рябина, увешанная желтыми тяжелыми кистями, на низенькой крыше погреба, поросшей зеленым плющом мха, стоял белый петух, поджав ногу. Покачивалось деревянное ведро над колодцем.

Здесь прошла жизнь Кузьминичны, под этим низеньким потолком. Вот на полке стоит белая фарфоровая чашка, из которой Митя ребенком пил молоко... Кузьминична взяла чашку, чтобы налить в нее молока для сына, и, подавляя горечь, подступившую к сердцу, сказала:

— Тебе видней, Митенька... Я ведь малограмотная. Мне до тебя не подняться....

Митя подошел к матери, обнял за плечи, — вот так он всегда ласкался, когда нужно было загладить какую-нибудь вину.

— Мамуська, — проговорил он, тяжело переводя дыхание, — мамуська... Собери вещи. Я утром должен уехать...

— Уехать? Куда?

— Туда, мамуська, — отвернувшись, ответил Митя и махнул рукой в ту сторону, где догорала вечерняя заря.

Руки Кузьминичны ослабели, и чашка упала, разлетелась на звонкие брызги. Но Кузьминична не слышала этого звука, который минуту назад привел бы ее в отчаяние. Она непонимающе смотрела на сына, всем своим существом ощущая что-то холодное, ставшее между ней и сыном, — вот так бывает, когда льдом затянет реку и сквозь тонкое стекло его виден зеленый лист кувшинки, и кажется — там жизнь, но протянешь руку и натыкаешься на холодное препятствие — все застыло, все мертво.

— Митенька, родной... Разве твой год призвали?

— Нет... Я сам иду. Добровольно... Мамуська, я знаю, что тебе больно слушать это, но ты пойми меня... Я не могу... не имею права заниматься философией, когда над нами нависла такая беда...

— Да как же это... Да куда же ты... Митенька! — мать шептала слова все быстрей, словно от этого зависело — уедет Митя или останется дома: — Сынушка мой... Да что же это такое... Ну вот вырос ты, радость моя. Я же и не видела, как ты вырос... ты же совсем мальчиком был вот-вот... Я тебе еще курточку в прошлом году перешивала... а руки твои из нее вылезли...

И вот, когда она вдруг вспомнила эту полосатенькую детскую курточку, слезы полились из глаз неудержимо, — она вся затрепетала, уцепилась руками за сына.

— Не пущу... Никуда не пущу... Что ты такое задумал... Для чего же мне жить? Митенька, родной... Пожалей меня старую! Пожалей мать свою... Я все для тебя отдала... Все свое здоровье... Последний кусок хлеба тебе берегла... Митенька...

Она с мольбой смотрела в его глаза, она целовала его руки, а сын скорбно поник головой, глядя куда-то в пространство, и материнские тонкие губы его дрожали от приступа тоски и боли.

— Не могу, мамусенька, не могу... Я дал слово... Я записался в истребительный отряд... Я пойду навстречу вражеским танкам. Я буду бросать в них бутылки с горючей жидкостью... И я зажгу их... Но ты за меня не бойся, мамуська...

Он успокаивал мать, а рука тяжело, неловко ласкала ее волосы, и сам он, прикасаясь к матери, как бы искал в ней опору для своей потрясенной души. И потому, что нужно было объяснить то великое, что было за пределами маленького материнского мирка, Митя стал говорить громко, горячо, размахивая руками, откидывая со лба каштановую прядь, как привык говорить на митинге:

— История не простит нам, если мы не одержим победы... Мы должны пойти на великие жертвы во имя будущего нашей родины, будущего всего человечества...

Кузьминична рванулась к сыну, упала на его грудь. Она вцепилась судорожно в теплое тело, приникла к нему, как бы желая спрятать сына куда-то внутрь самой себя, под самое сердце, чтобы никому не отдать то, что составляло ее жизнь, ее счастье.

...Быстро мелькают блестящие спицы, нанизывая петлю за петлей. Осталось довязать большой палец... Потом нужно сделать на варежках какую-нибудь метку, а то ведь все варежки похожи одна на другую, не заменил бы кто-нибудь. А таких варежек потом не найти — теплые, связанные материнской рукой.

Метка должна быть яркая, крупная, чтобы сразу бросалась в глаза. Надо вышить красную елочку на тыльной стороне...

Все ближе и ближе стрелка часов подползает к неизбежному. В окно постучали. Это — Демид. Лошади готовы.

Кузьминична посмотрела на красную елочку, вышитую на варежке, и припала к ней губами, шепча какие-то ласковые слова, какие могут изобретать только матери на языке своей безмерной любви.

II

Давно уже легла зима, а рябина под окном все стояла с неубранными кистями, осыпанная снегом, — не для кого было срывать горькие ее плоды, которые так любил Митя. Лишь сороки по утрам слетались на дерево и затевали шумную драку, роняя на снег рябинки, похожие на капельки крови.

Кузьминична подолгу сидела у окна и смотрела на запад, куда ушел сын. Там по вечерам пылала зимняя холодная и яркая заря. Небо озарялось тревожным светом, точно там разгорался пожар.

— Мальчик мой... Сынушка мой... Митенька, — с тоской шептала мать и снова бессчетно повторяла эти слова. Так проводила она дни, равнодушная к тому, что совершалось вокруг нее. А между тем издалека стал доноситься глухой

гром, люди торопливо укладывали свои пожитки в мешки и уходили, сгорбившись под тяжестью горя. Они звали с собой Кузьминичну, но она сказала, что никуда не пойдет.

То, что надвигалось, не страшило ее, потому что она и не представляла себе всей опасности. Она говорила себе:

— Вот Митенька ушел прямо в самое страшное место, а я побегу спасать себя? Нет. Мне бы тоже уйти вместе с ним, вместе встретить беду. Я бы покормила его во-время, постирала белье... А прятаться мне незачем, — зачем мне жизнь, если нет со мной Митеньки? Может, он придет домой, а меня не будет... Скажет: «Сбежала, старая...»

И ей становилось стыдно, что вот она не пошла вместе с сыном, не разделила с ним тяжести, которую он добровольно взвалил на свои сутулые плечи.

Когда немцы вошли в деревню, все население ее состояло из Кузьминичны и белого петуха. Ребятишки, которым было поручено изловить всех кур и спрятать в лесу, долго гонялись за петухом, но поймать его не смогли, потому что он взлетел на крышу.

Он стоял, поджав ногу, и звонко кричал свое кукареку, как бы подчеркивая свою независимость от грозных событий, и Кузьминична, слушая его бодрый крик, была уверена в незыблемости своего маленького мирка. Белая эта птица криком своим напоминала ей о сыне. Жизнью своей петух был обязан Мите. Кузьминична хотела зажарить петуха на дорогу. Она взяла нож, чтобы отрезать голову, украшенную алым зубчатым гребнем.

Петух покорно положил голову на порог, даже зажмурился. Но в тот момент, когда нож уже прикоснулся к его горлу, где-то на деревне закричал петух, и белая, приговоренная к смерти птица вдруг встрепенулась, вырвалась из рук Кузьминичны и прокричала ответное кукареку.

Нет, это был не крик, а песня. С ней мы, крестьянские дети, просыпались, с ней бежали в школу, выгоняли скот на росу.

И Митя, услышав эту песню, вдруг увидел себя маленьким, а мать свою молодой, черноволосой, с гибким станом, и скошенный луг, залитый солнечным светом, и пестренького теленка...

— Мамуська, пусть живет, — сказал он, и мать выпустила белого петуха во двор, щедрой рукой насыпала ему овса и, когда он застучал по дощечке крепким своим клювом, улыбнулась.

— Пусть живет, — как эхо отозвалась она.

«Может, это и есть его та мудреная философия», — подумала Кузьминична.

Белый петух был как символ этой жизни: гребень его, налитый красной горячей кровью, крик его горластый, звон-

кий, победный, пышное его оперение, просвечивающееся на солнце, точно фарфоровая чашка.

Вот такой — праздничный — стоял петух на крыше и пел, а по улице ползли танки, и домик Кузьминичны содрогался от их гула, и звенели стекла, и стонала промороженная земля.

Кузьминична вышла на улицу, потому что в домике ей было страшно, — предчувствие великой беды сдавило ей сердце.

— Хальт!!! Хальт!!! — раздался резкий крик, неприятный, злой.

Перед Кузьминичной появился человек в обтрепанной шинельке, с завязанными каким-то тряпьем ушами, он потрясал ружьем и кричал свое неприятное «Хальт!», хотя Кузьминична стояла неподвижно и смотрела на огромных железных черепах, расползавшихся по деревне.

Немец продолжал кричать. Кузьминична не привыкла, чтобы на нее зря кричали, всегда с ней говорили спокойно и ласково.

— Не ори, — строго сказала она немцу и пошла по двору своей неторопливой походкой, и на лице ее было выражение презрения к этому оборванцу.

Немец вскинул ружье, прицелился в петуха, стоящего на крыше, и выпустил по нему очередь. С крыши скатился белый ком и, подпрыгивая, закружился по земле, а вокруг разлетались перья, как осколки от разбитой фарфоровой чашки. Тяжело топая подкованными башмаками, немец пытался поймать трепещущую птицу, а она, волоча перебитое крыло, бежала к Кузьминичне, словно искала у нее защиты. Кузьминична подняла петуха и успокоительно погладила его по голове.

— Хальт! — заорал немец, протягивая к петуху руки, и Кузьминична вздрогнула и пошатнулась: на руках немца были белые шерстяные варежки с красными елочками на тыльной стороне.

Других таких варежек не могло быть во всем мире...

Немец вырвал петуха из рук Кузьминичны, перекрутил ему шею и, тыча варежкой в грудь, кричал:

— Жарить! Жарить! — и звучало это непонятно: — Шарить! Шарить!

Кузьминична ничего не слышала, ничего не видела, кроме белых варежек с красными елочками на тыльной стороне.

— Мальчик мой... Сынуша мой... Деточка ты моя, — шептала она. Все вокруг плыло и кружилось, и земля, колеблясь, уходила из-под ног, Кузьминична погружалась в черный мрак, в котором прыгали и плясали красные елочки.

...Сознание вернулось к ней вместе с болью в боку, — немец бил ее тупоносым подкованным башмаком и кричал:

— Шарить! Шарить!

Шатаясь, она вошла в дом и затопила печь. Немец ощипывал петуха, сдирая с него перья горстями. Изо рта его текла слюна и висела на заросшем рыжем подбородке. Он сопел, и внутри его урчало.

Он не дождался, пока изжарится петух, вытащил его из печи и начал есть сырьем. Он рвал крепкое мясо зубами, мотая головой, давясь и рыча. Он припадал губами к фляжке и, чмокая, тянул из нее какую-то жидкость. Потом с удвоенной яростью набрасывался на петуха и рвал его зубами. Трещали кости...

«Зверь, зверь», — подумала Кузьминична. Она закрыла вьюшку, забыв в печи пылающую головню.

Съев петуха, немец выгнал Кузьминичну из дома и, закрывшись на крючок, повалился на кровать. Через полчаса, заглянув в окно, Кузьминична увидела, что немец лежит на спине, широко открыв рот, и бессмысленно остановившимися глазами смотрит в потолок.

Кузьминична знала, что пробой расшатался в гнезде, и рванула на себя дверь. Едко пахло угаром. Варежки лежали на лавке...

В глухих лесах моей родины, в норах, под корнями деревьев, как первобытные наши предки, живут сотни тысяч людей. Они ушли сюда из сожженных сел и деревень, из разрушенных городов, ушли, чтобы бороться с врагом до последнего дыхания.

И по этим лесам ходит легенда о старой женщине, которую не берет немецкая пуля, потому что она на груди своей носит какие-то чудесные варежки с вышитыми на них красными елочками.

В. ИЛЬЕНКОВ



Машинист

Шум колес и ветра свист —
Мчится поезд — дым по пояс;
Бледен русский машинист —
Он везет немецкий поезд.

Кровь стучит в его висках,
Мыслей спутался порядок:
В длинном поезде — войска
И снаряды... и снаряды!

И шумит родная рожь,
И вопят поля и пустошь:
— Неужели довезешь?
Неужели ты допустишь?

Водокачек кирпичи,
Каждый дом и каждый кустик —
Все вокруг него кричит:
— Не допустишь, не допустишь.

За спиной наган врага,
За спиною смерть... Так что же?
Жизнь, он слышит, дорога,
Но ведь честь еще дороже!

Кто-то шепчет: — Погляди,
Высунься в окно по пояс:
Путь закрыт, а впереди
На пути с горючим поезд.

Он с пути не сводит глаз.
Семафор, должно быть, скоро.
Вот зажегся и погас
Глаз кровавый семафора.

Сердце сжалось у него —
Боль последняя, немая.
Немец смотрит на него,
Ничего не понимая.

Но уж поздно понимать!
Стрелки застучали мелко...
— Родина... — он шепчет, — мать!..
И проскакивает стрелку.

Будто бездна, в небо взмыв,
Пламя крыльев распластало!
Так могуч был этот взрыв
Двух столкнувшихся составов!

ИОСИФ УТКИН

★

Русская мать

(Рассказ Агриппины Куликовой)

Глаза воспалены. Красивые черты
Избороздило, иссушило время.
Ей трудно говорить: то приступ тошноты,
То ломит грудь, то больно ноет темя.
Превозмогая боль и кутаясь в платок,
Она ведет рассказ негромко, но раздельно,
И горек тихих слов ее поток,
Произносимых с гневом беспредельным.
— Сынки мои! Уж очень я стара.
Седьмой десяток лет перемахнула...
А в этот самый день с утра
Я, как на грех, взяла да прихворнула.
Лежу, родимые, одна в избе.
Темнеет, за окном мокропогодит.
Лежу одна и чую по стрельбе,
Что наши за околицу отходят.
Неужто, думаю, не выйду из села?
Зажгу избу и двинусь понемногу.
И поднялась.
Соломы принесла,
Обувши валенки на босу ногу.
Легко ли рушить мирный свой очаг!
Стою, гляжу... В руках трясутся спички.
Перекрестилась трижды вгорячах,
Не то чтоб так, а больше по привычке.
Одна беда — уж больно я стара.
Пока я за соломой-то ходила,
А немцы — вот они. Бормочут у двора.

Ко мне валит чумная, вражья сила.
Берет меня за горло офицер:
— Давай нам масла, молока и чаю.
Не масла, думаю, тебе, а сто холер.
— Нет молока и масла, — отвечаю.
Взъярился офицер. Завыл, как дикий волк.
Трясет своим тяжелым пистолетом.
А что трясти, какой в угрозе толк!
Врешь, думаю, не выедешь на этом.
Ударил раз меня. Потом еще. Еще.
Одежду рвет. Плюется то и дело.
Схватил за волосы, толкнул меня в плечо,
В глазах моих, сыночки, помутнело.
Не помню, как я дотянула до зари.
Забрали немцы все мои пожитки:
Половики, подушки, сухари —
Все загребли до капельки, до нитки.
На этом бы и кончить мне рассказ;
Казалось бы, уж сказано немало,
Да упредить должна я сразу вас,
Что это не конец, а лишь начало.
Я вышла,
Постояла за крыльцом
И слышу вновь поганый вой немецкий.
Гляжу —
стоят разбойники кольцом,
А посередке —
наш боец советский.
И тут же рядом, у плетней витых,
Три наших деревенских человека —
Две бабки древних, хилых и слепых
Да мой сосед, Илья Линьков, калека.
А немец тот, что бил меня в дому,
Сидит, как на престоле, под скворешней.
— Чей,—спрашивает,—сын? Кто родственник ему?
А что сказать, когда боец нездешний?
Быть может, тульский он, а может, из Ельца, —
Не все ль равно — одна любовь и вера.
Вдруг вырвался, сердешный, из кольца,
Да как наотмашь хватит офицера.



Рис. с натуры худ. А. Лаптева

Качнулся гад, и сковырнулся с ног,
И угодил шальной башкой о бревна.
Я не сдержалась:
— Мой, — кричу, — сынок!
Мой золотой, единственный и кровный! —
Схватили тут меня и под гору силком...
И паренька, что я назвала сыном.
И завалили нас обоих ивняком,
И облили обоих керосином.
Ну, думаю, приходит наш конец.
Да тут, вишь, самый бой-то и начался...
Я вот жива, а раненый боец,
Слыхала я, не выдержал — скончался.
Умолкла Агриппина. Поздний час.
На миг нам кажется, что мы внезапно глухи,
Озноб и гнев охватывает нас,
Услышавших рассказ седой старухи.
Мы в восхищеньи рядом с ней стоим,
Мы принесли ей сахар, хлеб и сало.
Мы за тебя, родная, отомстим.
Мы все сынки твои.
Ты правильно сказала.

С. ВАСИЛЬЕВ



Русский дом

Еще небо не остыло над горящим городом и пролетающие облака казались жар-птицами, еще тень повешенной женщины качалась над площадью, покрывая ее всю, еще слышались на окраинах крики немцев, как удаляющийся собачий лай, а жители уже входили в свой город.

Мать несет ребенка, она приоткрывает его лицо и как бы показывает горящий город, в свете пожара готовит из него мстителя.

Старик тащит на санках свое ложе, на котором он думал в лесу умереть, а теперь возвращается в город жить. Еще пригодится его жизнь!

Дети идут по знакомым улицам, от которых остались только камни мостовой, и удивляются — где же их дома?

Стены города лежат поверженные. Лишь черные трубы глядят в небо. Одни трубы остаются от сожженных городов как символ бессмертия очага.

Тротуары в крови, будто ночью выпал кровавый дождь. Снежная баба на углу и та в крови, как в красном платье.

В садах-огородах под яблонями черные немецкие машины, будто гробы, ожидающие покойников. На воротах немецкие надписи, как проклятья.

Черные обгорелые дома с балконами. Вот целая семья за столом мертвая. У окна над прялкой — мертвая старуха, в окостеневших пальцах ее нити. Сапожник, нагнувшийся в своем кресле, сидит с недошитым сапогом в мертвой руке, женщина лежит навзничь у люльки. Люлька еще качается. Сын ее спит. Дети растут во сне.

По улицам валяются убитые немцы с черными лицами, ощерившие зубы.

Крысы бегают по городу, всюду крысиный писк. Появились какие-то желтые собаки. И вот свинья поднимает красное в крови рыло.

Люди идут, идут и идут по длинным сожженным ули-

цам. Они подходят к знакомым калиткам, но калитки никуда не ведут. Остался один только порог!

Они раскрывают уцелевшие окна, но видят в них лишь черное небо.

Среди них в эту ночь шла старая женщина, мать красноармейца, и всех встречных спрашивала — цел ли ее домик у мостика, Стретиловская, номер два, красный петух на крыльце. Но никто не знал, цел ли ее домик, не улетел ли красный петух.

Старая женщина приходит к своему домику с голубыми оконцами, в которые всегда виднелись белые занавески и фикусы, такие дремучие, какие, наверно, и в Африке не растут. Лестница во флигелек, а там крашеные полы, белая кафельная печь, на которой греется всем известный кот Митрофан, и большая, вся в золотой меди, торжественная икона в свете лампадки, которая не потухала ни разу за все шестьдесят лет, которые помнит старуха.

Она подымается на крыльцо:

— Цып, цып, цып...

Но никто не прибегает. Даже петушок на крыльце, и тот исчез, — неужели и деревянного петуха немцы сожрали? Она окликает соседок:

— Марья!

Никто не отвечает.

— Анисимовна!

А-а-а! — отвечают пустые окна.

И лишь два огненных глаза смотрят на нее с крыши. Это кот Митрофан, ободранный и обгоревший, с обрубленным хвостом.

— Митрофан, Митрофан! — сказала старуха и вдруг заплакала.

Дверь была раскрыта настежь, — видно, из нее только что бежали. Черная каска лежала на пороге, как череп немца. А на лестнице — брошенная намыленная кисточка (не добрил ты щетину, немец!), нашивки, гербы немецкие и подтяжки (держи штаны, немец!).

Лестница вела как бы в небо, крыша была снесена. Старая женщина поднималась и видела звезды. Она узнала их. Это были звезды ее дома. Они всегда стояли над ее домом.

И здесь наверху двери были настежь, и она вошла в комнату. Это была смесь свинюшника, псарни и гнусного фашистского хлева. Она зажгла спичку, но спичка потухла от смрада.

Люди русские! Поглядите, что сделали немцы из русской избы. Русская светелка, такая белая и светлая, что, казалось, из окошка твоего лебеди вылетают. Русская светелка, где разыгрывались русские сказки! Загадил, зача-

дил, очернил тебя немец. Заплевал твои стены. Намалевал на них свои немецкие фигурки. Украл твои белые занавеси на лошадиные попоны. Изломал прялку, измял, разорвал святую твою постель...

Будто стадо рогатых кабанов тут прыгало до потолка, плясало и колотило копытами о стены. Стены порублены и побиты, заплеваны до потолка, чернилами забрызганы, похабными словами исписаны, немецкими хохочущими рожами измалеваны. Старая женщина схватилась за сердце, — ей послышалось хрюканье, будто рожи эти ожили. Углем нарисованы такие картинки, разглядев которые, даже кот Митрофан замяукал бы от стыда.

Комод, и шкафы, и столы — все вытащили на середину, все ножами поизрезали и ножами же написали такие слова — только дерево и камень могли выдержать.

Посдирали кожу с кресел, прокололи перины и подушки и выпустили пух на все четыре стороны света, повырывали все дверные ручки, посрывали цепочки от висячей лампы, посдирали даже медные бляшки с иконы.

Широкая деревянная кровать, где родилась она сама, где лежала и услышала первый крик своего ребенка, где дочь родила ей внука, где все ее поколение Ерофеевых видело свои первые сны, порублена на щепы и сожжена немцами. Серебряное зеркало, перед которым прошли все ее годы, отразилась вся ее жизнь, — оно видело ее маленькой девочкой с косичками, строившей гримасы, и невестой в сиянии венчальных свечей, точно королеву, и матерью, окруженной детьми, и старухой в белом чепце, — зеркало это побито, будто бодал его немец рогами. Немцы всюду разбивают все зеркала, точно боятся своего отражения.

Выкатили немцы все кадки и сожрали соленья, выбросили все банки, вылизали варенье, выставили из печи все горшки и кастрюли. Все выкатили, выставили, в ряд построили и нагадили и в кадки, и в банки, и в корыта, и в горшки, и в кастрюли.

Старая женщина не выдержала и заплакала. Родной дом, родной очаг, где вся жизнь прошла, снились сны вещие, где прошли все утра и все сумерки, где один и тот же сверчок просыпался каждый год и играл на своей скрипке одну и ту же песню, и под музыку эту проходила жизнь, — опозорен, осквернен.

Плачет и воет ветер в трубе, и кажется ей, это труба плачет вместе с ней по опозоренному, опоганенному очагу: «Плачь, плачь, женщина!»

И когда выплакала сердце, взяла швабру и все начисто замела и бросила в костер, — затрещали только вши.

Топором вырубила немецкие слова и картинки, острым ножом соскоблила, огнем выжгла. Вымыла, выскоблила не-

мецкую пакость, дымом прокурила весь дом — задушить немецких вшей. Подряд десять дней по утрам открывала окна на восток, впускала ветер и восходящее солнце. А когда побелила стены и открыла окна, показалось, будто это в комнате восходит солнце. Покрасила наличники, старика попросила петуха вырезать, поставила на свое место на крыльце — пусть кукарекает, встретит сына с войны!

Ярко горели свечи в чистом пустом доме. Одна ходила по дому мать красноармейца и вдруг остановилась перед большим портретом отца ее сына. Старый конник, буденновец, изображенный верхом на коне, с занесенным клинком, был весь прострелен, будто немцы боялись, как бы он ночью не выскочил из рамы и не посек их в капусту.

Но и весь простреленный пулями он скакал так же лихо, с буркой на плечах и в папахе, — не впервые ему слышать свист пуль. И старая женщина, глядя на него, воображала своего сына с такими же усами, в такой же папахе и со шпорами, скачущего на коне в неведомых ей землях. Ей даже показалось, что она слышит топот копыт и треньканье шпор. По лестнице подымались кавалеристы.

Вошел первый, похожий на ее сына, вошел второй — и тоже похожий на ее сына, и третий — и тоже похожий. И она поняла, что это все ее сыновья, и приняла их как родных детей. И они ее тоже называли — мать.

Истопила мать жарко печь и ночью вставала и укрывала их бурками, как, бывало, в детстве укрывала своего сына, и молилась перед разодранной немцами иконой за судьбу красных кавалеристов. А им снилось, что они скачут, и они все время сбрасывали с себя бурки.

Раскройте окна и двери, люди русские! Настежь ворота — проветрим города, где был немец!

Да восстанут из пепла дома!

Да зажжется свет!

И — у кого песнь в сердце запоет, кто выплачется вдосталь в родном очаге...

Мы идем жить!

БОРИС ЯМПОЛЬСКИЙ



Война и дети

Тыловая железнодорожная станция на пути к фронту. Водонапорная башня. Два прямых старых тополя. Низкий кирпичный вокзал, опоясанный густыми акациями.

Воинский эшелон останавливается. К вагону с кошелками в руках подбегают двое поселковых ребятишек.

Лейтенант Мартынов спрашивает:

— Почем смородина?

Старший отвечает:

— С вас денег не берем, товарищ командир.

Мальчишка добросовестно наполняет стакан с верхом, так что смородина сыплется на горячую пыль между шпал. Он опрокидывает стакан в подставленный котелок, задирает голову и, прислушиваясь к далекому гулу, объявляет:

— «Ханкель» гудит... Ух!.. Ух! Задохнулся. Вы не бойтесь, товарищ лейтенант, вон они наши пошли, истребители. Здесь немцу по небу прохода нет.

Он подхватывает кошелку и мчится дальше. У вагона остается его белобрысый, босоногий братишка, лет семи отроду. Он сосредоточенно прислушивается к далекому гулу зениток и серьезно объясняет:

— Ось, там вона бухает...

Лейтенанта Мартынова это сообщение заинтересовало. Он садится на пол у дверей и, свесив ноги наружу, поедая смородину, спрашивает:

— Гм! А что же, хлопец, на той войне люди делают?

— Стрыляют,— объясняет мальчишка,— берут ружье или пушку, наводют... и бах! И готово.

— Что готово?

— Вот чего! — с досадой восклицает мальчишка. — Наведут курок, нажмут, вот и смерть будет.

— Кому смерть — мне? — и Мартынов невозмутимо тычет пальцем себе в грудь.

— Да ни! — огорченно вскрикивает удивленный непо-

нятливостью командира мальчишка. — Пришел якийсь-то злыдень, бомбы на хаты швыряет, на сараи. Вот там бабку убили, двух коров разорвало. О це ще, — насмешливо пристыдил он лейтенанта, — наган нацепил, а как воевать, не знает.

Лейтенант Мартынов сконфужен. Окружающие его командиры хохочут.

Паровоз дает гудок.

Мальчишка, тот, что разносил смородину, берет рассерженного братишку за руку и, шагая к тронувшимся вагонам, протяжно и снисходительно ему объясняет:

— Они знают! Они шутят! Это такой народ едет... веселый, отчаянный! Мне один командир за стакан смородины бумажку трехрублевую на ходу подал. Ну, я за вагоном бежал, бежал. Но все-таки бумажку в вагон сунул.

— Вот!.. — одобрительно кивает головой мальчишка. — Тебе на что? А он там на войне пусть квасу или ситра купит.

— Вот дурной! — ускоряя шаг и держась вровень с вагоном, снисходительно говорит старший. — Разве на войне это пьют? Да не жмись ты мне к боку! Не крути головой. Это наш «И-16» — истребитель, а немецкий гудит тяжко, с передыхом. Война идет на второй месяц, а ты своих самолетов не знаешь.

Фронтовая полоса. Пропуская гурты колхозного скота, который уходит к спокойным пастбищам на восток, машина останавливается у села.

На ступеньку вскакивает хлопчик лет пятнадцати. Он чего-то просит. Скотина мычит, в клубах пыли щелкает длинный бич. Тарахтит мотор, шофер отчаянно сигналит, отгоняя бестолковую скотину, которая не свернет до тех пор, пока не стукнется лбом о радиатор. Что мальчишке надо? Нам непонятно. Денег? Хлеба?

— Дяденька, дайте два патрона.

— На что тебе патроны?

— А так... на память.

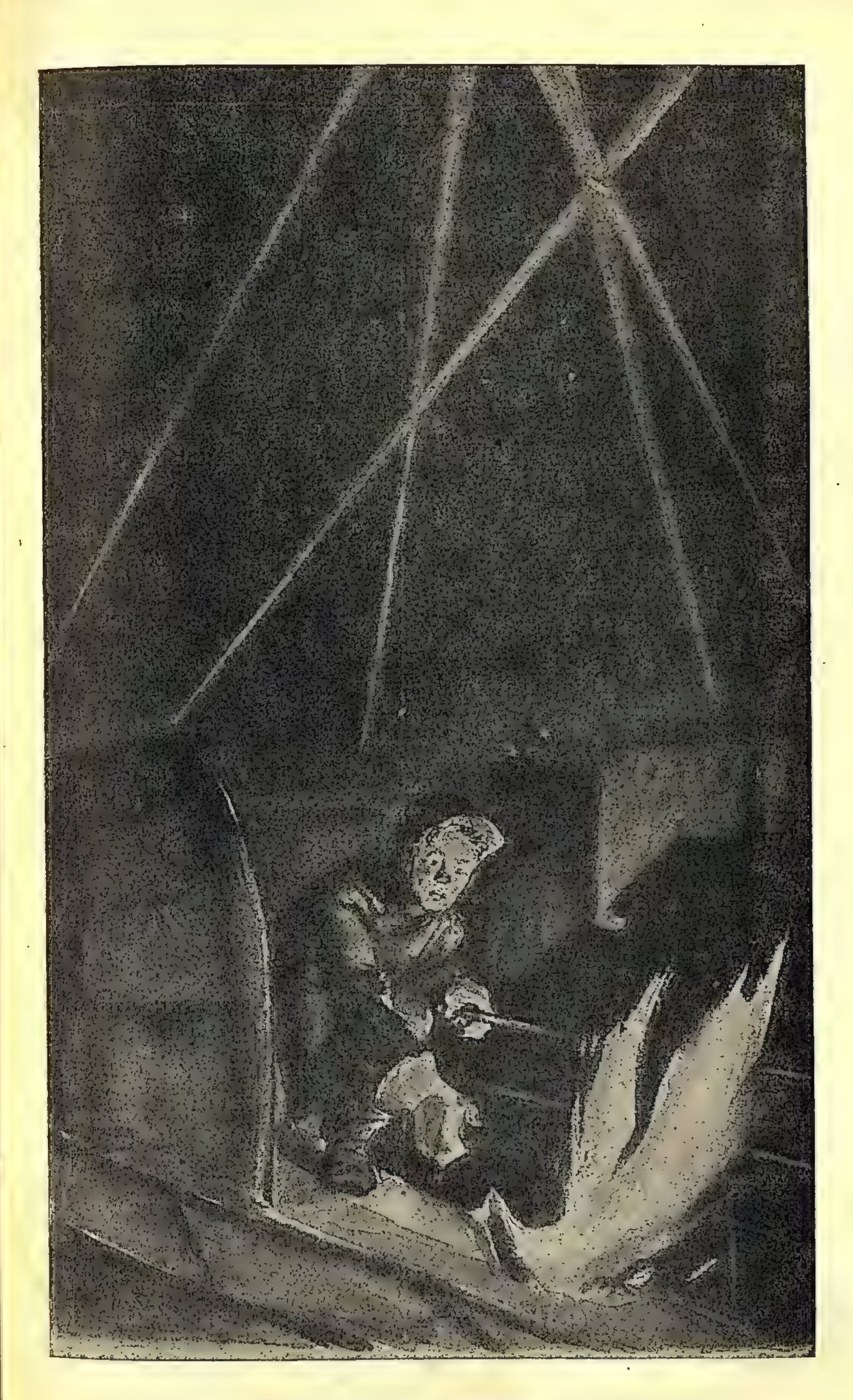
— На память патронов не дают.

Сую ему решетчатую оболочку от ручной гранаты и стреляную блестящую гильзу.

Губы мальчишки презрительно кривятся:

— Ну вот! Что с них толку?

— Ах, дорогой! Так тебе нужна такая память, с которой будет толк? Может быть, тебе дать вот эту зеленую бутылку или эту черную, яйцом, гранату? Может быть, тебе отцепить от тягача вот ту небольшую противотанковую пушку? Лезь в машину, не ври и говори все прямо.



Тушение зажигательных бомб. Рис. худ. Афанасьевой

И вот начинается рассказ, полный тайных недомолвок, уверток, хотя в общем нам уже все давно ясно.

Сурово сомкнулся вокруг густой лес, легли поперек дороги глубокие овраги, распластались по берегам реки топкие камышевые болота. Уходят отцы, дяди и старшие братья в партизаны. А он еще молод, но ловок, смел. Он знает все лощинки и тропинки на сорок километров в округе.

Боясь, что ему не поверят, он вытягивает из-за пазухи завернутый в клеенку комсомольский билет. И, не будучи вправе рассказать что-либо больше, облизывая потрескавшиеся, запыленные губы, он ждет жадно и нетерпеливо.

Я смотрю ему в глаза. Я кладу ему в горячую руку обойму. Это — обойма от моей винтовки. Она записана на меня. Я беру на себя ответ за то, что каждая выпущенная из этих пяти патронов пуля полетит точно в цель.

— Как тебя зовут?

— Яков.

— Послушай, Яков, ну зачем тебе патроны, если у тебя нет винтовки? Что же, ты из пустой крынки стрелять будешь?

...Грузовик трогается. Яков спрыгивает с подножки, он подскакивает и весело кричит что-то несуразное, бестолковое. Он смеется и загадочно грозит мне вдогонку пальцем. Потом, двинув кулаком по морде вертевшуюся около корову, он исчезает в клубах пыли.

Ой нет! Этот паренек заложит обойму не в пустую крынку.

АРКАДИЙ ГАЙДАР



Девочка в венке

Дядя доктор, мне уже не будет больно? Мама говорит, что я терпеливая. Я ведь не маленькая девочка, — мне уже почти исполнилось двенадцать лет. А мама сидит в коридоре, да? Вот видите, мне нельзя громко стонать.

Это — военный лазарет, товарищ доктор? Я все время буду лежать на настоящей большой кровати, как красноармеец? Нет, мне совсем не больно. Я капельку закрою глаза, можно?

Теперь вытрите мне, пожалуйста, лицо. Это не слезы. Слезы всегда бывают соленые. Почему я так много разговариваю? Наша учительница Анна Семеновна всегда говорит: «Феня Кравченко, не задавай глупых вопросов в классе!»

Я очень люблю рисовать. Мне мама обещала краски подарить, акварель называется. Это — когда кисточкой надо рисовать. Мама говорит: «Кончай, Феня, школу, — будешь хорошим бригадиром». Мама моя сама бригадир в колхозе. А я говорю: «Нужны мне ваши бригадиры, мне рисовать хочется». Мама говорит: «Все рисовать не пойдут, — не дури, Феня!» А я говорю: «Если не пустите рисовать — назло вам умру». А папа наш убит на финском фронте, я сирота считаюсь, мама и начнет сердиться. И говорит, что посадит меня в крапиву. Это мама шутит. У нас за хатой никакой крапивы нет, только цветы. Самые разные цветы.

Я умею венки плести. Меня никто не учил, я сама выучилась. Я для всех девчат венки плету. Они в моих венках ходят — и на свадьбу, и в кино, и на танцы...

Мы втроем были. Я, Саня и хлопец Сашко-маленький. Сашко-большой у нас тракторист, а Сашко-маленький в одном классе со мной. Мы день и ночь сторожили. На головы надели венки из пшеницы, колосья высокие, очень красиво. Никто нас не мог заметить, а мы — всех.

Если диверсант появится или парашютист, — всех увидим.



И вот мы сидели. Солнышко собиралось заходить, а сверчки трещат, пиликают, паутинка плывет, колосья качаются, кругом степь — ни души. Так и хочется все нарисовать. Сашко-маленький говорит: «Напрасно сидим, никто до нас не долетит никогда». А я говорю: «Мы тебя не держим за чуб, можешь уходить, дело добровольное». Но он, конечно, остался, он любит поспорить.

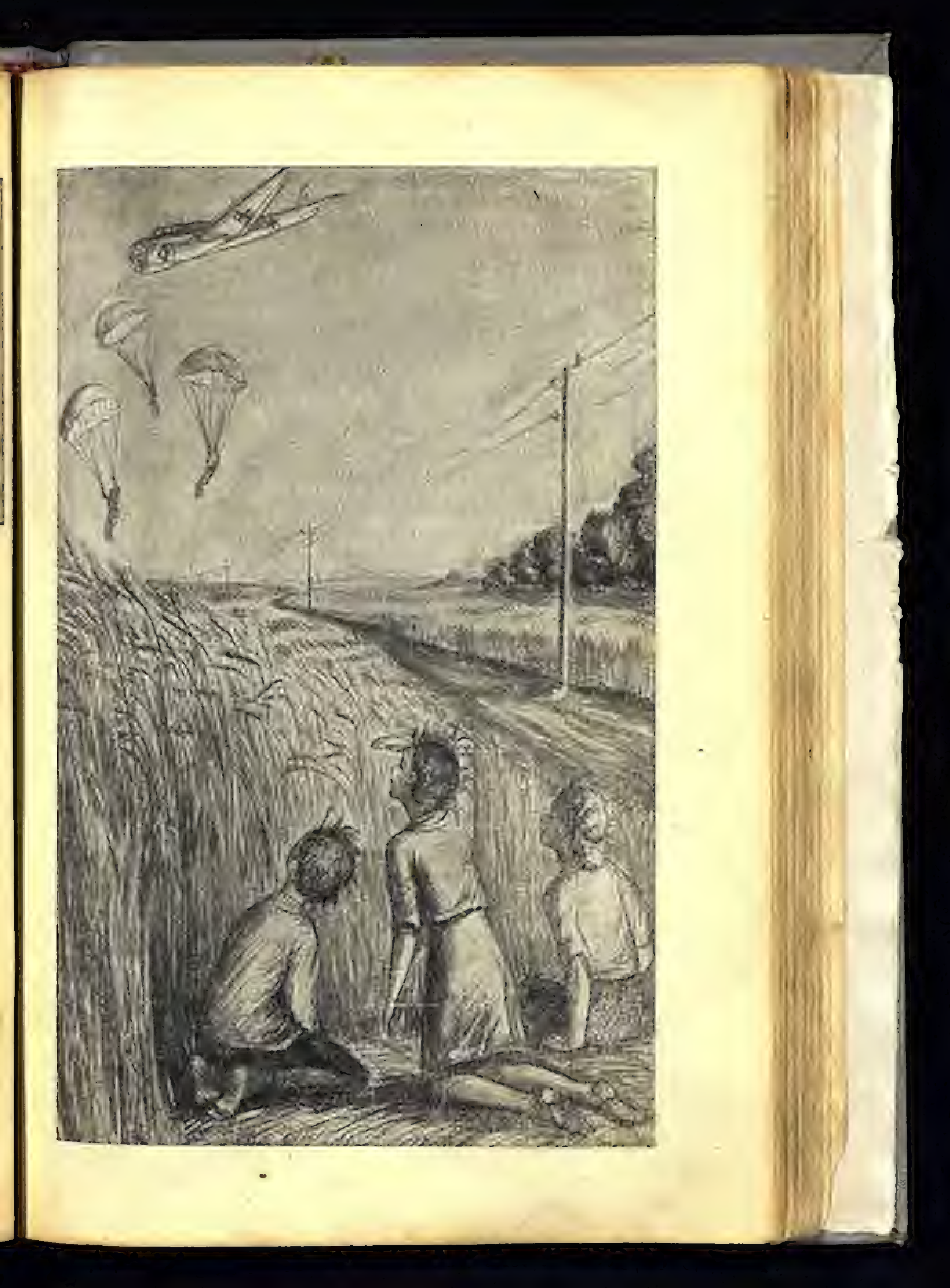
Тогда вдруг что-то зашумело. Мы смотрим. Вылетел из-за леса самолет, как будто остановился в воздухе, потом с него прыгнули три человека. Двое мужчин и одна, похоже, женщина. Прыгнули и повисли на парашютах. Покачались, покачались, как игрушечные, а потом приземлились. Самолет улетел. Опять тишина, тишина. Словно ничего и не случилось.

Сашко-маленький как заплачет: «Ой, Феничка, голубочка, мне страшно!» — «Дурень, — говорю, — это же только война! Ты лучше беги по дороге, а Саня побежит напрямик. Скажите, что они уже здесь...»

Энкаведе потом мне говорил, что я не имела права одна оставаться. А как же я могла уйти? Их бы не нашли без меня...

Вдруг я увидела, что по дороге идут два милиционера и ведут какую-то женщину; я очень обрадовалась и выскочила навстречу. Я думала, что это уже поймали парашютистку. Но я сделала ошибку. Мне не надо было выскакивать.

А тогда женщина меня заметила. «Здравствуй, пожалуйста, девочка, я тебе несу конфетку». У милиционера



глаза были страшные, и один из них хромал. Тогда я поблагодарила за конфетку. «Парашютистов видела?» — спросил хромой. Я поняла, как надо отвечать, и молчала.

Женщина сказала: «Это маленькая дикарка, я буду ее приласкать». Я почувствовала у нее под блузкой какие-то железные вещи. Потом она еще сказала: «Ты видела, милая девочка, прыгать с самолета разные люди?»

«Нет, тетя, я ничего не видела, я сидела и плела венок».

Я спросила: «Дядя милиционер, откуда вы идете?»

Милиционер ответил: «Мы из другого района».

Я сказала: «Сразу видно, что вы все из другого района».

Женщина спросила: «А почему?»

Я сказала: «У вас очень чистые ноги».

Женщина ответила: «Мы любим чистоту и порядок».

Я сказала: «Вы очень часто вытираете в дороге пыль с обуви, да?»

Женщина ответила: «Да».

Женщина спросила: «Дорога на станцию?»

Я сказала: «У нас много станций, какую вам надо? У нас есть машинно-тракторная станция, потом есть мелиоративная станция, потом опытная станция, потом противомалярийная станция. Куда вам надо?»

Женщина ответила: «Железная дорога. И не делай, девочка, много говорить,— у нас нет времени...»

Я сказала: «Идите прямо и прямо, поверните направо через село...»

Милиционер не хотел слушать: «Другую дорогу!»

Я сказала: «Можно другой дорогой. Поверните налево, пройдете песок, потом мимо военного лагеря и прямо...»

Но им и эта дорога не понравилась. Они не знали, что там никакого лагеря нет, это я все нарочно выдумала.

Женщина спросила: «Где твой папа?»

Я сказала: «Отца нет».

Женщина спросила: «Арестован?»

Я сказала: «А если да?»

Она тогда обрадовалась: «Веди нас к маме, у нас есть от папы письмо».

Я спросила: «А как ваша фамилия?»

Она сказала: «Молчи, пожалуйста».

Я сказала: «Хорошо, я вас поведу к маме. Только надо позже, когда стемнеет, чтобы никто не видел, правда?»

Милиционер сказал: «Ты — умная девочка...»

Я сказала: «Да».

Женщина сказала: «Мы тебе не сделаем плохо».

В это время я увидела далеко машину и стала им показывать совсем в другую сторону: «Смотрите, смотрите! Кто-то едет!»

Они бросились прочь от дороги и потащили меня за собой. Все трое легли в пшеницу и меня положили рядом. Я лежу себе в венке, и мне в первый раз стало страшно. Они все вытащили револьверы и что-то между собой сказали.

Я услышала, как близко проехала машина, и сразу же высоко подбросила мой венок. Женщина тогда схватила меня за горло и закрыла мне рот.

Но мой венок все равно увидели. Наши соскочили с машины и бросились туда, где упал венок. Женщина хотела выстрелить в наших, но я ударила ее по руке, и она выстрелила вверх. А хромой выстрелил в меня...

Мне совсем не больно, дядя доктор. Я себя чувствую очень хорошо. Это мама в коридоре сидит и плачет? А чего? У нас ведь война с фашистами! И я совсем не маленькая девочка, правда?

ЮРИЙ ЯНОВСКИЙ

(Перевод с украинского)

★

Рассказ танкиста

Был трудный бой. Все нынче, как спросонку,
И только не могу себе простить:
Из тысяч лиц узнал бы я мальчонку,
Но как зовут, — забыл его спросить.
Лет десяти — двенадцати. Бедовый.
Из тех, что главарями у детей,
Из тех, что в городишках прифронтовых
Встречают нас, как дорогих гостей,
Машину обступают на стоянках.
Таскать им воду ведрами — не труд,
Выносят мыло с полотенцем к танку,
И сливы недозрелые суют...
Шел бой за улицу. Огонь врага был страшен,
Мы прорывались к площади вперед.
А он гвоздит — не выглянуть из башен,
И чорт его поймет, откуда бьет.
Тут угадай-ка, за каким домишком
Он примостился. Столько всяких дыр.
И вдруг к машине подбежал парнишка:
— Товарищ командир! Товарищ командир!
Я знаю, где их пушка, я разведал...
Я подползал, они вон там, в саду...
— Да где же? Где?.. — А дайте я поеду
На танке с вами, прямо приведу!
— Что ж, бой не ждет. Взлезай сюда, дружище.
И вот мы катим к месту вчетвером.
Стоит парнишка — мины, пули свищут, —



Герой Советского Союза Рокофулло. Рис. худ. П. Парамонова

И только рубашонка пузырем.
Подъехали. «Вот здесь!». И с разворота
Заходим в тыл и полный газ даем.
И эту пушку заодно с расчетом
Мы вмяли в рыхлый, жирный чернозем.
Я вытер пот, душила гарь и копоть,
От дома к дому шел большой пожар.
И, помню, я сказал: «Спасибо, хлопец!»
И руку, как товарищу, пожал...

Был трудный бой. Все нынче, как спросонку,
И только не могу себе простить:
Из тысяч лиц узнал бы я мальчонку,
Но как зовут, — забыл его спросить!

А. ТВАРДОВСКИЙ





„Идея захвата и ограбления чужой страны, во имя чего собственно и ведут войну немцы, должна породить и действительно порождает в немецкой армии профессиональных грабителей, лишенных каких-либо моральных устоев и разлагающих немецкую армию".

И. СТАЛИН.

„Уже одно то, что в своей моральной деградации немецкие захватчики, потеряв человеческий облик, давно уже пали до уровня диких зверей, — уже одно это обстоятельство говорит за то, что они обрекли себя на неминуемую гибель".

И. СТАЛИН.

VI



Они не вернутся с востока

1

Над всей степной землей густая пыль клубится.
На пепелищах пляшет воронье.
Народам мира ты, народ-убийца,
Что скажешь в оправдание свое?
Где ты прошел, там кровь и трупов горы
И явь, страшней, чем бредовые сны.
Кто звал тебя в цветущие просторы
Свободной, мирной, солнечной страны?
Иссякла сила духа, что взрастила
Плеяду светлых гениев земли.
На смену им пришел дикарь Атилла,
И внуки волчьей шерстью обросли.
Где ты прошел, там слезы, кровь и злоба.
И проклят миром твой разбойный род.
Когда б великий Гете встал из гроба,
Он не узнал бы свой родной народ.
Подслушав сердцем жалобы и стоны,
В кромешной тьме коричневых ночей
Он проклял бы родительское лоно,
Извергшее убийц и палачей.

2

В смертном ознобе под ветром трепещет осина.
Окна распахнуты настежь. Темная хата пуста.
Мать причитает над трупом убитого сына.
Вдаль, без пути, без дороги, тихо бредет сирота.

Ворон-могильщик, от пепла горячего серый,
Падает в черную ночь с обгорелых ворот...
Пламенем, сталью и местью, не знающей меры,
Будет платить по кровавому счету народ.
Ненависть в сердце, как порох сухой, пронесли мы.
Скоро окрепнут морозы. В поле завоет пурга.
Воины-мстители встанут — яростны, неумолимы,
Грозной, карающей силой выйдут по следу врага.
Будет земля под ногами врага расступаться,
Мстящее пламя пройдет от стрехи до стрехи.
Горе вам, девушки Шлезвига, Шварцвальда, Граца!
Не возвратятся с востока в свадебный день женихи.
Смерть их настигнет в каждом лесу и долине,
Каждое дерево встретит смертным ожогом ружья.
Горе вам, жены в Мюнхене, Кельне, Берлине!
Не возвратятся с востока к вашему крову мужья.
Смерть их настигнет, в какую ни прятались щель бы,
Ярость сожжет их, как жжет сорняки суховей.
Горе вам, матери с Одера, Рейна и Эльбы!
Вам не дождаться с востока, вам не встречать сыновей.
Не возвратится ваш выводок волчий с востока,
Орды пришельцев утонут в черной горячей крови.
Именем жизни клянемся — мстить, истребляя жестоко,
И ненавидеть клянемся — именем нашей любви.

3

Без конца и без края багровые зарева.
Тяжелы по дорогам чужие шаги.
Что же? Рви, издевайся, ломай, разбазаривай,
Наши теплые гнезда без жалости жги.
Нет пощады ни хрупкому детству, ни старости.
Опозорена дочь на могиле отца.
Не уйдешь ты, палач, от карающей ярости,
Что обуглила русские наши сердца.
Все, что втоптано в грязь, сожжено и загублено,
Синий трупик младенца и мертвый завод,
В русском сердце дымящейся раной зарублено,
Вопиет о расплате, возмездия ждет.

Гнев взметнется огнем над кровавыми сворами.
Голова чужеземца повалится с плеч.
Видишь — Русь над умытыми кровью просторами
Подняла богатырский, карающий меч.

4

Чтоб снова песнею могучей
Гремел труда победный шаг;
Чтоб в древнем Киеве над кручей
Взвился сквозь ветер красный флаг;
Чтоб над Москвой и Ленинградом
Сверкали мирные огни —
Срази врага. Добей прикладом
И через труп перешагни.

5

Курганами славы покрыта родная равнина,
И Днепр, и Морава, и Висла, и Волга-река.
Ты лжешь, чужеземец, что медленна кровь славянина,
Что в грозное время душа славянина кротка.
От нас убегали монгольские орды Мамая.
Солдат Бонапарта мы в наших снегах погребли.
На полчища Гитлера кованый меч поднимая,
Мы грудью прикрыли просторы славянской земли.
С Придонья до Вислы, от Волги до Савы и Дравы
Коврами цветов мы покроем над кровью луга.
Могилы славян вознесутся курганами славы,
И пахаря плуг разравняет могилу врага.

АЛЕКСЕЙ СУРКОВ

★

Бешеные волки

В далекие идиллические времена Адольф Гитлер увлекался невинным делом — живописью. Таланта у Гитлера не оказалось, и его забраковали как художника. Возмущенный, Гитлер воскликнул: «Вы увидите, что я стану знаменитым!» Он оправдал свои слова. Вряд ли можно найти в истории нового времени более знаменитого преступника. В крохотной рыбацкой деревушке норвежка, оплакивая сына, расстрелянного немецкими фашистами, повторяет: «Гитлер», и на другом конце Европы серб, деревню которого сожгли немцы, с ненавистью говорит: «Пес Гитлер!..» На совести этого неудачливого живописца миллионы человеческих жизней.

Человек среднего роста, с усиками, с мутными глазами, никогда не глядящими на собеседника. У него хриплый, неприятный голос; в речах он переходит в лай. Говорит он истерически, потрясает кулаками, входя в раж, выплевывает скороговоркой длинные заклинания. Это шаман, но шаман особого типа — хитрый и расчетливый. Толпе кажется, что он в экстазе, но он, брызгая слюной, что-то прикидывает. Когда он беседует с Круппом или с заправилой «Стального треста», господином Феглером, не кричит и не плюется — он привык почтительно разговаривать с королями Рура.

Его страсть — ложь. Он лжет ежечасно, лжет дипломатам и своим сподручным, лжет, когда пишет и когда говорит, — он не может не лгать. Он жал руки французским министрам и вслед за этим говорил: «Франция — вот мой смертельный враг!» Он кричал на митинге: «Для меня священны идеалы немецкого рабочего» и тотчас шептал Штрассеру: «Рабочие не хотят ничего, кроме хлеба и зрелищ — у этих людей нет идеалов». Хлеба рабочим он не дал: перевел всех на паечную восьмушку. Зато он щедр на зрелища: разрушенная Европа. Он начал свою политическую карьеру скромно: был шпиком на рабочих митингах. Он кончает ее, как Нерон,

который поджег Рим и воскликнул: «Великий артист погибает!..»

Он мстителен и злобен. Он убил своих лучших друзей во главе с Ремом. Он приказал пытать журналистов, которые когда-то непочтительно о нем отзывались.

Это дурной комедиант. Он построил себе дворец на горе. Закоренелый убийца, он вегетарианец: его оскорбляют страдания ягнят и волов. При нем нельзя курить, и этот человек, который провел десять лет в накуренных пивнушках, не смущаясь, говорит: «Никто никогда не курил в моем присутствии». Он любит сниматься с детьми и собаками — хочет показать, что у него «нежная» душа. Гиммлер ежедневно представляет ему доклады о пытках, о казнях. Он написал: «Нет выше наслаждения, чем подвести поверженного соперника под нож».

Он ненавидит Россию и русский народ. Он заявил: «Народ, который считает Толстого великим писателем, не может претендовать на самостоятельное существование».

С начала войны он лишился сна. Его глаза стали еще мутнее. Шведский журналист, который был к нему недавно допущен, пишет: «Гитлер производит впечатление человека, потерявшего душевное равновесие». Швеция — нейтральная страна, и журналист выражался корректно. Гитлер производит впечатление буйно помешанного. В первую зиму войны он выступил в мюнхенской пивной с очередной кликушеской речью. Полчаса спустя в пивной взорвалась адская машина. Судьба не захотела, чтобы он погиб столь легкой смертью.

Он снялся в Париже на фоне Эйфелевой башни. Он приехал в пустой город тайком, как вор. Его охраняли пулеметы — от пустых улиц, от парижских камней. Теперь он больше не уснет — ему не помогут никакие снотворные. Он мечется по своему дворцу: он видит танки, подбитые на дорогах Полесья. Он видит близкую расплату.

Сподвижник Гитлера маршал Герман Геринг спесив, как индюк. Он обожает титулы и ордена. Еще больше он обожает деньги. Он стоит во главе металлургического треста «Герман Геринг» — он наживается на каждой пушке, на каждом снаряде. У Геринга в бразильском банке текущий счет, и на этом счету миллион двести пятьдесят тысяч долларов — маршал отложил доллары на черный день, когда Гитлера и его шайку выгонят из Германии.

Вполне естественно, что этот человек провозгласил: «Лучше пушки, чем масло» — он считал дивиденды. Он чрезвычайно тучен. На одном из собраний, перед отощавшими берлинцами, которые давно забыли, что такое масло, Геринг, хлопнув себя по огромному животу, воскликнул: «Видите, и я похудел, я отдал несколько кило дорогому отечеству!»

Геринг — один из крупнейших капиталистов Германии.

Теперь он прикарманил бельгийские и французские заводы. Война для него выгодное дело. Это не мешает ему говорить: «Мы сражаемся против плутократии».

Он кровожаден, как его хозяин. Он публично заявил: «Мое дело не наводить справедливость, а уничтожать людей». Он любит парадные казни. Он обдумал ритуал: палач должен быть в черном сюртуке, в черных перчатках, в цилиндре. Палач отрубает голову топором — как в средние века. А Геринг смотрит и улыбается.

У него в Берлине шесть квартир. В одной из них, скромной, тридцать две комнаты.

Он любит «мокрые» дела. Он поджег рейхстаг и обвинил в поджоге коммунистов. Он вывез из Парижа античные статуи — себе в ванную комнату. Он как-то сказал: «Мне все равно куда стрелять, лишь бы выстрелить...» До прихода к власти Гитлера берлинский суд отобрал у Геринга ребенка ввиду того, что отец был признан морфинистом и невменяемым. Честные немецкие судьи не хотели доверить этому спесивому убийце одного ребенка, — Гитлер доверил ему сто миллионов покоренных людей. Геринг сентиментален. Он запретил вивисекцию — опыты над животными и заявил, что виновные в нарушении этого приказа будут посажены в концлагери. Как смеют ученые терзать морскую свинку! Всыпать им сто горячих!

Доктор Геббельс с виду похож на отвратительную обезьяну: крохотного роста, гримасничает, кривляется. В отличие от маршала Геббельс вложил свои сбережения в аргентинский банк. Там у него припасено свыше миллиона долларов. Говорят, что обезьяны легкомысленны, но доктор Геббельс думает о своем будущем.

Гитлер начал с картинок, Геббельс — с романов. Увы, и ему не повезло. Его романы никто не покупал. Геббельс потом разъяснил: «Это были козни марксистов».

В своем главном романе Геббельс поносил русских. Породистый немец Михель говорит русскому с несколько вычурной фамилией Венуревский: «Вас надо покорить, истребить...» Вряд ли доктор Геббельс теперь отправился «истреблять» русских: это отъявленный трус, который, даже когда нет тревоги, забирается в бомбоубежище.

Гитлер поручил доктору Геббельсу высококультурное дело — народное просвещение. Выбор был сделан не случайно — ведь Геббельс заявил: «Когда при мне заговаривают об интеллекте, мне хочется выхватить револьвер». Приступив к работе, Геббельс сжег на кострах двадцать миллионов книг — он мстил читателям, которые предпочитали какого-то Гейне Геббельсу. Он говорил: «Меня тошнит от печатного слова». Это не вполне точно — свои печатные слова он обожает. Он выгнал из Германии всех писателей. Зато, когда

гитлеровцы вошли в Париж, в газете на французском языке, которую они начали издавать, было напечатано: «Величайшим благом для французской культуры будет ознакомление с трудами Геббельса».

У шайки есть свой философ — балтийский немец, дворянин Альфред Розенберг. Он закончил образование в Москве в 1918 году. Да, в голодный год этот остзейский проходимец ел русский хлеб. Потом он набил себе руку на поношении русского народа. Он писал: «Обуздаем народ, отравленный Толстым!» Он торговал Советской Украиной, как будто она лежит у него в кармане. Он написал большой философский опус «Миф двадцатого века» — компиляцию из брошюр русских черносотенцев. Он приютил банды белогвардейцев — он мечтает стать Бироном или Минихом. Приехав в захваченный гитлеровцами Париж, Розенберг потребовал, чтобы ему устроили доклад в здании, где прежде помещался французский парламент: он хотел унизить французский парламент, он хотел унизить французский народ. В своей речи он сказал, что идеи французских просветителей «нужно выбросить в мусорный ящик». Он «выкидывал» идеи, а сам объезжал парижские магазины и «закупал» различные сувениры.

До войны он состоял во главе особого ведомства, которое занималось шпионажем и диверсиями. Он требовал «освобождения немцев, которые томятся под игом чехов и французов». Однако особенно его привлекала Украина; он хотел обязательно освободить Украину от украинцев. Теперь он главный советчик Гитлера: ведь герр Розенберг говорит по-русски, и он выпил на брудершафт со всеми царями, претендующими на российский престол.

Генрих Гиммлер не интересуется философией; это практик — он стоит во главе тайной полиции, «гестапо». Его занимают слежка, концлагери, пытки и казни. В одной Германии он посадил под замок миллион антифашистов. Потом он приступил к другим странам. Он организовал гестапо в Париже, в Осло, в Белграде. Он стал пытать людей в европейском масштабе. Это садист в очках, тщедушный и отвратительный. Он был «чрезвычайным комиссаром» в Польше: убивал поляков, пытал польских патриотов, жег деревни, порол стариков, выдавал солдатчине девушек. Он гордо сказал: «Крамола и я несовместимы», — эти палачи любят исторические фразы. Впрочем, как и другие представители гитлеровской шайки, Гиммлер отнюдь не верит в победу Германии. Он спешно перевел свыше двух миллионов долларов в Аргентину. Теперь этот палач с восьмилетним стажем сидит в немецком обозе и ждет — ему мерещатся виселицы, плаха, застенки. Может быть, в минуты просветления он утешает себя... как-никак, его доллары далеко—в Буэнос-Айресе...

Фон Риббентроп — дипломат. Его выпускают для разговоров с приличными людьми — ведь у фон Риббентропа приличные манеры. Прежде он был представителем крупной торговой фирмы — продавал шампанское. Он привык расхваливать любой товар. Он расхваливал когда-то поддельное немецкое шампанское. Теперь он расхваливает «миролюбие и гуманизм» своей шайки.

Когда фон Риббентроп был в Лондоне, англичане, как спортсмены, держали пари — кто дольше высидит в комнате, где находится фон Риббентроп. Когда за год до войны фон Риббентроп приехал в Париж, полиция очистила все улицы — правительство боялось, что физиономия фон Риббентропа выведет из себя парижан. Сиятельный комми-вояжер, увидев идеально пустой Париж, не смутился, он даже сказал: «На этот раз Париж мне особенно понравился». Полтора года спустя он снова приехал в Париж и снова увидел пустой город: теперь не пришлось очищать улицы — в столице не осталось населения, люди ушли, чтобы не жить под ярмом гитлеровской банды. Зрелище пустых улиц не огорчило фон Риббентропа, он поехал обедать — его ждали полные бутылки с настоящим французским шампанским.

Вот главные представители той шайки, которая правит Германией и которая теперь, с помощью шантажа, хитрости и наглости, захватила десяток чужих государств. Говоря о Гитлере и о гитлеровцах, будущий историк должен будет заглянуть в учебник зоологии — это звери. В их руках покоренный или обманутый ими немецкий народ. В их руках немецкая техника — самолеты и танки. С ними незачем спорить, их надо уничтожить, как свору бешеных волков.

Они вышли из своего леса, кинулись на наши города. Волков надо истребить. Их не спасут ни танки, ни сейфы в Рио-де-Жанейро.

ИЛЬЯ ЭРЕНБУРГ

★

Военнопленные

Их батальон посадили в вагоны в Париже и отправили на восток. Они везли с собой награбленные во Франции вещи, французское вино и французские автомашины.

От Минска к линии фронта они шли походным порядком, так как автомашины были оставлены в Минске из-за отсутствия бензина. Опьяненные победами германского оружия и французским вином, они двигались по пыльным дорогам Белоруссии, закатав рукава мундиров, расстегнув воротники. Каски их были привешены к поясам, открытые потные головы сушило ласковое солнце и теплый ветерок чужой России. Во флягах пока еще плескалось вино, и солдаты бодро шли по улицам выжженных советских деревень и громко пели похабную ротную песенку о том, что красивая француженка Жанна впервые увидела настоящих солдат и впервые вдоволь познала настоящих мужчин только тогда, когда немцы вступили в Париж.

Потом, днем и ночью, на марше и на отдыхе, их стали тревожить партизаны. За шесть дней батальон в перестрелках потерял около сорока человек убитыми и ранеными. Исчез посланный в штаб мотоциклист. Исчезли шесть солдат и один обер-ефрейтор. Они отправились в ближнюю деревню добыть для роты что-либо съестное и не вернулись. В батальоне все реже пели о красивой и оставшейся довольной немцами Жанне. Здесь немцами были недовольны. Жители при вступлении батальона в разрушенные деревни убегали, прятались в лесах, а те, кого немцы заставали в жилищах, были нахмурены и смотрели в землю, чтобы скрыть от солдат ненависть к ним, светившуюся в глазах. Ненависти в случайно пойманных взглядах мужчин и женщин было больше, чем страха. Нет, это была не Франция.

Он — ефрейтор Фриц Беркманн, — если верить его словам, не принимал участия в расправах над мирным населе-

нием. Он считает себя культурным, порядочным человеком и, разумеется, решительным противником ненужной жестокости. И когда однажды подвыпившие солдаты его роты со смехом и шутками потащили в сарай молодую женщину-колхозницу, он, чтобы не слышать ее криков, ушел со двора. Женщина была молодая и сильная. Она здорово сопротивлялась, в результате чего один солдат лишился глаза. Остальные все же справились с ней. Но после того, как ее изнасиловали, окривевший солдат убил ее. Ефрейтор Беркманн, узнав об этом, был ужасно возмущен. Сам он ни за что не смог бы совершить подобной гнусности. У него в Нюрнберге остались жена и двое детей, и он не хотел бы, чтобы с его женой когда-либо поступили подобным образом. Однако не может же он отвечать за действия скотов, имеющихся, к сожалению, в немецкой армии. Когда он сообщил о происшедшем своему лейтенанту, тот пожал плечами — война есть война — и приказал Беркманну не лезть к нему с пустяками.

Прямо с марша батальон бросили в бой. Двадцать шесть суток солдаты не вылезали из окопов. В роте Беркманна от ста семидесяти человек осталось тридцать восемь. Солдаты были удручены огромными потерями. Нет, не о такой войне с русскими думали они, когда ехали из Франции, горланя песни. Офицеры говорили им, что Россию они пройдут так же легко, как нож проходит сквозь масло. Все это оказалось хвастливой болтовней, и многие из офицеров, говоривших подобные слова, теперь уже ничего не скажут: пули русских стрелков и осколки русских снарядов прошли сквозь их тела воистину с той самой легкостью, с какой проходит сквозь масло нож.

Беркманн взят в плен сегодня утром, во время нашей атаки. Перед тем как вести его в нашу землянку, красноармейцы плотно завязали ему глаза бинтом.

— Вы меня хотите расстрелять? — дрогнувшим голосом спросил Беркманн.

Но красноармейцы, не зная немецкого языка, ничего не ответили на вопрос.

На подгибающихся от страха ногах Беркманн вошел в землянку. С глаз его сняли повязку, и он, увидев мирно сидевших за столом людей, вздохнул хрипло, всей грудью, и с таким облегчением, что мне стало как-то не по себе.

— Я думал, что меня ведут на расстрел,—объясняя свой невольный вздох, пролепетал пленный и тотчас стал навытяжку. Его пригласили сесть. Он опустился на стул, положив руки на колени.

Вот он сидит перед нами, этот ландскнехт нацистской Германии, и подробно отвечает на все вопросы.



Военнопленные немцы. *Рис. с натуры худ. Н. Жукова*



Пленный немец. Рис. с натуры худ. И. Титкова



Пленный гитлеровец. Рис. с натуры худ. И. Титкова



Группа пленных немцев. Рис. с натуры худ. Н. Жукова

Он все еще никак не может успокоиться после пережитого волнения. Щеку его подергивает нервный тик, руки, лежащие на коленях, дрожат. Он всеми силами старается подавить свое волнение и скрыть дрожь, но это ему плохо удается. Только после того, как он с жадностью выкуривает предложенную ему папироску, к нему приходит уравновешенность.

У него светлые курчавые волосы. Широко поставленные голубые неумные глаза. Он — безусловный ариец, изрядно потрепанный войной и очень голодный. В день им выдавали по три папиросы, немного хлеба и полкотелка горячей пищи. Горячую пищу не всегда можно было подвезти, и они отчаянно голодали.

Что он думает об исходе войны с Советской Россией? Он считает это предприятие безнадежным. Фюрер совершил ошибку, напав на Россию. Это — очень большой кусок, которым бедная Германия может подавиться. Здесь он, ефрейтор Беркманн, имеет возможность свободно высказать свое мнение, чего никак не мог сделать в своей части, так как члены нацистской партии засекречены и шпионят за солдатами. Всякое неосторожно высказанное слово приведет под дуло винтовки. Лично он думает, что надо было окончательно побить Англию, отобрать у нее колонии и на этом поставить точку.

Впечатления его о занятой советской территории сводятся к одному: маловато продуктов. Все, что было у населения, съели передовые немецкие части. Найти курицу — счастье. Почти с ненавистью говорит он о своих танкистах и подвижных частях: «Эти скоты очищают все, после них идешь, словно в пустыне».

Тяжело говорить с ефрейтором Беркманном. От циничных слов этого грабителя в солдатском мундире, истерически болтливого и тупого, в землянке становится еще душнее, тянет выйти на воздух. Мы прекращаем разговор.

В заключение он, поднявшись и стоя навытяжку, говорит о том, что два часа назад на допросе он честно рассказал советскому командиру о расположении и численности своего батальона, штаба и склада боеприпасов. Он сказал все, что знал, так как является убежденным противником войны с Россией. Сообщенные им сведения при проверке безусловно подтвердятся, а потому он просит дать ему возможность уведомить жену, что он находится в плену, и, если это возможно, покормить его еще, так как последний раз ему давали пищу семь часов назад.

Двадцатилетний, безусый юноша. Гладко прилизанные волосы, синие прыщи на лице и юркие, вороватo бегающие глаза. Член германской национал-социалистской партии. Танкист. Был во Франции, в Югославии, в Греции. Танк его

вчера в бою подорвал красноармеец связкой ручных гранат. Выскочив из машины, отстреливался. Ранен четырьмя пулями. Раны легкие. Изредка морщится от боли, но держит себя с нахальным, напускным мужеством. Отвечая на вопросы, не поднимает глаз. На некоторые вопросы категорически отказывается отвечать, но зато обстоятельно, заученными фразами говорит о превосходстве германской нации, о неполноценности французов, англичан, славянских народов. Нет, это не человек, а плохой пирог с дурно пахнущей начинкой. Ни одной своей мысли, никаких духовных интересов. Спрашиваем, знает ли он Пушкина, Шекспира. Он морщит лоб, думает, потом задает вопрос: «Кто это такие?» — и, получив ответ, кривит тонкие губы презрительной усмешкой, говорит:

— Не знаю и знать не хочу. Не испытываю в этом надобности.

Он уверен в победе Германии. С тупым, идиотическим упрямством он твердит:

— К зиме наша армия разделается с вами и тогда со всей силой обрушится на Англию. Англия должна погибнуть.

— А если Россия и Англия разделаются с Германией?

— Этого не может быть. Фюрер сказал, что мы победим, — глядя себе под ноги, отвечает пленный. Он отвечает, как неумный ученик, твердо заучивший урок и не утруждающий себя излишними размышлениями.

Что-то фальшивое, неправдоподобно-уродливое есть в облике этого немецкого юноши, и только одна фраза звучит у него по-настоящему искренно:

— Жаль, что моя военная карьера прервана...

Безнадежно развращенный гитлеровской пропагандой, молодой мерзавец не устал убивать. Он только что вошел во вкус убийства, он еще не нанюхался вволю чужой крови, а тут — плен. И вот теперь он сидит перед нами навсегда обезвреженный, смотрит глазами затравленного кровожадного хорька, и слепая ненависть к нам раздувает его ноздри.

Шесть военнопленных немецких солдат под охраной красноармейца вышли из палатки, присели на покрытую хвоей землю. Их только что привели сюда, забрав в плен. Мундиры их залатаны и грязны, у одного подошва сапога прихвачена проволокой. Они не умывались шесть дней. Этой возможности лишила их наша артиллерия. Лица их мрачны и покрыты коркой засохшей грязи. Они обовшивели, сидя в окопах, и теперь, не стесняясь, почесываются, скребут головы черными пальцами. Лишь один из них, черноволосый красивый парень, довольно улыбается и, обращаясь ко мне, говорит:

— Для меня война кончилась. Я счастлив оттого, что так удачно попал в плен.

Им приносят в котелках горячий борщ.

Как звери, набрасываются они на пищу и, обжигаясь, чмокая, почти не прожевывая, глотают торопливо, жадно. Двоим из них не принесли ложек. Не дожидаясь, когда принесут ложки, они запускают в котелки грязные ладони, пальцами вылавливают гущу и отправляют ее в рот, запрокидывая головы и блаженно щурясь.

Насытившись, они встают, отяжелевшие и сонные. Коренастый обер-ефрейтор, подавляя отрыжку, говорит:

— Спасибо. Большое спасибо. Не помним, когда в последний раз мы так плотно наедались.

Переводчик говорит, что седьмой по счету пленный отказался от пищи и сейчас сидит в палатке. Проходим в палатку. Пожилой немецкий солдат, давно небритый и очень худой, встает при нашем появлении, опускает большие мозолистые руки по швам. Спрашиваем, почему он отказывается от обеда.

Дрожащим от волнения голосом солдат говорит:

— Я — крестьянин. Мобилизован в июле. За два месяца войны я вдоволь насмотрелся на произведенные нашей армией разрушения, на брошенные поля, на все, что сделали мы, идя на восток... Я лишился сна, и кусок не идет мне в горло. Знаю, что так же мы разорили почти всю Европу и что за все это Германии придется нести страшную расплату. Не только этой собаке — Гитлеру, но всему германскому народу придется расплачиваться. Вы понимаете меня?

Он отворачивается и долго молчит. Что ж, это хорошее раздумье. И чем скорее сознание тягчайшей ответственности и неизбежной расплаты придет к немецким солдатам, тем ближе будет победа демократии над взбесившимся гитлеризмом.

МИХАИЛ ШОЛОХОВ

★

Чужеземец

Германцы! — прибежали дети.

И тотчас село Иванкивка осветилось пожаром. Горели подожженные зажигательными снарядами крайние хаты.

Любит немец въезжать в огненные ворота.

С трех сторон влетели мотоциклетки и, с ходу, автоматчики прострочили все село вдоль и поперек трассирующими пулями. Пали люди, кони, псы да петухи, — все, кто повстречался красным пулям.

И поднялся шум, как при землетрясении. Над селом свистят ракеты. Ракеты, ракеты, ракеты. Сумасшедшие мотоциклетки прутся прямо в хаты. Сбивая яблоки и вишни, в сады въезжают танки. Тычут кони морды в окна и рычат. А на пороге немец.

Сначала в хату заглянул автомат, а за ним уже появился и немец. Жирный, рыжий немец, настоящий Фриц. Автомат на пузе. Фриц совершенно обалделый.

— Русс солдат?

Все молчат.

Деду старому, безрукому:

— Русс солдат?

Люльке:

— Русс солдат?

Автомат впереди, за ним Фриц. Он лезет под печь, на печь, в углы и все время выкликает:

— Русс солдат?

И только убедившись, что в хате нет русс солдат, он закричал:

— Яик! — у него появился аппетит. (Русский солдат отбивает у немца аппетит.)

— Яик! Яик! — кричит немец старухе.

И вот начинается разговор между немцем и украинской бабой.

— Немае, — отвечает старуха.

— Буттер! Масло, масло, — лает немец, наступая на старуху.

— Немае.

— Шпиг, шпиг?

Никто не понимает.

Старуха несет иголку.

— Шпиг, шпиг! — Фриц вне себя.

Он разворачивает платочек, в котором кусочек сала, и торжественно провозглашает:

— Шпиг! Шпиг!

Но старуха так же спокойно отвечает:

— Немае.

— Немае, немае, — кричит немец. — Вас ист дас «немае»?

И немец лает, лает, требует что-то по-своему, но откликается только собака. Никто не понимает чужеземца.

— Ты толком говори, — откликается дед с печи.

Немец плюет от ярости и рыщет по хате.

Он заглядывает в печь и сует нос в горшки.

Борщ. Немец нюхает:

— Фуй!

Он опускает нос во второй горшок, где кулеш. И снова недоволен:

— Фуй!

Поднимается пар над крестьянским обедом. Фыркает немец.

— Щи да каша — пища наша, — откликается дед с печи.

— Щи да каша, — кричит немец. — Швайн! Свинья!

Не нравится немцу русский обед. Готовь баба немцу немецкий обед.

Немец заглядывает в квашню. Пеки баба немцу пироги!

Немец лезет в погреб. Насолила баба немцу огурцов.

Немец лезет на чердак. Насушила баба немцу груш.

Куры спали на насесте. Немец разбудил.

— Не время спать! — и саблей отрубил головки, лишь брызнула кровь до потолка.

Петух проснулся и впервые за всю свою петушиную жизнь закукарекал в сумерках. Но не докончил: немец отрубил и его хвастливую голову. Сразу тихо стало в хате и пусто. Вдруг хрюкнул где-то поросенок. Фриц заглянул под лавки, в углы, даже под образ Христа спасителя.

Немец вне себя:

— Шпиг! Шпиг!

Он вытянул шею и прислушался. Хрюкнуло под печью. Фриц вытащил мешок, из которого, жмурясь, вылез розовый поросенок. Фриц от удовольствия поднял страшный крик. Прибежали еще два немца с торбами, спрашивают Фрица, что случилось. Но Фриц хрюкает вместо ответа. Он от радости говорить разучился. Но те двое вдруг увидели не-

вскрытый сундук. Это была высокая украинская скрыня, окованная желтыми медными полосами, которая переходит от деда к правнукам и живет столько же, сколько род. Она стояла в красном углу, под образом, освещенная лампадкой, как святыня крестьянского рода.

— О! О! — закричали оба немца сразу.

— О! — повторил Фриц, у которого вдруг открылись глаза на сундук.

Три немца стоят над сундуком и колдуют. Не открывается немцу старинная скрыня. Они ломом бьют, ломом разбивают. Тухнет лампадка под образами, открывается сундук. И немцы все сразу заглядывают. Раздается крик Фрица:

— Цукер! Цукер!

И не только эти три, но и проходившие на улице немцы высунули языки, словно упрашивая обсыпать их сахаром. Давно, давно им не было сладко.

Каждый подставляет свой мешочек, и они делят сахар, Фриц рассыпает и себе в мешочек сыплет побольше.

Из-за куска мыла у них поднимается спор. Все вдруг начинают чесаться, а Фриц больше всех, доказывая, что ему мыло нужнее. Наконец они разрезают мыло на три равных куска и перестают чесаться. Фриц вытащил старушечий теплый капор с лентами. Он надевает капор на свою рыжую голову. Остальные ведут его, как невесту, к зеркалу, поправляют капор на голове и хохочут. Но капор Фриц все-таки забирает. Старушечий капор под железной немецкой каской!

Вытащил немец вышитую рубаху. Дед надевал ее только в светлые праздники. И рубахе вот уж двадцать лет, а она все новая, и красная стежка горит, как кровь.

А на селе перестрелка. Трубят гуси, орут бабы, лают псы да немцы. Один за другим приходят в хату немцы, в пуху и перьях, в петушиной крови, и бросают старухе окровавленную птицу. Срубили немцы за хатой три яблони, — еще прадед посадил, дабы внуки ели яблоки и вспоминали, что жил на свете прадед. Подбросили еще в печку книги, ученические тетради, дорогие крестьянскому сердцу фотографии, накалили плиту. Трещит плита, летят искры.

— Пане, пане, — кричит старуха.

А они подбрасывают дров!

— Гори, гори, изба чужая!

Жара, как в бане. Разувается, раздевается, оголяется солдатня. Чешутся у огня и хрюкают, будто понапускали полную хату свиней.

Снял и Фриц свою проржавевшую каску.

Кто греет ноги, кто пузо, — каждый по своему характеру. А Фриц, утомившись чесаться, подставил огню свою рыжую голову. И кажется, горит его рыжая голова.

Развязали немцы мешочки, повытаскивали свои немецкие кастрюльки да чашки глубокие, тащат вилочки, ножики, — понавезла немчура чем кушать.

Пар над столом. Ломится стол от кушаний.

Десять немцев сидят за столом. Поснимали фляжки со своей немецкой бурдой (воды на Украине немец боится), жрут и запивают.

Шум, как на ярмарке. Кричат и показывают друг другу, что у них на тарелке, свистят и, жуя полным ртом, по-немецки весь свет ругают. Орут друг на друга, как на коней, и хвастаются друг перед другом: то один поднимет цыпленка за ножку и грозится проглотить сразу, одним махом, а другой разрывает рыжей пятерней свиную голову и уверяет, что она ему на один зуб; третий бьет яйца и пьет с налету. Выльет в глотку и хохочет, и идет за столом немецкий спор, кто выпьет больше яиц. Четвертый, как журавль, засунул свою тощую голову в крынку со сметаной и, запрокинувшись с ней, пьет и пьет. Вся рожа белая.

Не было еще такого срама в русской избе!

Старая бабка, привыкшая к тишине во время трапезы, плюет во все стороны:

— Тьфу, тьфу, тьфу!

Родная хата! Луной освещенная белая хата с цветами бессмертника между окнами. Родная хата, где выросли поколения крестьян, где посредине, на крюке, висит и всегда качается люлька, и сын крестьянский, как на корабле, отправляется в страну сновидений, в неизведанные края, где когда-нибудь будет на коне и со шпорами. Родная хата, откуда открыты двери во весь мир! Опоганена ты и остужена немцами. Вшами его засыпана. Ходит немец от порога, от стены к стене и рассматривает фотографии. Там чужие, незнакомые лица. В шлемах со звездой, в высоких пилотских фуражках с гербами, в меховых унтах среди белых снегов. Немец тычет пальцем в фотографии:

— Матка! Муж, муж?

— Муж, — отвечает крестьянка.

— Русс солдат? Капут, капут! — и немец хохочет, указывая пальцем в землю.

Фрицу весело оттого, что хозяин хаты в земле.

Немец тычет в другую фотографию:

— Капут!

Так он ходит, рыжий немец, вдоль стены и, указывая на все мужские портреты, ржет:

— Капут! Капут! Капут!

Вдруг он натыкается на географическую карту.

Безрукий дед, бабка, двое ребят, соседка стоят, опустивши головы. Пьяный немец рисует на карте кружки вокруг советских городов и кричит:

— Москва капут! Петерсбург капут!

Разгорячившись, Фриц обводит кругом всю географическую карту и говорит:

— Капут!

Взял охмелевший Фриц со стены гармонь и растянул.

Гармонист, гармонист, удалой ты хлопец! Гармонь твоя в руках у Фрица, играет Фриц на ней проклятую песенку.

Ночь. По хатам немцы, обняв автоматы, с гранатами на поясе, повалились в ряд. Храпят, как в конюшне. Бормочут и чешутся. И бред чужой, и сны чужие. Много глаз глядит на них: облей керосином солому и зажги немецкие сны!

Качается люлька под потолком.

— Кто это, мама, не свинья ли чавкает?

— Спи, мой родный! Спи, мой Василек! То чужеземец жрет! Ой, люли, люли, люли, бом!

— Кто это, мама, не домовой ли?

— Спи, спи, мой родный! Спи, мой Василек! То чужеземец храпит. Ой, люли, люли, бом!

— Что это, мама, так тихо стало в нашей хате?

— Спи, спи, мой родный! То чужеземец навеки заснул. Ой, люли, люли, бом!

Заиграла труба на рассвете, зарычали моторы по садам-огородам. Проснулся и Фриц, огляделся в свете утра.

Висели на стене крестьянский топор и пила. Пригодится Фрицу в походе. На подводу!

Стояло ведро у колодца. Будет Фриц коней поить. На крючок!

В горшках стояли просо и крупа. Крупу — в мешочек, а просо рассыпал Фриц по двору — в благодарность за ночлег.

Вдруг выскочил кроль и поглядел на немца. Рыжий немец удивился, как он его раньше не заметил. И застрелил на месте. Закатил кроль свои косые глаза. Брошен на подводу. Будет у Фрица обед!

Надел Фриц фляжки, сумки, патронташи, два пуда железа. Снова нахлобучил проржавевшую каску на вшивую голову. Поржавела ты, каска, в русском походе. Загремели железные башмаки:

— Бум, бум, бум!

Фриц в поход пошел.

По-иноземному заиграли барабаны. Разбежались немцы, похватали лампы, разливают керосин и поджигают.

Гори, гори, Украина, за Шиллера и Миллера!

В тумане и дыму лай немцев и псов.

В тумане и дыму идут густые шеренги, черные каски, черные автоматы, как мыши на водопой.

БОРИС ЯМПОЛЬСКИЙ



Василиск

Наши летчики везут немцам гостинцы. Иногда они берут не бомбы, а листовки. В листовках мы говорим немецкому народу: погляди, чем ты был и чем ты стал. Ты был народом Канта и Гете, Маркса и Гейне. Ты стал солдатом шулера Геббельса, бандита Геринга, сутенера Хорста Весселя. Ты был усидчивым тружеником и философом. Ты стал кочевником и убийцей. До Гитлера ты строил больницы и школы, заводы и музеи. С Гитлером ты разрушил Роттердам и Варшаву, Орлеан и Белград.

Тебе лгут, и ты лжешь: ты повторяешь ложь твоих господ. Тебе дают клейкую жижу из опилков и говорят, что это — мед. Ты морщишься, но ешь. Тебе разрешают случаться, как племенному быку, и говорят, что это — любовь. Ты работаешь и ты умираешь ради магнатов Рура, ради прусских помещиков, ради банды хапунов. Тебя уверяют, что это — «социализм». Ты самодовольно пыхтишь и повторяешь на всех перекрестках Европы: «Я—национал-социалист».

Спроси господ Феглера и Круппа, сколько они заработали на войне. Химический трест «J. G.» с начала войны увеличил выпуск акций на сорок три миллиона. Трест «A. E. G.» увеличил свой капитал на сорок миллионов. Два миллиона убитых или покалеченных немцев — с каждого убитого, с каждого покалеченного акционеры «J. G.» или «A. E. G.» получили по двадцать марок чистоганом. Спроси, сколько он заработал на народном горе. Он не ответит. Но финансовый инспектор Бразилии ответил за него: у Геринга в бразильском банке миллион двести пятьдесят тысяч долларов. Ты думаешь, что ты воевал во Франции, чтобы освободить эльзасцев? Нет, ты воевал потому, что концерну Рехлинга нужны были заводы и копи Франции. Ты думаешь, что ты захватил Чехословакию, чтобы спасти судетов? Нет, «германскому» и «дрезденскому» банкам захотелось присвоить банки Чехословакии.

Каждый день в Германии умирают от голода дети. Картофельная кожура стала основой питания. Работницам снятся булки. Они не смеют и во сне мечтать о масле. Но каждый день магнаты Круппа переводят в Бразилию и Аргентину награбленные миллионы. Роскошно живут Круппы и Феглеры. Геринг тратит на своих охотничьих собак сотни тысяч марок. Его кобели едят лучше, чем немецкие рабочие. Ты называешь это «социализмом»? Глупец, ты повторяешь чужую ложь. Ты был народом-диалектиком. Ты стал солдатом-попугаем.

У немецких помещиков огромные поместья. На них работают тысячи батраков. Фельдмаршал фон Браухич называет себя скромно «хуторянином». У этого хуторянина три тысячи га пахотной земли. Его батраки едят пустую похлебку и спят в нетопленных бараках. Таков «социализм» Гитлера.

Немецкие капиталисты хотят овладеть нефтью Баку, пшеницей Украины, нашим марганцем, нашей сталью, нашим лесом. Они говорят тебе: «это — крестовый поход». Значок свастики, похожий на спину паука, они называют «крестом», разбойный набег — «крестовым походом». Они лгут, и они научили тебя лгать. Им нужна бакинская нефть. Твоим офицерам хочется получить по сто га нашего чернозема или должность гаулейтера в России: они воюют, чтобы грабить. Да и ты к нам пришел с мешком для добычи. Стыдно читать письма немецких женщин. Все они просят своих мужей прислать им меховые манто, чулки или украинское сало. Они стали соучастницами гигантского грабежа. Ты говоришь после этого о рыцарстве гитлеровской Германии? Лучше молчи!

Ты говоришь о «новом порядке» в Европе? Спроси, что думают о тебе французы и поляки, норвежцы и сербы. Тебя повсюду ненавидят. Ты стал пугалом народов.

Ты говоришь о культуре, но ты погрузил свою страну, а потом захваченную тобой Европу в ночь. Ты воскресил пытки средневековья. Ты несешь народам кнут и виселицу.

Ты не хочешь знать, кто ты. Но ты должен это знать. Ты должен понять, что ты слышишь ложь, говоришь ложь, ешь ложь и ложью дышишь. Сосчитай, сколько твоих знакомых уже убиты в России. Пока ты еще можешь их сосчитать. Потом тебе придется считать уцелевших. Кто виновник братских могил на полях Белоруссии и Украины? Твои господа. Посмотри кругом себя — развалины. Что стало с Кельном, с Гамбургом, с Дюссельдорфом? Как выглядит главная улица Берлина — Унтер ден Линден? Если ты не научился понимать человеческие слова, слушай язык фугасок. Почему разрушаются немецкие города? Потому что Гитлер — это война, потому что Гитлер послал своих летчиков на

Лондон и на Ковентри, на Москву и на Ленинград. Ты получаешь за разрушенные дома. Ты получаешь за пролитую кровь. Ты получил до сих пор только задаток. Но ты получишь все сполна.

Вот что говорят наши листовки немецким солдатам.

В древности люди считали, что существует мифический зверь василиск. По описанию Плиния, василиск — ужасен. Когда он глядит на траву, трава вянет. Когда он заползает в лес, умирают птицы. Глаза василиска несут смерть. Но Плиний говорит, что есть средство против василиска: подвести василиска к зеркалу. Гад не может выдержать своего собственного вида и околевает.

Фашизм — это василиск. Он несет смерть. Он не хочет взглянуть на самого себя. Германия боится зеркала: она завешивает его балаганным тряпьем. Она предпочитает портреты чужих предков. Но мы ее загоним к зеркалу. Мы заставим немецких фашистов взглянуть на самих себя. Тогда они сдохнут, как василиск.

Кидайте бомбы, товарищи летчики! Кидайте и листовки... Гитлеровцы не уйдут от фугасок. Они не уйдут и от зеркала.

ИЛЬЯ ЭРЕНБУРГ



Эрзац-валенок. Рис. с натуры худ. Н. Жукова

Кровавые дни

Они ворвались в Ростов, как воры врываются ночью в чужую квартиру, — осторожно, трусливо озираясь по сторонам, двигались по омертвевшим улицам, с полным основанием ожидая ударов из заколоченных окон, с чердаков и подвальных люков.

Ростовчане заперлись в своих домах, попрятались по подвалам. Улицы замерли. Уже ползли по городу мрачные слухи о диких зверствах и насилиях, о расстрелах на 1-й Советской, на площади Свободы, в Нахичевани и на армянском кладбище. Немецкие солдаты, окоченевшие, закутанные в женские платки, бродили по улицам, часто безуспешно пытаясь проникнуть внутрь домов, — никто не откликался на их стук, никто не отпирал дверей. Тогда они набрасывались на случайных прохожих и в бешеной злобе срывали с них теплые шапки, перчатки, ручные часы. Немецких бандитов злило, что на улицах захваченного города, где они ожидали встретить обещанный офицерами радушный прием и надеялись погреться на «зимних квартирах», становится все меньше и меньше людей, что нигде в городе нельзя достать запасов топлива, что на складах и в магазинах осталось так мало добра...

Впрочем, на несколько дней добра хватило. Уже потом, когда немцы поспешно удирали из Ростова, мы видели в оставленных впопыхах автомобилях массу барахла, которое напихали в боевые машины солдаты грабьармии: трикотаж, чулки, обувь, детские костюмчики, игрушки... Немцы не брезговали ничем. Торопясь пограбить богатый советский город, они хватали все подряд. Разбивали витрины, взламывали замки магазинов и лихорадочно грузили в автомобили наше советское добро.

С первого же дня прихода в Ростов немцы начали устанавливать свои «порядки». Город был разбит на районы. В каждом районе захватчики учредили свои комендатуры.

Одна из таких комендатур помещалась на Буденновском проспекте в доме № 84. Комендантом был назначен эсэсовский офицер обер-лейтенант Дюренбергер, достаточно опытный специалист по грабежам и насилиям.

Комендатура объявила «прием населения». Но население не шло в фашистскую комендатуру. Несколько офицеров мерзли здесь в своих тоненьких френчах, не будучи в состоянии добиться у местных жителей, где можно достать топливо, чтобы растопить печку. В один из немногих дней своего хозяйничанья на Буденновском проспекте комендант Дюренбергер решил устроить «торжественную встречу» немецких войск с «местным населением». Он приказал выгнать на улицу жителей нескольких домов. Охваченные ужасом, под угрозой расправы, несколько десятков человек вышли на тротуар. В сопровождении солдат появился комендант. Он приказал сбившимся в кучу, дрожащим от страха людям поднять руки и махать, якобы в знак приветствия немецким солдатам. Оглядываясь на стоящих сзади солдат, комендант дал понять, что он не шутит. Кто не станет махать руками, тот может заранее проститься с жизнью; напуганные до смерти мужчины и женщины махали руками, а Дюренбергер делал фотоснимки для фашистских журналов.

Кончилась эта история так же, как и многие другие «встречи» немцев с местным населением. Довольный своей провокационной работой, Дюренбергер подошел к группе людей, все еще стоящих с поднятыми руками, и стал снимать с рук часы. Но вот его карманы уже до отказа были набиты часами. Дюренбергер отпустил людей, заявив, что со всеми жалобами надлежит обращаться к коменданту.

Нашлись наивные люди, которые поверили, что можно жаловаться коменданту и чего-нибудь здесь добиться. Однажды в комендатуру явился с жалобой сотрудник микробиологического института Смирнов. Немецкий офицер в сопровождении двух солдат пришел в институт и потребовал спирту. После того как немцы унесли весь найденный в институте спирт, Смирнов обнаружил исчезновение своей кожаной куртки. Комендант выслушал жалобу и сказал:

— Если вашу куртку забрали наши солдаты, — это очень плохо. Но если это сделал офицер, то вы сами понимаете, не может же немецкий офицер пропадать от ваших проклятых морозов...

Попрежнему комендатура пустовала. Ростовчане не шли к немцам. Раздобыв где-то на складе бочонок сливочного масла и сахар, немецкие офицеры пьянствовали.

Гражданин Михайлов, зашедший в комендатуру справиться, будет ли пущен водопровод, увидел здесь отвратительную картину обжорства. Офицеры сидели вокруг бочонка с маслом, жадно хватали масло руками и запихивали его в

рот. Другие с неменьшей жадностью грызли сахар. В припадке откровенности один из офицеров признался, что уже два месяца он не видел сахара, и стал допытываться, где еще можно достать сладости. По поводу восстановления водопровода немец заявил: «Такие вещи нас не интересуют, у нас есть дела поважнее»...

На следующий день комендант стал объезжать на автомобиле пищевые предприятия районов. Он приходил в ярость, не заставая здесь ни одного рабочего, ни запасов продуктов. Особенно его интересовал молочный комбинат. Он упорно допытывался, куда девались маслоделы и каким образом можно пустить комбинат и наладить доставку молочных продуктов из пригородов. Комендант проявлял также большой интерес к горючему, запасы которого немцам никак не удавалось открыть в Ростове. На улицах жители Ростова видели, как немецкие шоферы, останавливая машины, сливали друг у друга бензин из баков.

Тщетны были также все попытки немецкой комендатуры разыскать в Ростове печатников и наборщиков, которые были им дозарезу нужны для печатания приказов и объявлений к населению. Ростов оставался советским. Советские люди не шли к немцам.

Рискуя жизнью, ростовчане прятали у себя застрявших в городе раненых красноармейцев и бойцов народного ополчения, кормили их, лечили и помогали скрываться от немцев. Большая группа красноармейцев была спрятана в бетонных трубах в поселке завода «Ростсельмаш». Артистка городского театра восемь дней прятала у себя раненого командира Красной Армии. Официантка столовой № 16 Ермолаева помогла спрятаться пленному бойцу Белоусову, который чудом уцелел после массового расстрела пленных на площади Свободы. Мальчики Витя и Валя Новиковы обнаружили в соседнем доме на Доломановской улице немецкий склад боеприпасов. Накануне отступления немцев они подобрались к складу и навесили сверх немецкого замка свой большой замок. Охваченные дикой паникой фашисты, убегая с Доломановской улицы при отступлении из Ростова, так и не сумели сбить замок. Склад боеприпасов остался нетронутым. 29 ноября советские мальчуганы торжественно привели сюда красноармейцев и передали им целиком свои богатые трофеи. Здесь были снаряды, патроны и много гранат. Семья патриота Василия Федоровича Гануса, автомобильного механика Доно-Азовского пароходства, спрятала от немцев большое количество запасных частей, чтобы потом передать их Красной Армии.

Ростов замер, притаился. А на улицах и в домах здесь и там уже шли дикие расправы над мирным беззащитным населением.

В городе стала известна жуткая история о гнусном насилии, совершенном немецким офицером над семьей бухгалтера Бороховского на Почтовой улице в доме № 111.

26 ноября в 2 часа дня, когда семья собралась обедать, бандит ворвался в квартиру и потребовал, чтобы была очищена одна из комнат. В смертельном ужасе семья Бороховских, тринадцать человек, сгрудилась в соседней комнате, ожидая своей участи. С гнусными циничными ругательствами в комнату вошел офицер и подозвал к себе младшую дочь Бороховского, четырнадцатилетнюю девочку. Он втащил ее в соседнюю комнату и произвел над ней насилие. Затем изверг потребовал к себе вторую, шестнадцатилетнюю дочь, затем третью — девятнадцатилетнюю. Несчастные девушки сопротивлялись, кричали. Зверь рвал на них одежду, избивал их, дико надругался над их телами. Угрожая револьвером, он заставлял их улыбаться. Потом, вдоволь надругавшись, он вызвал всех обратно в комнату, где только что производились насилия, и приказал подать себе обед, который семья приготовила для себя. На столе перед разбойником лежал наготове пистолет со взведенным курком и стояли две бутылки советского шампанского.

Двое суток мерзкий фашистский выродок держал под угрозой расправы беззащитную семью. Он уходил, потом возвращался, хватал из комнат какие-то вещи, одеяла, простыни, белье, приносил награбленные в магазинах вещи, заставил Бороховских освободить свои чемоданы и запаковать в них наворованные вещи. Мучительная пытка кончилась только благодаря тому, что 28 ноября вместе с другими офицерами и солдатами гнусный насильник удрал из Ростова.

На улицах советского города лежали трупы замученных и расстрелянных фашистами женщин, детей и стариков. В городе днем и ночью раздавались ружейные залпы; попрятавшиеся по подвалам жители с ужасом внимали этой зловещей пальбе. Они знали: идут расстрелы...

На площади Свободы ростовчане видели печальный кортеж: под усиленным конвоем немцы привели сюда семнадцать пленных красноармейцев. Был мороз, шел редкий снег. Пленные бойцы двигались без шапок, босиком. Женщины и девушки из дома № 4 по площади Свободы собрали несколько шапок и старых ботинок и решили отнести пленным. С дикими криками «Цурюк, цурюк!» немецкие солдаты прикладами отогнали осмелившихся подойти женщин. Через несколько минут появился офицер. Он отдал команду, пленных повели к дому между школой № 13 и филиалом театра им. Горького. Их выстроили здесь поодиночке лицом к домам, спиной к взводу немецких солдат. Палачи не решались заставлять своих солдат стрелять пленным красноармейцам в

лицо. Раздалось несколько беспорядочных залпов, пленные упали, обливаясь кровью. Потом сюда же были приведены еще семь пленных красноармейцев, — их постигла та же участь. На ноги расстрелянным немецкие мерзавцы положили длинный деревянный трап, на досках которого мелом была выведена надпись: «Это не русские солдаты, это большевики, которые поджигают фабрики и заводы».

Это видели своими глазами наши советские люди, оставшиеся в Ростове. Пришедшие сюда 28 ноября наши передовые части видели трупы замученных и зверски расстрелянных наших братьев. Не передать словами того, что пришлось видеть во дворе школы на 38-й линии. Здесь лежали в замерзших лужах крови, в ужасных позах семьдесят трупов мирных ростовских жителей, которых немцы расстреляли под видом партизан. Один из них, обросший, с вывороченной челюстью, с обезображенным лицом, лежал, разметав сжатые в кулаки руки. Над ним горестно склонилась девушка. Она громко плакала и причитала, ей вторили голоса женщин, обнаруживших своих родных в груде мертвых тел.

...Ростов обновлялся, восстанавливал разрушенное немцами городское хозяйство, водопровод, электросеть, радио, транспорт. В эти дни не было праздных в огромном советском городе, освобожденном от непрошенных гостей, скинувшем с себя ненавистное фашистское ярмо. В несколько дней ростовские патриоты привели свой город-красавец в порядок, восстановили пищевые предприятия, ремонтные заводы и мастерские. Заработали почта, телеграф, телефон, радио. Уже через три дня после возвращения Красной Армии Ростов слушал привычный голос Москвы. В Ростове закипела новая жизнь. Каждый день на фабрики и заводы являлись все новые рабочие, укрывавшиеся где-то в пригородах от немцев. Граждане несли на советские предприятия имущество и оборудование, которое им удалось скрыть, спрятать от фашистских грабителей. Ростовские женщины пошли в госпитали помогать врачам и медицинским сестрам ухаживать за ранеными бойцами. Не было дома или квартиры, где бы не готовилась пища для раненых красноармейцев. Как родным братьям, жители Ростова несли в госпитали обеды, подушки, одеяла, матрацы, посуду, бутылки с вином. Я видел семьи, отдававшие в госпитали свои спальные принадлежности. Я видел вереницы женщин, девушек и юношей, торопливо носивших от Дона ведра с водой для госпиталей.

В первые же дни на местах оказались все областные и городские партийные, советские и комсомольские организации. Городской комитет обороны призвал население к бди-



Калуга. Январь 1942 г. Рис. с натуры худ. П. Соколова-Скаля



Пленный немец. Рис. с натуры худ. П. Соколова-Скаля

тельной охране города, к новым оборонительным работам. Враг был уже далеко от Ростова, наши части преследовали его до самого Таганрога, на подступах к которому разыгрались новые жестокие сражения. Ростовчане не успокаивались, не отдыхали. Они готовились ко всяким неожиданностям. На улицах города появились, в невиданно короткие сроки, сооруженные ростовскими патриотами баррикады, эскарпы, надолбы. Народные ополченцы несли охрану города, советская разведка с помощью жителей Ростова вылавливала попрятавшихся по чердакам немцев, не успевших в суматохе уйти с бежавшими частями, а с ними и кучки предателей. Были и такие. В огромном советском городе, населенном нашими советскими людьми, до конца преданными родине, нашлось несколько негодяев, пошедших на омерзительную иудову работу. Ловко замаскировавшись под советских людей, они в свое время сумели скрыть свое истинное лицо. Кто эти мерзавцы, на которых опирались немецкие калифы на час, ворвавшиеся в Ростов?

Убогая, безвредная на вид старушка. Встретишь такую на улице и пройдешь мимо, не обратив внимания. Ничем не примечательное лицо, неторопливая речь с иностранным акцентом. Профессия — художница по стеклу. Фамилия Гамм. Немка из Голландии. К этой старушке в первый же день прихода немцев в Ростов явился некто Лихмаер, темная личность с уголовным прошлым. Он был мобилизован на рытье окопов и, перебежав к немцам, предложил свои услуги в качестве шпиона-переводчика. В Ростове фашистская комендатура предложила Лихмаеру завербовать несколько шпионов. Первый выбор пал на старушку Гамм.

За 700 рублей в месяц и горячую пищу один раз в день эта мерзкая падаль согласилась выдавать фашистам советских работников, указывать им, где находятся наши предприятия, склады, магазины. Немцы обещали взять ее с собой в Германию. Оттуда она может пробраться в Голландию, а там ее родственники. И вот безобидная на вид старушка присутствует при зверских допросах, разъезжает с фашистским комендантом на автомобиле, представляет ему списки оставшихся в Ростове жен советских ответственных работников, предает наших людей.

Старушка расцвела, подрумянилась, припудрилась, надела лучшее платье. В помощь себе она завербовала некую Бойченко, опытную пройдоху и проститутку. Ей поручают привести в комендатуру людей, которым можно было доверить ответственные посты в захваченном городе. По ее рекомендации в комендатуре появляется некий доктор Папке, тихий, незаметный, ничтожный человек. Немцы предлагают ему высокий пост бургомистра. Ему приказывают подыскать себе помощника и приступить к «работе». На следующий

день Папке приводит некоего Хангурова, человека, дважды судившегося в советских судах за уголовные преступления. Однако ни «бургомистр», ни его помощник так и не успели приступить к исполнению своих марионеточных обязанностей. Они уже было обо всем договорились, как вдруг немцам пришлось спешно собирать свои пожитки и удирать.

Пятым в этой компании был Каспаров Александр Романович, последний, нивесть какими путями уцелевший, отпрыск бывшего торгового дома братьев Каспаровых. Это была некогда крупная коммерческая фирма на Таганрогском проспекте. На следующий день после прихода немцев Каспаров, вытащив из сундука насквозь провонявший нафталином сюртук, вышел на улицу, повстречался с несколькими немецкими офицерами, пригласил их к себе домой и устроил им «прием». Он натащил из советских складов вина и закусок и обильно угощал фашистов, произнося тосты в честь Гитлера, который освободил его, Каспарова, от большевиков.

Наутро, когда пьяные вдрызг гитлеровские молодчики еще валялись в своей собственной блевотине на квартире Каспарова, услужливый коммерсант представил им список жен командиров Красной Армии, коммунистов и ответственных работников, которые, по его сведениям, скрываются в Ростове. Этот список он составил с помощью уголовника Журова, дважды судившегося при советской власти. Кстати и сам Каспаров имел две судимости за уголовные преступления. Вот на кого немцы опирались в Ростове, вот из кого вербовались кадры их помощников. Гнусное отребье, уголовные преступники, проститутки явились верным подспорьем для бандитской работы разбойничьей шайки, которой удалось временно захватить советский Ростов.

Предатели так и не успели получить обещанной платы. Они только несколько раз пообедали из немецкой кухни, причем кормили их отдельно от немцев, как кормят холуев.

В последние дни перед уходом из Ростова немецкие офицеры в районных комендатурах проявляли нескрываемую нервозность. Они часто выбегали из комендатур, якобы по каким-то неотложным делам, возвращались, потом опять убегали, оставляя вместо себя еще ничего не подозревавших ефрейторов. У всех подъездов домов, где жили немецкие офицеры, стояли наготове машины. А 28 ноября утром, явившись, как всегда, на «службу», старушка Гамм и ее новые дружки по предательской работе никого уже в комендатуре не застали. Немцы убежали, оставив даже несъеденными остатки сливочного масла в бочонке. В комендатуре валялись зубные щетки, приборы для бритья, какие-то свертки — верные следы внезапного панического бегства.

З. ОСТРОВСКИЙ

Зеленая шинель

1

На-днях я пришел из Украины, из края, где родился и вырос. В селянской свитке, босиком (немец снял с меня сапоги, сказав, что они ему нужнее) прошел я около тысячи километров через всю Киевскую, Полтавскую, Харьковскую, Сумскую и южную часть Курской области.

Сорок пять суток шел я по земле, захваченной немцем, сорок пять дней и ночей шел я точно по кладбищу.

Как черные тени, забытые народом памятники, стоят хутора и села. Редко пробежит человек по улице села; в любую минуту может выскочить немец в зеленой шинели, сорвет картуз: если бритый ты, — русс солдат, если волосы, — русс комиссар; и уже не видеть тебе дома твоего, детей твоих. Не брехнет собака: немцы постреляли по деревням собак, чтобы не пугали по ночам. Не кукарекнет петух: немец сожрал. За все это время ни разу не слышал я песни. И это на Украине, где всегда, на рассвете, в сумерках или глубокой ночью, близко ли, далеко ли, за рекой то, иль за горой, — всегда звенит песня так, что иногда в детстве казалось мне, — сам воздух на Украине поет.

Только однажды на рассвете, в тумане, шел я балкой за селом Таранивкой, на Харьковщине, и слышу — поют. Прислушался: нет, как будто лают собаки на селе. Но вдруг собаки ясно пролаяли: «Дейчланд юбер аллес!» («Германия выше всего!») Из тумана на горе появились три немца с автоматами. Машина их застряла под горой, и они все трое идут в село за помощью. «Германия над всем светом», а три вооруженных автоматами германца боятся разлучиться и подбадривают себя в русском тумане безумной песенкой.

Я побывал не менее чем в ста селах и хуторах, и везде одна и та же картина страшного разорения и запустения.

Вот типичное для Украины село Карайкозовка, под городом Богодуховом. Разоренные и разграбленные сельская лавка, почта, сберегательная касса. Осиротелые висят почто-

вые ящики, напоминая о жизни советского села. Врываясь в село, немцы первым делом разбивают и грабят сельскую лавку. Согнав население и установив фотоаппарат, раздают цикорий, пуговицы. Сфотографировав, гонят, как скот, по домам. Через несколько часов приходит другой отряд и отбирает у крестьян то, что было роздано им перед объективом.

Разоренная, разгромленная, с разбитыми окнами, как слепая, стоит школа. На улицах валяются полусожженные парты — немцы разводили костер, — разбитые физические приборы, изорванные географические карты, немецким сапогом растоптанные портреты Шевченко и Франко. В школе солома, мерзость, скотский дух: здесь был немецкий постой. Загажено, опустошено, поругана святыня советского села.

На улицу выброшены классные доски. На одной доске еще сохранился арифметический пример: «2 × 2 = 4». И рядом, тут же на доске, немец написал самое короткое похабное слово, написал по-немецки, скот!

Молодая учительница со слезами проходит мимо школы, дети забегают в школу и, молчаливые, выходят из нее.

Сколько сил было положено, сколько лет билась советская власть, чтобы в каждом селе были учитель и врач!

Немцы хотят в несколько дней стереть память об этом.

Я вспоминаю девочку из села Попивки, которая училась в Полтавском педагогическом институте, а теперь сидит в деревне, на печи, и день и ночь плачет от тоски; я вспоминаю мальчика из хутора Новочеркасского, который учился в Белгородском железнодорожном техникуме, а теперь снова пришел в село и пасет скот, как пять лет тому назад.

Большое село Дунайки на реке Ворскле. Также разграблены, разбиты, разорены сельские лавки, больница, школа, детские ясли, изба-читальня, хата-лаборатория, машинно-тракторная станция — все, чем было богато и гордилось советское село. Немецкие конюхи, расквартировавшись по соседству с детскими яслями, с удовольствием нарочно ходили туда гадить.

Разбивая эти святые учреждения, они хотят уничтожить советское село.

Прошло только несколько недель, как хозяйничает немец, но в хатах на Украине (это я видел в селах Карпиловке, Довгаливке, Шишаках, Ереськах) уже появилась лучина, деды раскуривают люльку от кремня, и бабки бегут из хаты в хату с угольком, чтобы раздуть огонь; уже занимают друг у друга мыльную пену, и во многих хатах на Украине хлеб без соли и борщ без соли.

Не керосин и спички несет с собой немец, а пожары, не мыло — а вши и эпидемии, не соль — а порох и голод.

Не о школах и больницах беспокоится немец. В Киеве,

Полтаве, Миргороде открывает немец публичные дома. Уже появляются на Украине кабаки, рулетки, воровские притоны и черные биржи.

В большом селе Терновке, в пятнадцати километрах от Белгорода, я видел по хатам: целые семьи сидят на полу, как в древности, палками молотят снопы и в ступе толкут зерно. Целая семья сутки бьется, чтобы намолоть муки на хлеб. И это в селе, где были машинно-тракторная станция, комбайн, колхозный хор, курсы трактористов!

В Полтаве на перекрестках стоят немецкие полицейские в коричневых мундирах и по-немецки покрикивают на жителей, по улицам Миргорода гуляют белогвардейцы-офицеры, в Пирятине казнен крестьянин за продажу сала сверх установленной разбойничьей цены, в селе Мощено, близ города Гайворона, возвратился в свой дом кулак и выгнал поселенную там советской властью семью колхозника.

Вот что несет с собой немец!

2

Немец в зеленой шинели — изверг, воспитанный в духе истребления нашего народа.

25 сентября, на рассвете, переправляли тяжело раненных через болото Трубеж, у села Борщи, Киевской области. В тумане утра слышно было: «Раненых вперед и вперед!»

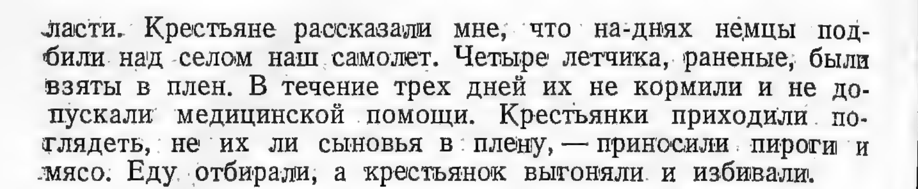
Появились зеленые шинели; они видели носилки, белые, забинтованные головы, но они подвели пулеметы и в упор расстреливали раненых.

По горло проваливаясь в болото, под пулями, бойцы выносили своих раненых товарищей. Но много погибло людей наших, много товарищей моих навеки осталось в болоте Трубеж, у села Борщи, и никогда в жизни я не забуду эту переправу, этот разбойничий обстрел и крики раненых: «Братцы, возьмите нас с собой!»

За лесом, у села Малой Березани, Киевской области, мы встретили группу граждан города Киева. Среди них было много женщин и раненых. Ночами мы шли, обходя ракетчиков, днем спали в скирдах. На третий день у города Яготина рассвет застал нас в открытом поле. Мы зарылись в скирдах. В сумерках я проснулся от крика: «Немцы поджигают скирды!»

Зеленые шинели окружили самую большую скирду и строчили по ней из автоматов зажигательными пулями. Ночью мы видели, как, освещая небо и степь, пылает подожженная скирда, в которой было не меньше пятидесяти человек.

12 октября я пришел в село Слободку, Харьковской об-


ласти. Крестьяне рассказали мне, что на-днях немцы подбили над селом наш самолет. Четыре летчика, раненые, были взяты в плен. В течение трех дней их не кормили и не допускали медицинской помощи. Крестьянки приходили поглядеть, не их ли сыновья в плену, — приносили пироги и мясо. Еду отбирали, а крестьянок выгоняли и избивали.

3

Двадцать три года из двадцати девяти, прожитых мною, ходил я по советской земле, и ни разу никто не остановил меня и не спросил: «Еврей?» Был бы я цыганом, негром, малайцем — все равно никому бы до этого не было дела: я был гражданином страны. Но в сентябре 1941 года, не успел я только выйти из лесов и болот, которыми я сначала двигался к фронту, как на первом же шляху, у села Марьяновки, остановил меня унтер-офицер с солдатами.

— Юде! — закричал унтер, как бы обрадовавшись.

— Цыган.

— Юде. Жид! — пояснил он.

Унтер полез в карманы и стал ощупывать мою одежду с ног до головы. Коснулись меня руки фашиста!

Вдруг унтер нашел деньги.

— Банкноты! Банкноты! — закричали солдаты все разом. Унтер забыл, что я еврей. Он забрал деньги и сказал, что поставит штамп и тогда возвратит. За триста рублей откупился я от смерти. В 1919 году отец мой точно так же откупился от петлюровцев. Они тоже взяли деньги, чтобы поставить штамп.

Еврею трудно, почти невозможно сейчас пройти по дорогам Украины. На первом перекрестке его убьют, первый вопрос, который задают патрули: «Юде?» Автомат направлен в грудь.

В селе Городищах, на реке Удай, жители рассказали, что здесь раненых и пленных евреев, бойцов Красной Армии, немцы поголовно расстреляли. В лагере военнопленных, в Хороле, на красноармейцев-евреев надели желтые пожарные каски и штыками гнали через весь лагерь. В Полтаве евреи носят белые повязки, у лавок их выгоняют из очередей, запрещено продавать им хлеб, под страхом смерти запрещено евреям появляться в общественных местах.

На окраине города Богуслава евреи с длинными белыми бородами стояли на холме и смотрели в небо. Чего ждут они ночью, кого ищут в черном небе?

Они встречают молодую луну.

В средние века, в годы инквизиции, евреи гетто благодарственной молитвой встречали молодой месяц, ибо при

свете не бывало погромов. С тех пор в еврейских молитвенниках сохранилась давно забытая молитва восходящей луне, которую теперь вспомнили евреи на Украине.

Выходит молодой месяц. В свете месяца длинные серебряные бороды будто сотканы из лунных лучей. Евреи бормочут молитву. Где-то далеко-далеко немец кричит: «Ек! Ек!» Это он погоняет лошадей.

Еврей! Явился прямой потомок того, кто тащил тебя на костры огненные в остроконечной шапке, босого, с руками, завязанными на спине, женщин твоего народа — обнаженными, детей — окровавленными, бросал в колодцы, замуровывал в камни, кидал в ямы огненные и пепел развеивал по ветру. Явился в зеленой шинели, весь в железе и хочет железом тебя истребить. Еврей! Будь самым храбрым красноармейцем! Отруби железную руку, которая хочет тебя истребить!

4

Немец истребляет не только евреев. Он мстит всем советским людям. Он убивает русских, украинцев, молдаван, без различия национальностей, стариков, женщин, детей.

Лубны, Ромодан, Миргород, Полтава, Хорол, Богдановка — лагери военнопленных, фактически концентрационные лагери.

Тысячи людей, как скот, лежат под открытым небом, окруженные болотами и колючей проволокой. Это живые кладбища.

Немец ограбил их, снял с них сапоги, шинели, ватники. Они замерзают. Немец не кормит их. Они грызут полузамерзшую свеклу и картофель, которые сами же выкапывают в поле. Иногда дают им чашку полусырой свеклы, или заваренный ячмень, или просо, словно это не люди, а скот или петухи.

Из сел Жданы и Синятина, на Суле, из Хомутца и Малых Сорочинцев, на реке Хороле, крестьянки ходили к лагерям отыскивать своих мужей и сыновей. Они приносили в узелках хлеб, сало, пироги. Тысячи жадных глаз глядели из-за проволоки на эти узелки. Но часовые отбирали и тут же на глазах у женщин и пленных все пожирали. Иногда они кидали через проволоку картошку или кроху хлеба в толпу, как собакам.

В лагере Хороле часовые застрелили несколько женщин, которые очень близко подошли к проволоке, чтобы передать хлеб своим мужьям. В Лубнах местные жители видят, как ежедневно из лагеря выезжает телега с трупами, наваленными, как дрова.

В селе Городищах несколько женщин, запасшись от

старост справками о том, что мужья их — не коммунисты, не активисты, не жиды, не комиссары, привезли из лагерей своих мужей. Я видел их, этих беспартийных и пассивных, опухших, с синими лицами, полунемых и полуглухих от голода.

В болотах Полтавщины, в поповских и диканьских лесах встречаются заросшие, как дикари, полуживые люди. Они лежат в тростниках или на ложе из листьев и не имеют сил двигаться. Это беглецы из лагерей.

На дороге Пирятин — Лубны в начале октября встретил я страшную толпу. Перегоняли концентрационный лагерь. Тридцать автоматчиков на мотоциклетках гнали несколько тысяч голодных, замерзших, больных людей, босых и раздетых, женщин и стариков с торбами. Впереди — мотоциклетка, сзади — танкетка, и надо было бежать, чтобы поспеть за мотоциклеткой. Держась за сердце, они бежали, падали, стонали, поднимали руки к небу и снова бежали. В отставших стреляют: некогда возиться мотоциклисту с больным стариком или женщиной.

Куда гонят их, за что мстят так жестоко? Это не только военнопленные, здесь были и граждане, мобилизованные на рытье окопов, здесь и старики, женщины — матери детей, молодые девушки.

В один из дней октября, в сумерках, я проходил мимо станции Ромодан. Несколько тысяч граждан, собранных в лагерь, под открытым небом, в первую снежную метель, голодные и измученные, запели вдруг песню:

Далека страна моя родная!

Казалось, небо раскололось и гудят колокола. Я заплакал. Мне хотелось крикнуть:

— Ты слышишь, родина? Ты слышишь, красноармеец? Бей немцев! Коли зеленую шинель! Дороги устилай немецкими трупами. Реки заливай черной их кровью! Спаси своих братьев!

5

Немец в зеленой шинели — скотина и трус. На Украине и поговорка появилась: «У немца каска железная, а душа заячья».

Один он ни за что не войдет в лес. Немец боится леса, как заяц — бубна. Только на опушке леса засядет он, коварный, с автоматом и будет ожидать хоть сутки или же прострелит лес, пули пошлет туда, но сам не войдет. Каждый лесок немцы так простреливают, будто в нем по крайней мере сидит целый корпус, а там одни белки да чижи.

На берегу реки Мерлы, у села Любовки, на Харьков-



У сожженного очага. Рис. с натуры худ. Н. Котова



На прифронтовой дороге. Рис. с натуры худ. В. Хвостенко

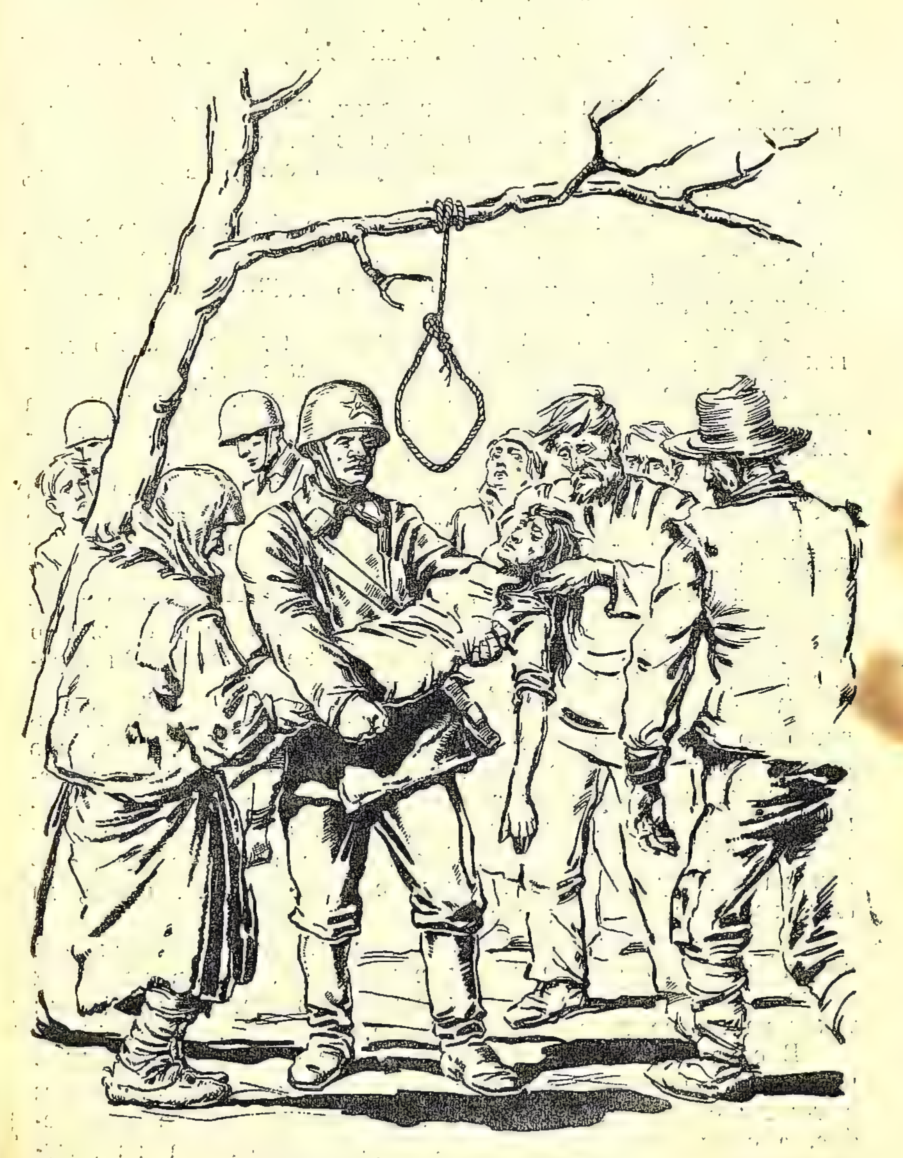


Рис. худ. П. Соколова-Скаля.

щине, я наблюдал, как автоматчик проходил через лес. Он вошел на тропинку и, держа автомат на пузе, прострочил ее вдоль и поперек, и вокруг, будто обводил себя волшебным кругом. Затем прошел шагов пятьдесят и снова прострочил тропинку и двинулся дальше. Так он дошел до избушки лесника.

На ночь немцы прячутся в селах. За сорок пять дней я ни разу не встретил ночью немца в поле. У каждой хаты стоит часовой. В большинстве случаев спят, не раздеваясь, с гранатами и обняв автоматы.

Если немцев наедет много, как это было в селе Зубовка, у реки Псел, на Полтавщине, они выгоняют хозяев из хат. Во время постоя плетни, сараи, фруктовые деревья — все идет на топку.

Немцу холодно. Он раскаляет плиты докрасна. Во многих селах немцы сожгли таким образом хаты.

Ночью не выйдет немец за околицу села. По краям села ракетчики отпугивают прохожих да себя подбадривают огнями. Товарищ, не бойся ракеты! Ее пускает трус.

Я видел, как немецкий ракетчик в ненастную ночь, спрятавшись под плащ-палатку, пускал ракеты, а сам даже не выглядывал из-под плащ-палатки, боясь встретиться с глазу на глаз с украинской ночью.

Если немецкий патруль услышит шум — стреляет трассирующими пулями. Товарищ, не бойся огненных пуль! Это фейерверк труса. Автоматчик никогда не целится. Он строчит в ночь, чтобы напугать тебя и себя подбодрить.

В селе Ямнах, на реке Ворскле, селе Касилове, Гайворонского района, в селе Черкасском, Курской области, и в ряде других сел крестьянки рассказывали мне: немцы, нажравшись, ночью боятся заходить за угол хаты, а оправляются прямо на крыльце, причем дверь в освещенную хату всегда оставляют открытой. Так и сидит в свете немец, подняв на голову зеленую шинель, с гранатами на поясе, на глазах у всех. Высшая раса!

Нигде — ни на позициях, ни в мирных городах — не видел я такого страха перед самолетами, как в немецком обозе. Похоже, будто залетел самолет в сумасшедший дом: такая на шоссе поднимается паника.

В селе Хваленкове, недалеко от станции Коломак, Южной дороги, при налете наших самолетов я видел, как немцы выгоняли стариков, женщин и детей из окопчиков и погребов, а сами залезали туда и покрикивали оттуда на мечущихся людей: «Русс дурак!»

Совершенно безумеет немец при виде краснозвездных самолетов.

Орлы! Друзья дорогие, летчики-штурманы, бомбившие и расстреливавшие немецкие колонны 3 октября у села

Большие Сорочинцы, на Полтавщине, 9 октября — на шляху Диканька — Опошня, 13 и 14 октября — по дороге Колонтаевка — Красный Кут — Богодухов, в конце октября — у Писаревки и Гайворона, в начале ноября — у Белгорода! Я был под вашими крыльями, я стоял на земле, где падали ваши бомбы, и своими глазами видел, как в страхе, с криками разбегались с дороги немцы, как прятались они под сараями и хатами, падали в канавы, искали спасения и не находили его, как настигали вы их, чуть не садясь на плечи. Странное чувство! Я и мои товарищи стояли совершенно открыто, и не было страха в нашей душе: ведь это были наши самолеты!

Бомбы падали в черные машины, похожие на катафалки, прямо на головы немцев, и с дикими стонами расползались по шляху разбойники в красных от крови шинелях.

6

Когда проходит фронт, — в небе самолеты, на земле танки, по дорогам гремят-летят мотоциклетки. Шум, как во время землетрясения.

А потом тишина; слышно, как кричит на селе случайно уцелевший петух. Немец не закрепляет занятой территории: у него нехватает людей.

В тылу, в селах, редко вы встретите немецких солдат. Можно итти пять суток и не встретить в деревнях ни одного немца; лишь пронесутся по дорогам мотоциклисты или уныло проедет обоз, охраняемый несколькими солдатами, вооруженными винтовками: всех немцев генералы гонят на фронт, истекающий кровью.

От села Вольного, на Ворскле, до Веденской Готни мы шли двое суток через десятки сел и хуторов; население там даже не видело немцев, хотя фронт уже далеко впереди.

Немецкие войска двигаются только по дорогам. К шоссе Белгород — Курск немецкие войска двигались по дороге Томаровка — Стрелецкое — Ново-Александровка — Быковка.

Местный крестьянин посоветовал мне взять правее на семь километров, на село Березовку. И действительно, в селе Березовке немцев не было, хотя это была линия фронта. За селом я пошел балкой — селом Ерики, и здесь немцев не было. Я вышел на шоссе Белгород — Курск. Пусто. Ни одного человека. Пересек шоссе, пошел через села Шопино, Терновку, Хохловку. Ни одного немца. К вечеру в селе Казацком встретил первых наших красноармейцев. Таким образом, я перешел фронт и не видел ни одного немца. На следующий день за мной без единого выстрела перешел через фронт целый артиллерийский полк одной из наших

гвардейских дивизий, побывавшей в тылах у немцев и нанесшей им там сокрушительный удар.

Гигантская эта авантюра Гитлера, не имеющая себе подобных в истории войн, построена на лжи и обмане своих солдат.

В сентябре у Киева солдаты говорили по хатам: «Харьков капут!» Их везли на восток, и они смеялись, уверенные, что едут в свой Харьков. Они пели песни в своих черных машинах, стреляли по дороге кур, и кололи свиней, и жрали, едучи в свой Харьков. Но вдруг на второй неделе путешествия у станции Кочубеевка, за сто двадцать километров до Харькова, услышали они из своих машин артиллерийскую стрельбу. Они еще не успели удивиться, как их бросили прямо в огонь, в кровопролитные бои у станций Коломак и Водяная. И они сложили здесь свои головы, так и не успев удивиться.

В конце октября у Белгорода уже другие солдаты говорили по хатам: «Воронеж капут! Рязань капут! Москва капут!»

Так их уговаривали, чтобы довезти до огня и бросить в огонь.

7

Немец в зеленой шинели — разбойник и грабитель.

Зеленые шинели на велосипедах и мотоциклах врываются в село. Еще за селом строчат пулеметы, еще слышны крики боя, а они уже по хатам:

— Яик! Млика! Шпиг!

Народ видит в немце разбойника. Мать узнает убийцу своего сына, сестра — палача своего брата, мальчик — мучителя своего отца. И молчание в хате, когда входит зеленая шинель. Он, как собака, лает, но никто не понимает чужеземца. Все молчат. Он рыщет, как хорек, по всей хате, заглядывает в печь, нюхает горшки, лезет в погреб, на чердак, тащит сало, яйца, муку, поднимает половицы, отбивает замки, копается в семейных сундуках, лает — все требует что-то по-своему. Полна хата людей: и дед старый, и бабка, и невестки, и дети — все стоят и молчат. Страшное, грозное молчание вокруг немца.

По всему селу выстрелы: это немцы строчат из автоматов по курам и гусям. Они и не сожрут столько, но глаза их жадны и завидущи.

В селе Пидплете, на Харьковщине, я видел наваленных кучами убитых кур и гусей; вытянув головы и закинув мертвые глаза, лежали гуси под заборами; немцы давно прошли, но никто не притрагивается к ним.

У села Дубровки в больших прудах плыли, как в сказке, гуси-лебеди. Они плыли навстречу заходящему солнцу, и

шеи их были золотые. Я проходил мимо и любовался ими. Когда появился на дороге мотоциклист и с ходу прострочил из автомата, гуси закричали, немец захохотал и проехал.

В селе Павлюковке, на берегу реки Мерлы, немцы забирали даже детскую обувь, даже полотно на саван. Они грабили всех: от младенца до старика. Они крали отовсюду: из люльки и из гроба.

Они грабят и живых, и мертвых. В поле, между селами Байраки и Диканька, и у линии железной дороги, за станцией Готня, лежали трупы убитых красноармейцев, босые, без шинелей, в одном белье. Здесь прошли немцы. Кладбищенские мародеры!

Я видел немецких солдат, которые носят наши шинели под своими. У многих по нескольку свитеров, и они в хатах хвастаются: «Вот это польский, это чехословацкий, это французский». Почти у всех солдат часы, и не одни, а по двое часов на обеих руках. Увидят они час своей смерти!

Несчастно село, которое стоит на шляху. Немец двигается по шляху и грабит это село и день и ночь. Остановится обоз на минуту — и налетит зеленая саранча. Проезжал обоз мимо села Марьяновки, на Полтавщине. Забежал в крайнюю хату немец:

— Яик!

Хозяйка указала на молоденькую курочку:

— Ще не несется.

Тогда немец схватил курочку в мешок и побежал дальше.

В селе Качаливке, под городом Богодуховом, крестьянки, завидев зеленые шинели, запирают хаты на замок и убегают. Но недолго стоит немец перед замком. Летят замок, и дверь, и окна.

У моста на Красный Кут, на Харьковщине, я сидел в избушке сторожа торфяных разработок. Проехали три немца, увидели свинью и тут же закололи ее, голову кинули хозяйке, разрубили свинью на три части, завернули в новое хозяйкино платье и занавески, и каждый унес свой кусок.

На поле у села Кичевки, возле Константиновского сахарного завода, колхозники в сумерки накладывали на подводу накопанную за день картошку. Проезжал мимо немецкий кавалерист и увел подводу со всей картошкой деревни. Старика, который стал спорить, кавалерист ударил шпорой в лицо. Долго стояли старики и женщины и смотрели вслед удаляющейся подводе. Не верилось им, что так просто лишились они всей картошки. Но настала ночь, старики, женщины и дети ушли домой.

В село Тарасовку, на Полтавщине, вечером вошел немецкий обоз. Пять немцев вошли в соседнюю хату, и я через окно мог видеть, что происходило там. Они накалили

плиту, сняли рубахи и над плитой вытряхивали их. Хозяйка потом говорила, что от падавших на плиту вшей стоял такой треск, как во время зенитной стрельбы. Они так чесались, что свинья, присутствовавшая при этом, глядя на них, и сама стала чесаться. Старуху-хозяйку заставили ощипывать дюжину гусей и жарить. У нее были пальцы в крови, а у них — губы в сале. Они жрали и хохотали, глядя на гримасы старухи.

Знают на Украине, как нажравшийся немец хохочет. Кровью заплатит немец за этот хохот!

Я видел, как создавался немецкий продовольственный обоз. В конце октября в хутор Новочеркасский, Курской области, въехали немцы на подводах, следуя из хаты в хату, забирали муку, картофель, ячмень, выкатывали бочки с соленьями, выносили кули, вытряхивали лари, стреляли по дороге кур и гусей — только перья летали, кололи свиней, стон стоял до неба. За подводами бежали женщины и дети и кричали: «Пане!» А немцы отмахивались автоматами и погоняли коней:

— Ек! Ек!

Подводы выехали из села, я пошел за ними. По дороге на Тамаровку, районный центр вблизи Белгорода, к этим подводам из разных сел и хуторов присоединились такие же подводы, и вскоре на шляху вытянулся немецкий продовольственный грабительский обоз.

Как на похоронах, на шляху крик, плач, вопли женщин и над всем страшные немецкие проклятья да свист бича: «Ек! Ек!»

Старики провожают обоз палками — погуляет палка по спине твоей, немец! Женщины провожают обоз криками — и ты закричишь, немец! Дети провожают обоз кулаками — подрастут дети, немец!

Зеленые шинели с автоматами стоят на дорогах и перекрестках:

— Хальт! Папир! (Стой! Документы!)

И начинается грабеж. У крестьян, у прохожих немецкие патрули забирают сахар, махорку, спички, последний кусок хлеба; солдаты стоят на часах с торбами. Эти торбы наполнены сухарями, пирогами, кусками сала, полусъеденной курицей. Патрули раздевают, снимают сапоги, забирают свитеры, ватники. Люди уходят босые и голые в стужу и холод, не смея оглянуться на разбойников.

В тумане я спутал дороги и попал в Бутово — штабное село. Из тумана выплыл немецкий патруль. Три немца обступили меня и по команде залаяли:

— Махорка? Вудка?

Три немца залезли ко мне в карман. Я посмотрел в их лица. Их трясло от холода, зубы стучали, — холодно

им было в русском тумане. Холодно им будет в русской земле!

Они голодны, эти зеленые собаки. Однажды в степи я видел, как офицер остановил старика. Снял с него котомку и стал рыться. Из котомки он вынул две ковриги хлеба. Одну он стал жадно есть, вторая была мокрой. Он отрезал ножиком сырой кусок и спрятал хлеб в сумку.

Немец пришел на Украину. Он хочет нажраться — раз и навсегда. Во всех деревнях крестьянки рассказывают одно и то же: немец во время постоя жрет с утра и до вечера, жрет не переставая. Если посчастливится, он глотает масло ложками, пока не стошнит. Немец ест толстый, жирный кусок сала на тоненьком, как бритва, куске хлеба. Навеки не нажрешься!

У ветряков на горе стоят люди лицом к ветру.

Ветры, дуйте, ветры, дуйте! Чтобы быстрее вертелись крылья мельниц: придет немец в зеленой шинели и заберет муку и велит испечь пироги.

В хате мать уговаривает детей: «Скорей кушайте, дети, скорей! Придет немец в зеленой шинели — все выпьет, все сожрет».

Зеленая шинель торчит с мешком у печи, пока пекут хлеб, и, забирая его еще горячим, хохочет: «Капут!»

Зеленая шинель на рассвете стоит, пока доят коров, и забирает молоко. Если мать указывает на детей, зеленая шинель приподымает автомат: «Пух-пух!»

«Капут» и «пух-пух» — эти слова припомнятся, когда зеленая шинель побежит назад через Полтавщину и Киевщину. Эхом отдадутся они в лесах, в степи, в осоке болот. Дед и внук мне говорили: «Пусть только немец побежит!»

У каждой хаты, у каждого дерева будут поджидать его с топорами, вилами и цепами. И скажут: «Капут!»

8

Порядки, которые вводит немец, приближают день народного восстания.

Вслед за фронтовиками едут по деревням интендантские офицеры. В начале октября при выходе из села Байрака, на Полтавщине, из-за поворота вылетела малолитражка. Вдруг открылось стекло и крикнули: «Алло!» Я подошел. Немец спросил:

— Байрак?

— Байрак, — отвечаю.

И вдруг на чистом русском языке:

— Я сегодня здесь назначил сходку мужиков, где она собирается?

Я посмотрел в лицо офицеру.

С седыми висками и покрасневшими глазами сидел передо мною на подушках петлюровец.

Интендантские офицеры — шкуры, немец — жулик и вор или поседевший у общественного писсуара в Берлине петлюровец — вот кто является в села.

Они сбивают замки с колхозных амбаров, учитывают зерно, ячмень, накладывают печати. Кто сорвет печать — расстрел. Но пока в селе Вольном накладывали печати, позади, в селе Городище, партизаны уже содрали печати.

У колхозного сена поставлены немецкие сторожа. За клок сена — расстрел. Но ночью в Павлюковке избили сторожа, и сено жуют крестьянские кони.

В сорок восемь часов приказал немец снести весь колхозный инвентарь, который разобрали колхозники. За утайку даже колхозной уздечки — расстрел. Немцы готовят экономию помещику. Но много крестьян побросали инвентарь в речку, а немцу не вернули.

За укрытие партизан и красноармейцев — расстрел. Но по всей Украине крестьяне нас кормили, поили, укрывали. Крестьяне нас перевозили через Сулу, Хорол, Псел, Удай, Ворсклу, водили через болота, через лес, указывали дорогу.

В городах на Украине немец установил разбойничьи низкие цены на продукты сельского хозяйства. За превышение цен — расстрел. Но селянин не везет продуктов в город. Он смеется над немецкой бесценной бумажкой, оккупационной маркой, которую тычет ему немец за продукты. На этой марке изображен селянин, подстриженный под скобку, этакий мужик-рюсс. Гитлеровские дурачки, они думали подкупить этим украинского мужика. Они везут эти бумажки целыми тюками. У каждого офицера полна сумка этих бумажек, хождение которым только в отхожем месте.

«Новый порядок» на Украине — это смерть. И день и ночь ждет тебя немецкая пуля.

Ночью идешь — ожидают ракетчики. Попадешь под свет — пуля в сердце. Ночью спи!

Днем идешь по полю, пронесется шляхом мотоциклист — пуля в сердце. Иди дорогой!

Ты раб! Ты раб, ты бессловесный скот!

Идешь по дороге, немец чинит мост, или набирает сено, или чистит лошадиное дерьмо.

— Эй! Становись!

И продержит тебя он и день, и ночь, и неделю, и месяц.

Конвоир гонит пленных. У него сбежало несколько человек. Повстречался ты на шляху.

— Эй, становись! Для счета!

Скачешь на коне. Немец навстречу на замученной, забитой, с окровавленными боками лошаденке:

— Эй!
И твой конь под ним, его лошаденка под тобой.

Ты раб! Ты раб, ты бессловесный скот! Ему все равно: говорить с тобой, или со свиньей, или с волом. Он и не говорит, он машет автоматом, как железным продолжением руки. И автоматом укажет: становись, или иди, или ложись. Не то застрелит.

И люди идут все согбенные, будто чувствуют, как немец сидит у них на спине.

Встретил немца — снимай шапку: «Здравствуй, пане!»

Съел, сожрал немец твой обед — снимай шапку: «Благодарен, пане!»

Да, лопнет сердце русского человека!

Скоро, скоро настанет час, когда отдельные партизанские действия, налеты и засады перерастут в бунты целых сел, когда поднимутся все, от мала до стара, от края до края села и порубят, вырежут немцев по хатам, поднимут немцев на вилы, измолотят немцев цепами, побросают немцев в колодцы.

Каждый куст тогда станет живым, ветви превратятся в руки и задушат немца. Каждый крест на кладбище будет стрелять, будто все предки проснулись бить немцев. Каждый камень вдруг закричит: «Стой!»

Земля запылает под немцами, бежать им далеко! Никто не пригреет, не накормит их, только пулей накормят, землей пригреют! Ни один живой немец не уйдет с нашей земли!

9

Все, что я рассказал, — это только факты. Это все, что я видел сам. Это свидетельские показания очевидца.

Я видел дикий, разнузданный грабеж и издевательства немецких фронтовиков. Но позади еще двигается обоз — это главная грабьармия. А там дальше, отставая от фронта на три-четыре недели, идут карательные отряды гестапо — палачи, вешатели, истязатели.

Беженцы с Правобережья Украины, которые догоняли меня по дороге, рассказывали о страшном терроре в Киеве. В первые же дни немцы велели всем евреям явиться на еврейское кладбище, у могил предков, на кровавую расправу.

Много сумасшедших бродит по городам и местечкам Правобережья. В Чернигове, в сожженном, загубленном немцами городе, после немецких бомбардировок по улицам бегали сумасшедшие люди: дома их, дети их погибли в огне.

Много безумных видел я уже и по дорогам на Левобережье Украины. Это люди, не выдержавшие немецких пыток.

Вдруг выскочит из подсолнухов или осоки болота обезумевший, в лохмотьях, человек и закружится на одном месте.

И ты, немец, обезумеешь! И, закутанный в бабьи жакеты, в бабьих трико, побежишь! Услышу я этой зимой в русских снегах крик сошедшего с ума немца!

Тихо на Украине, как на кладбище. Загудит на дороге машина — все вздрагивают: «Едет немец!»

И только по дорогам слышится:

— Ек! Ек!

Это немец погоняет волов, которые тащат застрявшие пушки.

Детей на Украине пугают: «Вот герман!» Не забудут и дети и внуки твоих злодеяний, герман!

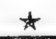
Изменился пейзаж Украины. На всех дорогах, у обочин, выросли белые кресты с черными надписями, с черными касками, сожженными, пробитыми и изрешеченными. Это могилы немецких солдат. Это путь немецкой армии.

У Больших Сорочинцев, у Диканьки, у Попивки я видел уже поваленные кресты: народ мстит и мертвым немцам.

Отныне зеленый цвет, цвет немецкой шинели — самый ненавистный народу цвет. Наступил декабрь — месяц белого снега. На белом снегу России ясно видна цель — зеленая шинель. Не промахнись, товарищ!

P. S. Сейчас ночь. Я кончаю свое письмо. Немцы сейчас попрятались в селах по хатам. У каждой хаты стоит часовой. Немцы спят, не раздеваясь, с гранатами на поясе, обняв автоматы. В октябре они в хатах на Украине говорили: «Через три недели будем обнимать жонку». Прошло три недели. Пройдет и три месяца, и три года, и триста лет, но не жонку — холодную русскую землю они обнимут и останутся с ней навеки в обнимку.

БОРИС ЯМПОЛЬСКИЙ



Ледяная могила

Было это в июле на Украине, под городом Умань.

Танк с белыми драконами на башнях летел по дороге, драконы раскрыли пасти и, казалось, хотели проглотить белевшее вдали село.

Налетев на село и подминая вишневый садок, танк въехал прямо в крайнюю хату и выехал из другой стены, неся на себе висевшую под потолком люльку с кричащим ребенком.

Люди все кинулись в щели по огородам, и танк, гремя, прошелся по щелям, лязгая гусеницами над головами людей, туда и назад несколько раз.

Закричала женщина в окопе. Казалось, это сама земля кричит. Открылся люк, и показалась немецкая голова с длинной трубкой в зубах и биноклем на шее.

Он катался в танке по селу, точно в карете, ездил по улице туда и сюда, подъезжал к окнам, как на свиданье, кричал: «Русс, дурак!», пил молоко и, въезжая в сады, закусывал золотыми яблоками прямо с деревьев.

Кто-то выглянул с чердака — он прострочил пулеметом! Скакала телка в страшном испуге — он погнался за ней и танком задавил. Гуси шли с пруда и гоготали — он налетел на них; они взлетели на башню, как белый гусиный десант, и трубили оттуда о своей смерти, а он, высунувшись из люка, хохотал.

Когда стихли все крики и все село сидело в земле, ожидая, что будет, открылись железные двери, и он вышел в железной каске, в башмаках на железном ходу, весь в железе, и когда шел, то гремел.

По всей улице оставались следы 48 немецких шипов, 48 шипов завоевателя.

Со всей деревни притащили лампы. Он обставил себя лампами, как на свадьбе, и парился, а когда принесли поросенка, немецкая вилочка и ножик при запахе сала сами вы-

скочили из сумки и стали резать поросенка. И он, еще голый, жрал и икал при ярком свете.

Потом он велел притащить никелированную кровать с шариками. Без шариков он и уснуть не мог. И, поглядев в зеркало, каким он стал — поправился ли он от поросенка, — захрапел.

Немецкий храп стоял над всем селом. И тогда я еще подумал: запомнят русские люди этот храп.

Долго катался он на танке, хвастался, что неуязвим в своем железном доме. Но под Можайском снаряд влетел прямо в танк, и будто буря разбросала экипаж по снегу.

Один он остался в живых. Сшибли с него каску. А были у него в танке одни белые чепчики. Одел он чепец, потом еще чепец и еще чепец, и был он в бабушкином чепце, как волк в сказке о Красной шапочке. Но все ему было холодно. Обвязал он голову мохнатым полотенцем, потом еще одним полотенцем, потом одел картуз, и когда пошел — как будто понес на голове своей целый дом.

Идет, идет по лесу немец с лямками, в ботах с пряжками, тянет волокушу подушку, одеяло — краденое ложе.

Из-за каждого дерева, кажется ему, следят за ним глаза. Петляет немец по кустам оврагами, лощинами, где пониже, да потише, петляет и вертится, заблудился в трех соснах, нырнул в снег и снова появился со своей волокушей. Наглотался, Ганс, снега?

В поле чистое выходит, выплывает будто в Белое море. Дойти бы до горизонта!

Но за горизонтом новый горизонт!

Оставил немец волокуши и пошел один. Но идет он тяжело, будто тянет бечеву, будто земля пристает, не хочет отпустить. Тяжело ходить по земле, которую не удалось завоевать.

Снял он с ремня фляжку, опрокинул в глотку. Одна капля. Посмотрел на фляжку и выбросил. А как сало жрал и ромом запивал — помнишь? Но выпит весь немецкий ром!

Поглядел он в сумку. Пустая сумка. И вот уже плоские немецкие вилочки и ножики, которые сами выскакивали из сумки при запахе сала, лежат на снегу, как мертвые зубы немца.

Взглянул он на трубку. Толстая немецкая трубка в медной окове. Столько дымила она в русской избе, пускала дым в лица старух и детей, а он хохотал, когда они плакали от дыма, с нее огонь слетал и поджигал дома, и однажды трубкой младенца убил, который кричал и мешал спать. (Солдату надо выспаться!) Трубка эта потухла. Немецкая трубка полетела на снег. Легче итти.

Всю дорогу он кашлял, чесался, сморкался, свистел носом, засыпал на ходу, и вдруг ему стало так холодно, что и чесаться перестал, очевидно, и вши замерзли.



Замерзшие немцы. Фото С. Струнникова

Снежная степь, и на все четыре стороны света метель. И он уж не знает — на восток он идет или на запад. И есть ли он вообще, этот запад, существует ли? Или только придуман для компаса. Немецкий компас, толстый, как глобус,— думал он, — поведет его во все четыре стороны света. А теперь он только разглядывает на нем, где запад.

Идет немец по чистому русскому полю. Железная каска вся оледенела и давит голову, железные башмаки стали ледяными, трудно ноги поднять, и весь он выглядит точно сосулька. Думал ли он, что будет сосулькой, когда с голым пузом сидел у русского очага и чесался и во всем доме было самое важное — голое немецкое пузо у огня.

Снял он бинокль и глядит, тяжелый и длинный немецкий бинокль, рассчитанный на то, чтобы видеть в него весь земной шар, — выглядывает избушку на курьих ножках: не нужен ему сейчас земной шар с его полюсами.

А ветер воет, ветер воет в уши. Немец прислушивается, и кажется ему: это кричат все задушенные, убитые, зарезанные им.

— Эй! Стой! Стой, немец!

Это ветер собрал все стоны, все крики, все слезы. Это плачет ветер России, он нагонит тебя, куда бы ты ни убежал.

Бежит немец в снегах и кричит по-немецки. И прислушивается: не услышит ли он немецкой речи. Он еще думает — не слышит потому, что уши его отморожены. Нет! Далеко до Германии, далеко завезли тебя генералы. Сами в машинах-вездеходах, в мягких подушках.

Темно. Ночь пришла. Вынул немец круглый электрический фонарик. Немецкий фонарик, который освещал русские пороги, русские лица стариков и женщин, огненный глаз, который видели перед смертью столько русских людей, и он потух. И как угасшую свечку, бросил его в снег.

Идет, идет немец один в поле. Сыплет снег, все засыпает снег. Белая равнина, и над ней луна. И он один под луной. Он смотрит в небо на звезды. Нет его звезды в русском небе.

Зимние ночи длинны и страшны. Ветер дует; ветры меняются по ночам. Подул он с ледяной стороны, подхватил немца и понес, и несется он в белом море при лунном свете, как щепка после кораблекрушения, и бьют его кусты по лицу, по груди. Колючие кусты разрывают платье его, раздевают его догола.

И вдруг у одинокого дерева, почувствовал он, чья-то тень прошумела над ним. Он поднял руки к небу: «Майн гот!» На дереве ворон сидел и глядел на него.

Остались у немца еще часы, толстые немецкие часы. Они когда-то показали час, когда он входил в Париж; он посмотрел на них, когда горела Варшава. В свете луны он

взглянул на часы. Они остановились, будто показали час его смерти.

А по всему белому полю черные немецкие кресты стояли, расставив руки с нахлобученными касками, будто готовились куда-то итти.

Он оглянулся. В синем свете луны кресты шли за ним, размахивая руками.

И немец закричал...

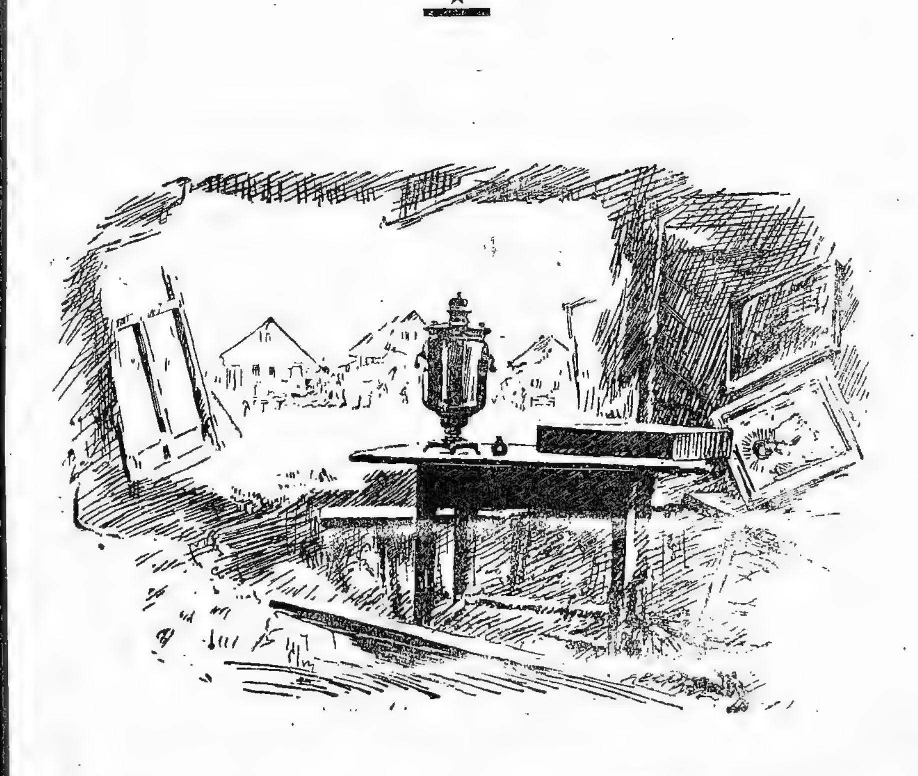
Так я и знал. Когда стон стоял в русском городе Чернигове и женщина, только что сошедшая с ума, бежала по улицам и кричала: «Верните мои сны! Верните мои сны!» — я понял: не будет пощады! Услышу я этой зимой в русских снегах крик сошедшего с ума немца!

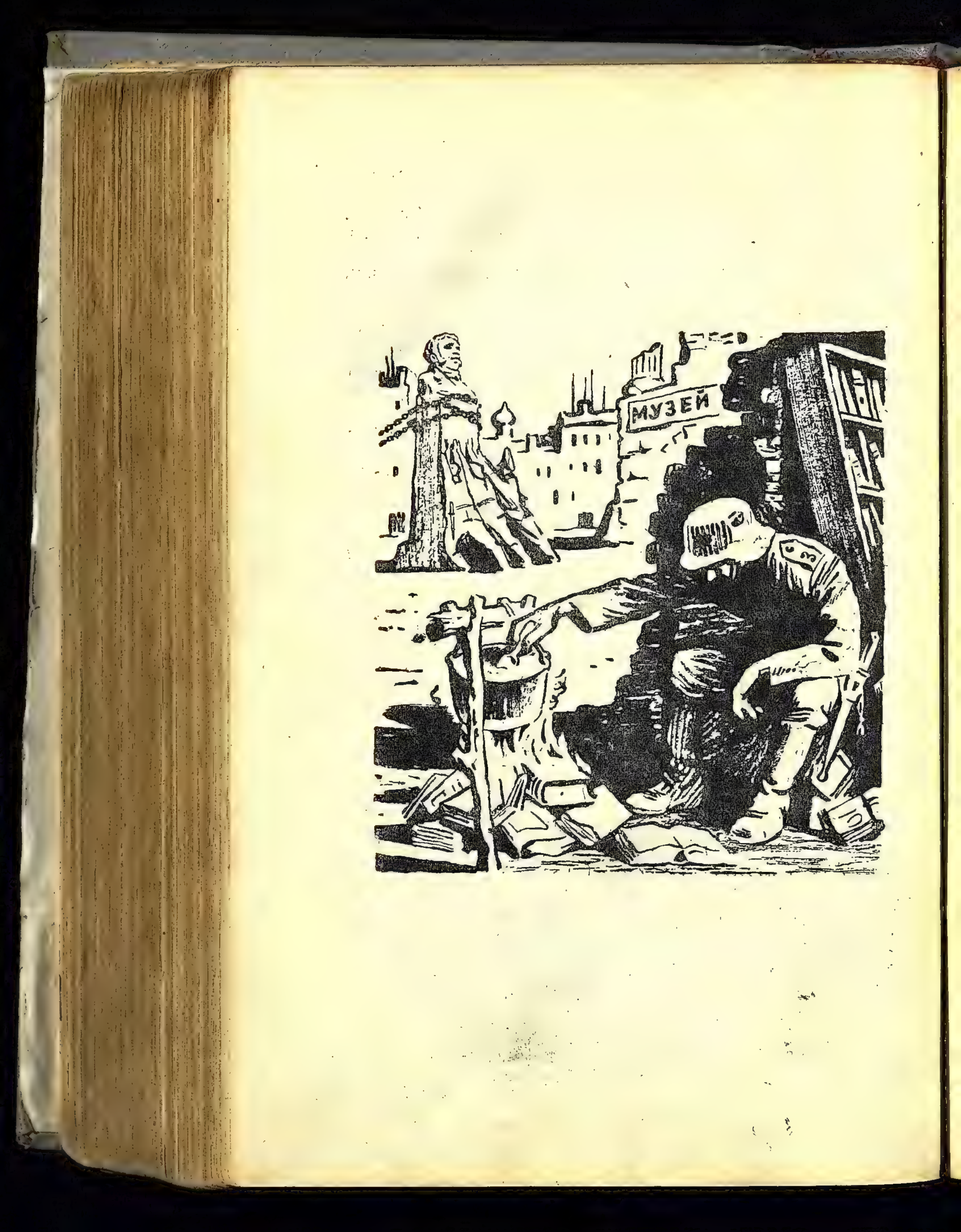
Кружится по степи немец. Кружится и кричит по-немецки. А метелица метет, заворачивает немца в белый саван.

Утром шли мимо бойцы. Всходило солнце. Лежал на снегу немец, как ледяная кукла. Бойцы приставили его к дереву, и он стоял у русской березы, как судьба всех захватчиков.

БОРИС ЯМПОЛЬСКИЙ

★



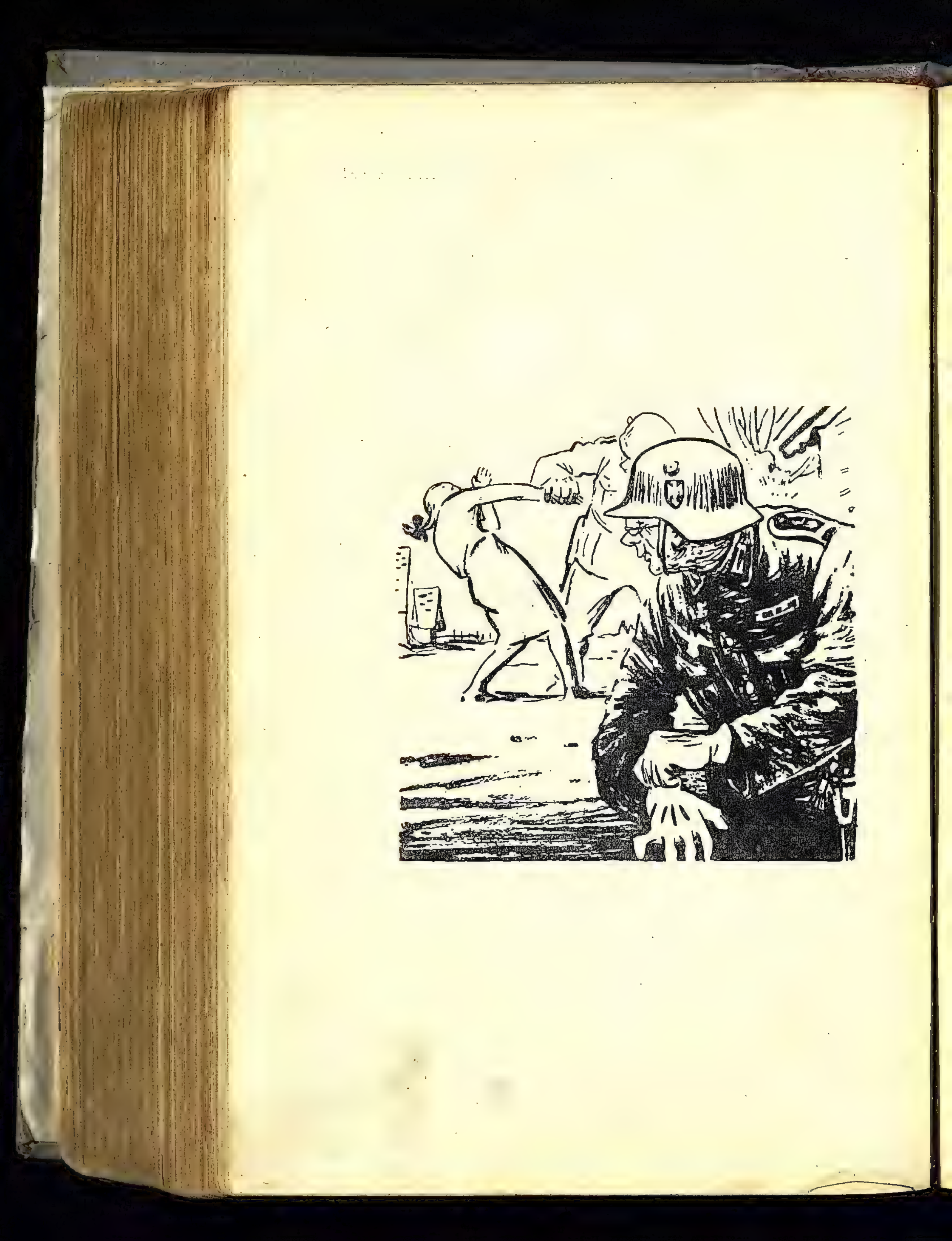

МУЗЕЙ

ЛИЦО ВРАГА

1. ВАРВАР

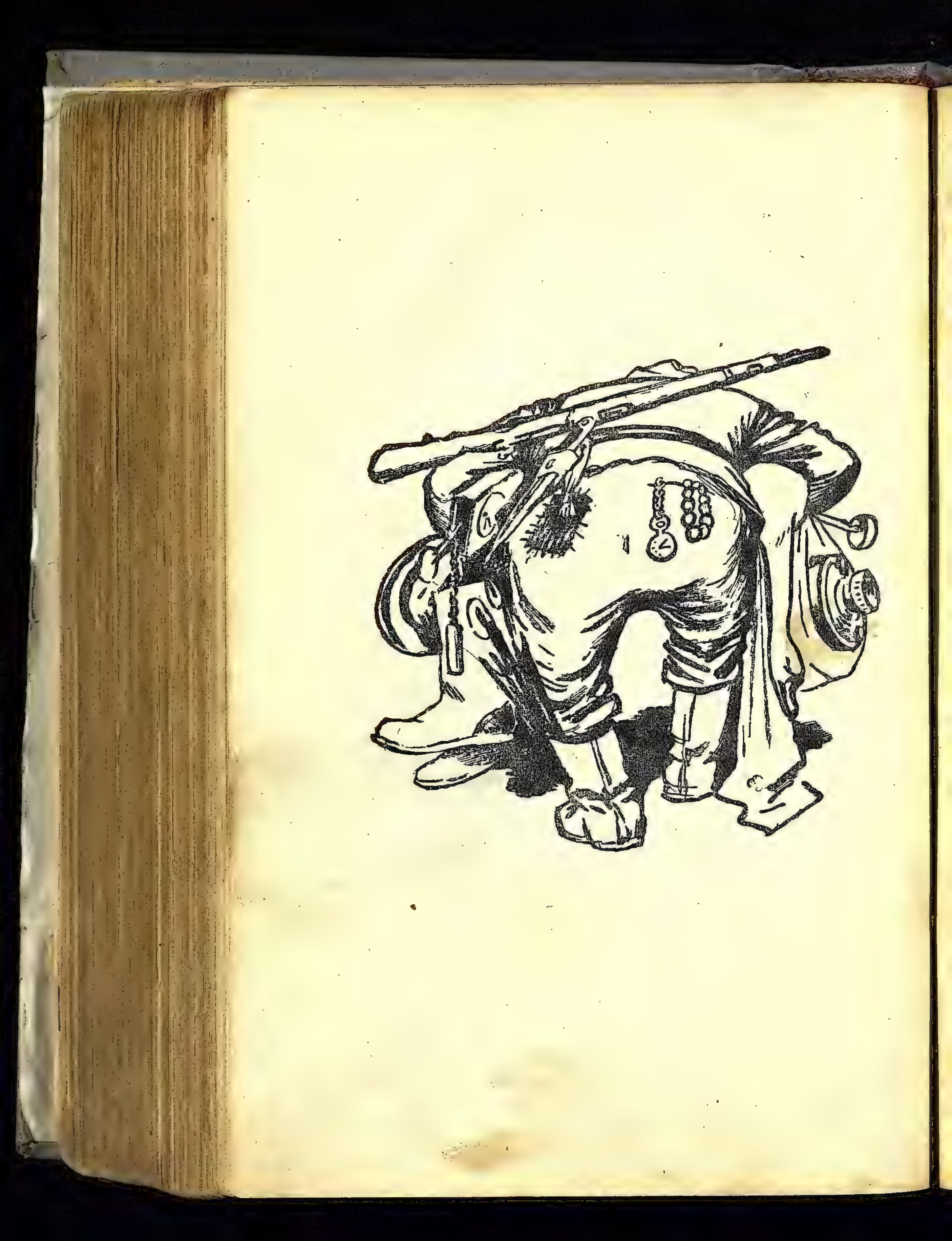
Здесь был простой провинциальный город, —
Гуляли голуби по пыльным мостовым,
Смешной трамвай, гремя, тащился в гору
По улочкам веселым и кривым.
Здесь по утрам, обросший, как затворник,
Музейный житель с рыжей бородой,
Еще к асфальту не привыкший дворник,
Всю площадь мыл студеною водой.
Здесь жили дети, те, что в новой школе
Уже собрались разбивать цветник.
Они в музей ходили к дяде Коле, —
Он был чудной, но знающий старик.
Студенты город весь заполонили
С тех пор, как здесь открыли институт.
Всех взбудоражили, все книги перерыли,
Казалось, за неделю все прочтут.
Здесь старики чаями угощались,
А молодые (юности грехи!)
У мраморного Пушкина встречались
И целовались под его стихи.
И все здесь было русское, родное,
Любимое до боли, до конца!

Будь проклят тот, кто к нам пришел войною,
Чтоб надругаться над святой землею,
Чтоб сапогами растоптать сердца!



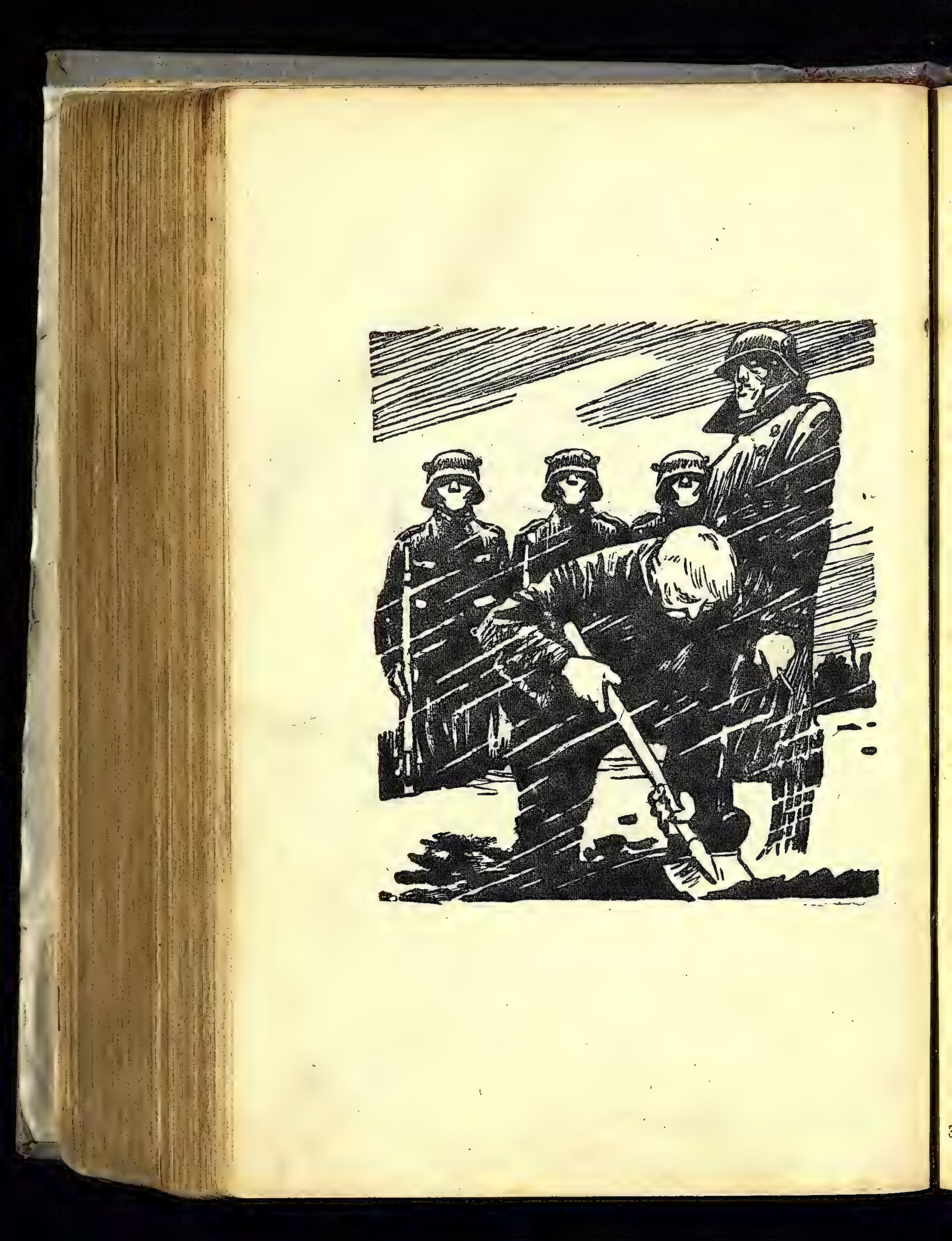
2. СКОТ

Он похотлив, плюгав, некрасив, он страшен, как
смертный грех,
Он весь прогнил, он глуп и хил, но ищет скотских утех,
Он аккуратно ведет подсчет своих любовных побед, —
Каких только стран, городов, имен в его бухгалтерии
нет!
Париж. Гимназистка тринадцати лет. (Она отравилась
потом).
Белград. Служанка. (Она умерла с распоротым животом).
Осло. Мать пятерых детей. (Ей завязали рот.
И после него измывался над ней целый стрелковый
взвод).
Звериная похоть, скотский разгул. Кто говорит о любви?
Если б он знал, что такое любовь, — утопил бы любовь
в крови,
Если б он знал, что такое честь, он повесил бы честь
на суку,
О верности б знал, расстрелял бы ее на потеху всему
полку!
Он хотел бы рычать и самок хватать, вернуться
в каменный век.
Растлитель и скот, вот он каков — арийский
сверхчеловек!



3. ШАЙКА

В немецкой армии каждый ворует —
Она для этого существует.
Как полагается атаману,
Фюрер грабит целые страны.
Его подручные — рангом пониже, —
Один — музей уволок в Париже,
Другой — прикарманил в Праге завод,
Третий — на краденых землях живет.
Затем, начиная от генерала,
Каждый готов воровать что попало —
От обер-ефрейтора до полковника,
От ломаных ходиков до половника.
Солдат — вор.
Офицер — мародер.
Полковник —
Уголовник.
Генерал —
Крал.
Министры —
Рецидивисты.
И над всем этим сбродом сидит
Обер-ворюга и обер-бандит.



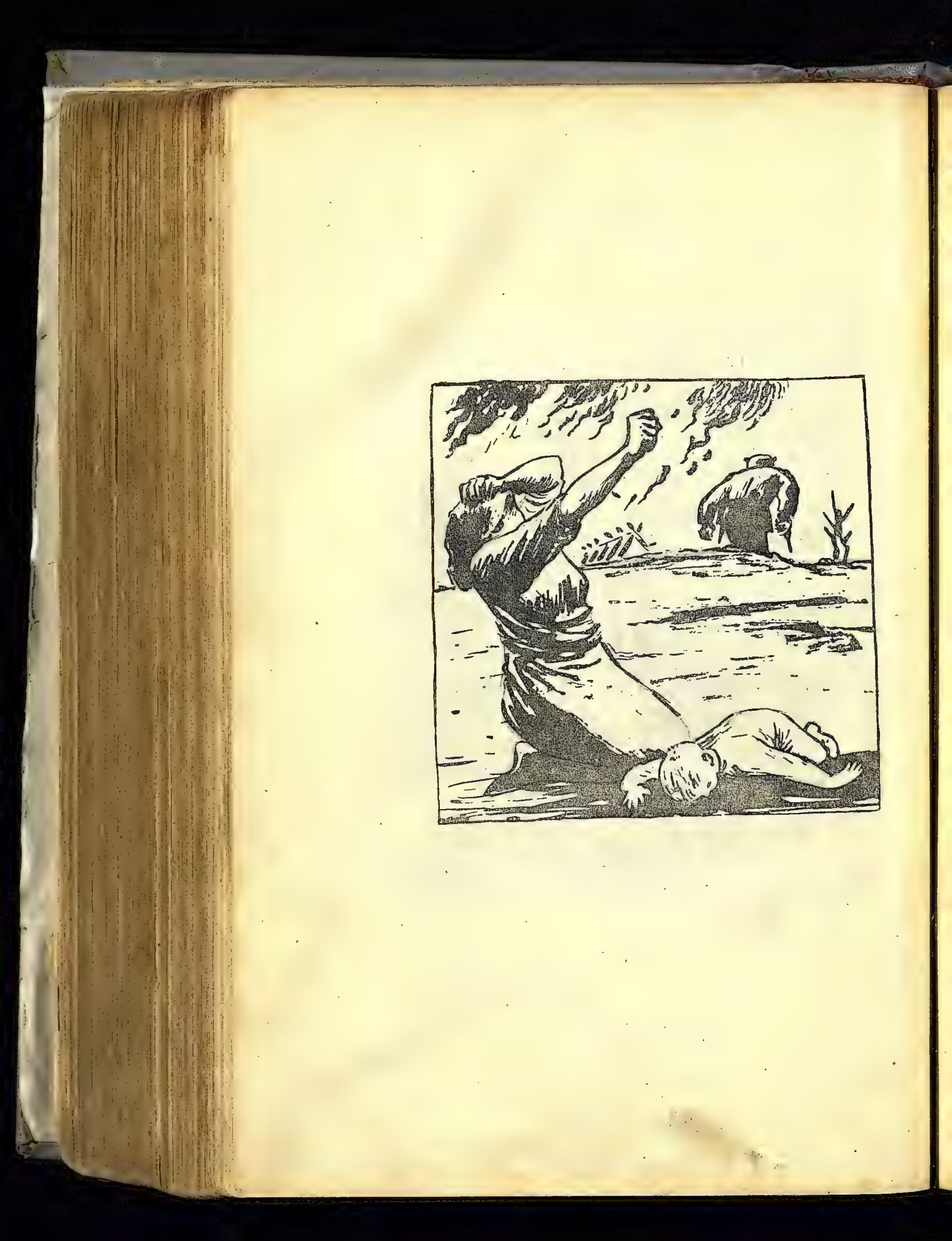
4. АВТОМАТЫ

Дети убиты. Разрушена хата.
В мерзлую землю стучит лопата.
«Рой могилу», — сказали солдаты, —
Три солдата и офицер.

На плечи падает снежная вата,
Как истуканы, как автоматы.
Строем стоят палачи-солдаты, —
Три солдата и офицер.

В Осло бывали, в Париже бывали,
Сжигали, вешали и стреляли,
Кости ломали, кожу сдирали,
Они — как фюрер учил — воевали, —
Три солдата и офицер.

Падает снег и звенит лопата...
Знайте же, страшная будет расплата
С вами и с вашей ордой проклятой, —
Три солдата и офицер!



5. ДЕТОУБИЙЦА

Детоубийца идет. За ним
Стелется черный дым,
Проклятье летит по его следам
По выжженным городам.
Грозней пожара и стали острей
Проклятие матерей:
«Пускай в твой дом войдет чума,
Как ты входил в дома,
Пускай, как смерч, несущий смерть,
В твой дом войдет чума!
Пусть матери сожжет глаза
Последняя слеза,
Пускай жена не знает сна,
Пусть выплачет глаза!
Пусть не видать тебе детей,
Пусть не собрать костей,
В последний раз, в предсмертный час
Пусть не видать детей!
Пускай гремит в твоих ушах,
Последний стон глуша,
Проклятье тысяч матерей,
Пускай гремит в ушах!»



6. ЗВЕРЬЕ

Ни о чем не думая, ни во что не веря,
Бродят по развалинам коричневые звери.
Что такое совесть? Что такое честь?
Что такое правда? Как ее съесть?
Совесть хорошо бы разодрать когтями,
Честь бы перегрызть и похрустеть костями.
Правда? Как вернее задушить ее?
Вот зачем кровавое выползло зверье.
Раздается хриплый, злобный вой звериный,
По Европе тянется след кровавый, длинный...

Пусть же это будет их предсмертный вой,
Пусть зверье проклятое платит головой.
Вытравим заразу, истребим зверей, —
Бей фашистов насмерть!
Бей!

М. СЛОБОДСКОЙ

Рисунки худ. О. Верейского



„Гитлер походит на Наполеона не больше, чем котенок на льва".

И. СТАЛИН.

VII





Пикрошоль Четвертый

Безумие имеет свои законы. И то безумие, которое свирепствует в Европе два года, которое погрузило в бездну несчастья половину человечества, тоже имеет свои законы. Людям мучительно хочется найти и формулировать эти законы, чтобы хоть сколько-нибудь успешно бороться с этим безумием. Всякий ищет их по-своему.

У меня есть знакомая старушка, которая проводит все часы тревоги одинаково. Когда ее соседи, кое-как собрав вещи поценнее, спешат в убежище, она спокойно надевает большие очки, раскрывает евангелие и углубляется в чтение Апокалипсиса. Она изучает историю антихриста. Это не очень совершенный способ установления законов. Имеются и другие. Их много, и мы не будем перечислять их сейчас. Для этого еще будет время. Хочется только вспомнить один из этих способов, который дал возможность одному из величайших художников мировой литературы на все времена высмеять в изумительных образах механику этого безумия.

В первой книге романа Франсуа Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль» рассказана история некоего короля Пикрошоля Третьего, который как бы указал путь своим подражателям. Когда безумие хочет действовать путем оружия, оно неминуемо должно итти методами Пикрошоля Третьего. Если перечитать некоторые главы Рабле, трудно отделаться от впечатления, что множество страниц небезызвестной книги «Моя борьба» и многие захлебывающиеся тирады речей автора этой книги списаны из романа скромного медонского кюре, жившего в XVI веке. С той, однако, разницей, что у Рабле все идет в тонах иронии и прямого глумления, а у его компилятора — в тонах истерического пафоса.

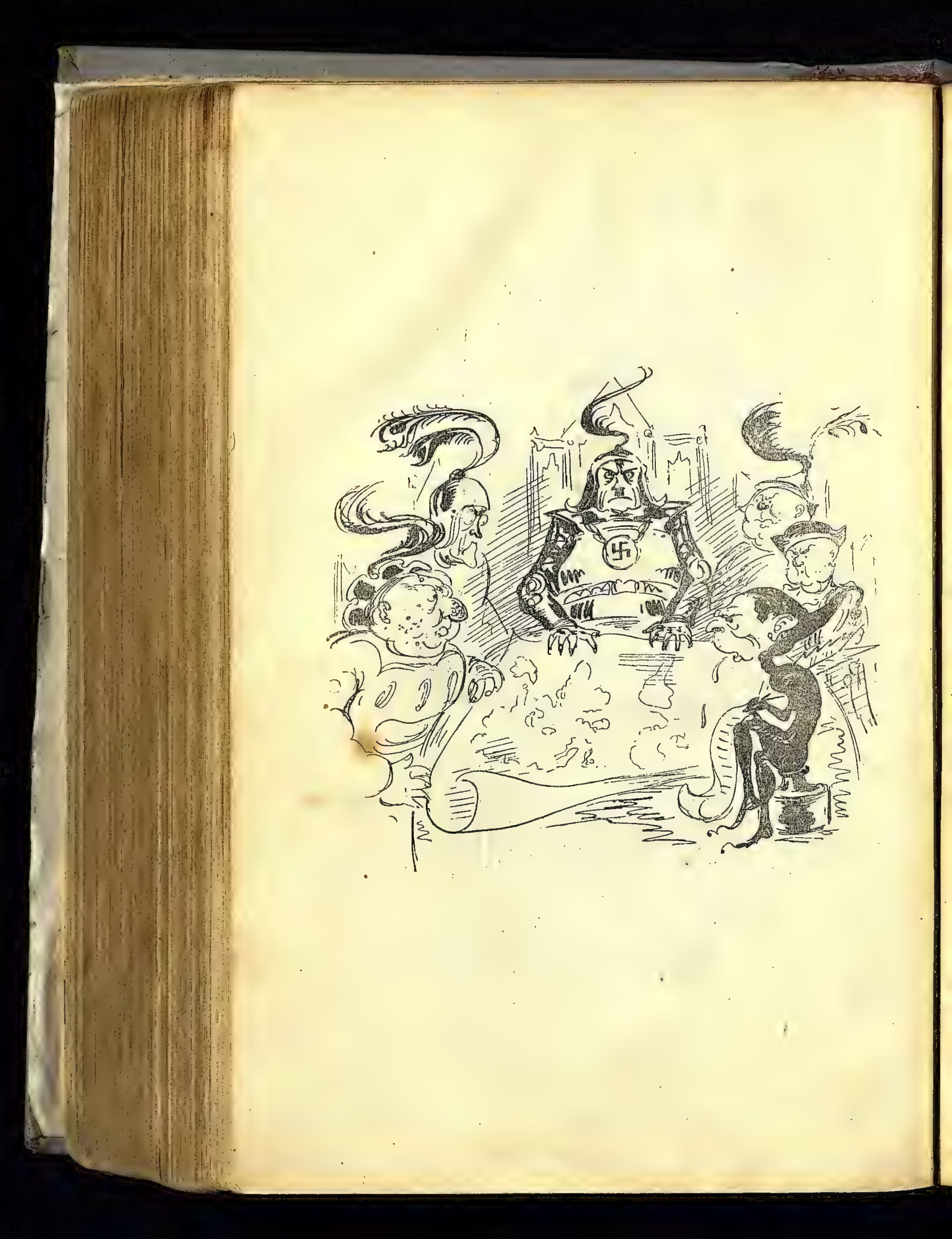
Король Пикрошоль разгневался на подданных своего соседа короля Грангузье и в припадке безумия немедленно послал против него войска. Но Пикрошоль хотел действовать наверняка и поэтому собрал военный совет из всех своих



Браухичей, Кейтелей, Клейстов и Гудерианов. И общими силами они выработали план Шлиффена, который должен был в кратчайший срок подчинить Пикрошолю весь мир. Вот основные линии этого плана. Военные силы делятся на две группы. Первая двигается к югу с такими задачами: «В Байонне, в Сен-Жан-де-Люс и Фонтарби вы захватите все корабли и, крейсируя у берегов Галисии и Португалии, разграбите все прибрежные страны до Лиссабона... Испания сдастся... Дальше вы пройдете Сибиллиным проливом (Гибралтар), и пролив получит имя Пикрошолева моря... Вы завоюете королевства Тунис, Алжир, Киренаику, всю Берберию. Двигаясь дальше, вы захватите Майорку, Минорку, Сардинию, Корсику и другие острова Лигурийского и Балеарского морей.

Вы завладеете Галлией Нарбонской, Провансом, землею аллоброгов, Генуей, Флоренцией, Луккой и — прощай Рим! Бедный господин папа!.. И вот Неаполь, Калабрия, Апулия, Сицилия, а также и Мальта в ваших руках. Тут вы возьмете







Крит, Кипр, Родос, Циклады и пойдете на Морею, она наша! Храни, боже, Иерусалим... Однако раньше надо получить Малую Азию, Карию, Ликию, Памфилию, Киликию, Лидию, Фригию, Вифинию, Мизию... вплоть до Евфрата... Вавилон и гору Синай оставим пока в стороне, будет и без того немало хлопот переплыть Гирканское (Каспийское) море и проскакать по трем Армениям и по трем Аравиям». «Но и другая армия в это время не гуляет. Она уже завоевала Бретань, Нормандию, Фландрию, Голландию, Зеландию. Она перешла Рейн по трупам швейцарцев и ландскнехтов и мимоходом покорила Люксембург, Лотарингию, Шампань и Савойю до Лиона. Тут она нашла гарнизоны, возвратившиеся после морских побед войска соединились в Богемии, разорив Швабию, Вюртемберг, Баварию, Австрию, Моравию и Штирию. Затем они вместе ударили на Норвегию, Швецию, Данию, Гренландию и Ис-

ландию до Ледовитого океана. После этого завоевали Оркадские острова и подчинили Шотландию, Англию и Ирландию. Проплыв оттуда по Песчаному (Балтийскому) морю мимо сарматов, они покорили Пруссию, Польшу, Литву, Россию, Валахию, Трансильванию, Венгрию, Болгарию, Турцию и дошли до Константинополя...»

Таким образом план покорения мира был разработан во всех деталях. Однако, несмотря на потрясающую, повидимому, убедительность этого плана, некий старый рыцарь, «человек испытанный в различных приключениях и подлинный воин по имени Эхэфрон», слушая эти речи, не был убежден, и он сказал: «Я очень боюсь, что все это ваше предприятие похоже на известный фарс про горшок с молоком, где рассказывается, что один башмачник мечтал с помощью этого молока разбогатеть; но горшок разбился, и ему не пришлось пообедать. Чего вы добьетесь путем таких славных побед? Каков будет конец стольких трудов и злоключений?» — «А такой, — отвечал Пикрошоль, — что, возвратившись, мы отдохнем в свое удовольствие». Но Эхэфрон продолжал настаивать.

«Ну, а в том случае, — сказал он, — если вы никогда не возвратитесь? Ведь поход долгий и опасный. Не лучше ли было бы отдохнуть теперь, не подвергаясь случайностям?»

У Рабле не сказано, что сталось с упрямым Эхэфроном после того, как он дерзнул проявить такой скептицизм. Надо думать, что Пикрошолевы Гиммлеры не оставили его без внимания.

План Пикрошоля Третьего был скромен. Он оставлял в покое Америку и Азию — Австралии тогда еще не знали, — в то время как последний вариант пикрошолевских затей прицеливается на всю Америку, а Азию великодушно предоставляет не очень арийскому желтому союзнику. И все-таки такой чуткий художник, как Рабле, видит даже в этом скромном плане явно комическое по своей несообразности создание безумной фантазии и рисует его буфонными штрихами. Как бы смеялся он, если бы знал последний гитлеровский вариант. Но для этого он должен был бы дождаться конца предприятия. Конца предприятия Пикрошоля Третьего ждать долго не пришлось.

Война началась. Пикрошолевы войска сразу же наткнулись на такое сопротивление, какого они не ожидали. Победа не хотела им улыбнуться. К счастью, король Грангузье был не таким воинственным государем, как Пикрошоль. Когда к нему привели одного из пленных пикрошолевых генералов по имени Тукдильон, Грангузье спросил его, поглаживая самым миролюбивым образом свою бороду, какую цель преследовал его король. Тукдильон отвечал, что цель его заключается в том, чтобы завоевать, если ему удастся, всю его страну.

«Чересчур обширное предприятие, — промолвил Грангузье. — Кто много охватывает, тот некрепко держит. Прошли уже времена, когда завоевывали государства в ущерб ближним. Это подражание древним Геркулесам, Александрам, Ганнибалам, Сципионам, Цезарям и им подобным. А нам предписывается сберегать, спасать, владеть и править каждому своими землями, а не нападать враждебно на чужие. И то, что некогда сарацины и варвары называли подвигом, мы ныне называем злодейством и разбоем».

Тукдильон был отпущен с миром и, вернувшись к Пикрошолю, стал советовать ему заключить мир; он говорил, что они никогда не выйдут из этого предприятия без великого ущерба и несчастья, так как силы Пикрошоля недостаточны. Разгневанный Пикрошоль приказал своему гестапо разорвать Тукдильона на куски, что было исполнено немедленно и с величайшим свирепством, как это случилось позднее с Ремом и Шлейхером, а в последнее время с фельдмаршалом Браухичем и целым рядом других генералов. Война продолжалась и кончилась тем, что Пикрошоль, разбитый, лишенный своих владений, должен был бежать. По дороге лошадь его споткнулась и упала, за что он немедленно убил ее. Другого коня он не нашел и хотел взять осла с соседней мельницы, но мельники избили его и сняли с него всю одежду, кинув ему какое-то жалкое тряпье. «Так и пошел бедный злыдень. Что с ним сталось после этого, неизвестно». Был, впрочем, слух, что он работал поденщиком в Лионе. И все злился и всем на все жаловался.

Вывод, который делает Рабле из истории своего Пикрошоля, заключается в словах короля Грангузье: «Кто много охватывает, некрепко держит». Рабле мог заставить Грангузье вспомнить при этом не только Александра Македонского, Ганнибала и Цезаря, но и предшествовавших им восточных — египетских, ассирийских, вавилонских — деспотов и многих других, более поздних, вплоть до своего современника императора Карла V, ибо логика завоевательного безумия обрушивалась на голову каждого из них, без всякого исключения. И после Рабле она продолжала действовать столь же закономерно, включая классический пример — пример Наполеона. Кто слишком много охватывал, мало что мог удержать, а иной раз не мог удержаться и сам на той высоте, на какую возносился, пока не думал схватить чересчур много во имя такого господства, которое людям несет порабощение, голод и позор.

Пикрошоль Третий кончил, надо признаться, довольно благополучно. Но и безумие его не имело тех последствий, какие могло бы иметь, если бы его военный план покорения мира не был сорван в самом начале. Его поход против Грангузье — невинная шалость по сравнению с тем, что делает

Пикрошоль Четвертый, раскидывая во все стороны свои войска — по суше, по морю и по воздуху. Два года свирепствует это безумие, подобного которому еще не знала история.

Никакая статистика не будет в состоянии подсчитать, что стоило человечеству безумие Пикрошоля Четвертого. Но уже видно, что конец этому безумию будет тот же. С тою, однако, разницей, что едва ли дело ограничится тем, что новый кандидат в мировые владыки устроится где-нибудь скромным поденщиком. Тени его жертв поднимутся на него кровавыми легионами, и расплата будет так же жестока, как было жестоко для мира и человечества его безумие, ибо, повторяем, у безумия свои законы. Законы эти непреложны, и когда безумие направляется против блага людей, расплата приходит неумолимо. И она уже идет.

А. ДЖИВЕЛЕГОВ

Рисунки худ. МАВРИНОЙ



Двое и смертъ

Отгремела буря огневая.
Тишина прозрачна и легка.
Ранним утром
вышла смерть седая
На поляну мирного леска.

Смерть устала. Смерти надоело
День и ночь размахивать косой.
На бугор костлявая присела
И умылась крупною росой.

Пели птицы. Копошились мухи.
Полз паук по шелковой сети...
Захотелось яростной старухе
Хоть на время душу отвести.

Рядом — танков смертные останки,
Ружья, трупы, касок серебро...
Хорошо бы здесь вот, на полянке,
Сотворить кому-нибудь добро!

Слышит смерть:
у дальнего пригорка
Два солдата стонут за кустом.
Черный крест на рваных гимнастерках
И железный череп над крестом.

Как смешно!.. Для смерти выпал случай,
Обреченных на смерть возлюбя,

Их спасти от смерти неминучей, —
Это значит
от самой себя.
Напугавши смехом хриповатым
Певчих птиц, рванувшихся в простор,
Смерть подсела к раненым солдатам,
Завязала тихий разговор.

— Что ты хочешь? —
так она спросила,
Наклонившись к черному плечу.
И солдат ответил через силу:
«Помощи, старуха! Жить хочу!

Как бревно,
товарищ мой давнишний
На спине раскинулся моей.
Ты меня
избавь от ноши лишней,
Поскорей товарища убей!

Жить хочу...
Селение большое
Нам сегодня отдали во власть.
Я хочу сейчас же после боя
Обожраться и награбить всласть.

Жить хочу,
чтоб выполнить скорее
Тот приказ, что мне сегодня дан.
Поручили нашей батарее
Расстрелять четыреста крестьян.

Жить хочу, чтоб видеть их мученья,
Бабьи слезы, жалкий детский рев,
Чтобы вновь
изведать наслажденье
Господина, бьющего рабов.

Жить хочу,
чтоб властвовать над всеми,
Попирая страны и тела!

Жить хочу,
чтоб ты в любое время
Убивать безустали могла..:

Ты не отвечаешь?..
Я немею!
Пощади! Помилуй! Не убей!
Что я значу с силою моею
Перед тобой,
владычица людей?»

Замолчал он...
Старая сидела
С неподвижным, каменным лицом.
На траве распластанное тело,
Только тронешь — станет мертвецом.

Что же, смерть? Раба уничтожая,
Насладись могуществом своим!
Почему повисла,
как чужая,
Та рука, что властвует над ним?

На земле, снарядами изрытой,
На пригорке, тонущем в крови,
В этот миг
семьею деловитой,
Строя дом, сновали муравьи.
Над ветвями леса молодого
Несся ветра ласковый напев...

Не сказала старая ни слова,
Словно смерть, от гнева побледнев.
Но, привстав,
заметила седая
Двух бойцов у дальнего пруда.
И у них — эмблема золотая:
Серп и молот, красная звезда.

Поднялась костлявая старуха,
Подошла —
и сразу, напрямки,

«Что ты хочешь?» — вымолвила глухо,
Не скрывая злобы и тоски.
— Что ты хочешь? —
так она спросила
У того, кто мог еще ползти.

И боец ответил через силу:
«Я хочу... товарища спасти.
Я хочу опять изведать счастье,
Не страшусь жестокости твоей.
Донесу бойца до нашей части,
Сдам врачам —
тогда меня убей...»

Головой старуха покачала:
Видно, этот вовсе не из тех...
«Хочешь жить?» —
бойцу она сказала.

И боец ответил:
«Больше всех!

Я хочу помочь моей отчизне
Разгромить проклятого врага.
Я хочу
побольше сделать в жизни, —

Потому-то жизнь мне дорога.

Я мечтаю
жить одним порывом

С той страной,
где сердцем молодым

Только тот зовет себя счастливым,
Кто приносит счастье всем другим.

Я хочу
раздать богатство счастья

Тем, чья жизнь
сурова и горька.

Много счастья есть у нас во власти!
Хватит всем на долгие века!

Я люблю
и солнышко и небо,
Я люблю
и землю и цветы,
Я люблю
веселый запах хлеба,
Вкус плодов
и радость красоты.
Жить хочу
для дерзкого полета,
Жить хочу,
чтоб мир освободить,
Жить хочу,
чтоб смерть лишить работы,
Чтоб тебя, костлявая,
убить».

...Не сказала старая ни слова.
Легкий ветер песней залился
Над бойцом,
вперед поползшим снова,
На спине товарища неся.

Лес качался. Бабочки летали.
Пели птицы песенки свои.
Новый дом упрямо воздвигали
Деловитой стайкой муравьи.
На кустах, снарядами помятых,
Золотился
солнца луч косой...
Смерть ушла,
германскому солдату
Отрубивши голову косой.

А. БЕЗЫМЕНСКИЙ

★

Фашист

Он стоит передо мною,
Как обиженный святой.
Держит руки за спиною,
Почерневший и худой.
Дескать, вы меня не троньте,
Уверяю, дескать, вас:
Очутился я на фронте
Против воли в этот раз.
Языком он вертит туго,
Не видать на нем лица,
Словно вылинял с испуга —
Не гиена, а овца.
Только я ему не верю!
На минуту на одну
Разве можно верить зверю,
Если даже зверь в плену?
Сбитый с неба под Москвою,
Растерявший весь свой пыл,
Через двадцать дней с лихвою
Он на фронте пойман был.
Он себя измаял влежку,
Весь оброс и похудел,
Он сырую жрал картошку,
Но сдаваться не хотел.
Рылся с жадностью в навозе,
Синих жаб ловил в траве,
Чтобы вновь на бомбовозе
Ночью вылететь к Москве.

Ясно! Негде ставить пробы.
Гад законченный вполне.
И глухое чувство злобы
Подымается во мне.
Я гляжу на эту морду,
Долго, пристально гляжу
И решительно и твердо
Про себя произношу:

Из хозяйских рук поганых
Получил ты неспроста
Два железных, филигранных,
Окантованных креста.
Ты за третьим, черный ворон,
К нам летел из дальних мест.
Ты его получишь скоро, —
Деревянный третий крест.

С. ВАСИЛЬЕВ

★

Фриц Нойеяр

(Новогодняя баллада)

I

Часов двенадцатый удар...
С заоблачных высот
Спустился вниз Фриц Нойеяр —
Немецкий новый год.
С небес его немецкий бог
Послал в ночную тьму,
Дал парабеллум и клинок,
Но ни одежды, ни сапог
Не выдал бог ему.
Сказал Вотан: «Достанешь там».
А стужа мчалась по пятам,
И был мороз жесток,
Гуляла вьюга без границ, —
И запахнулся юный Фриц
В свой фиговый листок.

II

Солдатам Фриц понес дары,
Помчался на восток
И приземлился у дыры,
Где рыжий Ганс залег.
Фриц так сказал: «Я — новый год.
Что подарить тебе?
Скажи, каких ты ждешь щедрот,
Чтоб ты потом за мой приход
Вознес хвалу судьбе?»
Ответил Ганс: «Пошел к чертям,

А то я донесу властям
Иль сам спишу в расход!
Нам фюрер говорил: — Вперед!
В Москве мы встретим новый год!
Выходит, фюрер врет?
Ты самозванец и шпион,
Других глупцов найди,
Скорей катись отсюда вон...
А впрочем, погоди.
Раз ты богат — мошну расшей,
И будет хорошо,
Коль дашь ты нам для спин и шей
Хороший порошок от вшей —
Персидский порошок...»
Отпрянул в страхе Нойеяр:
«Не знал, что нужен этот дар,
Не взял я порошка.
Как видно, времена не те...»
И он растаял в темноте,
Растерянный слегка.

III

Фриц Нойеяр летит в Берлин.
Луны фонарь горит.
Как чудо, снится маргарин
Мильону Маргарит.
О, Гретхен, Гретхен! К ней сейчас!
Взлетает Фриц в окно —
У Гретхен истощен запас,
У Гретхен выключили газ,
И в комнате темно.
«Ты новый год? Пошел к чертям,
А то я донесу властям,
Сама спишу в расход!
Нам фюрер говорил: — Народ,
Мы сыты будем в новый год!
Выходит, фюрер врет?»
Куда ты, Нойеяр, пришел?
От псевдосвечки чад,

И псевдотуфли в псевдопол,
Как молотом, стучат.
А кухня! Как вместить в стихи,
В короткую строку
Хлеб из березовой трухи
И заменитель требухи
В искусственном соку,
Подделку ситца на спине?..
Портрет фальшивый на стене
Смеется между тем...
«Как видно, времена не те!»
И Фриц растаял в темноте,
Растерянный совсем.

IV

...И Фриц возник из темноты,
Не ведая того,
Что специальные посты
Зацапают его.
Поволокли его в подвал.
Был прокурор жесток:
«Вещей ты теплых не сдавал
И преднамеренно скрывал
Свой фиговый листок.
За это ты пойдешь к чертям.
Есть полномочие властям
Пустить тебя в расход...»
В Берлине ветром снег мело.
Был в ночь под первое число
Повешен новый год.
Так что ж, выходит, фюрер врет?
Выходит, фюрер врет!

М. СЛОБОДСКОЙ

★

Десять шутников

(АНТИФАШИСТСКАЯ ПЕСЕНКА НЕМЕЦКИХ СОЛДАТ)

На участке действий Н-ской части у убитых и захваченных в плен немецких солдат найдена антифашистская песенка „Десять шутников“, очевидно, широко распространенная, так как различные варианты ее обнаружены у солдат разных немецких частей.

В песенке высмеиваются фашистские заправилы— Геббельс, Лей, Розенберг, режим слежки и преследований в фашистской Германии.

Ниже мы приводим перевод песенки, сделанный по наиболее распространенным вариантам. Упоминающееся в песенке слово „Пимпф“ — по объяснению пленных — детская фашистская организация. Каламбур об имперской канцелярии имеет в виду новое здание канцелярии, безвкусное и очень дорогое. Лей— руководитель „Трудового фронта“, один из заправил фашистской Германии. „Миф“, упоминающийся в предпоследнем куплете, — книга А. Розенберга „Миф XX века“.

Десять шутников однажды выпивали,
Геббельса они как следует назвали.
Один передразнил,
Но он замечен был.
А результат таков:
Лишь девять шутников!

Девять шутников сидели и молчали,
Только про себя о чем-то размышляли.
Один был уличен,
Что смел подумать он.
А результат таков:
Лишь восемь шутников!

Восемь шутников что-то написали,
Ни строчки никому они не показали.
У одного нашли,
Заглавие прочли.
А результат таков:
Семь стало шутников!

Семь бойких шутников паек свой получали.
«Вот пойло для свиней!» — все шопотом сказали.
Один замечен был,
Он громче говорил.
А результат таков:
Шесть стало шутников!

Шесть бойких шутников о «Пимпфе»
рассуждали.
«Вот вшивые юнцы», — про «Пимпф» они сказали.
Один услышан был,
Он громче говорил.
А результат таков:
Пять стало шутников!

Пять бойких шутников друг друга развлекали.
Один из них сыграл сонату на рояле.
Но он был уличен,
Что автор — Мендельсон.
А результат пока:
Четыре шутника!

Четыре шутника у канцелярии имперской.
«Какая ей цена?» — спросили очень дерзко.
Один сказал, что грош,
И то весьма хорош.
А результат таков:
Лишь трое шутников!

Трое шутников заспорили о Лее.
Один сказал, что нет на свете Лея злее.
Но кто-то услыхал
И Лею передал.
А результат таков:
Лишь двое шутников!

Двое шутников однажды «Миф» читали,
А прочитав, дерьмом они его назвали.
Как видно, оттого
Не стало одного.
А результат таков:
Один из шутников!

Остался он один, кругом один, хоть тресни,
Тогда он написал с тоски вот эту песню.
Ее он распевал
И на небо попал.
А результат таков:
Там десять шутников!

Перевел М. СЛОБОДСКОЙ



Чучело

Перед военкомом, вытянувшись в струнку, стоит немецкий пленный.

Он — ефрейтор бронетанкового полка.

Вид у ефрейтора удивительный. Он похож на Гитлера. У него маленькие усики. Волосы зачесаны на лоб. И какая-то ехидная, лисья улыбка.

Правда, это сходство с «фюрером» осталось бы никем не замеченным, но ефрейтор сам просил обратить внимание на это обстоятельство.

Он сказал:

— Вероятно, русским недостаточно хорошо известен портрет господина фюрера. Я не вижу удивления, к которому привык.

— А у вас большое сходство с ним? — спросил военком.

— Я не буду преувеличивать, — сказал ефрейтор, — но в Германии и в Польше люди вздрагивали при встрече со мною.

— И что же, вы искусственно поддерживаете это сходство или это само собой произошло?

— О нет, само собой это не происходит, — ответил ефрейтор, — это работа двух лет. Я восемь раз смотрел «Господин Гитлер в Компьенском лесу». Я изучил каждое малейшее движение господина Гитлера — его походку, жесты, улыбку. Я добился того, что господа офицеры моего полка бледнели при встрече со мной.

— А зачем вам понадобилась эта игра? — спросил военком.

Лицо у ефрейтора стало напряженное и тупое. Он сказал:

— Это не игра. В этом есть большой государственный смысл. Я полагал, что в каждой воинской части, а также в любом управлении должен быть человек, похожий на господина Гитлера. Я полагал, что это даст абсолютные резуль-

таты. Каждую минуту солдат будет видеть перед собой образ господина Гитлера. Он будет испытывать страх. Пусть даже ужас, трепет. Но зато он будет в полной готовности выполнить то, что от него потребует командование.

— В других воинских частях тоже имеется такое же чучело? — спросил военком.

— Этого я не могу знать, — ответил ефрейтор. — Я полагаю, что еще нет или не везде. Три месяца назад я подал докладную записку командиру полка. Командир полка обещал передать ее начальнику дивизии. И он при этом сказал: «В вашей идее есть нечто разумное. Воинская часть будет тогда неуязвима».

Военком улыбнулся. Он сказал:

— Надежды командира полка не оправдались—его полк разбит и разгромлен. И полномочный представитель «фюрера» сдался в плен.

Ефрейтор сконфуженно вздохнул. Он сказал:

— Да, это большое несчастье для моего полка, что я попал в плен.

Военком добавил:

— Для полка, который уже не существует, это безразлично, в плену вы или на небе.

Ефрейтор снова сконфуженно вздохнул.

Военком спросил:

— А чем вы занимались до войны? Какая у вас профессия?

Этот прозаический вопрос не вдохновил ефрейтора на торжественный ответ. Казенным тоном он ответил:

— Имею сыроварню. Небольшую фабрику сыра... Но это не мешало мне думать о делах государства.

Тут пленный, видимо, снова хотел поговорить о своей идее, но военком приказал привести следующего пленного.

И ефрейтора, похожего на Гитлера, увели из помещения во двор.

Во дворе стояли пленные, ожидая отправки.

Ефрейтор величественно подошел к своим однополчанам, косо и строго поглядывая на них.

Но тут кто-то из пленных засмеялся и, неожиданно хлопнув ефрейтора по затылку, громко сказал:

— Пришел конец нашему Адольфу Гитлеру.

Ефрейтор принял грозный вид, но кто-то крикнул:

— Не крути глазами — не испугались!

Кто-то сердито добавил:

— От этой шкуры в полку покоя не было. Так он еще тут разыгрывает свою роль.

Ефрейтор трусливо заморгал глазами, принял скромную позу и, отвернувшись, стал жевать хлеб.

МИХ. ЗОЩЕНКО



Рис. худ. О. Верейского

СМЕРТЬ ИМ!

За наши сожженные села,
За мир, превращенный в костер,
За наших, когда-то веселых,
Замученных жен и сестер,
За горькое слёзное море,
За тысячи тысяч смертей,
За материнское горе,
За ужас в глазах у детей,
За беззащитную старость,
Распятую в красном снегу, —
Мы вложим священную ярость
В смертельный удар по врагу!

М. СЛОБОДСКОЙ

Содержание

РАЗДЕЛ III.

РАЗДЕЛ IV.

РАЗДЕЛ V.